ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН
Лаборатория «Исследования исторической памяти
и интеллектуальной культуры»

ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ

•

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

3 – 4 ОКТЯБРЯ 2016

МОСКВА 2016

ББК 63.3
И 907

История, память, идентичность: теоретические основания и исследовательские практики / Материалы международной научной конференции / Под ред. О.В. Воробьевой, О.Б. Леонтьевой, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцевой. — М.: Аквилон, 2016. — 474 с.

ISBN 978–5–906578–13–6

© Институт всеобщей истории РАН, 2016
© Общество интеллектуальной истории, 2016
© Издательство «Аквилон», 2016

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без письменного соглашения с издателем запрещается.

К.А. Агирре Рохас (Carlos Antonio Aguirre Rojas)
(Национальный автономный университет Мехико, Мексика)

Память, контр-память и забвение: борьба за память в Мексике 2016 года

Хосе Мария Морелос в конце своего произведения «Чувства нации», три года спустя после началось движение за независимость Мексики в 1810 г., предложил каждый год отмечать 16 сентября как День начала борьбы за независимость, считая его моментом, с которого началась великая борьба, которая тогда только начиналась. Тогда еще было невозможно предвидеть победу, но уже начался процесс формирования одного из мифов, формирующих историческую память мексиканской нации.

Таким образом, Мексика лишь повторила процесс, который прошло большинство современных стран мира, в которых миф национальной идентичности всегда опирался на память о войне, будь то гражданская или война за независимость, как в случае с Францией и Французской революцией, Англии и Английской революции или США и ее революции – войны за независимость, среди прочего [См.: *Levi G.* La discusión histórica tiene consecuencias políticas. URL: http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/articulos/e-levi.htm].

Так как ясно, что все нации в мире являются историческим конструктом недавних времен, соответствующих исторической эпохе капитализма последних пяти веков [См.: *Anderson B.* Comunidades Imaginadas. México, 2007; *Guha R.* Dominance without hegemony. History and power in colonial India. Cambridge, 1997; *Chatterjee P.* La nación en tiempo heterogéneo. Buenos Aires, 2008; *Hobsbawm E.* Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, 1997]. Также ясно, что самоутверждения и легитимации, национальные образования всегда обретали и по сей день обретают ценность из манипуляций и реконструкций исторических событий, изобретая «основополагающие мифы» наций, предлагая специфические версии войн, сражений и исторических процессов, которые обращаются к войнам или сражениям как к неким «славным делам», из которых складывались нации, страны, идентичности «в проявлениях героизма и доблести» жителями неких территорий в борьбе и противостоянии, всегда завершавшимся победой, с «внутренними и внешними врагами», и эти «славные дела» в течение веков и десятилетий обогащались, обновлялись и расширялись, чтобы представить, защищать, освобождать, модернизировать или планировать перед лицом всего мира свою нацию или страну.

Один из важных параметров исторической конструкции наций – это создание исторической памяти о своих корнях, эволюции или траектории развития, о праздниках и коммеморациях, а также создание символов идентичности, мест ежедневного культа [см.: *Nora P.* Les lieux de memoire [7 vol.]. París, 1984-1992; Le magazine litteraire. No. 307. París, 1993; *Aguirre Rojas C.A.* La historia modernista francesa entre 1985 y 1995. Apunte introductorio // Diez años de historiografía modernista. Barcelona, 1997; *Samuel R.* Teatros de la Memoria. Valencia, 2009], основных ритуалов и освещение пантеона «героев» и «простых людей». Историческая память, хотя и покоится на основополагающих структурах в соответствии с историческим путем нации, постоянно подвержена процессу актуализации и переформулированию, все время пересматривается и интерпретируется в соответствии с обстоятельствами и потребностям исторического настоящего. Если классы и группы, господствующие в те или иные исторические периоды, прилагают усилия для некого идеологического консенсуса, легитимизирующего их господство, то кажется вполне очевидным, что механизмом создания данного консенсуса является манипуляция с доминирующей исторической памятью. Историческая память, изменяемая и приспосабливаемая к потребностям господствующих классов и групп, порой лишая ее центральных элементов, пересматривают предыдущие версии, добавляют к ней новые элементы, образы, детали, интерпретации в соответствии с историческими потребностями настоящего [см.: *Halbwachs M.* Les cadres sociaux de la mémoire. París, 1994; *Mansor d'Alessio M.* Memoria: leituras de M. Halbwachs e P. Nora // Revista Brasileira de história. Vol. XVIII. Num. 25/26. Sao Paulo, 1993].

Кроме того, для завершения общей картины, признаем, что помимо национальной «исторической памяти», обычно доминирующей и обобщенной на социальном уровне, несмотря на изменения, манипуляции и реконструкции, существуют разные виды альтернативной памяти, контр-память, доминирующая или – нет, но присутствующая и действующая в рамках культуры и коллективного воображаемого общества. Память в локальном измерении, в случайном своем существовании, или присутствующая в маргинальных сферах, хотя порой очень стойкая, содержит в себе традиции и воспоминания подчиненных классов, создавая «память рабочих» об их борьбе, победах и поражениях или «память крестьян», «народная память», которые не выполняют роль гегемонии как «официальная» или «национальная» память, связывающая все слои общества в стране, тем не менее они сохраняют воспоминания, традиции, исторические уроки, формирующие идентичность отдельных классов, народных групп, будь то крестьян или рабочих, или маргинализированных групп внутри нации, которая лишь в дискурсе представлена единой и однородной.

С другой стороны, за рамками этого очевидного конфликта, иногда латентного, а иногда явного, между господствующей исторической памятью и альтернативными ей остается факт, что эта память является не более чем одним из проявлений культуры, охватывающей все проявления жизни в стране, собственно исторический процесс, то есть является частью самой нации, или иными словами, социального пространства, в которой она существует. Для правильного понимания общей структуры исторической памяти, при всей ее реинтерпретации и трансформации в соответствии с потребностями настоящего, необходимо учитывать и эти иные памяти, различные альтернативные контр-памяти, что является контекстом, объясняющим существование нации на долгом протяжении, а также и изменения в ее содержании по ходу исторической конъюнктуры.

И речь идет только о пересмотре и противопоставлении исторической памяти в отношении собственно истории в ее конкретном контексте, что нам позволит различать реальные элементы от мифов этой памяти. Если эта историческая память изменяет через символы представления о датах событий, личностях, местах, событиях, фактах и исторических явлениях, то есть ясно, что данная символическая конверсия возможна лишь по мере возвеличивания, преувеличения и деформации этих исторических событий. В отличие от истории, которая сознательно претендует на объективность познания по мере возможностей прошлого и настоящего эволюции человечества, память обращена в основном к эмоции и аффекту, которые не являясь ни подлинным, ни точным знанием, всегда будет убедительной, запоминающейся и мобилизующей.

Тоже самое происходит с новыми элементами, которые всегда добавляются в содержание памяти, они объяснимы обстоятельствами и потребностями времени, что относится как памяти, так и контр-памяти, которые создает каждая нация в обретенных и уникальных культурно-исторических обстоятельствах [см.: Ayer. Núm. 32. Madrid, 1998; *Burke P.* La historia como memoria colectiva // Formas de historia cultural. Madrid, 2000].

Таким образом, понимая доминирующую и альтернативную памяти как специфические проявления национальной культуры в современных обществах, а значит, как всякое проявление культуры, как пространства спора и идеологической борьбы между различными группами, секторами, социальными классами, мы попытаемся показать различные формы и способы развития этой исторической памяти на протяжении истории Мексики, то есть памяти, которая несколько лет назад вновь стала полем битвы культуры вокруг проблем интерпретации нашего исторического прошлого, а следовательно, вокруг так называемой нашей «национальной идентичности».

И.Г. Адоньева
(Новосибирский государственный технический университет)

Эволюция историко-правового дискурса русской журнальной прессы во второй половине XIX – начале XX века

С середины XIX века в России шло постепенное вытеснение традиции правом как способом регулятора общественных отношений. Это совпало с возможностью публичного обсуждения актуальных проблем, происходивших, в том числе, на страницах «толстых» журналов, адресованных образованному обществу. Состояние российской юстиции в сочетании со сложными экономическими, политическими и социальными реалиями сделало правовую тематику востребованной интеллектуальной элитой и читателями, пытавшимися найти ориентиры в быстро меняющемся мире. В итоге сформировался правовой дискурс русской журнальной прессы, который включал в себя реальное и воображаемое отношение общества к праву. Серьезным его элементом стали историко-правовые сюжеты, что позволяет вести речь о специфическом историко-правовом дискурсе. Его складыванию способствовал ряд факторов:

1) значимость истории в целом как способа социальной и культурной самоидентификации и усиление ее популярности на протяжении рассматриваемого периода;

2) преобладание в юридической науке с 1830-х гг. исторического, а в дальнейшем государственно-исторического направления;

3) тремление найти наиболее оптимальную возможность взаимодействия государства и общества, а также организации сферы юстиции побуждало интеллектуалов обращаться к отечественной и европейской истории. Это порождало различные варианты интерпретации правовых явлений прошлого и их репрезентации.

Историко-правовой дискурс был академическим, в то время как обсуждение остальных юридических вопросов на страницах журнальной прессы происходило и в научном, и в публицистическом ключе. Осмысление прошлого отечественной и зарубежной юстиции представляло исследовательский интерес как для историков, так и для юристов, но при этом не относилось к кругу актуальных с точки зрения настоящего правовых вопросов. В разделах «Внутреннее обозрение», «Современная летопись», «За границей» и прочих интенсивно обсуждалось текущее отечественное и зарубежное законодательство. Также историко-правовая проблематика часто оказывалась вписана в более широкий контекст изучения прошлого (как в «Западной Европе в дофеодальную эпоху» Г.В. Вызин-

ского) или являлась введением к рассмотрению современного положения того или иного вопроса (например, статья в «Русском вестнике» будущего обвинителя по делу первомартовцев и министра юстиции Н.В. Муравьева, посвященная состоянию пенитенциарной системы). Авторов, которые являлись субъектами историко-правового дискурса, можно отнести к юридической интеллектуальной элите Российской империи, то есть кругу лиц, профессионально занятых научной работой или занимавших высокие посты по линии Министерства юстиции, для которых интеллектуальный труд являлся институализированной формой целесообразной умственной деятельности. Публицистическая деятельность рассматривалась ими как возможность улучшения своего материального положения и способ донести до образованного общества результаты исследований. Количественное выражение статей историко-правового содержания в «толстых» журналах представлено в таблице.

Таблица

Статьи историко-правового содержания
в русских ежемесячниках (1856–1905 гг.)*

Журнал, годы издания	Тематика	
	История российского права	История зарубежного права
«Русский вестник» (1856–1906)	13	9
«Русское обозрение» (1890–1898)	3	0
«Вестник Европы» (1866–1918)	13	10
«Русская мысль» (1880–1918)	9	3
«Русское богатство» (1880–1918)	0	0
«Северный вестник» (1885–1989)	8	2
«Мир Божий» (1892–1906)	1	4

*Подсчитано автором на основании сплошного просмотра указанных изданий за 1856–1905 гг. Данные представлены в абсолютных величинах

Максимальное количество статей, посвященных истории права, присутствует в «Русском вестнике», причем их подавляющее большинство вышло в «либеральный» период 1856–1862 гг. Это

связано с интенсивным обсуждением будущей судебной реформы, стремлением сравнить развитие юстиции России и европейских стран, главным образом Англии и Франции. М.Н. Катков привлекал в свой журнал преподавателей Московского университета, в том числе и после «консервативного поворота» в направлении издания. Также редактор сохранил свой интерес к государственному строю Англии: в 1860–1870-е гг. неоднократно выходили статьи, посвященные истории парламентаризма. В «Русском обозрении» наоборот, практически отсутствуют статьи историко-правовой направленности. Это связано с особенностями авторского корпуса, в котором почти не было юристов, и временем существования журнала. В последнее десятилетие XIX века историко-правовые сюжеты не были настолько востребованы читательской аудиторией.

В либеральных и либерально-народнических изданиях авторы обращались к конкретным правовым проблемам прошлого. Таким был цикл статей И.И. Дитятина в «Русской мысли», посвященный истории городского самоуправления России с XVI века, или представленный разными авторами в «Вестнике Европы» анализ деятельности екатерининской комиссии. Внимание к истории европейского права начинает выражаться не столько в изучении его институтов, сколько в представлении доктрин западных юристов. Кроме того, большое значение приобретает публикация обширных рецензий на историко-правовые труды, которые имели самостоятельную научную ценность. Например, в «Северном вестнике» практически все статьи, посвященные прошлому отечественной и зарубежной юстиции, выполнены именно в этом жанре. При этом, в 1898 г. в журнале был опубликован труд немецкого юриста Р. Штаммлера «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории». В «Русском богатстве» историко-правовая тематика не была представлена вовсе. Косвенно это можно связать с большим вниманием издания к современным для читательской аудитории социально-экономическим вопросам.

В «Мире Божьем», имевшем репутацию марксистского издания, историко-правовые сюжеты были большей частью вписаны в публикуемые по главам масштабные исторические работы (например, «Общественно-исторические очерки» К. Каутского, «Общество, государство и культура на Западе в XVI века» Р. Виппера). Их авторы не являлись профессиональными юристами, имевшими, к тому же, совершенно различные идейные позиции. Это сочетается с тем, что практически весь юридический дискурс издания был публицистическим с серьезным вниманием к рабочему законодательству и правовым аспектам женского движения. Такие вопросы, по мнению авторов, были важны для настоящего и будущего, поэтому,

пути их разрешения искали в новациях, а не следовании традиции. В связи с этим, в журнале не нашлось места для детального анализа государственно-правового развития России и Европы.

На историко-правовой дискурс русской журнальной прессы оказывали влияние следующие факторы. Во-первых, это состояние системы юстиции империи и ее социально-экономическое положение в целом. На этапе обсуждения судебной реформы обращение к прошлому было вызвано желанием интеллектуалов обеспечить преемственность и/или найти наиболее оптимальную модель организации судебной сферы. Данные обстоятельства стали причиной и интереса читателей к истории права. После судебной реформы 1864 г. гораздо более существенными для жителей империи стали вопросы функционирования органов правосудия и правопорядка. Появлялись и развивались новые отрасли права. Это привело к тому, что с конца 1860-х гг. историко-правовые публикации постепенно вытеснялись со страниц «толстых» журналов. Во-вторых, влияние оказывали идейно-политические ориентиры издания. Журналы, явно или неявно отстаивавшие либеральные ценности, не могли не обращать внимание на правовые аспекты взаимодействия государства и общества в прошлом, стремясь доказать возможность успешного развития России при условии приведения законодательства в соответствие с потребностями общества. Для народнических и марксистских изданий историко-правовые сюжеты не играли существенной роли в связи с нацеленностью авторов и читателей на разрешение современных проблем, аналогов которых в прошлом найти было невозможно.

Л.Б. Алаев
(Институт востоковедения РАН, Москва)

Народ без времени: индусское отношение к исторической памяти

Индусы не стремились фиксировать исторические события. На всем протяжении «домусульманской» индийской истории (с XIII–XI веков до н.э. до XII–XIII веков н.э.) в Индии не составлялись летописи, хроники и т.п. Вся религиозно-философская, дидактическая и художественная литература древности и раннего средневековья не фиксирована ни во времени, ни в пространстве.

«Отсутствие истории» (в двух смыслах – как отсутствие историописаний, так и неизвестность истории как процесса) у индийских народов замечено уже давно. Еще в начале XI века аль-Бируни отмечал, что индийцы относятся «легкомысленно к последователь-

ности событий», «беспечны» «к хронологическому порядку правления своих царей» и потому вынуждены «прибегать к созданию легенд» [*Бируни, Абу Рейхан*. Индия. М., 1995. С. 360].

Так, без истории, Индия вошла и в европейскую мысль Нового времени. Г.В.Ф. Гегель был уверен, что у Индии «нет истории» [*Гегель Ф.* Философия истории // *Гегель Ф.* Соч.: в 14 т. М.; Л., 1935. Т. VIII. С. 59, 153-155]. К. Маркс фактически цитирует его: «Истории индийского общества нет, по крайней мере, нам она неизвестна» [*Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч.: в 50 т. М., 1957. Т. 9. С. 224]. Трудно упрекать этих мыслителей в том, что они не видели эволюции индийского общества в условиях, когда сама индийская культура стремилась казаться совершенно неизменной. Индийцы (именно индусы, т.е. последователи индуизма) демонстрировали отсутствие исторического сознания.

Вводившиеся в разных концах Индии эры, правившие династии, их столицы, а также храмы вскоре забывались. Вместе с тем, знание об эпических (мифологических) событиях, большей частью передававшееся изустно, сохранялось и распространялось. До сих пор мифологическая история более значима для индусов, чем реальная.

Нет хроник, летописей, исторических сочинений типа мусульманских *тарихов*. Нет переписей типа Книги страшного суда или Писцовых книг. Вариантом актового материала были дарственные надписи, но индусы разучились читать надписи, оставленные их предками. Кроме того, это были документы особого рода, которые не стремились придерживаться истины [Подробнее см.: *Алаев Л.Б.* Индийские средневековые дарственные грамоты как ресурс нормативной информации // Роль информации в формировании и развитии социума в историческом прошлом. М., 2004. С.147-158; *Его же.* О методике содержательного анализа индийской эпиграфики // Теория и методы исследования восточной эпиграфики. М., 2006. С. 6-29]. Не было историописателей типа Геродота, Сыма Цяня или Нестора. О зверствах мусульманских завоевателей индусы узнали из мусульманских персоязычных хроник, переведенных британцами на английский язык.

Индусы получили как национальных героев, которыми они сейчас гордятся, так и врагов, которых принято ненавидеть, из чужих рук.

Древнюю историю Индии трудно изучать, потому что имеющиеся памятники не датированы. Это результат не просто невнимания к датировке или к хронологии. Они не датированы принципиально, потому что священны и сообщают не о преходящих событиях или идеях, а о «вечной» истине, которую мудрецы вовсе не «открыли», а «услышали». Эти тексты существуют в вечности, поэтому датировать их как-то даже неприлично, если употребить наше выражение – богохульно. Это десакрализация текста.

Раннесредневековую историю Индии ученые восстанавливают в основном по надписям на камне или на медных табличках. Но они либо не датированы, либо датированы годами правления того или иного правителя, который правил неизвестно когда, или же годами некоей эры, которая когда-то существовала, а затем была забыта. На протяжении средних веков в разных частях страны основаны и забыты 15 (насколько мне известно) разнообразных летоисчислений.

Нельзя сказать, что индийцы отличались беспамятностью. Более того, можно утверждать, что они обладали исключительной памятью на то, что они хотели запомнить. Веды (*самхиты*), многочисленные комментарии к ним (*араньяки, брахманы, упанишады*), передавались **без искажений** (!) из уст в уста **в течение тысячелетия**! Их уже не понимали сами брахманы, но значение имел не столько текст (*контент*, как мы сегодня бы сказали), но и само звучание слов.

Комментаторская литература – это само по себе удивительное явление. Комментаторы и в VII, и в X, и в XVI, и в XVIII веках, раз за разом разъясняя слушателям не совсем понятные *шлоки* (стихи) священных книг, старались избежать любых примет времени. Они жили в бесконечном времени, так же, как и комментируемые ими тексты.

У индийцев были свои «исторические сочинения», *пураны* (можно перевести как «древний», «первоначальный») и *итихасы* («именно так и было»). *Итихасы* – рассказы о деяниях древних мифологических героев, эпос. Самыми известными из *итихас* являются эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна. В современном хинди *итихаса* означает «история» в обоих значениях этого слова: как процесс и как изучение этого процесса, но также легенды и мифы, что само по себе говорит об индийском понимании истории.

Пураны же представляют собой сборники, компендиумы, компиляции разнообразных текстов, которые почитаются, как «старинные», хотя по большей части составлены в I тысяч. н.э. или даже позже. В числе иных текстов в них включаются списки царей двух кшатрийских династий – произошедших от Солнца и Луны, причем перечисляются не только будто бы правившие некогда цари, но и те, которые будут править – согласно пророчествам древних мудрецов. Списки более чем лаконичны: это только имена и числа лет правления каждого царя. Если сложить годы правления всех царей, то получится, что династии эти начали править много тысяч лет тому назад.

Специалисты, не желающие признавать отсутствие исторического мышления у индусов, полагают, что в пуранах содержатся также и реальные исторические сведения, которые нужно просто вышелушить из мифологической оболочки. Они ссылаются также на героические поэмы, составлявшиеся в честь некоторых средневековых

царей. Конечно, реальные события в них отражены, но, чтобы это установить, надо знать историю страны по другим источникам.

Образованные индийцы попадают в положение нелегкого выбора. Они разрываются между, с одной стороны, убеждением в уникальности индийской культуры (и ее величии, конечно), а с другой стороны, стремлением доказать, что в Индии все всегда было «как у всех». Раз у других народов было и есть историческое мышление, значит, надо доказать, что оно было и у индусов. Нет хроник и летописей? Значит, они были, но потом по разным причинам пропали. Или же не пропали, и их просто надо отыскать.

В сознании индусов мифология и история не разделяются. Легендарные события, описанные в эпических поэмах, гораздо понятнее и ближе им, чем исторические события, действительно произошедшие в истории.

Цивилизационные особенности того или иного общества надо признавать. Нельзя оспорить, что индийцы **не интересовались** своей историей до тех пор, пока не появилось национальное сознание. В Индии не все было «как у всех». В Индии существовала уникальная кастовая система, господствовало уникальное кастовое сознание. И специфическое отношение к истории – это не в «недостаток» индийского взгляда на мир, а в его особенность.

Индийская интеллигенция в свое время получила серьезную инъекцию науки в ее европейском понимании. Были взращены поколения историков, освоивших принципы объективного изучения источников. Но в течение независимого существования страны происходит постепенное размывание наследия, полученного от западной науки. Историография и мифология снова сливаются. В школах уже преподают некий винегрет из исторических фактов и легенд. Создается, по словам самих индийцев, «мифистория» (mhistory).

Сращенность истории и мифа в Индии, может быть, особенно ярко выражена и особенно ярко демонстрирует беспомощность науки перед силой воображения. Но в принципе ничего необычного в этом феномене нет. Справедливо сказано, что без истории нет нации. Но никто не сказал, что эта история должна быть правдивой. Она может быть и сплошь мифологичной, если **такая** история данную нацию устраивает.

Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришина
(Челябинский государственный университет)

Национальные интенции в диссертациях российских историков XIX – начала XX века: предварительные наблюдения*

Формирование профессиональной исторической науки с начала XIX века сопровождалось складыванием нового для научной сферы России явления, обозначаемого понятием «диссертационная культура». Новый вид научного исследования – диссертация, ориентированный на принципы научной аргументации выдвигаемых в квалификационных работах идей, способствовал формированию критического типа мышления историка, нацеленного на достижение научной истины. Научная практика подготовки и защиты диссертационных работ явилась в истории исторического знания одним из значимых факторов, содействовавших возникновению нового стиля историописания и создания научных произведений монографического вида. Критический нарратив нового типа исследований постепенно аккумулировал творческую энергию противостояния доминировавшей в XVIII – первой трети XIX века традиции создания исторических трудов, формирующей, по определению Г.П. Федотова, «национальный образ России в большом стиле» (он имел в виду «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина) [*Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. СПб., 1991. Т. 1. С. 330]. В современной историографии подобный стиль историописания трактуется как выражение социально ориентированного знания, целеустремленного к созданию национально-государственного нарратива [см.: *Маловичко С.И.* Национально-государственный нарратив в структуре национальной истории долгого Девятнадцатого века // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 83-119].

Появление диссертаций как особого вида научных произведений упрочивало иную традицию историописания, обозначаемую в современной историографической лексике как научно ориентированное знание. Однако строгость научного нарратива, не исключала присутствия в диссертационных трудах явно или неявно выраженного интереса к историко-национальной специфике. В пределах предлагаемого выступления ограничимся одним вопросом: насколько актуальными для авторов диссертаций «после Карамзина» оставались «большой стиль» и обращение к проблемам государственно-национальной истории.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-00264.

Из общего числа диссертаций по историческим наукам, защищенных во всех российских университетах с 1813 по 1919 гг. (по нашим предварительным данным – 282), по специальности «русская история» было представлено 136 (40 докторских, 96 магистерских). Они составили 48,2 % от общего числа «исторических» диссертаций.

Представление о тенденциях проблемно-хронологического выбора тематики диссертаций может дать полученная нами статистическая информация о диссертационных трудах историков, защищенных в Московском и Петербургском университетах по русской истории. Из 83 таковых диссертаций в Московском университете было защищено 40 (для сравнения: по всеобщей истории – 30), в Петербургском университете– 43 (по всеобщей истории – 50).

Ограничимся некоторыми обобщениями полученной аналитической и статистической информации. Если авторы диссертаций первой трети XIX века раскрывая историографическую картину состояния разработок русской истории, все еще определяли перспективы разработки «большой» национальной истории (наиболее характерна докторская диссертация Н.Г. Устрялова), то с середины XIX века наметились иные тенденции. Во-первых, наблюдается стремление к созданию проблемно ориентированных диссертаций, что в большинстве случаев существенно сужало (но не исключало полностью) широкие хронологические рамки квалификационных исследований. Имелись определенные отличия в проблемно-тематическом подходе и хронологическом выборе диссертантов-москвичей и петербуржцев. Для Московского университета характерным является стремление авторов диссертаций выйти за пределы традиционного интереса к русскому средневековью и обратиться к изучению периода XVIII века как эпохи слабо разработанной, но с позиций критико-методологического подхода принципиально важной для понимания проблем современности. Вместе с тем, многие из соискателей ученых степеней именно в Московском университете отдавали предпочтение изучению того или иного явления в рамках традиционного интереса к широкой хронологической ретроспекции (например, в докторских диссертациях С.М. Соловьева и В.О. Ключевского).

Диссертанты-петербуржцы тяготели к изучению древнего периода русской истории. Одновременно для них более типична была ориентация на ограниченный хронологический диапазон, что является, на наш взгляд, признаком стремления к монографичности. Наиболее последовательным выразителем локально-хронологического подхода, ориентированного на выявление историко-национального своеобразия, выступил А.С. Лаппо-Данилевский, специально обосновавший сделанный им выбор XVII века как периода «наиболее резкого развития специфических особенностей» изучаемого типа националь-

но-государственной истории. Поисками исторических основ формирования «национальных черт» российского государственного типа он обосновывал «глубокий теоретический интерес» именно к этой эпохе. Она позволяла представить особенности «великорусской национальности», регулируемой государством, в том числе и при помощи «репартиционной системы» налогообложения, являющейся, по его мнению, специфическим средством усиления как централизации, так и национальной консолидации [*Лаппо-Данилевский А.С.* Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890. С. III-V; 503-504]. Социально-национальный тренд выстраивал в докторской диссертации и С.Ф. Платонов, сосредоточивший, по его признанию, внимание на «изображении деятельности руководивших общественною жизнью кругов и на характеристике массовых движений» в условиях разрушения государственности в Смутное время [*Платонов С.Ф.* Автобиографическая записка // Академическое дело. 1929–1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. С. 272].

Ориентация на монографический подход сопровождалась вторым замеченным изменением: зарождается процесс диверсификации проблематики. Из совокупности диссертаций двух университетов по русской истории выделяются небольшие группы работ, нацеленные на изучение экономических аспектов (8,4%), отдельных социальных стратификаций (крестьянство, горожане) (4,8%), истории русских княжеств (4,8%);социокультурных процессов: системы образования, идейных движений и неформальных обществ (4,8%), церкви и религиозных движений (6%), проблем колонизационного освоения российских территорий (3,6%).

Заметную группу составляют диссертации, закладывавшие основы новых дисциплинарных областей российской истории: источниковедения, историографии, вспомогательных исторических дисциплин (15,8%).В этой группе диссертации нередко становились научной формой выражения инновационных идей, что особенно характерно для диссертантов-«русистов» Петербургского университета, ставших зачинателями методологического интереса к источниковедческой основе исторического исследования. Маркером этой тенденции явилась диссертация К.Н. Бестужева-Рюмина. Последовательным выражением петербургской линии методологии изучения источников выступают, в частности, и обе диссертации А.Е. Преснякова. Источниковедческая тематика историков-петербуржцев покоилась на убеждении, что источники русской истории составляли не просто комплексы документальных свидетельств, а представляли национальное наследие страны. Тема источника оказывалась в поле актуализации социально значимой проблемы национальной идентичности.

Вместе с тем следует обратить внимание, что значительная доля диссертационных работ (51,8%), так или иначе, тяготела к теме истории российского государства. Она была представлена такими сюжетами как история государственных институций и их реформирования, социального структурирования государственной системы и ее финансово-экономического состояния, военно-политического устройства и внешнеполитических аспектов истории России, наконец – историей отдельных царствований. Подчеркнем, что обоснование проблематики диссертаций во второй половине XIX века осуществлялось в русле обновляемого научного нарратива. К примеру, акцентуация П.Н. Милюковым в магистерской диссертации изучения «материальной стороны исторического процесса», включала по его версии различные стороны процесса реформирования государства и общества – финансово-экономическую, социальную, институциональную историю [*Милюков П.Н.* Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1892. С. XI-XII]. Это тот минимальный диапазон проблематики, на которую он ориентировал ученых-современников. Подобная позиция в сочетании с критическим ракурсом интерпретационного анализа социально-политических возможностей монархической формы российской государственности характерна для диссертационных исследований основной группы представителей школы Ключевского. Концептуальные версии П.Н. Милюкова, М.М. Богословского, А.А. Кизеветтера, Ю.В. Готье и др. свидетельствуют о стремлении авторов подчеркнуть вызовы модернизации, актуальные для российского общества рубежа XIX–XX веков, и наличии у них сомнений в историческом потенциале российского государства для планомерного его преобразования по европейскому образцу.

История государства в диссертациях рубежа XIX–XX веков уже не мыслилась без исследований социально-экономических аспектов российской истории. Создатели диссертаций внедряли в науку мысль, что национальное являло собой тесный сплав государственных институтов и социально-культурного субстрата как носителя основных тенденций национальной истории.

Е.В. Алексеева
(Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Европеизация России в произведениях Н.А. Некрасова*

Разнообразные аспекты взаимодействия истории и литературы (методологические, содержательные, источниковедческие) активно изучаются в современной историографии, в том числе, региональной. Для историка большой интерес представляет проблема присутствия в художественной литературе рефлексий о крупных исторических явлениях, сменяющихся эпохах, общественных трансформациях. К таким масштабным феноменам относится модернизация – переход от традиционного, патриархального, аграрного общества к современному, индустриальному, рациональному, городскому. Модернизационные и вестернизационные процессы многогранны, их рефлексия в мировой и российской литературе являет собой практически непочатый край как объект изучения для историков.

Творческое наследие Н.А. Некрасова изучалось глубоко и масштабно, но в исследованиях преобладал литературоведческий интерес и революционно-демократический подход. В рамках исследования делается попытка очертить круг исторических перемен, происходивших в России под влиянием европейских инноваций и запечатленных в творчестве Некрасова 1840–1870-х гг. Инновации распространяясь на территорию Российской империи с Запада, появлялись, прежде всего, в столице и крупных городах и охватывали самые разнообразные сферы жизни: технику, транспорт, промышленное производство, городскую инфраструктуру, язык, моду, искусство и культуру в целом. В водевиле «Феоклист Онуфрич Боб, или муж не в своей тарелке» (1841 г.), других произведениях этого периода Н.А. Некрасов характеризует Петербург как город европейской культуры.

В строках названной пьесы отражен не только культурный уровень столицы, но и технический прогресс. О паровозе, ходившем между Петербургом и Павловском по первой в России Царскосельской железной дороге, открытой в 1838 г., герой отзывается как о «чудовой штуке». Впечатления о железной дороге находим и в стихотворении «Провинциальный подьячий в Петербурге» (1840).

* Исследование выполнено в рамках реализации гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации. (Лаборатория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор № 14.A12.31.0004 от 26.06.2013 г.

В 1840-е гг. кардинально менялся не только способ передвижения по русским просторам, но и облик столицы. «Трубой какой-то внутренней На Невский из земли Светящий до заутренней Газ немцы провели…». Из некрасовских «Записок петербургского жителя А.Ф. Белопяткина» (1843–1845 гг.) узнаем о дальнейшем распространении инновации – в лавки Гостиного двора. Очевиден восторг российских обывателей усовершенствованием городской жизни – сумрачная северная столица не только освещается, но и «просвещается». Обращает на себя внимание прямая связь технических новинок с иностранными специалистами, «немцами». В стихотворении 1840 г. говорится о появлении в столице фотографических изображений: «На Невском у механика Казал мне кум Антип Картины, в виде пряника, – То есть – дагерротип. Божуся вам сурьезно я: Их солнышко печет; Ну, штука прекурьезная: Немецкий все расчет!».

В рассматриваемом контексте закономерно и восхищение появлением одежды, сочетающей в себе моду и хитроумную технологию. В универсальном английском магазине (фирма Никольс и Плинке) в Петербурге на углу Невского проспекта и Большой Морской, Феоклист Онуфрич Боб купил новинку – пальто, прорезиненное каучуком – «американской смолой». Водевилю свойственна ирония, смежная с сатирическим подтекстом. В словах автора одновременно выражено и восхищение невиданной одеждой – макинтошем, и удивление, и пренебрежение новой модой. При этом ясно звучит, с одной стороны, стремление обособиться от чужого, которое представляется нелепым, странным, а с другой, «заграничному» приписываются качества превосходства над отечественным. В некрасовских строках отражается устойчивый русский «комплекс неполноценности» перед иностранным: восхищение и порицание одновременно. В описании новинки поэт соединяет оценку модной вещи с характеристиками общества, в котором она была создана и получила широкое распространение – эластичность «рифмуется» с западным конформизмом.

Менялся не только облик города, но и его экономический фундамент и социальный состав – на окраинах задымили фабрики. В 1840 г. устами провинциального подьячего в Петербурге Н.А. Некрасов восклицал: «Как все переменилося! Мне Питер стал чужой; Все новое явилося, Чуть пахнет стариной!».

Если в раннем творчестве поэт талантливо фиксировал происходящее, то проникнувшись идеей Белинского «не только наблюдать, но и судить», в зрелых произведениях Некрасов становится глубоко социальным и гражданственным. Он не только великолепно рифмует свои наблюдения, но оценивает события как проницательный и неравнодушный современник, чьи суждения могут приниматься в рас-

чет историками не только фактографически, но и концептуально. Уже не столько восхищают и удивляют поэта европейские технические новшества (распространяясь за пределы столичного Петербурга, все прочнее врастают они в российскую почву), сколько подвергается оценке человеческая цена этого прогресса («Плач детей», 1860), «Железная дорога», 1864 г.). Неизменным остается лишь представление о чужеродности инновации. Железная дорога называется «чугункой бусурманской», «немецкие специалисты» выполняют не ломовую, а квалифицированную работу по ее созданию.

Из многообразия поднимаемых тем в главном произведении Н.А. Некрасова эпической поэме «Кому на Руси жить хорошо» (1863–1876) выделим аспект, непосредственно связанный с оценкой наиболее заметных акторов модернизации – иностранцев и иностранного в целом, проявления нового в быту, повседневности, моде. Контекст упоминания чужеземных специалистов и иностранного в целом в поэме сугубо отрицательный. Даже старинный русский порок – пьянство – процветает (в том числе) в заведениях, названия которых определенно указывают на их иностранное происхождение (в ресторациях, штофных лавочках, ренсковых погребах). Крестьяне относятся к «немчуре» с ненавистью, не приемлют европейский расчет, хитрость, бездушие. Между тем, европейские нововведения проникают и в деревенскую среду, воздействуют на крестьянскую моду. Если кринолины вызывают в деревне смех, то такая инновация как цветной ситец и вовсе почитается зловредной. Злокачественность европейских обычаев распространяется и на здоровье. Причудливым образом переплетаясь с представлениями русских крестьян о престиже, болезнь, вызванная злоупотреблением европейскими виноградными винами – подагра – расценивается как знак принадлежности к высшему классу, несмотря на приносимые ею страдания. При этом русская культура всегда была открыта и восприимчива к приходящему извне, усваивая и адаптируя чужестранное, она обогащалась, синтезировала новое с уже накопленным опытом и создавала неповторимое очарование русской земли и духа. Восприняв православие из Византии, дворянский быт из европейских стран, включив в него ориентализмы (ставшие модными на Западе вследствие колониальной деятельности торговых европейских компаний), Россия, как в калейдоскопе, причудливо сочетала все эти разнородные элементы.

Творческое – поэтическое, прозаическое, публицистическое – наследие Н.А. Некрасова очень богато, охватывает как разнообразные аспекты современной ему жизни, так и события, отошедшие в историю (например, восстание декабристов). Хочется еще раз подчеркнуть мысль о потенциальной плодотворности союза истории и

литературы: историческое исследование, дополненное анализом художественного и публицистического творчества современников, позволяет полнее и ярче реконструировать изучаемые феномены прошлого, лучше понимать богатство и разнообразие российского исторического процесса.

Т.В. Алентьева
(Курский государственный университет)

Репрезентация прошлого в культурном пространстве США на примере национальных исторических парков

В прошлое невозможно вернуться. Но человечество не может не осознавать его постоянное незримое присутствие. Согласно концепции деконструкции и «метафизического присутствия» Ж. Дерриды, человечество имеет дело только с репрезентациями прошлого, поскольку его непосредственное присутствие невозможно. Возможно лишь попытаться воссоздать прошлое в образах, символах и мифах. Сделать присутствие прошлого визуальным помогают национальные исторические парки США. С помощью синтеза разных видов искусств они приближают посетителей к ушедшему времени, делают его более понятным, но не идентичным прошлому, поскольку опираются на язык символов и опосредованных представлений о прошлом.

Правомерным является вопрос: чему больше служат визуальные репрезентации истории в национальных исторических парках США: делают ли они ее, создавая некоторый доступный образ для широкой аудитории, инструментом политического воздействия, пропаганды или все-таки они сохраняют некоторую аутентичную основу исторического знания, способствуют демократизации истории, способствуют более широкому распространению представлений о прошлом?

Рассмотрим, как отражена история наиболее дискуссионного периода в истории США – братоубийственной Гражданской войне 1861–1865 гг., унесшей, по мнению американских историков около 1 млн человеческих жизней в национальных исторических парках. Лишь немногие события в истории Америки привлекли к себе так много внимания историков и любителей-энтузиастов, как гражданская война Севера и Юга. Почти каждая битва и сражение многократно и тщательно анализировались. Несколько научных и популярных журналов специализируются на изучении этого конфликта. Опубликованы более 800 историй полков, принимавших участие в гражданской войне, поток литературы о сражениях и генералах, в них участвовавших, кажется нескончаемым. Огромное количество информации

размещено в Интернете. Память о ней сохраняют многочисленные братские могилы, памятные знаки, обелиски и, военно-исторические парки поля сражений. Их создание началось фактически сразу же после окончания военных действий. Вначале они создавались, чтобы просто почтить память павших, особенно со стороны армии Союза.

Затем шло разделение памятников по линии Мейсона-Диксона, на Юге воздвигали памятники и мемориалы конфедератам, на Севере – солдатам-янки.

Типичный пример: столицы Союза и Конфедерации: Вашингтон и Ричмонд. Возле Капитолия в г. Вашингтоне есть мемориал, посвященный генералу У.С. Гранту, командовавшему войсками Севера, По всей столице США разбросаны памятники боевым офицерам федеральной армии – У. Шерману, Дж. Миду, Дж. Макклеллану, Ф. Шеридану и др. В столице бывшей Конфедерации – Ричмонде – существует аллея Конфедератов с особо величественным мемориалом президента КША – Дж. Дэвиса. Был восстановлен Белый дом Конфедерации, рядом открыт музей истории Конфедерации. Так зримо подчеркивался раскол нации. Но раны, нанесенные братоубийственной войной, были очень болезненны. И общество проникалось идеей, что необходимо примирение «серых», так во время войны называли сторонников независимости Юга и «синих», защищавших единство страны, нерушимость Союза штатов.

Эта эволюция наглядно прослеживается на самом известном мемориальном кладбище США – Арлингтонском военном кладбище в столице. До Гражданской войны здесь находилось поместье командующего вооруженными силами конфедератов – Р. Ли. В отместку южанам северяне стали хоронить здесь своих убитых, но впоследствии был сооружен мемориал, посвященный погибшим южанам. Также стали поступать в отношении важнейших полей сражений той войны, превращенных в военно-исторические парки. Действительно, трудно было отделить одних погибших от других, смерть как бы примирила их. Теперь восстанавливается дом и поместье Р.Ли, которые превращены в музей, что несомненно добавит популярности «проигранному делу» Юга.

Наиболее известный из военно-исторических парков – Геттисбергский. Он создавался вначале как мемориальное кладбище на частные пожертвования. С этим местом связана знаменитая «Геттисбергская речь» А. Линкольна, произнесенная им при его освящении. Эта речь является одним из самых блестящих его выступлений. Геттисбергское сражение во многих отношениях было переломным в ходе войны. 1–3 июля 1862 г. здесь решалась судьба Союза: удастся ли армии южан прорваться в северные штаты, или военные действия по-прежнему будут вестись на территории мятежных южных

штатов. В течение этих трех дней погибло около 53 тыс. чел. В 1864 г. была создана общественная организация – Ассоциация памяти Геттисбергской битвы. Сейчас Геттисбергский военно-исторический парк включает более 1300 монументов и памятных знаков. Здесь используются самые разные способы репрезентации прошлого: автобусные поездки по всему полю, посещение мемориалов отдельных Юга и Севера, экспозиции многочисленных музеев, включая панораму работы Филиппото и музей восковых фигур. Также чрезвычайно популярной является «живая история», в рамках которой воспроизводится военными реконструкторами само сражение и сцены повседневного военного быта середины 19 века.

Страшным напоминанием об ужасах войны является национальный исторический объект – Андерсонвилль. Это был концлагерь для военнопленных янки в Джорджии, который существовал всего 14 месяцев в конце войны. За это время более 45 тыс. солдат Союза прошло через его ворота. К моменту освобождения их насчитывалось 32 тыс. чел. Невозможно точно подсчитать, сколько узников погибло от плохих условий содержания, голода и болезней.

Гражданская война Севера и Юга закончилась подписанием капитуляции командующим армией южан Р. Ли 9 апреля 1865 г. в Аппоматоксе. Теперь здесь исторический парк, символизирующий не столько победу Севера над Югом, сколько их воссоединение и возрождение союза штатов.

Проблеме единства народа, преодоления расовой нетерпимости служит мемориал «Дух свободы» (Вашингтон), посвященный афроамериканцам, сражавшимся в армии Союза.

Репрезентация прошлого невозможна без пантеона национальных героев, к которому отнесен президент Линкольн, убитый сторонником южан, что придает ему ореол мученика. В центре Вашингтона на Национальной аллее был выстроен посвященный ему величественный мемориал. Он представляет собой классический вариант греческого дорического храма на высоком постаменте, окруженного 36 дорическими колоннами. Внутри – огромная мраморная статуя Линкольна высотой 5,8 м и весом в 175 тонн. Президент запечатлен в задумчивой позе, он сидит в кресле, опираясь на две колонны. Ежегодно мемориальный комплекс посещают более 6 млн человек со всего мира. Каждый год 12 февраля, в день рождения Линкольна, здесь проходят торжественные церемонии.

Визуализации исторического пространства служат различные мероприятия исторической реконструкции, проводимые в американских национальных исторических парках и посвященные событиям Гражданской войны. Они позволяют охватить самые широкие слои населения, помогают прививать чувство национальной гордости, пат-

риотизма, способствуют более глубокому познанию собственной истории. Этой же задаче служит проведение самых различных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и национальным праздникам, привлечение к пропаганде исторического прошлого активистов «живой истории». Они прекрасно служат задачам официальной пропаганды, инструментом политического воздействия и одновременно репрезентации исторического прошлого, создавая доступный образ для широкой аудитории, сохраняя определенную аутентичную основу исторического знания, способствуя демократизации истории, более широкому распространению представлений о прошлом.

В.А. Андреева
(Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь)

Славистика и советология в ФРГ (1949–1990 гг.): пересечение проблемных полей

В настоящее время в Германии продолжается развитие славистики как научного направления и комплекса знаний о славянских народах, становление которого обозначилось уже в эпоху Просвещения. При этом основные проблемные поля исследований в этой области связаны с изучением славянских языков и национальных литератур. Следует отметить, что именно лингвистическая и литературоведческая славистика, как правило, были и до наших дней, остаются центральными содержательными элементами деятельности кафедр славистики в ФРГ.

Переплетаясь с «остойропафоршунгом» (*изучением Восточной Европы*), а также другими региональными исследовательскими направлениями и обладая интердисциплинарным характером, в 1949–1990 гг. западногерманская славистика была также тесно связана с советологией и идеологически окрашенным «остфоршунгом» (*изучением Востока*). В период «холодной войны» и конкуренции социалистической и капиталистической систем изучение актуальных тенденций развития СССР с помощью исследования советской художественной литературы приобрело стратегически важное значение для ФРГ [См.: *Андреева В.А.* Западногерманская историография процессов в области литературы и литературной политики СССР (1949–1990) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. 2013. № 2. С. 65-69].

Следует отметить, что в Западной Германии после Второй мировой войны только у Мюнхенского университета имелась славистическая традиция. В связи с этим в течение 1940-х – 1980-х гг. в

23 ведущих университетах возникли кафедры славистики: в Геттингенском университете и Свободном университете Берлина (1948 г.), Кельнском университете (1949 г.), Гамбургском, Майнцском и Марбургском университетах (1952 г.), Боннском (1953 г.), Франкфуртском (1956 г.), Эрлангенском, Мюнстерском и Вюрцбургском университетах (1958 г.), Кильском и Саарбрюкенском университетах (1959 г.), Фрайбургском, Гиссенском и Тюбингенском университетах (1962 г.), а также университетах Бохума (1965 г.), Констанца (1966 г.), Маннгейма (1967 г.), Регенсбурга (1968 г.), Пассау (1976 г.), Бамберга (1978 г.) и Трира (1980 г.) [*Schmid O.* Ende und Neubeginn der Philologie. Perspektiven für die literaturwissenschaftliche Slavistik // Osteuropa. 2013. H. 2–3. S. 44].

В своей статье об «остфоршунге» в ФРГ, вышедшей в 1975 г., Х. Кениг отмечал, что вопрос о том, кто из исследователей относится к этому (советологическому) направлению, являлся спорным. Если среди ученых старшего поколения господствовало мнение о том, что слависты являются основными представителями «остфоршунга», то в 1970-е гг. уже историки считали себя в большей степени выразителями идей этого направления [*König H.* Ostforschung – Bilanz und Ausblick // Osteuropa. 1975. H. 8-9. S. 792]. Таким образом, вопрос об отнесении исследований западногерманских ученых-славистов к разряду советологических был неоднозначным. То же самое можно сказать и о работах представителей иных дисциплин.

На наш взгляд, лингвистическую славистику с трудом можно в полной мере отнести к «остфоршунгу» и советологии, однако литературоведческая славистика к этим направлениям относилась в значительно большей степени.

При этом связь западногерманской славистики с советологией в 1949–1990 гг. представляется бесспорной. Центральную ось в пересечении проблемных полей этих направлений представляет собой изучение художественной литературы СССР. Не располагая достаточным количеством достоверных материалов о Советском Союзе, наука ФРГ была призвана привлекать альтернативные источники информации для выявления актуальных тенденций политического и социально-экономического развития этого государства. Для этих целей кроме прочего детальному анализу подвергались произведения литературного творчества авторов из СССР. Как утверждает немецкий ученый Д. Байрау, изучение советской культуры и системы образования базировалось в Западной Германии скорее на любопытстве, чем страхе, травмах или фобиях, связанных с Советским Союзом [*Beyrau D.* Angst und Neugier. Die Sowjetunion in der historischen Forschung der Bundesrepublik während des Kalten Krieges // Osteuropa. 2013. H. 2–3. S. 226].

Если в конце 1940-х – начале 1950-х гг. западногерманские слависты исследовали преимущественно классические произведения русской литературы XIX – начала XX века, то с конца 1950-х гг. на университетских кафедрах славистики и в иных научных центрах культурологической советологии началась новая исследовательская фаза, характеризовавшаяся анализом не только классических, но и современных русскоязычных литературных произведений, в том числе соцреалистических. Это изменение представляло собой новый шаг в развитии западногерманской славистики [См.: *Eimermacher K.* Die Rezeptionsmechanismen russischer Prosa-Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland // Russische Literatur als deutsch-deutscher Brückenschlag (1945–1990): Beiträge einer Tagung an der Friedrich-Schiller-Univ. Jena, 26–27. März 2010 / Hrsg. v. C. Fischer. Jena: Friedrich-Schiller-Univ., Inst. für Slawistik, 2010. S. 44-51].

Советскую литературу изучали такие известные исследователи, как К. Аймермахер, Д. Байрау, Б. Боде, Г. Витте, Х. Гюнтер, В. Казак, К. Менерт, Ю. Рюле, Х. фон Сахно, П. Хюбнер, А. Штайнингер, Ю. Штридтер и В. Эггелинг. При этом далеко не все из них являлись сотрудниками кафедр славистики западногерманских университетов. В частности, из числа вышеуказанных лиц на кафедрах этого профиля в рассматриваемый период работали К. Аймермахер (Свободный университет Берлина / Университет Констанца / Рурский университет Бохума), Г. Витте (Рурский университет Бохума), В. Казак (Кельнский университет), Х. Гюнтер (Дюссельдорфский университет / Рурский университет Бохума / Билефельдский университет), Ю. Штридтер (Свободный университет Берлина / Университет Констанца) и В. Эггелинг (Рурский университет Бохума). Остальные исследователи сотрудничали с политологическими и историческими кафедрами либо иными научно-исследовательскими и издательскими организациями.

Пересечение проблемных полей славистики и советологии проявилось преимущественно в том, что западногерманские исследователи в своих трудах о советской литературе подвергали анализу взаимоотношения героев произведения преимущественно с проблемно-идеологической точки зрения. При этом зачастую осуществлялся лишь поверхностный анализ структурных составляющих рассматриваемого литературного произведения с точки зрения теории литературы. Кроме того, исследователей из ФРГ в значительной степени интересовало литературное творчество диссидентов, а также писателей, которые затрагивали в своих произведениях злободневные темы. Так, большой интерес вызывали направления бытовой, деревенской и военной литературы [См.: *Eimermacher K.* Kriegsliteratur // Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine

vergleichende Enzyklopädie: in 6 Bden. Bd. 3. Ideologie bis Leistung / Hrsg. v. C. D. Kernig. Freiburg [u.a.]: Herder, 1969. Sp. 1095].

Западногерманские исследователи рассматривали в своих трудах также принципы и практики литературного производства в СССР и особенности стиля (метода) «социалистический реализм» [См.: *Guski A.* Der sowjetische Roman als Massenlektüre. Thesen zur Rolle des Trivialen in der Prosa des sozialistischen Realismus // Literatur- und Sprachentwicklung in Osteuropa im 20. [zwanzigsten] Jahrhundert / Hrsg. v. E. Reissner. Berlin: Berlin-Verlag, 1982. S. 70–78; *Seemann K.-D.* Die Sowjetische Literaturpolitik seit Stalins Tod in historisches Sicht // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1965. Bd. 13. S. 40–64; *Günther H.* Die Verstaatlichung der Literatur: Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre. Stuttgart: Metzler, 1984]. При этом произведения советской художественной литературы, полностью соответствовавшие этому стилю, как правило, стигматизировались ими как искажающие действительность, эстетически малозначимые и выполненные по государственному или партийному заказу. Эта особенность также характерна для западногерманской культурологической советологии в целом и отчетливо проявляет тесную концептуальную взаимосвязь между славистикой и советологией.

Таким образом, в контексте «холодной войны» и идеологического противостояния Востока и Запада в ФРГ наблюдалось обширное пересечение проблемных полей двух исследовательских направлений – литературоведческой славистики и советологии. Центральной причиной этого феномена можно считать декларировавшийся западногерманскими советологами недостаток достоверных источников о политическом и социально-экономическом развитии СССР, что привело к привлечению альтернативных источников информации, в частности, советской художественной литературы. При этом рассмотрение литературных произведений авторов из Советского Союза было напрямую связано с подходами славистики, даже если не представляло собой глубокий структурный и проблемный анализ с точки зрения теории литературы. Несмотря на то, что дефиниция советологии как научного направления и определение возможной принадлежности к ней какой-либо дисциплины (дисциплин) были размыты и неоднозначны, можно утверждать, что именно славистика выступала в ФРГ одним из основных субстратов советологических исследований.

А.Б. Аникина
(Новосибирский государственный университет)

Память как матрица истории (концепция Поля Рикера)

Память может находится в совершенно разных позициях относительно истории: она может отождествляться с историей, быть объектом исследования истории или даже ее соперницей. При этом в новейшее время появилось такое явление как политика памяти, которое довольно часто конфликтует с историей. Французскому философу Полю Рикеру удалось взглянуть глубже этих противопоставлений, лежащих на поверхности. К проблемам истории он обратился при исследовании благой жизни «человека могущего» (***l'homme capable***) вместе с другими людьми. Именно поэтому, в результате обращения к проблемам личности и совместной жизни, Рикер поставил сначала вопрос о памяти и смог увидеть ее сложную, диалектическую связь с историей. В книге «Память, история, забвение» он так охарактеризовал суть этих отношений: «Моя книга представляет собой речь в защиту памяти как матрицы истории, в той мере, в какой она остается хранительницей проблематики репрезентативного отношения настоящего к прошлому» [*Рикер П.* Память, История, Забвение. М., 2004. С. 106].

Понятие матрицы очень удачно описывает отношения истории и памяти. С одной стороны, рассмотрение памяти в качестве матрицы истории ни в коем случае не предполагает их слияния, поглощения одного явления другим, или взаимозаменяемости. Это всегда два разных явления. Но с другой стороны, память задает истории определенные черты и особенности и очень важные механизмы действия. Основополагающие для истории онтологические и эпистемологические проблемы коренятся в памяти.

Важнейшая роль памяти как матрицы истории состоит именно в том, что память продолжает оставаться «хранительницей проблематики репрезентативного отношения настоящего к прошлому». Таким образом Рикер неустанно подчеркивает действительную невозможность заново увидеть то, что единожды было воспринято и противостоящую этому обстоятельству неустранимость факта того, что воспринятое действительно имело место. Даже если мы увидим фотографию или видеозапись прошлого события – это не будет полным повторением нашего восприятия этого события в тот момент, когда оно происходило. Но мы можем узнать на фотографии то, чему мы когда-то были свидетелями. Эту проблему история целиком наследует от памяти. Соответственно и для истории невозможно представить прошлое ***точно тем же самым***, каким оно когда-то было. И все-таки Рикер утверждает, что история может, как и полагал Ранке, показать

события «***такими, как***» они когда-то были на самом деле, поскольку история, как и память, является репрезентацией прошлого.

Следующие два аспекта отношений между историей и памятью определяются этой репрезентативной проблематикой «присутствия того, что отсутствует». Первый из них обуславливает то, что отвечает за «присутствие» и все-таки позволяет связать прошлое с настоящим – репрезентативный импульс памяти. Это мостик, который перекинут через пропасть безвозвратности, которая представляет собой второй аспект – отсутствие или неустранимость временной дистанции.

Утверждение возможности и необходимости репрезентативной связи между историей и прошлым есть ответ Рикера на скептицизм в отношении возможности исторического познания, проистекающий из проблемы референциальности исторического дискурса, поставленной Р. Бартом (см.: *Барт Р.* Дискурс истории // *Барт Р.* Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003). Анализируя труды признанных историков, Барт выдвинул тезис, что исторический дискурс – это всего лишь текст. Его референт более не существует, и достижим только в самом этом дискурсе.

Рикер же полагает, что референциальность необходимо присуща историческому тексту в силу его репрезентативных отношений с прошлым. Базовое значение, в котором Рикер использует понятие репрезентации как «присутствие того, что отсутствует» слишком широко. В книге «Память. История. Забвение» Рикер различные его аспекты и в частности способность памяти хранить образ отсутствующей вещи, осуществляя тем самым воспоминание как ре-презентацию ранее воспринятого. Это свойство сопоставимо со способностью документа или вещи хранить след прошедшего события. Однако, как и воспоминание, свидетельство попадает под подозрение в ненадежности, недостоверности. Но история имеет дело с социальной реальностью, в которой действуют люди, и чтобы о ней свидетельствовать «у нас нет ничего лучшего, чем память». Регистрация фактов в исторических источниках и регистрация фактов историками по этим источникам возможны благодаря репрезентативной способности памяти. Таким образом, согласно Рикеру, первая услуга, которую оказывает память истории, состоит в том, что она передает ей связь с реальностью через способность субъекта свидетельствовать.

Второй аспект репрезентативной проблематики, наследуемой историей от памяти есть то, что обусловливает собственно «отсутствие» – дистанция, пропасть между когда-то имевшим место и оставшимся нам образом-воспоминанием. Память хранит временную глубину, она является «хранительницей конечной конститутивной диалектики прошлости прошлого, а именно отношения между «больше не» … и «было» [*Рикер П.* Указ. соч. С. 648].

Тот эпистемологический разрыв – недостижимость прошлого, – который ставится в вину истории, заложен еще в памяти, от которой история получает его как наследство. С одной стороны, раз мы пользуемся памятью и не отказываемся от нее, несмотря на все возможные претензии, то нет нужды отказываться от истории. С другой стороны, это наследство ставит историю в позицию «вечно подозреваемого». Тем не менее, благодаря сохранению временной дистанции, возникает необходимость в усилиях для ее преодоления. По мнению Рикера именно это обстоятельство является залогом достоверности истории и позволяет отбить нападки, вытекающие из критики Р. Барта.

В этой точке память и история расходятся. Для памяти залогом преодоления временной дистанции является узнавание [см.: *Casey E.S.* Remembering. A Phenomenological Study, Bloomingtonet Indianapolis, 1987]. Мы ищем нужный нам образ, этот поиск сопровождается смутным ощущением, что мы приближаемся (или удаляемся) от предмета нашего поиска. Приближение сопровождается нарастающей радостью узнавания, пока нужный образ не вспыхнет в сознании, и мы не воскликнем «вот оно!»

Есть ли что-то подобное в истории? Нет, и не может быть. Поскольку феномен узнавания строится на том, что был некий первоначально воспринимаемый образ, первичное впечатление, по отношению к которому найденный образ узнается как «такой же». Но в случае с историей не было определенного первичного впечатления. Во многих случаях те или иные объекты, которые сегодня могут стать предметом исследований историка, в прошлом вообще не воспринимались как объекты, которые могут быть вписаны в какой-либо образ (различные институты, сексуальность, детство и т.п.). Но это не значит, что историку совсем не с чем сравнить полученный им образ прошлого. Во-первых, конечно, он должен сравнивать его с документами, но это не есть аналог узнавания. Во-вторых, с другими образами, полученными историками или другими исследователями. В-третьих, историк может и должен сравнивать этот образ с ним же самим, но постоянно обогащаемым новыми размышлениями, сомнениями и, по возможности, фактами.

Рикер предлагает два критерия, позволяющие отличить вымышленный образ от достоверного. Первый из них – это как раз сохранение дистанции, поскольку противоположное состояние образа – квазиприсутствие – есть один из маркеров галлюцинации. Наличие или отсутствие дистанции возможно отследить по наличию (или, напротив, отсутствию) затруднения и интеллектуального усилия, необходимого для проявления образа. Когда образ становится ясным и очевидным, когда для него не остается возможности быть иным, значит он более не представляет собой репрезентацию про-

шлого, но оказывается плодом исключительно нашей мысли. Второй критерий для различения репрезентативного образа от вымышленного — это непроизвольность, навязчивость воображаемого объекта, который оказывается, как бы само собой разумеющимся.

Таким образом, понятие дистанции отличает историка от очевидца, описывающего события по памяти. Очевидцу произошедшее доступно лишь с одной позиции, историк же имеет возможность сопоставить разные точки зрения. Незавершенность полученного им образа прошлого есть отражение множественности участников социального действия, множественности их отношений к этому действию. Естественно, что утверждение только одной возможной трактовки событий отсекает все прочие, а, следовательно, делает это описание заведомо недостоверным. Как утверждает Рикер: «То, что построения историка могут быть реконструкцией действительно произошедших событий, способна удостоверить только работа по пересмотру и переписыванию, проводимая историком в его кабинете» [Там же]. Эта работа превращает историю в научную наследницу памяти.

Ю.Е. Арнаутова
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

О формировании нового «образа Средневековья»

Образ исторической эпохи (Античность, Средние века, Просвещение, Современность (Moderne)) – понятие из репертуара истории памяти. Память – не хранилище единожды установленных фактов прошлого, а непрерывно функционирующее реконструирующее воображение. Она оперирует образами, которым мы приписываем некий набор смыслов и так соотносим историческое время с ментальными картинами определенным образом истолкованной истории. Они включают не все знание о прошлом, а общее представление об эпохе как о некой целостности. Инструментом отбора и интерпретации информации, которая будет составлять это «целое», является историческое сознание: оно само решает, что для общества в настоящий момент есть «история», что она для него значит и для чего ему нужна. Поэтому образ исторической эпохи можно определить, как упрощенное толкование прошлого из перспективы настоящего, тесно связанное с актуальными проблемами и потребностями «толкующего» общества.

С тех пор как в эпоху Просвещения историю перестали воспринимать как предзаданную метафизически, и из традиции живой памяти о прошлом (*ars memorativa*) она превратилась в современ-

ную науку, основанную на специфически историческом понимании времени с его идеей «прогресса», которая выводится из хода самой истории, образ Средневековья стал ключевым для методологии исследований. Современность (Moderne) «создала» себе «Средневековье» как своего рода точку отсчета от того «прошлого», с которым сравнивалось и по которому оценивалось «новое время» (т.е. настоящее и будущее). Это сравнение осуществлялось всякий раз по-новому, ведь прошлое не дает себя законсервировать в памяти, а постоянно опосредуется настоящим, а потому изменения в жизни общества неизбежно вызывают изменения в образе прошлого. Достаточно напомнить о «зачарованном Средневековье» романтиков (Новалиса, К.Ф. Шинкеля) или «темном Средневековье» Я. Бурхардта, о ностальгическом образе «искреннего Средневековья» как эпохе непосредственной религиозности и близости к природе английских прерафаэлитов или о «новом Средневековье» политического медиевализма XX века.

Сейчас, буквально на наших глазах, формируется совершенно новый «образ Средневековья». Об этом процессе однозначно сигнализируют заметные изменения в нашем историческом сознании, если понимать под ним внутреннюю установку по отношению к истории и ее «использование». Они проявляются, во-первых, в невероятно возросшем интересе к Средневековью (прежде всего в массовой культуре), которое стало «брендом», а во-вторых, в кардинальных изменениях способов репрезентации исторического знания, которая перестала ограничиваться только созданием текстов. Я имею в виду то, что условно можно назвать «игрой в Средневековье». Наполненные средневековыми реалиями компьютерные игры, книги и фильмы в жанре фэнтези, «средневековые рынки» и «рыцарские турниры» являют собой формы культурной памяти о Средневековье, которые еще ждут своего исследователя. Меня как медиевиста больше занимают масштабные архитектурные проекты с участием профессиональных ученых (археологов, архитекторов, медиевистов). Наиболее интересными представляются три: строительство средневекового замка XIII в. (Guédelon, Франция), рыцарского бурга (Burg Freisach, Австрия) и раннесредневекового монастыря по знаменитому санкт-галленскому плану IX века (проект Campus Galli, Германия).

Это рассчитанные на несколько десятилетий проекты, главная цель которых – не заполучить в итоге замок, крепость или монастырь как туристический аттракцион, а восстановить и проверить на практике знания и технологии, необходимые для подобного строительства, а также обрести новые, учась у строителей, восстанавливая материальную культуру и бытовые реалии жизни различных социальных групп средневекового общества. И это больше не «иг-

ра», а возглавляемая профессиональными учеными междисциплинарная исследовательская лаборатория, в которой все должно быть аутентично. Эвристический потенциал подобных проектов, особенно если учесть, что в них аккумулируется знание, прежде фрагментированное, трудно переоценить, а их характер можно определить, как исторический эксперимент, нацеленный на «познание прошлого» путем его «проживания». Ключевые слова здесь – «прожить» и «понять» Средневековье. Прожить – будучи вовлеченными в различные повседневные практики, которые сопутствуют строительству, потрудиться и пожить без привычных атрибутов современного быта, в «медленном времени», когда стройка ведется только из местных материалов, в теплое время года и при свете дня, когда весь труд – ручной, с использованием аутентичных инструментов и технологий, многие из которых нужно еще «открывать заново».

Размышляя о возможном содержании формирующегося «образа Средневековья», нельзя не провести одну историческую параллель. С середины XIX века в ряде европейских стран начинают достраивать незавершенные прежде готические соборы. Лучший пример – Кельнский собор (1842–1880) и развернувшиеся вокруг темы достройки дискуссии, в которых отразились и процесс поиска национальной идентичности в преддверии объединения Германии, и конфигурация политических сил революции 1848 г. Но тогда для общества был важен сам факт достройки, поэтому об аутентичных технологиях не заботились, недостающие детали просто додумывались. В этом всплеске интереса к готике можно усмотреть своего рода культурный оммаж тому «воображаемому Средневековью», каким оно виделось в контексте рефлексии современников о собственной эпохе, через призму тех политических и социальных проблем, которые обозначились по мере декорпорации общества и рационализации общественных отношений, индустриализации и технического прогресса. «Средневековые» здания символизировали навсегда утраченный мир единства, целостности, общности и порядка, словом, мир духовной и социальной гармонии. Какой мир будут символизировать нынешние стройки? И какие ценностные идеи современного общества заложены в поиске и отборе того «знания», которое составит «целое» сегодняшнего «образа Средневековья»?

За прошедшие два столетия историческая наука последовательно двигалась от изучения государства и политической истории к истории идей, истории социальных структур, потом возникли антропологически ориентированные направления – «историей» стал «человек в истории». Упомянутые научные проекты, как видно из разворачивающихся в их рамках дискуссий, концентрируются на точном воспроизведении технологий и реалий. Означает ли это, что

«мир технологий» становится для общества более значимым, чем «мир идей»? Отчасти да: я вижу в этом признак эпохи Postmoderne. В традиционном (т.е. политическом и социальном) смысле нынешний «образ Средневековья» достаточно деидеологизирован. Однако присущий ему интерес к «материальной» стороне дела отнюдь не заслоняет «человека в истории». Об этом свидетельствует стремление к максимальной аутентичности не только в том, что непосредственно касается строительства, но и в организации среды обитания, в которой оно функционирует: мы наблюдаем эксперимент по (вос)созданию «цельного» фрагмента «средневекового мира», где стройка соседствует с хозяйственными объектами и сопутствующими «производствами», а строители живут, «как тогда». Символом «Средневековья» стали, следовательно, не столько архитектурные объекты, сколько сам *процесс* их возведения. А значит, история репрезентируется путем «проживания» связанных с ним повседневных практик. И то знание (в комплексном процессе его добывания и применения, проживания и анализа), которое будет формировать нынешний «образ Средневековья», не ограничится материальной культурой. Это будет знание о «средневековом человеке», но не в прежних – политическом, идеологическом, социальном – аспектах, а, наверное, такое, в котором будут значимы такие категории, как «мироощущение», «ритм жизни», «восприятие среды обитания» и т.п. Я бы назвала этот новый образ «технологическим Средневековьем под знаком гармонии со средой», ибо на фоне всех глобальных проблем XXI века, когда учащаются экологические и технологические катастрофы, когда нас захлестывает поток информации и гнетет проблема убыстряющегося времени, именно эти идеи обретают характер ценностных.

Ж.М. Баженова
(Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток)

Роль исторической памяти в формировании идентичности окинавцев

Окинавцы (рюкюсцы) являются одной из групп этнических меньшинств Японии. Как и для любой этнической общности для окинавцев важнейшим компонентом идентичности служит историческая память. В нарративах окинавской идентичности присутствуют характерные для исторической памяти идеи «золотого века», связанные с существованием независимого Королевства Рюкю (1429–1879 гг.).

Становление и расцвет Королевства Рюкю связаны с его включением в систему вассально-даннических отношений, центром которой был Китай. Для маленького островного королевства вступление в эту систему означало не только доступ к огромному китайскому рынку, знаниям, технологиям, но и получение своего рода «официальной лицензии» на торговую деятельность в регионе. Торговые маршруты рюкюских купцов пролегали как в Китай, Корею и Японию, так и в Лусон, Сиам, Палембанг, Яву, Суматру, Малакку. Морская посредническая торговля стала основой благосостояния Рюкю, принося не только экономическое процветание, но и не менее значимые дивиденды в виде технологических и культурных заимствований, которые были успешно адаптированы на местной почве.

В настоящее время, находясь в рамках унитарного Японского государства, окинавцы стремятся найти источник для выстраивания новой позитивной окинавской идентичности. Факт существования в историческом прошлом суверенного государства сопрягается с идеей права на самоопределение, т.е. права принимать решения по всем вопросам, касающимся территории, морских вод и ресурсов Окинавы. А опыт успешного сотрудничества с государствами региона в период «Великой эры торговли и мореплавания» предлагается использовать для превращения префектуры в экономически автономный финансовый, торговый, транспортно-логистический хаб в АТР.

Новая и новейшая история Окинавы наполнены трансформациями и катаклизмами, ставшими следствием чужеродного вмешательства. В 1609 г. Королевство Рюкю было захвачено японским княжеством Сацума и оказалось в вассальной зависимости от Японии. В условиях самоизоляции страны князей Симадзу и бакуфу более всего интересовали внешние связи королевства, в первую очередь, с Китаем. Поэтому обеспечив жесткий контроль над внешнеторговой деятельностью и обложив Рюкю данью, они не только не возражали против сохранения сложившейся конфигурации взаимоотношений королевства с Китаем, но и всячески стремились скрыть факт своего вмешательства в дела государства, поддерживая иллюзию его независимости. Из опасения нарушить статус-кво князья Симадзу запрещали рюкюсцам следовать японским традициям и обычаям, была сохранена и значительная доля автономии королевства во внутренней политике. В целом во времена господства клана Сацума коренных трансформаций в языке, религиозной системе, традиционном укладе жизни островитян не произошло. Однако установление новых, более тесных связей с Японией усилило влияние японской культуры. Период второй половины XVII – XVIII века отмечен на Рюкю расцветом искусств: музыки, танцев, поэзии, и

ремесел: производство тканей, гончарных и лаковых изделий, ставших важными статьями экспорта королевства.

К концу XIX века успешно продвигавшаяся по пути модернизации Япония начала реализацию своей экспансионистской политики, первой жертвой которой стало Королевство Рюкю, включенное в состав Японского государства как префектура Окинава. Были проведены широкомасштабные политико-административные, социальные, экономические реформы, конечной целью которых являлось встраивание префектуры в рамки национального государства. Зачастую Окинава исключается из исследований японского колониализма по причине того, что она вошла в состав Японской империи как «домашняя» префектура. Однако применявшаяся в колониях программа ассимиляции *дока*, реализация которой подразумевала насильственное приведение ключевых культурных характеристик (языка, одежды, манер, ценностных ориентиров, санитарных норм и др.) в соответствии с японскими, «прошла апробацию» именно на Окинаве. Противоречивость японской ассимилятивной политики породила феномен двойственности окинавской идентичности. Наряду с идеей об общности происхождения, всячески подчеркивалась «окинавскость» местных жителей (отсутствие предприимчивости, трудолюбия, образования, гигиены), от которой им необходимо было избавиться, чтобы стать «настоящими» японцами. В свою очередь, окинавцы, наблюдая успехи Японии, надежды на модернизационное развитие связывали со скорейшей японизацией, поэтому идея полной ассимиляции нашла широкую поддержку.

Одной из самых «болевых точек» коллективной памяти окинавцев является трагедия Битвы за Окинаву. Одно из крупнейших сражений Тихоокеанской войны унесло жизни около трети местного населения, в основном нонкомбатантов, была разрушена почти вся инфраструктура о. Окинава. Абсолютное большинство выживших островитян оказалось в лагерях для интернированных. Битва за Окинаву вновь с особой яркостью выявила проблему двойственности окинавской идентичности. Окинавцы в ходе боев пострадали не только от пуль и бомбежек, но и от рук японских солдат. Гражданских лиц расстреливали по обвинениям в шпионаже за использование местного диалекта, заставляли совершать самоубийства, насильно выгоняли из убежищ.

После войны на Окинаве, как и на территории остальной Японии, был установлен американский оккупационный режим. Но если на территории «основной» Японии американские власти решили основные задачи по демилитаризации и демократизации страны (в результате начался экономический рост), то результатом оккупационного режима США на Окинаве, продлившегося до 1972 г., стали экономическое отставание префектуры и крайняя милитаризация ост-

ровов. Сегодня передача архипелага Рюкю в «доверительное управление» США расценивается на Окинаве как предательство со стороны Японии, которая в очередной раз пожертвовала Рюкю, чтобы отстоять собственный суверенитет и стратегические интересы. Однако в период американской оккупации в определении этнической идентичности окинавцев отмечается отчетливый крен в сторону японскости. Развернувшееся на архипелаге широкомасштабное Движение за возвращение проходило под лозунгом воссоединения с «землей отцов». Несмотря на активную политику деассимиляции окинавцев, проводимую американскими властями с целью «оторвать» Окинаву от Японии, островитяне отстаивали свою японскую идентичность, надеясь, что, вновь став гражданами Японии, они вернут возможность управлять собственной территорией, обретут все гражданские и общечеловеческие права, гарантированные Конституцией Японии, но самое главное, смогут избавиться от американского военного присутствия.

Однако после возвращения Окинавы под юрисдикцию Японии стало ясно, что местным жителям придется и дальше «оказывать гостеприимство» военным базам. Непропорциональное бремя, которое несет Окинава, принимая у себя львиную долю американских баз, расценивается как продолжение оккупации США, нарушение прав человека. Нарративы дискриминации и виктимизации служат мощным солидаризующим фактором в конструировании современной окинавской идентичности. В ее сердце лежит чувство исторической несправедливости и угнетения. В настоящее время практика конструирования окинавской идентичности актуализирует вопросы права на самоопределение и свободу выбора траектории политического, экономического и культурного развития своей территории.

Г.В. Бакус
(Негосударственный научно-исследовательский центр социально-трудовых и гуманитарных проблем «Тверьком», Тверь)

Искушение традицией: самоидентификация авторов ранних демонологических трактатов

Доклад посвящен авторским стратегиям обоснования правомерности преследования за злонамеренное колдовство (*maleficium*) через отсылку к предшествующей книжной традиции. Источниками выступают два ранних демонологических трактата: небезызвестный «Молот ведьм» (*Malleus Maleficarum*) Генриха Инститориса и его «текст-спутник» – сочинение-триалог *De Laniis et Phitonices Mulieribus Teutonice Hexen vel vncholden* Ульриха Молитора. Эти два

текста появились как результат преследований ведьм в 80-х гг. XV века и в хронологическом отношении являются второй попыткой теоретического осмысления злонамеренного колдовства (*maleficium*) как явления, после серии текстов, появившихся во второй четверти XV в., образующих т.н. «парадигму Лозанны» (Р. Кикхефер). Это обстоятельство представляет существенный исследовательский интерес с позиций интеллектуальной истории, поскольку здесь мы можем наблюдать появление второго поколения демонологических сочинений, что позволяет поставить вопрос о природе и механизмах *translatio studii* в этой специфической сфере ученой культуры позднего Средневековья. Интеллектуальные ориентиры, признаваемые и цитируемые авторитеты, присутствующие в интересующих нас текстах, позволяют поставить вопрос о природе идентификации авторами собственных построений в русле книжной традиции.

Авторы обоих сочинений обосновывают свои тезисы через отсылку к системе узнаваемых авторитетов, в число которых неизбежно попадают Священное Писание, отцы церкви (прежде всего - Августин) и некоторые популярные богословы (Фома Аквинский, Петр Дамиани). При беглом знакомстве с текстами *Malleus Maleficarum* и *De laniis et pithonicis mulieribus* создается впечатление общности подхода – и для Ульриха Молитора, и для Генриха Инститориса принципиальное значение имели, например, возможные толкования канона *Episcopi* и потому обсуждению этого документа уделялось большое внимание в обоих текстах. Некоторые индивидуальные предпочтения можно выявить уже по количеству упоминаний того или иного общепризнанного авторитета. Так, для Молитора очевидным ориентиром выступали труды Августина, тогда как для авторов «Молота ведьм» характерен более нейтральный подход с привлечением значительного количества сочинений известных богословов и ученых, среди которых есть место и Августину, и Фоме Аквинскому, а также – Исидору Севильскому, Альберту Великому и многим другим.

Признание авторитета интеллектуальной традиции в обоих текстах имеет свое наглядное выражение в виде обширного списка цитируемых сочинений, однако доминиканцы стремятся обозначить преемственность собственных взглядов на природу злонамеренного колдовства сложившейся ранее системе представлений о предосудительных с точки зрения Католической церкви магических практиках, тогда как Ульрих Молитор демонстрирует свою приверженность несколько иным ориентирам и, прежде всего, – античности. Вергилий, Апулей, Сократ упоминаются на страницах «О ланиях и женах-прорицательницах» в качестве самодостаточных и значимых авторитетов, свидетельства и суждения которых заслуживают самого пристального внимания – такой подход к проблеме резко контрастировал со

способами аргументации, традиционными для прочей демонологической литературы. Вместе с тем, явные стилистические предпочтения Ульриха Молитора в отношении классического латинского наследия (наиболее наглядное проявление этого – форма изложения и упомянутое выше внимание к ряду авторов) оказываются в значительной степени нивелированы за счет обильного использования традиционной средневековой литературы, а именно – Священного Писания, агиографии и памятников канонического права. В случае «Молота ведьм» авторская позиция его создателей заключалась в том, что они обязались в своем труде рассматривать все обстоятельства, которые соответствует доводам рассудка и не противоречат «традиционным писаниям» (*que rationi consona, et scripturarum traditionibus non dissona*). В итоге отбор материала, осуществлявшийся по двойному критерию, привел к появлению парадокса: с одной стороны – обвинительная риторика и ее аргументация, унаследованная от Средневековья, с другой – ожесточенная полемика с неназванными оппонентами, которые также отстаивали свою позицию аналогичными ссылками на традицию.

На фоне этого обширного цитирования *scripturarum traditionibus* особенно ярко выделяется специфическая «интеллектуальная дальнозоркость», а именно то, насколько мало внимания авторами обоих текстов уделяется своим предшественникам на поприще непосредственного осмысления злонамеренного колдовства (*maleficium*) из числа сочинений «парадигмы Лозанны». Ульрих Молитор не обращается вообще к ранее написанным текстам, тогда как «Молот ведьм» демонстрирует иную картину – в нем полностью отсутствуют упоминания всех сочинений 20-40-хх гг. XV века, кроме тех, что вышли из-под пера брата-доминиканца и популярного богослова Иоханнеса Нидера. Тексты последнего выступают источником для обширного цитирования в *Malleus Maleficarum*, причем значительные их фрагменты часто соседствуют с *experientia*, примерами из инквизиторского опыта Генриха Инститориса, порой порождая ощущение намеренного неразличения авторства «примеров» создателями более позднего текста.

Таким образом, апелляция к книжной традиции выступала средством самоидентификации авторов, описания преемственности взглядов, выступая в качестве стратеги защиты в случае возникновения полемики. Подобная идентичность носила во многом рукотворный характер и осуществлялась избирательно в соответствии со взглядами каждого из интеллектуалов, демонстрируя собой попытку «изобретения традиции» (Э. Хобсбаум), то есть конструирования вокруг новых реалий смысловых образований, позволяющих обосновать авторское видение проблемы через отсылку к признанным авторитетам даже в том случае если вновь обосновываемое вступал в логический конфликт с идеями интеллектуалов-предшественников.

Н.Н. Баранов
(Уральский федеральный университет,
Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Братья Гримм в исторической памяти немцев

Братья Гримм для немцев остаются важным «местом памяти». Их образ постоянно работал на формирование позитивной национальной идентичности и осознание преемственности в развитии немецкого общества, особенно под влиянием опыта катастрофических «разрывов» германской истории. Однако в их творчестве как ярких представителей эпохи романтизма проявлялись порой противоположные и даже взаимоисключающие черты – космополитизм и национализм, либерализм и консерватизм, стремление к конституционному государству и вера в силу монаршей власти.

Образ братьев Гримм в Германии послужил предметом своеобразного мифотворчества. Фактически каждое поколение и каждый политический режим создавали свой собственный образ Гриммов, который мог быть встроен в общий контекст официальной политической культуры и служить элементом легитимации власти.

Уже в германской империи началось прославление братьев Гримм. Самый значительный вклад в этот процесс внесли известный филолог-германист Август Расцманн и первый академический биограф братьев Вильгельм Шерер. Так оба брата, не расположенные к националистическому высокомерию патриоты, которые никогда не скрывали своего скепсиса по отношению к властным замашкам Пруссии и надеялись на создание охватывающей всех немцев империи со свободной конституцией, превратились в главных защитников Второго рейха. Им приписывали «оптимизм» и урапатриотизм, который был чужд их сдержанной и скорее скептической натуре. С тех пор они в глазах общества представали как образцовое олицетворение его представлений о самом себе: созерцательность, усердие и богобоязненность изнутри, но гигантизм, гениальность и героизм вовне.

Не удивительно, что Гриммы в 1930-х гг. стали воплощением «немецкого духа» и «немецкой сути», для национал-социалистов, а также их академических соратников и попутчиков. Расхожее толкование творческого наследия братьев Гримм вполне встраивалась в общую тенденцию подчеркивания «подлинной немецкой народности», которая стала преобладать в германистике уже за несколько десятков лет до захвата власти национал-социалистами. Научная программа масштабных исследований в сфере германистики, понимаемой как синтез языкознания, истории и права, которую обосновали оба брата,

использовалась для обоснования претензий на создание «подлинно немецкой науки» – всеохватной науки о «немецком духе». Патриотичные и в то же самое время универсальные интенции братьев Гримм упрощались и подгонялись под националистические и даже расистские идеи. Этим занимались пользовавшиеся хорошей репутацией исследователи (Вилл-Эрих Пойкерт, Вилли Бергер, Вильгельм Шооф). В произведениях братьев Гримм, у которых прежде всего речь шла о сохранении культурного и, в частности, языкового наследия немцев, подчеркивались националистическая лексика, экспансионистские претензии и расистское высокомерие.

После заката национал-социалистского господства в мае 1945 г. критическое рассмотрение немцами собственного прошлого неизбежно должно было затронуть также роль германистики в Третьем Рейхе. Дальше всего пошел в этом отношении западногерманский филолог Вальтер Белих, который считал, что этот академический предмет был с самого начала поражен «болезнью национализма». Однако в Боннской республике преобладающей оказалась другая тенденция: недавним ложным путям немецкой германистики противопоставлялись ее славные истоки. Начало этому положил Карл Цукмайер в 1948 г. в его книге о братьях Гримм. Автор, так же, как и многие его коллеги, оказавшиеся при нацистах в эмиграции, ощущал себя продолжателем традиции Гриммов: как и они, бежал от произвола властей и вернулся на родину, чтобы помочь в ее демократическом восстановлении средствами поэзии и германистики.

Жизнь братьев Гримм во имя немецкого языка стала основным официальным мотивом сохранения памяти о них в Федеративной республике. Именно благодаря этому аспекту своей деятельности они попали на обложку журнала «Шпигель» в мае 1961 г. по случаю окончания издания «Немецкого словаря». Понимание братьев Гримм как верных зову совести и гуманистически настроенных ученых легло в основу речи федерального президента Рихарда фон Вайцзекера 26 августа 1985 г. при открытии VII Международного конгресса германистов в Геттингене. Однако деятельность Гриммов в качестве историков права и либеральных политиков практически игнорировалась.

По сравнению с Федеративной республикой восприятие братьев Гримм в ГДР выглядело более однозначным, единообразным, традиционным, научным и в некотором смысле более «немецким». Традиция положительного признания Якоба и Вильгельма Гриммов была заложена уже родоначальниками научного социализма. К. Маркс и Ф. Энгельс в своих трудах, особенно по истории языка и права постоянно обращались к произведениям Гриммов. Политики, германисты и историки ГДР стремились защитить образ Гриммов как от аполитичного принижения до сказочников и кабинетных ученых, так и от ради-

кальных обличений их как националистов или даже протофашистов. В их жизни и творчестве подчеркивались скорее проявления принципиальных позиций прогрессивной буржуазии того времени. В политическом, но не методическом смысле они вписывались больше в традицию прогрессивного просвещенческого движения, чем консервативной романтики. Именно поэтому в официальной пропаганде ГДР Гриммам от Гердера перешло почетное звание «филологов нации».

Официальное использование творческого наследия братьев Гримм составляло часть обширных усилий по презентации ГДР как олицетворения и воплощения всех прогрессивных и гуманистических традиций немецкой истории. Под этим знаком 1985–1986 гг. отмечался как двойной год в честь братьев Гримм. Вместе с ними прославлялась и сама Германская демократическая республика, где с таким почтением чествовали этих гигантов духа.

Наряду с конкурентной борьбой вокруг творческого наследия братьев Гримм оба немецких государства продолжали сотрудничество с целью его совместного сохранения. Самым удивительным и убедительным примером этой немецко-немецкой кооперации стало удавшееся в конце концов завершение «Немецкого словаря». Объединенными усилиями рабочих групп в Восточном Берлине и в Геттингене удалось закончить этот эпохальный труд. В начале 1961 г., через 123 года после начала работы братьями Гримм и через 109 лет после появления первого тома увидел свет последний 32 том оригинального издания.

В современной Германии образ братьев Гримм бытует на двух взаимосвязанных уровнях исторической памяти.

Во-первых, безупречная академическая репутация братьев служит укреплению и развитию немецкой филологии, популяризации немецкого языка. Каждый год Германская служба академических обменов (DAAD) вручает премию имени Якоба и Вильгельма Гриммов в размере 10 тыс. евро одному иностранному ученому за «выдающиеся труды в области немецкого литературоведения и языкознания, немецкого языка как иностранного, а также германских исследований». В 2001 г. авторитетная общественная организация «Союз немецкого языка», насчитывающая 36 тыс. членов из 100 стран мира, учредила премию имени Якоба Гримма в размере 30 тыс. евро. Одной из первых в 2002 г. ее была удостоена Л. Путина «за поддержку немецкого языка как иностранного в России». Изучением и актуализацией научного наследия братьев занимаются Общество и музей братьев Гримм в Касселе, Дом братьев Гримм в Штайнау. В 2011 г. в университете Касселя была введена одноименная профессура.

Во-вторых, братья наряду с персонажами своих сказок оказались героями популярной культуры. Начать с того, что их двойной портрет украшал самую крупную банкноту в 1000 марок из последней серии национальной валюты, выпускавшейся с 1991 по 2001 гг. (хотя мало кто из немцев имел возможность держать в руках купюру такого крупного номинала). 2012 год, когда отмечалось 200-летие первого издания «Детских и домашних сказок», на территории федеральной земли Гессен-Дармштадт был объявлен «годом Гриммов». Разработан и пользуется популярностью туристический маршрут «Дорога сказок», проходящий через 60 населенных пунктов и природных объектов, связанных с творчеством братьев или сюжетами их сказок. Наконец, на горе Вайнберг под Касселем открыт центр «Гриммвельт» – аналог Диснейленда с выраженной ориентацией на просвещение младших поколений бундесбюргеров.

Как видим, сегодня острота политических коннотаций в толковании образа братьев Гримм снята, но они по-прежнему остаются важными маркерами как официальной политической, так и массовой культуры современной ФРГ.

Е.А. Беседина, Т.В. Буркова
(Санкт-Петербургский государственный университет)

Локальная и региональная история в знаках коммеморации (на примере мемориальных досок)[*]

Для поддержания и постоянного воспроизведения в коллективном представлении символических точек прошлого используются различные коммеморативные ресурсы, к которым с полным основанием можно отнести и мемориальные доски. Эти знаки исторической памяти вследствие своей объективной «простоты» являются самыми массовыми формами коммеморации. Через присущую им историко-мемориальную функцию происходит «очеловечивание» истории, наполнение ее такими деталями, которые позволяют нашим современникам совершенно по-иному – полнее, зримее – вообразить ту или иную эпоху через представленное в ней содержание события или строку биографии исторического деятеля, явственнее осознать свою причастность к общей истории своего народа, страны.

Мемориальные доски являются весьма своеобразными «маркерами» городского пространства. В отличие от других форм коммемо-

[*] Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-01-00391.

рации (тиражирования памятников одним и тем же героям, например), они редко становятся «чужими» для социокультурного пространства города, в них есть то, что «привязывает» память о человеке или событии к данному месту, то, что является для зрителя сигналом, обозначающим: «только здесь, и нигде более». В этом смысле они становятся своего рода связующим звеном, вписывающим события региональной истории в общенациональный контекст, актуализирующим в масштабе общероссийского процесса события, происходившие в отдельных ее регионах, районах, населенных пунктах.

Авторы разделяют точку зрения отечественных исследователей, которые считают, что термины «локальная история» и «региональная история» еще не до конца определены и второе понятие «поглощает» первое. В данной работе эти понятия будут использоваться как синонимичные, тем более что для рассматриваемой проблемы прежде всего важно существование двух уровней исторического процесса – национального и регионального.

Следует согласиться с мнением Л.П. Репиной о двух культурных контекстах региональной истории, выступающей и в качестве «способа мобилизации исторической памяти», и в качестве «эффективного инструмента исторического познания» [*Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI веков: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 183-192]. Попробуем на конкретных примерах показать место мемориальных досок как средства коммеморации в указанных ипостасях региональной истории.

Историческая память избирательна. Она фиксирует определенные события, имена, уже входящие или только вводимые в официальный дискурс, либо имеющие особое значение для региональной истории. Мемориальные доски как знаки коммеморации полностью соответствуют решению этой задачи. Содержащаяся в них информация, передаваемая зрителю как вербально, так и с помощью визуальных средств, позволяет показать неразрывную связь истории региональной и общенациональной, привлечь внимание к фактам, с одной стороны, важным для исторического процесса в целом, с другой – имеющим большое значение для региональной истории.

Региональная история дает нам возможность воспринимать общенациональную историю в более широком историко-политическом и историко-культурном контексте. Примеры из локальной истории конкретизируют «большую» историю и та перестает быть чем-то далеким и чуждым. Можно выделить следующие аспекты взаимодействия региональной и общероссийской истории, закрепляемые и передаваемые памятными досками.

Во-первых, мемориальные доски становятся теми памятными знаками, обращение к которым способно изменить или внести кор-

ративы в массовые представления о конкретных фактах и событиях Сейчас многим известно, что знаменитые слова «Внимание, говорит Москва!» большую часть военных лет звучали не из столицы. Только спустя четверть века после победы была рассекречена информация о том, что не из Куйбышева, как считалось раньше, а из подвала одного из зданий Свердловска шел в эфир голос легендарного диктора Юрия Левитана. Об этом напоминает и мемориальная доска, открытая в 2008 г. на фасаде бывшего дома купца Е.И. Первушина.

Во-вторых, мемориальные доски как знаки коммеморации содержат в себе многие информационные слои, сравнимые с известными каждому историку «культурными слоями». Их дешифровка также позволяет раскрыть связь локальных событий и общенационального исторического процесса. Попробуем «снять» информационные слои, содержащиеся в тексте мемориальной доски, установленной на фасаде бывшего императорского путевого дворца (ныне областной картинной галереи) в г. Твери и посвященной памяти Н.М. Карамзина: «Здесь, в Тверском Императорском дворце в 1810–1811 гг. у Великой княгини Екатерины Павловны историограф НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН читал главы из рукописи “Истории государства Российского” и передал императору Александру I Записку “О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях”». Прежде всего мы получаем сведения о том, что в Твери – важном пункте на пути из северной столицы в первопрестольную – был возведен Путевой дворец, предназначенный для отдыха членов императорской семьи. Следующий слой – известие о том, в начале XIX в. он выполнял роль резиденции тверского губернатора, принца Георгия Ольденбургского, супругой которого была сестра Александра I великая княгиня Екатерина Павловна. Она превратила дворец в один из центров тверской светской жизни и модный литературный салон. Современники называли дворец «малым двором», имея в виду его влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь страны. Еще один информационный слой, содержащийся в тексте доски, – указание на достаточно близкие отношения придворного историографа с членами венценосной семьи – в достаточно камерной обстановке города, далекого от столичного официоза, Н.М. Карамзин читал свою «Историю…», передал императору «Записку», сыгравшую немалую роль в судьбе либеральных реформ Александра I. Последнее обстоятельство, известное многим еще из школьного курса «Истории России», подчеркивает уникальность данного места.

В-третьих, отражение в региональных мемориальных досках памяти об исторических личностях, чья жизнь и деятельность стала достоянием общенациональной истории, дает возможность расши-

рить палитру восприятия этих героев в массовом сознании, принимая во внимание, в частности, их повседневную жизнь. Так, благодаря мемориальной доске на фасаде одного из домов, стоящих на центральной площади Старой Руссы, мы узнаем не только, что «В этом доме в XIX веке находилась лавка купца П.И. Плотникова…», но и то, что сюда «часто заходил за покупками Ф.М. Достоевский». Немного знакомства с памятными местами великого русского писателя в этом городе – и вот мы уже можем представить себе маршрут, которым ходил до той лавки от своего дома Федор Михайлович, а его образ в нашем сознании приобретает новые, более «земные» черты.

В-четвертых, благодаря мемориальным доскам регионального уровня, современное общество имеет возможность сохранить память о большом количестве государственных, общественных, военных деятелей, представителей науки и культуры, внесших свой вклад в развитие того или иного региона. Эти коммеморативные знаки позволяют вывести память о героях локальной истории из сферы частной – семейной, профессиональной – в открытое городское пространство, сделав всеобщим достоянием и предметом уважения и гордости. Так, в 1977 г. в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области, на стене дома писателя Александра Владимировича Перегудова, была открыта мемориальная доска в честь его друга писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя: «В этом доме в 1930–1932 годы А.С. Новиков-Прибой писал роман “Цусима”». Однако не менее значимым для дулевцев стало увековечивание памяти их земляка А.В. Перегудова, первым из отечественных писателей и поэтов воспевшего природу и людей Гуслицкого края – местности на востоке Подмосковья: «В этом доме в 1928–1989 гг. жил и работал русский писатель Перегудов Александр Владимирович».

Наконец, в-пятых, не менее важную роль играют мемориальные доски в процессе углубления исторического познания, выраженного в памятных знаках, отражающих повседневную жизнь региона. Интересным примером в данной связи служит простая по исполнению мемориальная доска, установленная на одном из домов по Московской улице г. Орла: «4 ноября 1960 года в этот дом впервые в г. Орле был подан природный газ». За лаконичностью текста стоит событие, без преувеличения эпохальное для истории города, изменившее саму жизнь орловчан – начало газификации жилого фонда этого областного центра.

Мемориальные доски являются одним из важных способов мобилизации исторической памяти, организации «мест памяти», важных для регионального сообщества. Значимой для связи региональной и общенациональной истории стала традиция формирования «линеек» мемориальных досок, посвященных наиболее выдающим-

ся героям российской истории того или иного периода. Установленные в «различных городах и весях» страны, они помогают с наибольшей степенью конкретности отразить жизненный путь и деятельность данной исторической личности.

Е.В. Бессчетнова
(Научно-исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва)

Философия истории Вл.С. Соловьева и К.Н. Леонтьева

Вл.С. Соловьев и К.Н. Леонтьев оказали огромное влияние друг на друга. Несмотря на то, что они были не согласны в деталях, но в основных интуициях о ходе мировой истории они совпали. На первый взгляд, говоря об историческом процессе, философы выбрали разные траектории, но пришли к одним и тем же выводам о том, что эсхатологический кризис неизбежен и самое важное для человека – это найти свое место, свою позицию, которая позволит выстоять в эпоху «прихода Антихриста».

Идеалом Соловьева была не просто «свободная теократия», но основанная на любви и Божественной благодати «всемирная теократия», условием осуществления которой должно было стать нравственное преображение человечества, выбор каждым человеком истинного пути Богочеловека. Леонтьев же в преображение мира не верил и воспринимал его таким, какой он есть, во всем многообразии – с войнами, раздорами, злом и грехом.

Оба мыслителя долго жили мечтой восстановить единство христианского человечества, но видели для этого разные способы. Проект Леонтьева, точно также, как и Соловьева, – это попытка сохранить от разложения основы европейской цивилизации. Отличие лишь в подходах. Так, Соловьев в основу своей «всемирной теократии» вслед за Боэцием и Данте ставит всепобеждающую силу любви, как источник свободы, единства и, говоря словами великого итальянца вечного мира (la pace universalle). Леонтьев же центром своей идеи делает именно «справедливую строгость» как в личной жизни человека, так и жизни общества. Он видел опасность безудержного прогресса, превращавшего Европу в царство железа подобно всесокрушающему железу, раздробляющему и сокращающему (Даниил 2.31-46), Россия же, объединив христианский Восток, должна на это ответить жесткостью и твердостью в своей вере и приверженности своим основам.

В отличие от молодого Соловьева Леонтьев не верил в возможность осуществления на земле христианской политики и построения Царства Божьего. Мыслитель понимал, что слишком велика роль зла в истории, исходящая, прежде всего из-за неограниченной и безудержной свободы человека, которая не видит границы, отделяющей ее от произвола. В этом и заключается главная опасность, ибо важнейшей нравственной обязанностью человека является ответственность за свои поступки, способные повлиять на ход истории. На полях брошюры «Великий спор и христианская политика», подаренной Леонтьеву самим Соловьевым с надписью: «Константину Николаевичу Леонтьеву Великий церковный спор для маленького литературного спора» есть пометки, принадлежащие Леонтьеву: «В политике христианских народов доселе царствует безбожная вражда и раздор, о царстве Божием здесь нет и помину».

Соловьев именно под влиянием Леонтьева пересмотрит свои взгляды и напишет в «Оправдании добра», что главная задача христианской политики вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в Ад. Если в молодости Соловьеву не было знакомо чувства страха, он верил в силу божественной истины и в возможность преобразования мира, то далее он приходит к мысли, что всех праведниками не сделать, в то время как глобальный кризис близок. Об этом Соловьев напишет в «Краткой повести об Антихристе». Ему передастся пессимистический взгляд Леонтьева на мир, его страх, но страх не перед неизвестностью своего личного конца, как у Л.Н. Толстого, а страх перед темным будущим человечества.

Исследование идей Соловьева и Леонтьева показывает, что итоговой для них становится тема завершения истории, или, говоря словами А.Ф. Лосева, то, что можно назвать философией конца. К завершению своей жизни Соловьев именно под влиянием Леонтьева утратил веру в постепенно-поступательное становление Богочеловечества на земле через историю, кроме того именно Леонтьев повлиял на трагическое восприятие мира Соловьевым. В «Трех диалогах» открывается тайна зла, а в «Краткой повести об Антихристе» рушится надежда Соловьева на осуществление всемирной теократии и объединения Церквей в этом мире, которое произойдет силами горстки верующих христиан, выступивших против власти сверхчеловека, но уже не на земле. Философ в своей последней работе показал, что история мира близится к отрицательному концу, но при этом, что важно, к концу, не имеющему всепобеждающую силу, это четко высказано в конце «Краткой повести об Антихристе». Для Соловьева завершение земной истории – это лишь начало истинной и вечной жизни, которое имеет точку опоры в ином порядке бытия.

Союз папы Петра II, старца Иоанна и отца Паули стал символом истинного преображения земли и истории.

Леонтьев же в свою очередь говорил о безнадежности земного существования и невозможности сиюминутного осуществления тихого либерального, спокойного Эдема, тем самым апокалиптически утверждая неизбежность Страшного суда, а после него прихода «Новой земли» и «Нового неба». Общая гармония и братское согласие в этом мире не возможны. «Вечный мир» и всемирная монархия во главе со справедливым правителем – это мираж. Конец истории для Леонтьева связан с процессом всеобщего упрощения форм, постепенного ухудшения земного бытия, отступление человечества от христианских заповедей. Но конец этого мира для него также как и для Соловьева означал начало вечного истинного бытия в Боге, к которому человек должен готовить себя всю свою жизнь.

Главной общей чертой концепций Соловьева и Леонтьева является их ставка на государство в союзе с равноправной и равно мощной церковью в эпоху, когда в либеральном сознании господствовал, говоря словами Г.П. Федотова «идеал безвластия». Различие во взглядах мыслителей заключается в том, что для Соловьева источником единства духовной и светской власти была любовь, а для Леонтьева строгость.

Леонтьев утверждал, что Европа, превратившись в железное царство принесет лишь разрушение, для этого Россия точно также должна стать железом в своей верности Самодержавию, Православию и Народности. Соловьев обратился к Риму, ибо для него империя Рим, Roma это еще и любовь, божественная любовь, Amor, без которой немыслима христианская империя. Ф.И. Тютчев, вдохновивший обоих наших героев на создание двух разных путей единения европейского человечества и тем самым спасения Россия и Европы, писал:

Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может, спаяно железом лишь и кровью...
Но мы попробуем спаять его любовью –
А там увидим, что прочней.

Сегодня обращение к идеям Соловьева и Леонтьева все так же дает фундамент для продолжения разработки историософских тем. Оба философа видели смысл истории, преодоление ее бед в верности человека духовным основам европейской культуры, т.е. Христианству, а как показал опыт XX века в процессе становления личности и ее духовности, христианская идея оказалась необычайно продуктивной.

П. Булатый
(Республиканский институт высшей школы,
Минск, Республика Беларусь)

Сохранение и формирование образов прошлого в семейном окружении белорусской шляхты

Локальные истории создают свои собственные исторические и культурные пространства, которые основываются на образах прошлого. Их роль состоит в накапливании, переработке и интерпретации образов местных событий, как бы невидимых издалека и свысока, но становящихся в результате значимыми историческими образами.

Важную роль в создании, поддержке и сохранении образов прошлого, преимущественно в своей узкой пространственной среде, играли семьи аристократии (в белорусской традиции – шляхта). В силу налагающихся друг на друга историко-культурных слоев образы рода являются одним из сложных конструктов образа прошлого. Семейные мифы и образы рода рассматриваются как существенный элемент многих локальных историй, формирующих в определенной степени культурный ландшафт узкого пространства и оставляя след в глобальных культурных процессах.

Шляхетское (дворянское) сословие – группа привилегированного населения, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Ее исключительность понималась самой шляхтой, а также приписывалась ей окружающим миром. Шляхта, в первую очередь, была ментальным феноменом, либо же феноменом самосознания [*Пятраўскас Р.* Літоўская знаць кан. XIV–XV ст.: Склад – структура – улада / Рымвідас Пятраўскас; пераклад з літоўскай мовы Алесь Мікус. Смаленск : Інбелкульт, 2014].

Род, который принадлежал к сословию знати, стремился сохранить в своем времени и передать следующим поколениям память о прошлом в исторических образах, подчеркивая свою исключительность, которая сохранялась веками. Известно, что род, как и человек, живет до тех пор, пока он вспоминается, пока звучат имена его представителей, память об их деятельности. История шляхетских родов Беларуси в этом смысле складывалась по-разному. Одни семьи (как, например, Радзивиллы, Сапеги, Ходкевичи) на долгие годы закрепились в обществе и государстве, другие остались только в памяти, третьи, а их было не так уж и мало, после непродолжительного расцвета вымерли и быстро исчезли из исторической памяти народа. Хотя многие из родов воскресли на страницах книг, благодаря стараниям исследователей истории последнего времени [*Пятраўскас Р.* Чаму

вымірае магнатэрыя: лесы магнацкіх родаў ВКЛ // ARCHE Пачатак. 2014. № 6. С. 11-262].

Память про род сохранялась и почиталась в более широком или узком кругу, но, как правило, в окружении сородичей. Генеалогический конец рода чаще всего обозначает скорый конец его исторической традиции и разрушение образов прошлого, которые создавались и поддерживались представителями рода или теми, кто считал себя его правопреемниками. Однако, по сути, единственной стабильной формой долговременной памяти была память родовая и церковная, которая перерастала в культурную память. Но примеров такой преемственности (из памяти родовой в культурную память) были единицы.

Рассмотрим эти процессы на конкретном примере шляхетского рода Рэйтанов. Род Рэйтанов – знатный род, представители которого на территории современной Беларуси поселились в XVII веке. Резиденция рода находилась в деревне Грушевка Новогрудского повета (совр. Ляховичский р-н, Брестская обл.). На протяжении своей истории представители рода Рэйтанов занимали важные административные государственные должности, успешно занимались хозяйством, участвовали в военных компаниях и общественно-политической жизни. Представителя этого рода Тадеуша Рэйтана, непримиримого и твердого противника разделов Речи Посполитой, почитают как патриота своей отчизны далеко за ее пределами. Оборвался род в 1910 г. со смертью последнего его представителя по мужской линии Юзефа Рэйтана. На протяжении своей почти трехвековой истории Рэйтаны разными средствами культивировали память и образы прошлого, связанные с выдающимися предшественниками.

Одной из первых известных представительниц рода Рэйтанов, которая записала мемуары, посвященные своей семье, была Анна Герыч. Свои воспоминания, посвященные описанию быта и традиций белорусской шляхты XVIII века, с приданием особого внимания страницам жизни своего дяди Тадеуша Рэйтана, Анна Герыч начала писать в 1830-е гг., после отъезда в эмиграцию. Она описывала свое родовое гнездо, делая акцент на деталях интерьера и быта. Часть воспоминаний была посвящена ярчайшему представителю рода – Тадеушу Рэйтану, обстоятельствам его жизни и деятельности [*Гарбачова В.* Ганна Герыч пра Рэйтанаў, Радзівілаў і Ішкалдзь // ARCHE Пачатак. 2011. № 12. С. 175-226.3].

Также известны мемуары, написанные Генриком Ржевуским, который был связан с родом Рэйтанов родственными узами. Особое место в них занимает жизнеописание Тадеуша Рэйтана. Автор уделяет внимание его ранним годам жизни, образованию, службе. Сама по себе мемуарная литература как исторический источник имеет свою

специфику – субъективность автора в описании тех или иных явлений. Присутствует это и в мемуарах Ржевуского и играет важную роль в создания героического образа прошлого для усиления своего рода и сохранения памяти о нем, в процессе построения семейного мифа, что не стоит путать с фальсификацией истории.

Функцию мемориализации в данном контексте выполняли скульптуры и архитектурные сооружения, которые воздвигались для увековечения памяти о представителях рода. Так, недалеко от родового поместья на западной окраине деревни Потапович, которая находится в двух километрах на север от имения Рэйтанов, был установлен большой ряд ровных тесаных камней с латинскими и греческими крестами. На самом большом из них выбита дата 1683. Размещения камней и наличие крестов указывает на их мемориальный характер. Установлены они в связи со следующими событиями. В 1683 г. произошла битва под Веной, в которой объединенное войско Австро-Венгерской империи и Речи Посполитой во главе с королем Яном III Собеским разбило турецкую армию. Мемориальные камни установлены, вероятно, в 1783 г. (когда в Речи Посполитой пышно отмечалась 100-летняя годовщина Венской битвы) шляхтичами Рэйтанами, представитель рода которых – Михаил Казимир Рэйтан – был участником той войны. Так, увековечивая память своего славного предка, род оставил наследникам память о событии более глобальном.

Меценатство – общая черта, присущая вельможным семьям белорусской шляхты. Частью меценатской деятельности являлось выделение средств на возведение религиозных учреждений. Так, Юзефом Рэйтаном в начале XX века было спонсировано возведение в Ляховичах католического храма. Нововозведенная святыня была освящена в честь Св. Юзефа, что явилось своеобразной визуализацией родовой памяти посредством сохранения имени мецената в титуле храма.

Таким образом, шляхетский род Рэйтанов, используя различные средства, мифологизируя и героизируя образы семейного прошлого, сохранил их как часть коллективной памяти, прежде всего в локальной среде.

Т.А. Булыгина
(Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь)

История страны в системе формирования государственной идентичности

В данном тексте под понятием «государственность» мы разумеем политическую систему того или иного общества или полити-

ческое устройство государства. Для легитимации этой системы в глазах населения представителями власти используются различные и разнообразные инструменты. Наряду с построением системы символики государства, влиянием средств информации на массовое сознание, аппаратом насилия и прочее. Немаловажную роль играет конструирование модели исторической памяти.

Модель коллективной памяти утверждается в соответствии с определенным политическим курсом власти. Коллективная память, во-первых, существенно отличается от индивидуальной памяти, во-вторых, ни в коем случае не сводится к сумме индивидуальных форм памяти. Коллективная память по М. Хальбавксу – это, прежде всего, групповая память, которая сплачивает данную группу на основе общей идентичности. Таким образом, коллективная память в нашем случае способствует выработке, в первую очередь, национальной, государственной идентичности.

В своих интерпретациях понятия «идентичность» современные исследователи политических наук часто отличают государственную идентичность от гражданской и этнической идентичностей. Они объясняют это различие текущими политическими потребностями. В частности, об этом пишут социологи Л. М. Дробижева, С.В. Рыжова. Замечание Рыжовой о том, что конструирование государственной идентичности не представляет сложности, но требует уточнения.

Безусловно, административный ресурс облегчает власти создание модели государственной идентичности. Однако главным является все-таки процесс реализации этой модели, когда репрезентативная часть жителей страны осознают себя частью государства, когда отдельные личности государственной общности остро переживают эту принадлежность к «своим», чувствуют единство с социокультурным миром и системой ценностей государства. Они ощущают общность исторических корней и перспектив в рамках государства и потребность в признании со стороны власти. Таким образом, нужны немалые усилия, чтобы вся сетка идентичностей индивида хотя бы не противоречила государственной идентичности, а еще лучше гармонировала с ней. Вот эта задача невероятно сложная и трудно исполнимая.

Возвращаясь к государственности, можно говорить о том, что государственная идентичность лежит в фундаменте государственной прочности. Следовательно, выработка и корректировка коллективной памяти социума способствует укреплению его идентичности в масштабах государства.

Для решения этой задачи также используется целый набор различных методов, связанных со строительством определенной конфигурации духовной сферы общества. В связи с этим важней-

шими концептами государственной политики становятся «воспитание» и «образование». Эти функции системы как раз и призваны формировать в гражданах государственную идентичность согласно властной модели. С этой целью и создаются соответствующие формы коллективной памяти.

В этом отношении особенно интересен опыт переходной эпохи. Поэтому обратимся к советской истории периода становления и укрепления советской политической системы и проследим, какими средствами строилась новая духовная инфраструктура в СССР.

Суть первого этапа на этом пути состоял в разрушении всех прежних основ Российской империи, включая идеологические – православие, «русскость» или народность, святость монархической власти. Этому служила борьба с РПЦ, с религией и конфессиями вообще расправлялись позже – в 1930-е гг. Одновременно происходила демонизация и появлялся карикатуризм образов царской власти и социального образа «старой» России. Разрушалась прежняя система высшего и среднего образования, что сопровождалось заменой гуманитарных дисциплин на преподавание марксизма-ленинизма и истории партии и революции.

Расчистив пространство для новой государственности, необходимо было создать новую идентичность, с помощью которой большевистская власть должна была не только утвердить свою легитимность, но и сплотить население вокруг новых ценностей и новых идей, т.к. без этого любая государственность недолговечна.

Данный процесс включил в себя и формирование новой модели коллективной памяти. Для этого, собственно, был создан Истпарт (Комиссия по истории революции и Гражданской войны). Для решения этой проблемы были задействованы массовые виды искусства, агитационные средства, насилие и изоляция самостоятельно мыслящих гуманитариев и деятелей культуры.

В 1930-е гг. власть поставила несколько иную цель, хотя и в той же идеологической упаковке. Речь теперь шла о строительстве невиданной ранее советской империи – Советского Союза. Государственная идентичность была равноценна имперской идентичности в коммунистическом варианте и декларировании верности интернационализму. Среди инструментов достижения этой цели сохранялось конструирование новой модели исторической памяти. В частности, была разработана «неопровержимая» концепция истории партии. Ее автором непосредственно стал Сталин. В письме в редакцию журнала «Пролетарская Революция» в 1930 г. он жестко навязал новую историю большевизма и миф о Ленине, исключив из круга вождя его соратников по революционной борьбе, которые стали личными противниками Сталина. С этого времени, несмотря

на изменения в политическом курсе, на протяжении 50 советских лет эта теоретическая мифология оставалась неизменной.

Произошел поворот и в преподавании истории в вузах, где были восстановлены исторические факультеты. Однако наиболее явственно новые тенденции явственно просматривались в школьном преподавании истории, что подтверждает текст постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР». Уже в названии делается попытка развести партийную и непартийную, «гражданскую» историю. Власть оценила преподавание истории в школе как неудовлетворительное. Были осуждены схематизм и отвлеченность учебников и самого обучения. Была предложена новая модель преподавания истории детям – доступность восприятия в занимательной форме на примере жизни исторических деятелей и хронологический порядок изложения. Эта модель возвращала советскую школу к классической структуре преподавания истории в дореволюционной России, т.е. к «мемориальной истории», только с иным идеологическим наполнением. За всем этим стояли иные цели – воспитание у молодежи любви к советскому государству на примере одобренных властью исторических героев. Очевидно, что школьное преподавание теперь опиралось не столько на понимание, сколько на чувства и ментальные установки. Только таким образом, на взгляд советских правителей был возможен правильный разбор и правильное обобщение исторических событий, подводящие учащегося к марксистскому пониманию истории.

Преемственность и разрыв с задачами советской идентификации в 1920-ми и 1930-ми гг. наглядно демонстрирует учебник Андрея Васильевича Шестакова. Нас заинтересовала связь содержания этого учебника с биографией автора. Символично, что профессор истории Шестаков являл собой пример ученого новой советской формации. Во-первых, он не был профессиональным историком, т.к. 21-летним юношей с 1898 г. окунулся в революционное движение. Во-вторых, еще до формирования профессиональных навыков он к 30-ти годам полностью воспринял большевизм и стал членом РСДРП еще в 1903 г. В-третьих, Шестаков историческое образование получил в знаменитом Институте красной профессуры в 47 лет. Профессором А.В. Шестаков стал в 1935 г., а доктором исторических наук – в 1937 г. уже после написания учебника по истории СССР для младших классов. Таким образом, он не был обременен сомнениями историка старой школы, не впитал в себя таких понятий, как истинность знания, научность подходов, исследовательский инструментарий ученого. Ему легко было адаптировать новую модель исторической памяти к восприятию малышей, которые скорее

ощущали, нежели понимали образ истории своей страны, который в будущем стал для них основой, способствовавшей формированию государственной идентичности.

В.М. Бухараев, Г.П. Мягков
(Казанский федеральный университет)

Конструирование современного «нарратива идентичности» в национальном регионе России

Одним из последствий социальных сдвигов, связанных с «трансмиссией» стран «реального социализма», явилось обращение руководящих кругов к переопределению национальных идентичностей. Это происходило как в процессе образования новых национальных государств, так и изменения статуса национальных территорий. Перед лицом девальвации ценностей, размывания стереотипов и деформации представлений о постоянстве и преемственности общественного развития элиты генерировали идейно-политические практики, направленные на создании идентичностей, адекватных изменению геополитической и региональной архитектоники.

Знаком целеположенного конструирования национального нарратива, задачи которого – формирование представления «мы», солидарности и сплоченности, явилось понятие «историческая политика» («политика памяти», «политика наследия» и др.). Оно стало широко применяться для описания политической практики посткоммунистических государств Восточной Европы и Центральной Азии, включая уровень отдельных территорий.

В силу того, что предсказуемой реакцией «масс» на масштабные депривированные состояния стала фетишизация истории как форма виртуального возвращения к «добрым старым временам», специфическая историческая политика попадала в резонанс с этой тоской по «прежней» родине. В самом деле, ностальгическая рефлексия замещает драму элегией, а именно способствует примирению травматического опыта и новой идентичности, стабилизации отношений (насколько это вообще возможно) между образами прошлого и настоящего. «Мемориальный бум» продемонстрировал – как, пожалуй, никакой другой социально-культурный феномен последнего времени – взаимосвязь / взаимозависимость доминирующих коллективных представлений об истории («мнемонического поля») и исторического знания во всех его видах, включая дисциплинарную историографию.

Можно понять критическое отношение современных представителей академического сообщества к «брачному союзу» истории и политики, который оборачивается идеологизацией и политизацией исторического знания «сверх обычного». Однако в любом браке есть, как известно, и положительные моменты. Реальность такова, что поверх политических расчетов и конъюнктур обнаруживает себя культурно-цивилизационная ценность моделирования и переоткрытия прошлого в настоящем, направленных на интеграцию и стабильность сообщества ради общего будущего. Швейцарский ученый И. Эрманн обозначил то, что можно было бы определить в качестве аллелопатии в политическом использовании истории: причины успехов и неудач здесь суть одни и те же, «они связаны с двойственной природой истории, которая одновременно является научным и эмоциональным аргументом» [*Эрманн И.* Провал «успешного дела»? Использование истории и злоупотребление ею в швейцарском политическом дискурсе // Феномен прошлого. М., 2005. С. 336].

Используя исследовательскую стратегию «case study», обратимся к опыту Республики Татарстан, где специфическая историческая политика стала формироваться раньше, чем в федеральном центре уже в начале 90-х годов. Здесь острее ощущались вызванные к жизни уходом с исторической сцены Советского Союза кризисы идентичности и аутентичности, усиление конфликтогенности в межэтнических и межконфессиональных отношениях, проявления экстремизма на национальной почве. Тогда же обозначился основной вектор политики наследия в Татарстане – конструирование посредством определенного репертуара историй, преданий, культурных фреймов такого образа общего прошлого двух основных этносов региона – татар (как носителей мусульманской культуры) и русских (в качестве представителей православного христианства), какой был призван содействовать стабильности и устойчивому развитию, нейтрализуя негативную энергию возможных конфликтов.

Важно отметить, что этноконфессиональная ситуация в республике характеризуется «разделенной памятью» русского и татарского населения. Это восходит к драматическим обстоятельствам взятия Казани войсками Ивана IV в 1552 г., в более широком смысле – к ликвидации Казанского ханства и вхождению его в состав Московского государства. Это событие в сознании татарского этноса, травматические образы социальной памяти небезуспешно мобилизуют радикально настроенные элементы, полярные оценки этих событий имеют хождение в научно-педагогической среде и т.д. Поэтому среди политиков и идеологов нового Татарстана возобладал подход, согласно которому идея жертвенного национализма в качестве основы культурно-исторического самосознания татарского эт-

носа является нерелевантной ситуации противостояния различных образов памяти и угрожает дестабилизацией полиэтнического сообщества. Вместе с тем «горячая» опция коллективной памяти татарского народа затрудняет понижение ее «градуса» путем перемещения в «зону умолчания» или «структурного забвения», тем более, что такая задача была неприемлема для этнократически ориентированных элит ввиду возможного нежелательного эффекта «разоружения» национального самосознания.

В этой неоднозначной социально-культурной ситуации эмерджентно был сделан выбор (а затем получило и научно-просветительское обоснование) в пользу конструирования «коллективного прошлого» татарского и русского населения на основе признания самоценности их культур и религий. Принципиальная роль в трансформации коллективных воспоминаний отводилась местам памяти, среди которых опорным смыслообразованием обладает Казанский Кремль – средневековая крепость, комплекс уникальных архитектурных и исторических памятников. Поэтому первым шагом в формировании новой политики памяти явился Указ Президента РТ от 22.01.1994 г. «О создании Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника “Казанский Кремль”». Основную идею развития кремлевского комплекса выражали две «вертикали» – Благовещенский собор (полностью отреставрирован в 1995–2005 гг.) и вновь возведенная в 1996–2005 гг. – как воссоздание легендарной мечети столицы Казанского ханства – главная мечеть республики Кул-Шариф.

Следующий этап институциональной коммеморации был также рассчитан на комплиментарную интерпретацию противостоящих друг другу «образов-воспоминаний». Речь идет о масштабном проекте исторической реконструкции и музеефикации памятников древнего города Болгар (символ принятия в 922 г. ислама Волжской Булгарией, в известном смысле предшественницей Казанского ханства) и острова-града Свияжск (военно-инженерный опорный пункт во время осады и взятия Казани в 1552 г.). Объекты Болгара и Свияжска неизменно позиционируются как «святыни», «памятники исламской и православной культур», которые символизируют многовековой опыт межнационального и межконфессионального мира.

Есть основание полагать, что усиление легитимации властных порядков в Татарстане, достигаемого «бинарной» политикой памяти, в исторической перспективе вряд ли превосходит значение таких ее результатов, как сплочение и консолидация полиэтнического сообщества.

С.И. Быкова
(Уральский федеральный университет, Екатеринбург)

Феномен вновь открываемого прошлого: познавательное и аксиологическое значение проектной деятельности студентов

Д. Лоуэнталь, исследуя феномен вновь открываемого прошлого, акцентировал внимание на социальном и историческом аспектах данного явления. В образовательном процессе, на мой взгляд, имеются различные возможности познания прошлого. В частности, в дополнение к знаниям, получаемым на лекциях и практических занятиях, при подготовке курсовых работ и в результате участия в студенческих научных конференциях, есть возможность выполнять творческие работы в рамках общих и специальных курсов. В течение многих лет своим студентам я предлагала разнообразные варианты исследовательских проектов, итогом которых являлись тексты. Тексты представляют уникальный комплекс свидетельств осмысления и переосмысления истории под впечатлением слов экскурсоводов и визуальных репрезентаций, бесед с предками и знакомства с семейными архивами. Мнения некоторых студентов отличаются особой эмоциональностью, оригинальностью и свежестью восприятия, иногда открывают (даже для исследователя) новые ракурсы рассмотрения исторических событий. Несомненную ценность представляют студенческие эссе для понимания состояния исторической памяти и взаимоотношений между поколениями в современном российском обществе.

Одной из форм возвращения к прошлому являются экскурсии в Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААО СО). Сотрудники архива создают экспозиции к знаменательным датам: 9 мая – День Победы; 22 июня – День памяти и скорби; 1 сентября – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне; 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Используя материалы судебно-следственных дел и фильтрационных дел репатриированных, организаторы выставок представляют самые разнообразные документы: фотографии, дипломы и другие формы документов об образовании, профсоюзные билеты, почетные грамоты, «вещественные доказательства», изъятые во время ареста. Студенты имеют возможность познакомиться с содержанием уникальных документов, созданных органами ГПУ, НКВД, МВД, КГБ и СМЕРШ. Тематическое содержание выставок разнообразно, например: «Мы все имели имена…»; «Иностранцы на Урале – пути и судьбы»; «На безымянной высоте»; «1937 год: тра-

гедия женщин»; «Трудовая армия на Урале»; «Город на Исети»; «Трагедия плена»; «Урал. Шанхай. Россия».

Другой формой является эссе по итогам посещения музеев, в частности: «Образ войны в экспозициях музея «Шурави»; «История в уникальных документах музея редкой книги Уральского государственного университета»; «Время истории в экспозициях музея фотографии». Помимо экскурсий весьма эффективной формой познания прошлого являются документальные и художественные фильмы, в которых нашли отражение исторические события, – как правило, я отмечаю на лекциях фильмы, соответствующие рассматриваемой теме, и предлагаю студентам (по желанию) написать эссе. Традиционными для студентов разных факультетов, изучающих историю России, являются творческие работы на тему «Можно ли считать 4 ноября Днем народного единства?» и «Вторая мировая война в судьбе моей семьи». Особенно значима тема военного прошлого, поскольку благодаря поискам данных о событиях 1939-1945 гг. восстанавливается связь поколений и возникает интерес к семейной истории.

Иногда поводом для творческой работы становятся события, происходящие в городе. В частности, в 2009 г. владелец одного из супермаркетов, решивший к юбилею «Книги о вкусной и здоровой пище» провести праздник с открытием ледяной скульптуры высотой 4 м и сюжетом «И. Сталин вручает “Книгу…” В. Путину», был вынужден отказаться от данной композиции по требованию мэрии. Одним из аргументов являлось протестное содержание эссе студентов университета. В 2015 г. аналогичная ситуация сложилась в отношении инициативы скульптора К. Грюнберга и фракции КПРФ в городской думе поставить памятник И. Сталину.

В качестве итогового исследования по учебному курсу, как правило, я предлагаю тему юбилеев текущего года в культурной и коммуникативной памяти россиян или (в зависимости от учебного курса) европейцев. Реализуя проект, студенты выбирают чрезвычайно разнообразный спектр событий. Кроме того, например, в рамках предложенной в 2015 г. темы «Историческая память европейцев о Второй мировой войне» каждый студент, обучающийся по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», в соответствии с собственными научными интересами, имел возможность раскрыть проблему на примере страны специализации (Италии, Франции, Германии, Испании и др.).

Одной из характерных тенденций исторической памяти в современной Европе студенты называют «войны памяти». По их мнению, противостояние разных версий Второй мировой войны, в первую очередь, актуально для Франции, Германии, Испании. Особый интерес вызывает ситуация по сохранению памяти в ФРГ: студенты описывают историю создания и экспозиции мемориальных комплексов на

местах бывших концентрационных лагерей, открытие новых памятников в центре столицы и другие инициативы, свидетельствующие о стремлении немцев к искуплению вины (А. Родионова, К. Некрасова). Тем не менее, студенты фиксируют существующие параллельно иные настроения. А. Шакирова, реконструируя историю Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене (Берлин), отмечает не только акции его осквернения в 2010 г. и в 2014 г., но и прошение инициативной группы жителей города перенести памятник на окраину. Подводя итоги дискуссии, автор эссе акцентирует внимание на том, что большинство немцев не поддерживают такую позицию и что депутаты парламента категорически отвергли данную просьбу.

В эссе А. Левченко тема противоречивого отношения к нацистскому прошлому имеет иной аспект: отметив повторяющиеся попытки самооправдания («во всем виноват Гитлер») и даже «самооплакивания» немцев, автор подчеркивает: такие попытки всегда вызывали протест. Например, в 2002 г., после публикации Йоргом Фридрихом описания бомбежек немецких городов в 1945 г., СМИ стали публиковать материалы о военных действиях вермахта, подчеркивая их жестокий характер. Особый ракурс памяти открывает П. Цурикова: в 2002 году бундестаг ФРГ принял решение реабилитировать посмертно тех солдат вермахта, которые отказались воевать за идеи нацизма, выполнять приказы административных органов. Их называли дезертирами, предателями, теперь признали истинными патриотами Германии. В городе Кельне в 2009 г. был открыт памятник «Сказавшим «Нет». П. Цурикова, как и многие другие студенты, отмечают инициативу и высокую активность гражданских ассоциаций и органов самоуправления по увековечиванию памяти не только героев, но и жертв Второй мировой войны во всех европейских государствах.

Во Франции национальной травмой остается история коллаборационизма. Показательным примером данного феномена является серия фотографий, сделанных в Париже в 1942–1944 гг. корреспондентом немецкого журнала «Сигнал». А. Сафончик, анализируя их историю, отмечает: после первой демонстрации в 2008 г. на выставке «Парижане во время оккупации» этих кадров, отражающих спокойных и даже веселых французов, они вызвали возмущение общественности и были запрещены к показу.

П. Просянникова отмечает стремление венгров характеризовать себя жертвами двух диктатур – советской и нацистской: Венгрия хотела «остаться чистой» перед историей. Только в 2014 г. президент Янош Адер накануне Международного дня памяти жертв Холокоста выступил с заявлением, в котором признал сотрудничество Венгрии с нацистской Германией в годы войны и причастность венгров к уничтожению евреев.

Содержательной работой по проблеме «войны памяти» является эссе Д. Ушакова, представившего формы коммеморации об испанской «Голубой дивизии», воевавшей на стороне вермахта, и испанцах – «маках», сражавшихся на территории Франции в отрядах Сопротивления.

Одной из форм сохранения памяти о войне студенты считают кино. В их работах представлены истории создания фильмов, реальные события, ставшие основой сюжета, судьбы актеров и режиссеров, являвшихся участниками сражений или современниками событий, отношение к фильмам критиков, политиков и зрителей. Среди анализируемых фильмов как шедевры мирового кинематографа (например, Р. Росселини «Рим – открытый город», Р. Чхеидзе «Отец солдата», Дж. Де Сантиса «Итальянцы – бравые ребята») и почти неизвестные современным зрителям (например, «Под каменным небом», «Послы в аду» «Лабиринт фавна»).

Студенты представляют различные формы коммеморации в Нидерландах, в Армении, Грузии, Норвегии. Даже краткий обзор и избирательные цитации студенческих текстов позволяют представить разнообразие объектов их внимания и источников нового знания, вызывавших не только исследовательский интерес, но и эмоциональное восприятие. Предпринимая попытку открыть в «известном» прошлом Второй мировой войны и актуальной современности новые ракурсы, студенты оказывались в пространстве столкновения ценностей, выясняли, каким образом участники событий делали свой выбор и какие последствия имели их поступки. Таким образом, интеллектуальные поиски позволили обогатить собственный жизненный опыт.

С.С. Бытко
(Нижневартовский государственный университет)

Старообрядческий компонент в творчестве А.П. Чехова: особенности восприятия

Обладавшее собственным весьма развитым специфическим книжным жанром, старообрядчество нашло отражение и в творчестве многих светских писателей рубежа XIX–XX веков. Изучение староверия в контексте наследия литераторов «Серебряного века» представляется принципиально значимым направлением в науке, поскольку дает возможность взглянуть на данный феномен глазами незаинтересованной общественности и реконструировать образ рядового старообрядца, отрешенный от догматического противостояния Русской Православной Церкви с приверженцами «старых уставов».

В произведениях А.П. Чехова нашли отражение особенности образования и воспитания рядовых старообрядцев. В рассказе «Убийство», повествуя о семье Тереховых, получивших за особое религиозное усердие прозвище «Богомоловы», великий писатель обращает внимание на замкнутый образ жизни семьи староверов, в результате которого они «были склонны к колебаниям в вере» [*Чехов А.П.* Убийство // Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1977. Т. 9. С. 143]. Каждое поколение семьи в результате умственных блужданий претерпевало некоторые изменения и верило иначе, нежели предыдущее.

Интересно, что авторский сюжет в данном случае имеет прочные исторические основания. Этнограф А.С. Пругавин, в частности, утверждает, что несмотря на стремление священства видеть в расколе лишь плод невежества и противодействия просвещению, старообрядцы тем не менее стремились к познанию и ничему не верили на слово. Все догматические положения они подвергали проверке. А.С. Пругавин подчеркивает, что подобные изыскания часто приводили к религиозным казусам [*Пругавин А.С.* Запросы и проявления умственной жизни в расколе // Русская мысль. 1884. Кн. 1. С. 162]. Его позицию подкрепляет наблюдение Н.Н. Покровского о том, что религиозные сочинения каждым поколением старообрядцев истолковываются по-новому [*Покровский Н.Н.* Путешествие за редкими книгами. 2-е изд., доп. М., 1988. С. 281].

Интересно упоминание А.П. Чеховым и особого отношения Тереховых к Священному писанию [*Чехов А.П.* Убийство… С. 143], специфической чертой которого был поиск в книгах скрытого смысла и толкование любого слова исключительно в «духовном» значении. Подобный характер понимания текста был присущ старообрядческому согласию Немоляков. В рассказе не имеется указаний на причастность Тереховых к данному направлению раскола. Предположительно, понимание Священного описания в переносном смысле ввиду чрезвычайного разномыслия в старообрядческой среде могло быть воспринято рядовой общественностью как особенность, присущая более широким кругам староверия.

В свою очередь, фанатизм и юродство являются, наверное, наиболее распространенным атрибутом старообрядческого образа в произведениях писателей «Серебряного века». Так, в рассказе «Вор» Чехов упоминает хозяина дома, в котором проживал главный герой, называя его «раскольником» и «юродивым старцем» [*Чехов А.П.* Вор // Там же. М., 1977. Т. 2. С. 107]. Какие-либо пояснения относительно причин наделения старовера столь экспрессивной характеристикой отсутствуют. Необходимо полагать, что восприятие староверов как религиозных отщепенцев, чьи убеждения и об-

раз жизни коренным образом противопоставляются нормам традиционного общества, настолько утвердилось в умах русской общественности, что какие-либо разъяснения были бы излишними [*Соловьев Л.* Сведения о состоянии раскола и сектантства в Тобольской епархии // Тобольские епархиальные ведомости. 1909. № 17. С. 4].

Другой яркой чертой старообрядчества в глазах общественности стала непреклонность убеждений его приверженцев. Подобная тенденция не единожды обнаруживает себя на страницах художественной литературы. Героиня одного из рассказов А.П. Чехова Вера Семеновна сравнивала своего брата с раскольником-начетчиком. Интересно, что доводом для подобного сопоставления служило то, что, как и староверы, Владимир Семенович «скорее умрет, чем поддастся убеждению» [*Чехов А.П.* Хорошие люди // Там же. М., 1977. Т. 5. С. 420].

Конечно, в глазах рядовой общественности крайний фанатизм последователей русского раскола мог и должен был проявлялся не только в форме бытового обособления от инославных, но и в насильственных акциях. Так, в уголовном рассказе «Шведская спичка» Чехов приводит разговор уездного следователя с помощником, расследующих убийство помещика Кляузова. В ходе разговора одной из подозреваемых оказывается сестра покойного, которая, по версии помощника, ненавидела своего брата и убила его из религиозного фанатизма, т.к. «она – староверка, а он – безбожник» [*Чехов А.П.* Шведская спичка // Там же. М., 1977. Т. 2. С. 212].

Крайне примечательным является образ жизни староверов на страницах популярной литературы рубежа XIX–XX вв. Основой его чаще всего являлись такие непременные черты, как умеренность и самоограничения. Старообрядцы неизменно представляются в качестве добровольных мучеников, налагающих на себя испытания тяжелым трудом, голодом и длительной молитвой. Часто отмечается известная неприязнь старолюбцев к пьянству и употреблению табака [*Чехов А.П.* Верочка // Там же. М., 1977. Т. 6. С. 74].

Данное представление наиболее других соответствует действительному менталитету староверов рубежа XIX–XX вв. Так, неприязненное отношение к горячительным напиткам и табаку являлось характерным для большинства старообрядческих согласий и в ряде случаев было обязательным для желавших быть похороненными на старообрядческих кладбищах. Готовность староверов к мученичеству, в свою очередь, отмечают как церковные, так и светские исследователи. По словам Александра Пругавина, старообрядцы были готовы «сгнить в тюрьмах, замучить себя голодом или до конца жизни скрываться за свои убеждения» [*Пругавин А.С.* О необходимости и способах всестороннего изучения русского сектантства. СПб., 1880. С. 5].

Часто старообрядцы представляются держателями постоялых дворов, что стало следствием тяготения ряда старообрядческих согласий к пристанодержательству и почитанию странствующих старцев [*Чехов А.П.* Бабье царство // Там же. М., 1977. Т. 8. С. 262]. Одновременно с экономическими функциями заезжий двор обеспечивал общины возможностью устроить на ночлег староверов-бегунов или простых путников, что наряду с относительно невысокой стоимостью проживания в таких подворьях положительно влияло на восприятие старообрядцев широкой общественностью.

Старообрядческое предпринимательство получило развитие ввиду необходимости поддержания экономического благосостояния. Интересно, что сторонниками «древлего благочестия» была разработана специфическая трудовая этика, допускавшая чрезмерный труд, необходимый для экономического преуспевания. Одновременно с этим старообрядческий купец не становился индивидуальным предпринимателем, а продолжал оставаться частью коллектива, возлагая на себя ответственность за материальное обеспечение всей общины [*Керов В.В.* Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства // История Церкви: изучение и преподавание. Екатеринбург, 1999.].

Таким образом, в творчестве А.П. Чехова в полной мере отразились конфессиональные стереотипы, имевшие хождение в российском обществе на рубеже XIX–XX вв. «Среднестатистический» старообрядец представлялся страстным любителем догматической полемики, но часто был сам склонен к колебаниям в вере, что являлось следствием попыток преимущественно чувственного познания мира. Он отличался крайним фанатизмом и юродством, нежеланием хотя бы сколько-нибудь отклониться от своих убеждений. Готовые к открытому выступлению против неугодных порядков, даже путем насилия, старообрядцы снискали в народе венец добровольных мучеников и страстотерпцев. Скрытные и выбравшие путь уединения от мира, они служили образцом успешности и предприимчивости, эталоном материального достатка.

Е.Ю. Ванина
(Институт востоковедения РАН, Москва)

Прошлое по заказу: «поп-история» в современной Индии

Хотя понятие «индийская нация», сформированное еще в колониальный период, утвердилось и стало официальным, в индийском обществе, в отличие от многих других стран современного мира, нет

единого общепринятого ответа на вопрос о том, что есть индийская нация и кто может считаться ее членом. Общегражданскому национализму, воспринимающему индийскую нацию как сообщество всех граждан Индии, вне социальных, кастовых, религиозных и этнических различий и, соответственно, трактующему историю страны как историю единства, противостоит набор альтернативных национализмов: регионально-этнический (Юг, районы сепаратистских движений), конфессиональный (индусский и мусульманский) и даже социально-кастовый (бывшие неприкасаемые – далиты). При всех своих различиях альтернативные национализмы являются эксклюзивными, по сути – коммуналистскими, поскольку приравнивают нацию к определенной воображаемой «общине» (*community*), отказывая в статусе соотечественника всем прочим. Каждый из указанных вариантов национализма разработал собственную концепцию исторического прошлого, которая одновременно является проектом будущего.

Общегражданский национализм доминирует в научной истории, и его придерживаются, при всех различиях, практически все профессиональные индийские историки; он является основополагающим принципом, на котором строятся школьные учебники, созданные соответствующим федеральным агентством (на уровне штатов, где используются подготовленные местными агентствами учебники для 1–9 классов, ситуация может быть иной в зависимости от правящей партии). Альтернативные трактовки истории «оккупировали» популярную литературу, особенно дешевые издания и буклеты, которые за гроши продаются в любом придорожном киоске, издания партий коммуналистской направленности и, прежде всего, интернет. Существует и пользуется популярностью огромное количество сайтов, посетители которых усваивают версию прошлого, которая получила в Индии название «поп-история». Эти сайты, созданные как в самой Индии, так и за ее пределами, рассчитаны, в основном, на многомиллионную индийскую диаспору, вернее – молодежь диаспоры, не знающую исторической родины, – находят немало поклонников и в самой Индии – к ним обращаются «за истиной» те, кого не удовлетворяет прошлое в версии школьных учебников и ученых трудов. Историю Индии эти ресурсы излагают, в лучшем случае, как историю индусов: например, сайт «Свободная Индия» [www.freeindia.org] предлагает пользователям беллетризированные биографии «великих индийцев» – борцов за свободу, царей, поэтов, святых, ученых, лидеров (новейшего времени). Характерен сам выбор: среди царей и святых нет ни одного неиндуса; в коллекции лидеров значимо пропущен главный идеолог общегражданского национализма Джавахарлал Неру; зато в кибер-пантеон героев включены идеологи радикальной коммуналистской организации – РСС.

Другой сайт, «Глобальный индуизм» [www.globalhinduism.com], обрушивает на посетителей лавину информации о том, что огненные стрелы, которыми сражались герои «Рамаяны», на самом деле были ядерным оружием; что арии уже знали генетику и вообще владели всеми богатствами современной науки; что индуизм был первой религией мира, и его исповедовали в таких далеких от Индии краях, как Россия. Доказательством индусской принадлежности Калмыкии и «Манголии» (именно так – *Е.В.*) создатели сайта считают бытующие там версии сказания о Раме (видимо, на самом деле пришедшие с буддизмом) и даже нахождение «в библиотеках Ленинграда» книг на индийских языках. На этом же сайте можно прочитать, что Тадж-махал является индусским храмом, а история Индии после прихода мусульман открыто называется на этих сайтах «темным периодом». Интернет-ресурс «Индусская сеть» [http://www.hindunet.org] предлагает читателям под рубрикой «Исламский век» подборку материалов с характерными заголовками: «Геноцид индусов», «Разрушение индусских храмов», «Акбар – совсем не великий». Все эти сайты выступают в роли первооткрывателей истины, злонамеренно скрываемой государственными учебными программами. Так, популярный блогер Манодж Ракхит, неутомимо разоблачающий «зверства» мусульман и христиан в Индии, один из своих опусов так и озаглавил: «Сообщают ли ваши учебники истории эти факты?» «Шафрановому» индусскому коммунализму в интернете (и не только) противостоит его «зеленый», мусульманский, брат-близнец; сотни исламистских сайтов предлагают собственную версию истории и повествуют об угнетении мусульман индусами.

«Поп-история» господствует не только в интернете, но и в ряде музеев. Например, в Дели колоссальный храмовый комплекс Акшардхам, посвященный одному из индусских святых, включает нечто вроде музейной экспозиции по истории Индии, где перед многочисленными посетителями предстают, помимо мифологических героев, цари древней Индии; рядом с ними ведийские мудрецы плавят металл в доменной печи, наблюдают звезды в телескоп и строят вертолет (!) – все это сопровождается соответствующими пояснениями через мощную аудиосистему.

Серьезные историки, разумеется, относятся к «поп-истории» с презрением как к «дешевому шоу для малограмотных», но отдают себе отчет в растущей популярности «поп-истории» и, главное, навязываемых ею обществу интерпретаций. Прежде всего, «поп-история» ловко пользуется недомолвками и искажениями, которые допускают в благих целях сторонники общегражданского национализма, и выступает в роли «открывателя исторической истины», компенсируя полуправду откровенной ложью. В отличие от науч-

ной истории с ее методологическими и концептуальными изысками, поисками доказательств, спорами приверженцев различных научных школ, сложностями выбора между «с одной стороны» и «с другой стороны», «поп-история» предлагают читателям простую и прямую как палка версию: «хорошие мы» и «плохие они».

Кроме того, «поп-история» привлекает своей психологической комфортностью. Стране, которая на протяжении тысячелетий многократно становилась жертвой завоевателей, а в XVIII веке на 200 лет стала британской колонией, история постоянных поражений неминуемо кажется эмоционально обременительной и тяжелой. «Поп-история» повествует о величии и победах (в некоторых музеях, посвященных средневековым героям, героически сражавшимся против мусульман, исторически подтвержденное поражение доблестных раджей представлено как победа), превращая историю в болливудский фильм с непременным хэппи эндом. Существующий в обществе социальный заказ на оптимизм и национальную гордость «поп-история» выполняет блестяще, предоставляя своей аудитории «историю, приятную во всех отношениях».

Действительно, читать о фантастических достижениях ведийских мудрецов и эпических героев приятнее, чем размышления историков об «отставании» Индии от «прогрессивных» обществ и их гневные инвективы в адрес темных сторон индийского прошлого. Даже эти темные стороны несложно превратить в светлые – например, заявить, как это делают упомянутые выше сайты, что древняя Индия была самым демократическим обществом в мире, кастовый строй являлся просто «разделением труда» с использованием данных генетики, женщины почитались как «домашние богини», а их затворничество и традиция детских браков были вызваны насилиями мусульман. Все поражения, которые Индия претерпевала на протяжении своей истории от иноземных завоевателей, можно либо замолчать, как это нередко делается, либо превратить в победу (в худшем случае – моральную), либо объяснить злонамеренными действиями врагов индуизма. А главное – такая история «воспитывает чувства» в духе принадлежности всех – и «резидентных», и «нерезидентных» индусов – к единой нации, в которой нет места индийцам из других конфессиональных групп. Аналогично работает «поп-история» и в других вариантах – мусульманском и далитском. В любом случае, «поп-история» представляет собой мощный инструмент «воспитания чувств» индийцев в коммуналистском духе и в этом качестве – серьезную угрозу для общегражданского национализма и единства страны.

А.Г. Васильев
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва,
Институт Центральной и Восточной Европы, Люблин, Польша)

Формирование дискурса памяти в польской культуре как ответ на травму разделов

Разделы Речи Посполитой второй половины XVIII века стали событием, наложившим отпечаток на процесс формирования польского исторического сознания последующего времени. Можно сказать, что вся польская история стала рассматриваться, начиная с этого времени в перспективе разделов. Польская национальная идентичность формировалась в ситуации отсутствия государственности и тех государственных институтов, которые в случае стран с устойчивыми политическими структурами отвечали за формирование национального сознания. Поэтому основная тяжесть работы по формированию национальной памяти и идентичности пришлась на частные инициативы отдельных ученых-энтузиастов, меценатов, интеллектуальных сообществ, общественных деятелей и т.д.

Мы сосредоточим свое внимание на периоде начала XIX века, когда первоначальный шок от разделов страны стал проходить и сменяться рефлексией и выстраиванием проектов национального возрождения, а фактически нового конструирования польской нации в новых социально-политических условиях. Это было время, когда «смертная тоска стала ясною осознанною болью», на языке психоанализа это означат переход от неспособной выразить себя травмы к рефлексирующей и продумывающей травматический опыт меланхолии. Для обретения будущего требовалось «сшить» прошлое с настоящим, преодолев тем или иным образом цезуру, созданную разделами. Активная работа памяти была при этом неизбежной и необходимой. Прошлое нужно было заново (вос)создать и найти способ связать его с настоящим. В польской культуре эта работа выпала в основном на долю культуры романтизма (и предшествовавшего ему сентиментализма). Известно, что тема прошлого и памяти, как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях, занимает в эти периоды истории культуры особенно важное место. Можно даже сказать, что именно романтизм, рожденный из разрыва времен, вызванного радикальными социально-политическими и экономическими трансформации Нового времени впервые ясно отрефлексировал проблему роли прошлого для настоящего и важности учета его присутствия и влияния на современную жизнь. Романтизм культивировал, как правило, контрапрезентную (выражаясь языком Я. Ассмана) форму культурной памяти, направленную против современного положения ве-

щей. Все эти аспекты были как нельзя более актуальны для польской культуры после разделов страны.

В связи с этим следует ожидать, что в польской интеллектуальной культуре этого времени должен был быть сформирован дискурс памяти. Для анализа данного материала наиболее адекватной представляется концепция дискурса (дискурсивной практики) М. Фуко. Согласно данной концепции важно определить не только, что говорится на определенную тему, но и кем и как это говорится, какая картина мира, система идеологических предпочтений стоит за этим дискурсом. Дискурс в этом понимании не просто описывает реальность, а формирует ее, создает соответствующие социально-культурные институты и практики.

Польский дискурс памяти этого времени был, конечно, тесно связан с идеей польского народа и национального возрождения. Однако само понимание этого народа могло отличаться. В одном случае акцент делался на идею шляхецкой политической нации и необходимости восстановления государства, а в другом – народ приобретал более фольклорные черты и определялся в первую очередь через принадлежность к языку и традиционной этнической культуре. Различными были и порождаемые этими дискурсами культурные практики и социальные институты. Так, литератор и критик Маурыций Мохнацкий разработал программу создания национальной литературы, которая должна была не просто хранить память о прошлом, а поставить ее на службу потребностям настоящего. Фольклорист Зориан Доленга-Ходаковский создал проект фольклористики, опирающейся на полевые исследования, и имеющей своей целью «расшифровку» скрытого в ландшафтах послания предков и обоснования прав народа на свою землю. Варшавское Общество друзей науки в качестве одной из своих важнейших задач рассматривало создание национальной истории, а княжна Изабелла Чарторыйска создавала в своем имении в Пулавах Святилище национальной памяти, музей реликвий польского прошлого, посещение которого должно было не просто просвещать посетителя, а пробуждать в нем чувства национальной принадлежности, делать его поляком. Созданные в это же время историком Иоахимом Лелевелем образы идеализированного славянского прошлого легли в основу политических программ, основанных на идее польского мессианизма и исключительной роли страны в истории человечества.

Таким образом, в контексте романтического польского дискурса памяти возник определенный «каркас» из понятий, образов, чувств, институтов и практик, которые впоследствии сыграли решающую роль в формировании современной польской нации и восстановлении государственности.

М.А. Ведешкин
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Гессий Панополитанский в трудах Шенуте Атрипского: образ врага и формирование идентичности в позднеримском Египте

Одним из явлений, охарактеризовавших эпоху перехода от Античности к Средневековью, стало формирование новых этно-религиозных групп, среди которых наиболее яркий след оставила выделившаяся из древнеегипетской народности этно-религиозная общность коптов. Процесс формирование коптского самосознания являлся следствием, с одной стороны, трансформации социально-экономических институтов Римской империи, а с другой, процесса христианизации, охватившего средиземноморское общество в позднеантичный период его развития. Уже в III веке н.э. христианство широко распространяется среди населения египетской хоры. Процессу распространения новой веры среди сельского населения долины Нилы способствовали общеимперская нестабильность кризисного столетия, разложение институтов традиционной египетской религии, создавшее религиозно-идеологический вакуум, а также окончательное формирования коптской письменности, используемой в проповеди христианства среди широких слоев неэллинизированного населения Египта.

Распространение христианства среди низших слоев населения Египта способствовало развитию аскетических идей. Проявлением подобных настроений являлось появление монашества. В конце III века в Египте появляются первые монахи-отшельники, в IV столетии в долине Нила распространяются киновии. Абсолютное большинство лидеров монашеского движения Египта IV–V веков были по своему происхождению земледельцами-коптами. Все они либо вовсе не знали греческого, либо же имели весьма поверхностное знакомство с языком восточноримской элиты. Так, египтянином-коптом был один из основоположников египетского монашества Антоний, который не знал греческого. Греческий язык не был известен и большей части монахов Пахомиева монастыря (сам Пахомий, выучил его уже в зрелые годы), а также одному из лидеров верхнеегипетского монашества второй половины V века Макарию Тковскому.

Видное место среди монахов занимает апа Шенуте Атрипский, в конце IV – середине V века возглавлявший несколько монашеских общин в окрестностях фиваидского Панополя. Шенуте прославился не только как харизматичный лидер верхнеегипетского монашества, но и как исключительно плодовитый литературный деятель. В проповедях и письмах Шенуте раскрывается широкое полотно хозяйственной жизни вверенных его заботе монастырей, социально-

экономические и религиозные противоречия региона, взаимоотношения монастырей с церковными иерархами, гражданской и военной администрацией Египта, аристократией города Панополя.

Одной из основных тем произведений Шенуте является его длительный конфликт с Панополитанским аристократом Гессием, которого большинство исследователей отождествляет с Флавием Элием Гессием, президом Фиваиды 376–378 гг. Кроме того, не исключено, что именно противник Шенуте был учеником Либания. Возможно наш Гессий являлся и объектом нескольких сатирических стихотворений Паллада, упоминавшего о том, что аристократ искал консульских почестей и был казнен после обращения к оракулу Аммона.

Для Шенуте Гессий являлся сосредоточием всех дурных качеств, которые только можно найти. Зачастую игумен даже не называл имени своего противника – очевидно, для аудитории Шенуте обличения Гессия были темой настолько обыденной, что слушатели апы сразу узнавали человека, называемого «лгуном», «злодеем», «достойный проклятия», «врагом из Панополя» и «бесплодным древом» и «притеснителем».

С точки зрения Шенуте, самым страшным преступлением Гессия являлось его «эллинство» – бывший президи был язычником (или возможно криптоязычником). В то время как сам монах почитал себя вернейшим из слуг Церкви, истинным христианином, наслаждавшимся регулярным общением не только со святыми, но даже с Девой Марией и вторым лицом Троицы, а своего врага он именовал «сыном Сатаны», «богохульником» и «служителем Крона». В IV и V веках язычество было широко распространено и на территории панополитанской хоры, и среди панополитанской знати. Возглавляемые Шенуте монахи Белого монастыря находились на переднем крае борьбы за христианизацию региона: разрушали находившиеся в сельской округе Панополя храмы, совершали набеги на языческие деревни. По мнению Шенуте, язычество Гессия «и тех, кто подобен ему», т.е. панополитанских аристократов, было гораздо опаснее язычества простых земледельцев. Богатые и знатные жители Панополя имели возможность мешать христианам из числа своих работников и колонов отправлять религиозные церемонии и чтить христианские праздники, препятствовать их попыткам подносить дары в возглавляемые Шенуте монастыри. Проповедь Шенуте была направлена против всех аристократов-язычников, однако именно Гессий, как наиболее яркий представитель местной знати, оказался подвергнут настоящей травле со стороны монаха. Так, Шенуте лично выслеживал его, когда тот тайно совершал моления в руинах атрипского храма, ранее сожженного монахами. Позднее Шенуте и его иноки разгромили дом Гессия, разбили найденных там идолов и

сожгли книги, которые они посчитали колдовскими. На возмущение действиями монахов части жителей Панополя, апа ответил яростной отповедью, в которой обличал панополитан в безбожии и незнании законов «христолюбивых императоров».

В отличие от большинства современников-христиан, резко отделявших эллинство «культурное», т.е. приверженность греко-римской литературной и образовательной традиции, и эллинство «религиозное», Шенуте трактовал термин «эллин» в самом широком смысле. Для него «эллин» (язычник) – это любой человек читавший Аристофана или Гесиода, т.е. просто получивший классическое образование. По сути, Шенуте отказывал в истинном благочестии всем хоть как-то соприкоснувшимся с греческой культурой. Греховным было для Шенуте и все связанное с «городом врага» Панополем, который монах называл не иначе, как «город греха». Прежде всего, апа осуждал проявления изнеженности высших слоев городского населения, наиболее ярко проявлявшееся в их любви к баням. Более того, Шенуте называл «эллинами» даже тех христиан, которые понимали христианскую догматику отлично от самого монаха. Фактически, истинными христианами для Шенуте и слушателей его проповедей являлись лишь земледельцы-копты.

Еще одним постоянным мотивом антигессиевской полемики Шенуте, являлось неправедное отношение аристократа к беднякам. Гессий и «подобные ему» были «злодеями» и «мучителями» бедняков, заставлявшими их работать на своих полях и виноградниках, строить лодки и защищать своих господ от варваров. Интересно отметить, что монах приводит прямую связь между язычеством аристократии и ее эксплуатацией бедняков. Аристократы их обирают именно потому, что они язычники («эллины»), и они язычники, потому что обирают бедняков. Владычеству «мучителей» Шенуте противопоставляет свой собственный патронаж. По данным преемника Шенуте – Бесы при конфликте с местным землевладельцами сельские труженики панополитанского нома искали заступничества апы. В стенах его монастыря бедняки находят и защиту от набегов варваров, и кормятся в голодный год. По сути, Шенуте активно сманивал на монастырские земли колонов панополитанской знати, делая их фиктивными монахами. Тем самым монах, с одной стороны, укреплял экономическое и социально-политическое влияние своих монастырей в регионе, а с другой – обеспечивал, обращавшимся к нему за помощью земледельцам защиту от фискального и литургического бремени.

Таким образом, риторический дискурс Шенуте построен на четком противопоставлении яркого представителя языческой аристократии Гессия и самого Шенуте. Шенуте – истинный христианин, Гессий – язычник; Шенуте – копт, довольствующийся знанием

Божественных установлений, Гессий – изнеженный, изворотливый и любомудрствующий «эллин»; Шенуте – друг и защитник бедняков, Гессий – ожесточенный мучитель страждущих. По сути, в своих проповедях апа составил множество идентификационных маркеров, для позитивной (на примере самого Шенуте) и негативной (на примере Гессия) этнорелигиозной самоидентификации верхнеегипетских коптов. Созданный Шенуте образ Гессия, персонифицирующего все, что неприемлемо – антипода, использовался в проповедях монаха, а затем его преемников и внес заметный вклад в формирование самоидентификации коптов Верхнего Египта.

В.Ю. Волошина
(Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)

«Татьянин день» в традициях дореволюционной «профессорской культуры»: по воспоминаниям А.А. Кизеветтера»

В 1920–1930-е гг., когда формирование национальной идентичности становится способом выживания русской диаспоры, актуализируются проблемы сохранения ее исторической памяти. Известно, что историческая память носит избирательный характер, смысловые акценты в ней расставляются обществом в зависимости от приоритетности его культурных ценностей на каждом конкретном этапе. Обращение к прошлому для эмигрантов было очень актуально. С одной стороны, оно являлось проявлением эскапизма, а, с другой, позволяло преодолеть неизбежный психологический шок от вынужденного изгнания. Несмотря на то, что среди изгнанников были как защитники самодержавия, так и его активные противники, жизнь в дореволюционной России всем им представлялась «утраченным раем», большинство из них мучила ностальгия. Нельзя не согласиться с замечанием О.Б. Леонтьевой о том, что «смысл любого исторического события и значение деятельности любого исторического персонажа может подвергнуться радикальному переосмыслению даже на протяжении жизни одного и того же поколения» [*Леонтьева О.Б.* Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX в. Самара, 2011. С. 7].

Чтобы получить представление об исторической памяти диаспоры в целом, необходимо изучить картину мира и мифологемы различных социальных групп, входящих в ее состав. Одной из таких групп являлось научное сообщество, наиболее значимым корпоративным праздником которого был День св. Татианы. Целью данного выступления является анализ представлений российских ученых-

эмигрантов о роли этого праздника в жизни научного сообщества дореволюционной России в контексте сохранения традиций «профессорской культуры» в зарубежье. В качестве источника мною взяты воспоминания профессора А.А. Кизеветтера о праздновании Татьянина дня, опубликованные им в разное время на страницах эмигрантских газет, а также в его мемуарах, вышедших отдельным изданием в конце 1920-х гг. в Праге.

В 1920-е гг. в едином социокультурном пространстве русского зарубежья было создано и успешно функционировало единое научное сообщество, которое пыталось сохранить существовавшую в дореволюционной России «профессорскую культуру», с присущими ей ценностными ориентирами, мотивацией поведения, коммуникациями и традициями. Одной из таких традиций было празднование Татьянина дня, который, в дореволюционной России, по свидетельству А.А. Кизеветтера, считался «торжеством сознания единства культурной России» [*Кизеветтер А.А.* На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881–1914. М., 1997. С. 223.]

Впервые о праздновании Татьянина дня А.А. Кизеветтер вспоминал в январе 1924 г. в статье «Московская «Татьяна»», напечатанной на страницах газеты «Огни». Семантика ее текста, лексические словосочетания создают образ утраченной православной первопрестольной Москвы и свидетельствуют, на мой взгляд, о жгучей ностальгии у автора. Эмигранты, оказавшись в инокультурной среде, чувствовали себя чужими, а поэтому очень нуждались в поддержке соотечественников.

Проявление этих настроений мы находим и в мемуарах нашего героя. Он сравнивает празднование Татьянина дня с главным православным праздником – Пасхой, отмечая, что в эти дни «весь город жил <…> в унисон, охваченный единым настроением». В Пасху, когда раздавался «над Кремлем и над всей Москвой первый, в одно время и мощный и бархатно-гулкий удар с колокольни Ивана Великого. И как прозвучит этот первый удар, так через секунду – все сорок сороков московских церквей ответят ему оглушительным радостным звоном, наполнив им воздух и над Москвой, и на далекое расстояние за ее пределами. И теперь звонят в пасхальную ночь колокола, но нет захватывающего душу эффекта» [*Кизеветтер А.А.* Московская «Татьяна» // Огни. 1924. 29 января]. Из далекой Праги А.А. Кизеветтеру казалось, что Татьянин день был праздником «всей Москвы» и «справлялся обычно в Москве с особенною, чисто московскою», широтою размаха и духовного подъема. Мемуарист подчеркивал консолидирующую роль праздника не только для столичного научного сообщества, но и для культурной жизни страны в целом: «этот праздник не ограничивался пределами Москвы. Из всех концов России неслись в

этот день телеграфные приветствия Московскому университету. Москва бывала в этот день сердцем России, снова и снова выполняя свою изначальную функцию «собирания Руси» [Там же].

На основе воспоминаний известного историка, действительно можно сказать, что «Татьяна» отмечалась с «московской широтой и размахом», совмещая серьезные официальные мероприятия с «забавой и разгулом». Праздник начинался обычно с богослужения в университетской церкви, за которым следовало торжественное расширенное заседание «Ученого Совета» (университетский акт), на котором профессора университета, почетные гости «разного рода именитые старцы» заслушивали очередную актовую речь ректора, «всегда очень длинную, всегда очень ученую, наводящую своим тоном на размышления не столько о сладости плодов науки, сколько о горечи ее корней» [Там же]. А дальше начиналось веселье, когда товарищеские обеды вначале проводились в многочисленных компаниях, затем все их участники собирались в громадной зале Большого Московского трактира, где звучали шутливые тосты, и участники состязались в остроумии. А, когда обед заканчивался, кто-нибудь из присутствующих вставал на стол и начинал распевать студенческие куплеты, а все остальные дружно ему подпевали. Те, кто желал «продолжения банкета» отправлялись в рестораны. «Это был праздник радости, – вспоминал А.А. Кизеветтер, – которая сияла на всех лицах, ибо каждому приятно было хотя раз в году почувствовать себя членом обширной группы культурных людей, связанных общностью воспоминаний, единством настроения. В сторону отбрасывались всякие перегородки – служебные, партийные, возрастные, и какой-нибудь ученый, уже близкий к концу земного поприща, хотел быть в этот день таким же веселым, возбужденным, даже таким же легкомысленным, как иной птенец, только что перелетевший с гимназической скамьи под сень старого дома на Моховой» [*Кизеветтер А.А.* На рубеже двух столетий… С. 221-222.]

В безрадостной эмигрантской жизни воспоминания о праздниках поднимали настроение. Память нашего героя, возможно в излишне идиллических тонах, рисовала картину бесшабашного веселья, счастья и раскрепощенности [см.: Огни. 1924. 29 января]. Атмосферу радостного общения передает и такой эпизод: «Вот поднимается возбужденный всероссийский златоуст Плевако с львиной гривой волос, обрамляющей скуластое калмыцкое лицо. Он предлагает желающим задать ему самую хитроумную тему для ораторской импровизации. <…> Кто же, как не Ключевский задаст самую хитроумную тему. Ключевский не остается в долгу и предлагает Плеваке сказать речь о «пользе вреда». Плевако чувствует, что попал в капкан и после нескольких словесных аллюров спасает свое положение тем, что произ-

носит вдохновенный панегирик Ключевскому. Вся зала шумными кликами чествует любимого профессора-чародея» [Там же].

Впоследствии, после долгих лет изгнания, когда Советская власть окончательно укрепилась, и стала очевидной тщетность надежд на возвращение в Россию, тональность воспоминаний о Татьянином дне у А.А. Кизеветтера меняется. В январе 1931 г. в рижской газете «Сегодня» он напечатал очерк «Что вспомнилось в Татьянин день. Профессура эпохи расцвета Московского университета», в котором подчеркивал, что теперь воспоминания об этом празднике уже не могут навевать радостных мыслей [см.: *Кизеветтер А.А.* Что вспомнилось в Татьянин день. Профессура эпохи расцвета Московского университета // Сегодня. 1931. 25 января]. Перед мысленным взором мемуариста встают его любимые учителя и коллеги из Московского университета. С большой теплотой он вспоминает профессоров В.Ю. Ключевского, В.И. Герье. П.Г. Виноградова, Н.С. Тихонравова, М.М. Троицкого, Ф.Ф. Фортунатова, Г.А. Иванова, и Ф.Е. Корша [Там же]. Несмотря на отсутствие радостного настроения, в этом очерке известный ученый все же подчеркивает важную роль праздника для эмигрантского научного сообщества.

Вышеизложенное свидетельствует, на мой взгляд, что один из наиболее ярких представителей российского научного сообщества конца XIX – первой трети XX века А.А. Кизеветтер считал празднование Дня св. Татианы важной традицией «профессорской культуры». Но, если в дореволюционной России праздник символизировал единство культурной жизни всей страны, то в зарубежье он превратился в форму моральной поддержки соотечественников, столь необходимой в тяжелых условиях эмигрантской жизни.

О.В. Воробьева
(Институт всеобщей истории РАН, РГГУ, Москва)

Концепт пространства в конструировании и осмыслении региональной идентичности*

Разворачивание и последствия глобализации (действие в современном мире разнонаправленных по своему вектору процессов – универсализации и децентрализации; функционирование разнородных и разнотипных и иерархические не упорядоченных по своей сути час-

* Подготовлено при финансовой поддержке РНФ, проект 15-18-00135 «Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский и мировой опыт формирования общегражданской идентичности».

тей, не исключающих, тем не менее, наличия целостности; размывание территориальных границ, переформатирование мирового пространства и выстраивание новой топологии; отсутствие единого центра и функционирование многочисленных связей и пучков отношений, благодаря которым происходит выработка механизмов и принципов соотнесения разнородных частей глобального мира, и т.д. и т.п.) все чаще переносят внимание ученых с традиционных форм идентификации населения – расовой, национальной, этнической, конфессиональной, социальной, гендерной – на региональную, которая в этих условиях рассматривается как один из интеграторов новых и более сложных форм отношений внутри глобального сообщества.

Региональная идентичность осмысливается при этом не только как действительность, но и как конструкт, создаваемый при помощи памяти, воображения и других способов метакогнитивного кодирования. Гораздо реже при осмыслении идентичности (по крайней мере, историки) обращаются к пространству, которое воспринимается, скорее, как фон, т.е. как пассивная составляющая этой идентичности. Между тем, любое конструирование идентичности предполагает включение пространственных отношений, которые вступают в весьма сложные отношения с расположенными на них объектами. И это пространство, во-первых, не нейтрально, во-вторых, не сводится к дихотомии «центр-периферия» (в категориях которой чаще всего описывается основная проблематика при осмыслении региональной идентичности).

Мой тезис заключается в необходимости переосмысления социального и культурного в тесной связи с пространственными феноменами. И дело вовсе не во множественной семантике понятия «регион», а в ином осмыслении пространства, ставшем возможным благодаря успехам сторонников «материального поворота», акторно-сетевой теории в социологии, гуманитарной географии (которая все больше смещает свои интересы в сторону формирования и развития ментальных конструктов, которые структурируют и характеризуют представления, связанные с идентичностями), социальной топологии, и др. Все они, так или иначе, делают акцент на множественные формы пространственности, что, в свою очередь, дает дополнительную пищу для размышлений о способах идентификации в них.

В традиционной и привычной для западного человека (и для классической рациональности) установке пространство (в нашем случае – пространство региона) мыслится исключительно *географически и физически* (евклидовое пространство), т.е. как некое вместилище человеческого существования, определяющее его условия и, стало быть, предшествующее ему, как некий физический фундамент, над которым надстраивается мир социальных знаков и репрезентаций.

Такое понимание пространства тесно связано с идеологическими проектами модерна, нуждающимися в аккумулировании отношений в определенных точках пространства с последующим выстраиванием на этом фундаменте европоцентристских моделей.

Другую интерпретацию пространственности предлагают разные версии сетевой теории, отрицающие ее естественность и самоочевидность. С точки зрения сторонников этой теории, регион создается и является сетью отношений. Устанавливая связи, приобретая идентичность, включаясь в сети и выходя из них, акторы создают новые сущности и сами становятся их частью. Как пишет Б. Латур, «Если вы попробуете нарисовать пространственно-темпоральную карту всего, что присутствует во взаимодействии, и набросать список тех, кто в нем так или иначе участвует, то вряд ли получите хорошо различимую структуру, скорее – спиралевидную сеть со множеством различных дат, мест и людей» [*Latour B.* On Interobjectivity // Mind, Culture and Activity: an International Journal. 1996. Vol. 3. № 4. P. 233]. И объект остается в своем качестве до тех пор, пока эти отношения достаточно устойчивы (интерес представляют условия создания этой устойчивости, ведь, по сути, эта проблема границ существования региона). И когда создается такой сетевой объект, одновременно создается и весь его сетевой мир, включая пространственные условия его возможности, представления о единстве и непрерывности формы. Другими словами, и в этой логике, пространство не предшествует объектам, оно есть порядок их сосуществования, оно *делается* (у нас просто нет инструментов, оптики и языка описания для улавливания такого производства), хотя это и кажется абсурдным с точки зрения традиционной трактовки пространства как изначально *определенного*. Естественно, это сетевое единство связано с физическим пространством, но корректнее говорить о том, что регион и его пространство создаются вместе и, стало быть, существование региона обязано пересечению различных пространств (физического и сетевого).

Любая сеть предполагает конструирование определенного вида пространства и для сохранения стабильности стремится к сохранению условий своей возможности, к этому же подталкивает и существование за пределами данного пространства других объектов и сетей, что, в свою очередь, означает наличие представлений об инаковости и стремление к устранению последней. Стало быть, пространства являются идеологически нагруженными конструктами и на них можно влиять. В этой точке социальная топология выходит на границы и вступает в тесное взаимодействие с гуманитарной географией и историей. Пространства не могут существовать без мифов, вне определенных дискурсов, для производства которых географическое вооб-

ражение начинает тесно взаимодействовать с историческим. Механизм этого взаимодействия описан Д.Н. Замятиным: сначала отбираются определенные полуосознанные знаки, символы, стереотипы и архетипы, посредством которых конструируются отдельные образы, затем происходит выстраивание этих образов в некие пространственные и временные последовательности и, наконец, – вытягивание этих цепочек на сознательный уровень и их репрезентация (создание мифической истории, нарратива). В результате происходит ментальный сдвиг, и эти представления становятся базой для идентичностей. Этот дискурс производится разными контрагентами, в том числе историографией. В этом случае произведение историка становится своего рода «ментальным фильтром», «мембраной», позволяющими физическому и сетевому пространству взаимодействовать в образно-символическом отношении, в том числе становиться важным компонентом всех трех измерений исторического времени. Формирующиеся таким образом идентичности, в свою очередь, начинают влиять на содержание концепта пространства, и это метафизическое описание пространства как основа идентичности представляется очень важным.

Наконец, критики западной метафизики предлагают обратить внимание на еще одну форму пространственности, которая весьма интересно взаимодействует с двумя предыдущими – текучую пространственность – и которая начинает выявлять то, что прежде находилось в тени: исследовать затененные и гетеротипичные места – места *Иного*, которые лежат за пределами сегодняшних возможностей, т.е. обратиться к пространственной интерпретации проблемы инаковости, определению границ условий возможности. Регион в этом случае предстает как нестабильный объект, в котором постоянно происходит реконфигурация элементов, отношений или добавление новых. Другими словами, во всех взаимодействиях присутствует то, что не может быть рассмотрено как дискретное. Границы региона в данной форме пространственности четко не фиксированы, иначе он просто не смог бы существовать в пространстве текучести, но все-таки нужны для сохранения целостности. Любое нарушение этих условий – четкая фиксация или наоборот масштабная трансформация – приведет к потере устойчивости, непрерывности и возникновению другого региона со своим собственным пространством. В условиях пространственно текучести не может быть жестко закрепленных центров и периферий, ибо нет стратегических центров, равно как не может быть жесткого разделения на внутреннее и внешнее (что позволяет некоторым авторам сделать вывод о том, что современные «глобальные потоки» людей, капиталов, информации являются вовсе не потоками, а сетями. Стало быть, за сетевой формой скрывается множество случайных, текучих, ситуативных изменений, которые незаметны в пространстве

сетей, ибо они не могут быть представлены ни в одном из ее узловых центров. Изменчивость как бы «протекает сквозь сеть». А если и обнаруживаются ею, то выглядят нечетко, неопределенно, беспорядочно и, скорее всего, рассматриваются как угроза, как альтернативная политика целостности (инаковость). Получается, что между пространством и регионом выстраиваются довольно напряженные отношения.

И действительно, любой регион представляет собой сложнейший и весьма подвижный, постоянно трансформирующийся конгломерат пространственных представлений, зачастую конфликтующих друг с другом. Пространство при этом может рассматриваться в контексте традиционного общества или посттрадиционного, модерного или постмодерного. В частности, распад модерна привел к появлению огромного числа разных, зачатую слабо связанных или вовсе не связанных друг с другом идеологических пространственных дискурсов, результатом чего стало появление множества фрагментарных обществ, особенно в тех местах, которые изначально плохо согласовались с идеологическим проектом модерна. Именно поэтому следует исследовать регионы в их пространственной множественности и инаковости, создавать и артикулировать альтернативные пространственности. Сказанное вовсе не означает полного растворения объекта-региона в пространстве потока. Оно просто фиксирует внимание на том, что идентичность в данном случае, скорее всего, можно осмыслить как пересечение между различными вариантами неизменности формы: физической формы, сети отношений и ограниченных конфигураций этих отношений. Оно делает упор на том, что за пределами физического пространства и все более осваиваемого нами пространства сетей существует что-то еще; что важно помыслить не только то, как нечто становится возможным, но и то, как возможно другое, и тем самым уйти от одномерных представлений об идентичности.

Е.А. Воронцова
(Государственный литературный музей, Москва)

Историческая наука между Сциллой информационного потопа и Харибдой информационной энтропии

Поставленный вопрос – это, по сути, вопрос о том, с какими факторами риска сталкивается историческая наука и как преодолевает их действие. О том, сколько информации, с одной стороны, необходимо, а с другой – достаточно для нормального развития историописания, исторической мысли, исторической науки на каждом этапе развития как общества, так и для выполнения ими главной

функции – «страховки» человечества от утраты памяти о себе, понимания самого себя и мира в целом. О том, при каких условиях информационное обеспечение исторической науки переходит в обеспеченность информацией о прошлом, когда информации становится достаточно для удовлетворения потребности в ней общества в лице его полномочных представителей – исследователей-историков.

В понятии «информационное обеспечение исторической науки» мы фиксируем две составляющие: 1) непосредственно – информация, необходимая для решения исследовательских задач в области изучения истории, и 2) деятельность по ее поиску, сбору, обработке, накоплению и хранению, распространению и использованию.

Чтобы историческая наука могла выполнять предназначение хранителя памяти, важны сбалансированность количества и качества информации о прошлом. Если ее много, но она никак не организована, не упорядочена, не систематизирована, не структурирована, ее невозможно репрезентировать и, соответственно, она абсолютно бесполезна.

Для исторической информации, краеугольным камнем является аутентичность свидетельств о прошлом. Исторической информации – многоуровневая. Первый уровень – информация исторических источников. Следующие уровни – это уже уровни научной абстракции: второй уровень – информация научных исследований по истории, фиксируемых в изданиях, третий – информация историографических работ (ряд исследователей называет их историографическими источниками), четвертый –библиографическая информация и информация энциклопедий, словарей, справочников. Аутентичность исторических источников, часто выступающих в ипостаси музейных предметов и архивных документов, как правило, не оспаривается, ведь они – подлинные, одновременные или достаточно близкие по времени создания к описываемым событиям. На наш взгляд, остальные типы источников информации тоже аутентичны, но по по-иному – как свидетельства научной мысли и свидетельства о таких свидетельствах.

Организация информации, ее упорядоченность – условия, облегчающие доступ к ней исследователей и ее использование, и репрезентацию обществу. В этом деле важна мера доступности информации, сбалансированность спроса на нее и ее предложения. Их диссонанс чаще является фактором негативным, лишь в отдельных случаях оказывающим стимулирующее влияние на развитие науки. Для исследователей очевидно значение системности информации, достигаемой в процессе ее систематизации. Последняя, как и сама информация, многоуровневая, и высшим уровнем, на наш взгляд, можно назвать классификацию, которая применяется в исторической науке. Систематизация и классификация, пожалуй, – самый эффектный и наглядный по-

казатель высокой (или не очень) организации научной информации, квинтэссенция научной мысли о самой себе и о познаваемом мире.

Все исследователи согласны с тем, что для их работы необходимы качественные, т.е. хорошо систематизированные, высокоорганизованные, информационные ресурсы, наполненные достоверной и репрезентативной информацией. Отсюда вытекает, что деятельность по поиску, сбору, обработке, накоплению и хранению, распространению и использованию информации должна быть соответствующим образом организована, что информационная инфраструктура должна быть адекватна потребностям науки, а историческая наука как информационная система должна иметь эффективное управление. Отметим, что у этого управления есть две стороны – управление со стороны общества, т.е. извне, и управление со стороны самого сообщества ученых, т.е. самоуправление и самоорганизация на основе саморефлексии. Отметим также, что ряд исследователей придает чрезмерно большое значение технологическим аспектам данной деятельности, особенно – современным информационно-коммуникационным технологиям. На наш взгляд, приоритетным является содержательное наполнение научной деятельности. Поэтому, проблема информационного обеспечения науки и задача, связанная с решением проблемы стали формулироваться вместе с возникновением историописания. На каждом этапе развития науки исследовательские задачи решаются с помощью технологий, более или менее адекватных поставленным задачам. Следовательно, не технологии определяют развитие мысли – скорее ее развитие определяется обращением исследователей к тем или иным технологиям. При этом отрицать значение технологий вряд ли оправданно.

Процесс приращения научного знания (накопление информации) достаточно хорошо изучен и описан в литературе и в теоретико-методологическом, и в конкретно-историческом отношении, чего нельзя сказать о факторах, оказывающих на него негативное влияние: чрезмерная интенсивность информационного потока и информационная энтропия.

Влияние первого фактора мы наблюдаем непосредственно и четко констатируем возрастание скорости распространения информации, иное качество технологий, глобальный характер информационных сетей, интенсивность коммуникации и усиление роли репрезентации информации, большие объемы которой вводятся в научный оборот. Почти наверняка то же самое наблюдали и чувствовали и наши предшественники, на глазах которых разворачивались другие информационные революции. Оборотная сторона этой «медали» – избыточность информации и нарастание информационного шума. Гипертекучесть информации в сетях, многократное повторение одной и той же информации затрудняет поиск нужной исследо-

вателю информации, усложняет процедуру ее проверки и определение того, насколько она репрезентативна. Высокие скорости облегчили распространение информационных подменышей и перевертышей и привели к нарастанию дезинформации (часто даже неосознаваемой тем, кто ее передает). При этом осознание того, что безответственное обращение с информацией может привести к уничтожению человечества, пока не привело к выработке у индивидуумов рефлекса «стоп дезинформации».

Написанное об отрицательном влиянии ограничения доступа к информации свидетельствует, что для современных исследователей это – не требующая особых доказательств аксиома. Положительный эффект такого ограничения как меры, оберегающей человека, не стал предметом анализа, а здесь есть над чем подумать, ведь излишняя доступность информации может быть использована для искажения истины (тем более, что часто это остается даже не отрефлексировано).

Другим негативным фактором является информационная энтропия, т.е. рассеивание информации, ее переход из состояния «актуальной» (используемой) в состояние «потенциальной» (не используемой). Это оказывает существенное влияние на информационный процесс (процесс, в котором фигурируют объект, субъект и результат отражения объекта субъектом – информация), затрудняет передачу научного и социокультурного опыта (коммуникацию культуры), имеет следствием уменьшение глубины исторической памяти. Усилению указанных факторов способствуют ограничение доступа к информации и ее искажение, информационный шум.

Чтобы проплывать между Сциллой информационного потопа и Харибдой информационной энтропии, необходимо искать действенные способы оптимизации производства, хранения, распространения и использования информации, – важно использовать преимущества информационно-коммуникационных технологий, а не глохнуть от информационного шума. Надеемся, что реализуемый нами проект «Роль музеев-библиотек-архивов в информационном обеспечении исторической науки» (автор проекта Е.А. Воронцова; председатель редколлегии, главный редактор серии Л.П. Репина), в рамках которого в 2015 г. вышел сборник «Роль музеев…», будет этому способствовать.

В.В. Высокова
(Уральский федеральный университет
им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

«История» в словарной традиции эпохи Просвещения*

История как верифицированное знание о прошлом рождается в Европе в эпоху раннего нового времени. Это был период разрыва времен, когда их метафизическая связь (в духе библейского толкования) вытеснялась рационалистической триадой «прошлое-настоящее-будущее». Уже в эпоху Просвещения футурологическая направленность общественно-политической мысли становится данностью. «Сегодня», а уж тем более «вчера», начинает восприниматься как то, что требует улучшения и модернизации. Большой интерес представляет в связи с этим анализ изменений интеллектуального климата в Европе в контексте становления национально-государственных идентичностей. Особенно это важно и интересно с точки зрения России, а также оказывавших на нее интеллектуальное влияние Франции и Британии. Наша гипотеза заключается в следующем: формирование национально-государственной идентичности происходило в процессе адаптации «прошлого» на основе новой картезианской познавательной модели; специфику и особенности этой адаптации можно выявить на примере первых словарей национальных языков XVII–XVIII веков. Именно картезианский подход с его стремлением к «тотальной» систематизации и классификации дает нам достаточно точную фиксацию представлений о прошлом. В центре нашего внимания компаративный анализ трех словарей – Французской академии (конца XVII века), С. Джонсона (50-е гг. XVIII века) и Академии Российской (90-е гг. XVIII века) в контексте становления верифицируемой модели национального прошлого.

Сразу следует обратить внимание на синкретизм мышления представителей эпохи Просвещения, на тесную связь истории и филологии в XVII–XVIII веках. Можно сказать, что новое прочтение истории рождается в процессе складывания литературных национальных языков – в «борьбе за его чистоту». Франция, ставшая «законодательницей мод» и «властительницей дум» в Европе XVII века, пережила

* Тезисы подготовлены в рамках реализации гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук, и государственные научные центры Российской Федерации (лаборатория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор № 14.A12.31.0004 от 26.06.2013 г.

этот опыт вслед за итальянцами. Французская академия, созданная в 1638 г. кардиналом Ришелье по модели Академии делла Круска (Accademia della Crusca) во Флоренции, была призвана «трудиться со всей тщательностью и усердием, как это возможно, чтобы дать точные правила нашего языка, и сделать его пригодным в упражнении искусствами и науками». Первое полное издание «Le Dictionnaire de l'Académie françoise dedié au Roy» вышло в 1694 г. в двух томах и насчитывало около 35 тыс. слов. На странице 565 первого тома дано следующее определение слова «история»: «*повествование о деяниях и вещах, достойных памяти* / narration des actions et des choses dignes de memoire». Приведены примеры словоупотребления: всеобщая история, всемирная история, частная история / histoire particulière, античная история, новая история, светская история / histoire profane, священная история / histoire sainte, церковная история / histoire Ecclesiastique, римская история, история Греции, история Франции, история Испании, история Турции, история Китая, история Перу…».

Словарь был создан «сорока бессмертными» на казенные деньги и посвящен королю Людовику XIV. Это был «заказ» государства, в том числе с целью возвысить французский язык над латинским, обеспечить Франции первые позиции в Европе. В стремлении к «чистоте» и лаконизму академики сочли целесообразным опустить вопрос об этимологии слов. Этот пробел восполняет протестант и поборник веротерпимости П. Бейль в «Историческом и критическом словаре» 1697 г. В его сочинении «история» представлена статьей «исторический талант», где он замечает следующее: «…Я наблюдаю, что правда есть душа истории, этот сущностная вещь исторической композиции должна быть свободна от лжи; … тот, кто может написать хорошую историю, не будет лгать на своих врагов, его совесть не позволит ему говорить неправду, даже к выгоде его религии и близких друзей…». Сочинение Бейля словарь лишь по форме (алфавитный порядок статей), в содержательном отношении это разбор гугенотом христианской доктрины с рационалистических позиций. Строгий и скептический подход Бейля окажет влияние на последующих мыслителей эпохи Просвещения – Д. Дидро и других энциклопедистов, а также Д. Юма и Дж. Беркли.

В Британии мы видим иной вариант реализации создания словаря английского языка. Первое очевидное отличие – это была частная инициатива. В 1746 г. группа лондонских книгопродавцев заключила контракт с доктором С. Джонсоном на написание словаря. Удивительно, что он создал этот фундаментальный словарь в одиночку. Автор опирался на богатую лексикографическую традицию, сложившуюся в Британии на рубеже XVII–XVIII веков. На создание словаря ушло почти девять лет, хотя первоначально Джонсон пола-

гал, что ему понадобиться всего три года. Примечательно название словаря – «Словарь английского языка, в котором слова выведены из их первоначальных значений, а также проиллюстрированы в различных значениях на примерах лучших авторов, с Историей языка и Английской грамматикой, составленные С. Джонсоном». Первое издание «Словаря» 1755 г. содержит более 42 тыс. слов. Одним из важнейших нововведений Джонсона было толкование значений слов посредством литературных цитат, которых в «Словаре» насчитывается около 114 тыс. (наиболее цитируемые Джонсоном авторы Шекспир, Мильтон и Драйден).

«Словарь» Джонсона дает три значения слова «история»:

1. повествование о достойных событиях и фактах / a narration of events and facts delivered with dignity. Поуп А.: «Справедливо Цезарь презирает поэтов воспевания, *истории* он доверяет похвалам / Justly Caesar scorns the poet's lays, it is to *history* he trusts for praise».

2. рассказ; связь / narration; relation. Уайзман Ричард «Хирургия» / Wiseman's Surgery: «*История* началась в маленькой комнате / The *history* part lay within a little room»; Поуп А. «Одессея»: «Какие истории тяжкого труда я мог бы рассказать? Но уставшая натура еще жаждет отдохновения / What histories of toil could I declare? But still long-weary'd nature wants repair».

3. знание фактов и событий / the knowledge of facts and events. Уоттс Исаак «Совершенствование разума» / Watt's. Improvement of the Mind: «История отстоит так далеко от событий Библии, как это необходимо богословам / History so far as it relates to the affairs of the Bible, is necessary to divines».

Екатерина Дашкова, выбравшая для обучения своего сына Эдинбургский университет, была хорошо знакома и с французским, и английским словарем. Вернувшись в 1782 г. в Россию, она выступила инициатором создания подобного словаря в России. Именно с этой целью в 1783 г. была создана Академия Российская. На создание словаря ушло 11 лет. Он вышел в шести томах и содержал чуть более 43 тыс. слов. Даже беглое знакомство со словом «история» в третьем томе «Словаря Академии Российской» выдает практически полное сходство с его французским аналогом. На странице 318 читаем: «История, греч. В пространном смысле: повествование о деяниях, происшествиях или вещах достопамятных, иначе Дееписание, бытописание. История всеобщая, частная. История древняя, новейшая. История церковная, светская. История Греческая, Римская. История основанная на истине, баснословии. Сокращенные истории. История о делах Александра, Петра Великого». «Историк, дееписатель, бытописатель; сочинитель истории».

Апробация нашей гипотезы выявила строго рационалистический подход французских академиков, заданность их работы национально-государственным интересом, связь с латинской традицией. В английском варианте в основе создания словаря мы находим оригинальную концепцию в опоре на язык выдающихся английских писателей нового времени; пожалуй, главным стимулом доктора Джонсона был денежный, на втором месте – удовлетворение своих интеллектуальных амбиций, а уж потом национальные чувства. В основе создания «Словаря Академии Российской» просматривается «догоняющий» синдром, по части иностранных слов – опора на «Словарь Французской Академии». Создание словарей национальных языков стало основой становления национальных идентичностей во Франции и Британии, в России же «Словарь» не получил такой востребованности и популярности.

Т.М. Гавристова
(Ярославский государственный университет)

Литературно-художественные мемуары Нигерии: время, люди, судьбы

Мемуарная литература как литературно-художественный жанр в Африке получила распространение во второй половине XX века. Освобождение от колониальной зависимости – событие мирового масштаба (1960 год, в ходе которого освободилось 17 колоний, вошел в историю как Год Африки) – могло вызвать (но не вызвало) к жизни тысячи воспоминаний. Препятствовала ситуация едва ли не поголовной неграмотности: более половины жителей континента не умели читать и писать. Пионеры жанра: Кваме Нкрума (Гана) и другие борцы за независимость – сделали то, что в подобной ситуации могли сделать немногие, написав о своей жизни, о пути, ведущем к свободе.

Нигерию, страну, существующую по воле колониальных властей в современных границах с 1914 г., нередко называют «Африкой в миниатюре». Крупнейшее по численности населения государство континента (конгломерат этносов и конфессий) сосредоточило в себе практически весь комплекс противоречий, присущих Африке и унаследованных с колониальных времен. Более чем за полвека независимости Нигерия прошла через эйфорию освобождения и модернизации, кровопролитную гражданскую войну (1967-1970 гг.), череду военных переворотов, «нефтяной бум» и диктатуру Сани Абачи (1993–1998 гг.).

Ситуация нестабильности (перекрестка, перепутья) стимулировала образованный класс к поиску выхода из кризиса. Интеллектуальные и духовные искания повлекли за собой рождение литературы и публицистики удивительной остроты и силы: в литературно-художественной среде ее считают продолжением европейской классики.

У истоков мемуаристики в Нигерии стояли писатели: Воле Шойинка (родился в 1934 году; йоруба), лауреат Нобелевской премии в области литературы (1986 г.), Чинуа Ачебе (1930-2013 гг.; игбо) и др. Возложив на себя миссию создателей «современной истории», одной из самых востребованных форм мемуарного жанра, оба – «дети Геродота», воспитанные «под британским протекторатом», – встали (вслед за М. Блоком) на путь ее очеловечивания. Фиксация хроники играла второстепенную роль.

В своих мемуарно-публицистических произведениях «Бремя Памяти, Муза Забвения» (1999 г.), «Вы должны выступить на рассвете» (2008 г.), «Из Африки» (2012 гг.) В. Шойинка, легко переходя от бытописания к анализу прочитанного (круг чтения включает античных авторов: философов, историков, поэтов; английскую и русскую классику, Б. Брехта), рисует портреты разных людей, вступая с ними в полемику и заставляя читателя задуматься о текстуре памяти, о смысле жизни, о поисках идентичности.

Судьба сводила писателя с государственными и политическими деятелями, банкирами и министрами, учеными, литераторами и кинематографистами. Их истории наряду с историями обычных («маленьких») людей наполняют пространство произведений. Так рождается образ Нигерии, и ее восприятие, как и восприятие окружающей действительности, в значительной мере совпадало у В. Шойинки и Ч. Ачебе. Оба, типичные англофоны, ориентированные на самореализацию и успех, на протяжении жизни многократно задавали себе вопрос: кто я и что я сделал (или могу сделать) для Нигерии?

В жанре мемуарной литературы пробовали себя многие писатели, старейшины литературного цеха и молодежь. Ч. Ачебе (в восьмидесятиоднолетнем возрасте) опубликовал свои воспоминания «Была страна: персональная история Биафры» (2012 г.), и они вызвали полемику в среде мировой общественности, вновь поставив на повестку дня проблему геноцида народа игбо.

Становление жанра мемуарной литературы происходило на глазах одного поколения, но ощущение времени и себя во времени у литераторов (в силу возраста и этнической принадлежности) было разное. Одни тяготели к конформизму и космополитизму, другие – к модерну и постмодерну, в равной мере используя элементы дидактики, кодирования, игры. Все авторы в воспоминаниях склонялись к саморепрезентации, но там, где Ч. Ачебе проявлял себя как ментор и него-

довал, и поучал, Б. Эмечета (родилась в 1944 г.) воспитывала поматерински, Нкем Нванкво (1936–2001 гг.) провоцировал, В. Шойинка и Крис Абани (родился в 1966 г.) лицедействовали и подшучивали. Олу Огуйбе (родился в 1960 г.) и Чимаманда Нгози Адичи (родилась в 1978 г.), склонные к апокалипсическому восприятию действительности, рисовали в своих произведениях картины вселенских страданий, абстрагируясь от событийности и не замечая, что вместо достоверности превалируют эмоции.

Процесс эмансипации человеческой индивидуальности в условиях независимости обусловили становление «нового африканца» и, как следствие, нового типа межличностных отношений, на волне эволюции которых появились «Другие» воспоминания. Поливариантность мемуаров изначально предполагала разнообразие репрезентаций (разные люди, разные судьбы), однако в XX–XXI веках преобладали истории о детстве и юности, становлении личности, соратниках и соперниках.

Проникновенность и «невыдуманность» авторского слова наряду с использованием художественных средств обусловили большую притягательность мемуаристики. Многие произведения были включены в школьную программу не только в Африке, но и за ее пределами. Африканские истории ломали стереотипы. Их ангажированность связана с глобализационными изменениями на мировой арене, стиранием границ, развитием Интернета, распространением английского языка как средства общения. Сказался и интерес к проблеме «Другого»: другого человека, общества, культуры.

Привлекательность нигерийских мемуаров проявилась в весьма прихотливом сочетании целого ряда составляющих, способствующих их востребованности. Определенная доля экзотики (иная территория, иные лица), атмосфера страха (ужаса: кровь, крик, плач), хронотоп испытания в сочетании с героикой авантюрного романа (война, трагедия народа) – вот ключи к успеху у читателей. Для многих именно чтение мемуарной литературы стало «открытием» Африки.

Д.В. Гарбузов
(Волжский гуманитарный институт,
филиал Волгоградского государственного университета)

Человеческий монокосм в пространстве и времени истории

Событие появления homo sapiens на Земле можно сравнить с человеком, потерявшим память. Такой человек не помнит своего имени и своей истории, но помнит множество вторичных свойств,

которые подтверждают, что у него была своя жизненная история. Как взрослый человек, даже если он потерял память, не может не иметь жизненной истории, так и homo sapiens предполагает зрелость разумной жизни. Поэтому историки так неустанно ищут «переходное звено» от животного к человеку. Но найти не могут. Возможно, это связано с тем, что «место (пространство) Человека» и «время Человека» имеют разный онтологический статус. Место локально, а время универсально. Человек «локализуется» на Земле не из ничего, а из универсума, в котором он потенциально (программно) присутствует всегда. И именно поэтому обнаружить его «переходное звено» принципиально невозможно. Ибо локализуется он сразу, одномоментно, в полностью готовом, сформированном виде. Такова исходная гипотеза, которую мы попытаемся обосновать.

1) **Исходные посылки. Терминальная модель.** В основании существования мира находится процесс (событие) определения (терминализации) бытия в сущее. Само бытие неопределенно и абсолютно. Оно становится чем-то конкретным, только пройдя через процесс терминализации (определения-трансляции). И именно в рамках этого процесса можно произвести *онтологическую концептуализацию* понятия времени. *Время – это терминал, который определяет абсолютное неопределенное бытие и транслирует его на уровень конкретного сущего*. Данный процесс происходит безостановочно, поддерживая существование мира. Можно сказать, что время – это своеобразный компромисс между бытием и сущим, всем и одним, целым и частью, неопределенным и конкретным. *Все* не может уместиться в пространстве и получает свое место отсрочено, т.е. во времени.

2) **Антропология времени**. Здесь включается *антропологическая концептуализация времени – антропный принцип*. «Видимость» мира, т.е. наличие *наблюдателя*, является не следствием, а *фундаментальным фактом темпоральной терминализации*. Бытие наблюдателя, т.е. человека, задается самим этим процессом, который выступает в качестве его онтологического основания. Это означает, что видимый мир, являющийся результатом терминализации исходной неопределенности бытия, изначально скоординирован с наблюдателем этого мира, *в существовании которого определение бытия достигает своего максимального предела*. Таким образом, все сущее, кроме наблюдателя (человека) является *результатом* процесса терминализации исходной неопределенности. И только сам наблюдатель является не результатом, а воплощением, реализацией этого процесса.

3) **Биологическая темпорология.** Здесь существует возможность *биологической концептуализации* проблемы времени. *Жизнь – это последовательное, эволюционное воплощение бытия наблюдате-*

ля. В эволюционной феноменологии жизни происходит все более тонкая и глубокая настройка бытия наблюдателя. Эта эволюционная настройка приводит к тому, что бытие наблюдателя становится все более соразмерным бытию мира. *В онтологическом плане* это означает, что существование наблюдателя все в большей мере и более полно выражает *исходную темпоральность бытия мира*. *В феноменологическом плане* это означает эволюцию мембранных структур, осуществляющих все более сложную терминальную дифференциацию пространства. Живой организм – это сложнодифференцированное, терминальное пространство, структурно отделенное от более «гладкого» и «неискривленного» пространства.

4) **Темпорологическая когнитология**. Наконец, здесь можно обнаружить истоки *темпорологической концептуализации проблемы сознания, разума*. Физико-биологическая со-настройка бытия мира и наблюдателя, реализуемая в различных альтернативных и эволюционных моделях живых организмов, вполне возможно, сопровождается сохранением информации. Для такого предположения не требуется уходить в сферу мистики и спиритуализма. Сохранение информации – это реальный процесс, вполне доступный рациональному физическому и математическому описанию. В качестве примера можно привести ДНК как «молекулу памяти», сохраняющую информацию. Вполне возможно, существуют и более фундаментальные механизмы сохранения информации – например, сохранение квантовых состояний, как это предполагают физики. Этот процесс приводит к формированию информационных баз управляющих программ разного уровня, способных актуализироваться, приобретать аппаратное воплощение в приемлемой среде. Эти программы должны иметь именно темпоральную природу, т.е. не быть локализованными в конкретном физическом пространстве. В противном случае они не могут быть универсальными. Такого рода информационные базы управляющих программ высокого уровня и составляют, очевидно, феномен сознания и разума.

5) **Дедуктивные выводы**. Терминальный подход делает очевидными, т.е. тривиализирует проблемы и вопросы, считающиеся сложными или, даже, неразрешимыми.

А) **Необратимость времени**. Во-первых, тривиальным становится вопрос о необратимости времени. Поскольку время – это разрыв мгновенного взаимодействия и преодоление этого разрыва, постольку оно действует по принципу полупроводника. Оно раскрывается, испуская сигнал, а затем схлопывается, закрывая путь назад. Точнее говоря, «сзади», в обратном направлении времени остается атемпоральная реальность неопределенного бытия, а вся осуществленная реальность определенного бытия оказывается всегда «по эту

сторону» временного разрыва. Иными словами, время не может двигаться в обратном направлении, поскольку его просто-напросто не существует. В прошлом остается только квантовая неопределенность, не имеющая ни структуры, ни направленности. Однако утраченные моменты временной длительности не пропадают для обладающего сознанием и памятью человека, они сохраняются как рассказ о произошедших событиях.

Б) **Элементы времени и шкала длительностей**. Во-вторых, тривиальным оказывается вопрос о единицах времени. Делимо ли время до бесконечности или существует минимальный элемент времени, далее не делимый? В понятиях терминальной модели, время – это не то, что подвергается делению, а то, что само осуществляет деление, разрыв. Время – это разрыв мгновенного взаимодействия и существует константная, максимальная онтологическая скорость, с которой бытие преодолевает этот разрыв. Возможно, ее можно отождествить со скоростью света. Ниже этого максимального предела сигнальной скорости находятся различные уровни бытия, в которых структуры сущего, их функционирование и существование, основаны на сигнальной связи более низких порядков, вплоть до процессов сверхмедленной длительности.

6) **Время и история**. Для древних характерно представление о времени как о потоке, движущемся навстречу человеку. Человек может находиться либо лицом, либо спиной к этому потоку, так что прошлое находится либо перед лицом, либо за спиной. Такое понимание предполагает актуальное наличие и будущего, и настоящего, и прошлого. Будущее накатывает спереди на человека и уходит в прошлое. Для современного мировоззрения характерно представление о времени как потоке, движущемся сзади из-за спины человека, находящегося как бы на острие этого потока. Таким образом, в данном понимании актуально существуют только прошлое и настоящее, а будущее есть только в прошлом как более позднее прошлое по сравнению с более ранним.

Но более перспективным представляется своеобразный синтез этих мировоззрений. Историческая эпоха – это аналог экзистенциального мгновения, т.е. это такое расширение времени, которое очерчивает темпоральный горизонт, внутри которого актуально присутствует и прошлое, и настоящее, и будущее. Кроме того, существует встречное движение времени из прошлого и будущего. Взаимодействие этих потоков локализует настоящие события. Источником этого расширения времени является некоторое метафизическое событие (например, смерть и воскресение Христа), которое формирует эпохальный горизонт. Когда эпоха заканчивается, требу-

ется новое метафизическое событие. Если таковое отсутствует, то история социума завершается, цивилизация умирает.

7) **История как рассказ о событии.** История – это рассказ, то есть совокупность высказываний о фактах-событиях. Иными словами, история – это события, размещенные в грамматическом, аксиологическом и перцептивно-когнитивном пространстве и времени. Структура истории в таком случае – это структура речи и мышления. Мужчина и женщина на бракоразводном процессе излагают один и тот же комплекс фактов, но рассказывают две разные истории. А судья, используя формальные шаблоны, пишет третью историю, которая приобретает статус официальной версии.

Сами факты-события – это ноумен. Но они группируются вокруг определенных структурообразующих аттракторов. Это сильнодействующие влияния, которые заставляют события складываться таким, а не иным образом. Их можно обнаруживать статистическим способом, когда во множестве случайных и не связанных друг с другом событий обнаруживаются статистические пики и вообще неравномерные распределения. Помимо этого, факты-события образуют и сугубо случайные, спонтанные каузальные цепочки, которые сами по себе никогда не образовались бы, если бы не были сцеплены некоторым случайным фактором и образом. Таким образом, история – это рассказ о невидимом необходимом и о видимом случайном.

И.А. Гатауллина
(Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева)

Гиперборейский миф: проблема «исторического истока», его коннотации и интерпретаций в свете современной науки

В исторической науке есть темы, которые испытывают на прочность профессиональное сообщество. Представляется, что гиперборейский миф – из числа проблем, которых можно назвать скользкими. С одной стороны, отсутствует полноценная документальная база, осложняющая положение исследователя. С другой – энтузиазм отдельных ученых и интерес широкой любительской аудитории к Гиперборейской тематике не позволяют оставить ее без внимания со стороны, прежде всего, авторитетной академической науки, обязанной не только отразить свой взгляд на проблему, но и способствовать ее популяризации, как минимум на уровне высшего образования.

Человечество всегда интересовала тема древних цивилизаций, среди которых история рождения и гибели Атлантиды, наверное, самая востребованная. Со времен Платона выдвигаются все новые гипотезы о существовании мифического острова-государства. Сегодня даже родилась отрасль научного знания – атлантология, в арсенале которой 6 тыс. томов информации. Гиперборея по сравнению с Атлантидой представляет собой локальную историю. Не существуя как научная проблема, в советский период, гиперборейская тема открылась в новых условиях смены познавательной парадигмы. Обнаружились не только неисчерпаемый информационный потенциал, но и сложность освобождения проблематики от представлений, выстроенных в модернистском ключе. Исследовательский импульс 1990-х – 2000-х гг. связан, главным образом, с проблемой коллективной памяти как условия формирования идентичности, неизбежно поднимающей вопрос «первоистока». Традиционно излагаемый в линейной схеме модерна, древнейший период российской истории рассматривался в контексте многочисленных версий, определяющих район Карпат и Дуная исходными для последующего расселения славян территориями. Однако в новых геополитических условиях вопрос «Откуда пошла земля русская?», утратив однозначность, вновь приобрел актуальность, прежде всего, по причине необходимости реализации длительно подавляемых, этно-культурных и религиозных устремлений определенных групп населения. Постколониальный синдром поднял проблему исторической памяти, ставшей «важнейшей составляющей самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом». Следует учитывать украинский фактор, не столько угрожающий целостности российского государства, сколько допускающий изменение представления о славянском единстве.

Модернистская парадигма вытеснила гиперборейскую или полярную гипотезу на задворки академической науки, где она пребывала весь XX век, занимая маргинальное положение по отношению к другим версиям происхождения славянского этноса. Не замечая проблему, ссылаясь на недостаток письменных свидетельств существования древней цивилизации, ученые фактически спровоцировали использование гиперборейского мифа в политико-идеологических целях. Популяризация идеи «благородной белой расы» в конце XVIII века, как одного из вариантов интерпретации гиперборейского мифа, в формате эпистемологии модерна создала прецедент его националистического извращения, выражением которого стал фашизм с арийской идеей Гитлера. И сегодня академическое сознание с трудом освобождается от модернистских коннотаций мифа.

Астрофизик А.М. Чечельницкий был одним из первых, обратившихся к ней в связи с изучением проблемы Атлантиды. Нахо-

дя определенное сходство исторических объектов, он сформулировал два центральных вопроса: Где и когда возникла Гиперборея, если мы признаем, что она существовала в действительности? В своих рассуждениях А.М. Чечельницкий исходил из концепции Волновой Вселенной и связанной с ней Волновой Астродинамикой и Волновой Космогеономией. В рамках последней автор выявил «чрезвычайную роль, которую играет *Полюс вращения Земли* в истории и эволюции Биосферы и Антропосферы, в Древней Истории и ПраИстории человечества» [*Чечельницкий А.М.* Вызов Платона: Atlantida incognita. URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/ogl_viz_plat/1.pdf]. Вслед за Платоном, поставившим и изложившим эту проблематику в своих сочинениях «Тимей» и «Критий», А.М. Чечельницкий выдвинул тезис о так называемых Геракловых Столпах – символах Пределов Мира на Дальнем Востоке. Ученый полагал, что с наибольшей вероятностью Столпы Геракла маркировали пролив между Чукоткой и Аляской – Берингов пролив. Именно он находился перед островом Атлантидой, «превышавшим своими размерами Ливию и Азию, вместе взятые», что «был на нем союз царей, чья власть простиралась и на многие другие острова «по ту сторону пролива» так, что они владели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении».

Бинарная оппозиция – Атлантида Платона и Атлантида-Аляска – поставила под сомнение генеральную линию атлантологии, выстроенную главным образом на основе классической гипотезы Игнатиуса Донелли, считавшего Атлантиду континентом *за* Геракловыми Столпами, т.е. за Гибралтаром, в Атлантическом океане. Самостоятельное звучание приобрела также версия греческого археолога Галанопулоса, согласно которой Атлантида находилась *до* Геракловых столпов внутри Средиземного моря. А.М. Чечельницкий же приглашает к радикальному пересмотру устоявшихся взглядов. Он, в частности, обратил внимание на действие чрезвычайного катаклизма, сопровождавшегося невиданным проявлением геофизической активности, приведшей к гибели Атлантиды. Ученый анализирует дату этого события, сверяясь с данными Платона в его знаменитых Диалогах, согласно которым Атлантида погибла в результате экстремальной природной катастрофы, сопровождавшейся землетрясением и чрезвычайным наводнением около 9360 года до н.э. На эту информацию, как важный ориентир, ученый полагается, чтобы в свете Волновой Космогеономии выдвинуть свою гипотезу.

Согласно тезису А.М. Чечельницкого, Атлантида погибла в результате Космогенного Шока, сопровождавшегося чрезвычайными проявлениями на всей Земле геофизической активности: как экстремальной сейсмичностью, вулканическими выбросами, так и трансгрессией моря в районе Аляски, Чукотки, Камчатки на рубеже

позднего плейстоцена – раннего голоцена. Пароксизм космогеофизической активности, приведший к всемирному потопу, «убил» не только Атлантиду, но и Край Золотого Века, Земли Рая и Ада, Сад Эден, Поля Иалу (Иару, Елисейские поля), Землю (Остров, острова) Блаженных, Великие священные Горы (Меру, Хара Березайти) и, наконец, Гиперборею. Все вышеперечисленные объекты, по мнению геофизика, находились по одному географическому адресу – на Аляске, что Дальнем Востоке – Древнейшей ПраРодине – Земле Богов в широком понимании этого термина. Следуя положению, что вершиной аргументации являются вещественные доказательства, Чечельницкий, как любой ученый, предпочел бы считать таковыми следы материальной культуры. Однако надежда их найти по прошествии не веков, а тысячелетий, действительно ничтожна. Но она не равна нулю: уже сегодня российские ученые заявляют о своих весьма любопытных результатах исследований Северного Ледовитого океана, называемого эллинами Кронидским морем или Скифским океаном, а древними славянами и поморами – Молочным (Белым, Студеным).

Выше изложенное показывает, что сегодня накоплен такой объем ценной информации, которая уже образует отсутствующую в мифе границу, отделяющую естественное от сверхъестественного, субъективное от объективного. Эта информация выводит на передний план исследований причинно-следственные связи, которые выстраивают исторический процесс, трансформирующий Гиперборейский миф в научную гипотезу. Исследование богатого культурного слоя Северного Ледовитого океана, Дальнего Востока, следов строительных и ирригационных сооружений, перспектива подводной археологии – все это подвигает академическое сообщество к пересмотру устоявшихся взглядов в парадигме модерна, к освобождению от жестких, тормозящих научный поиск идеологических принципов, и, наконец, к презентации своей позиции по данной проблематике. Ведь тема Гипербореи, как никакая иная, способствует формированию целостной картины мира. Какова история твоего рода до седьмого колена, откуда пошла история твоей страны, где исток мировой ПраИстории – взаимообусловленные вопросы, которые невозможно рассматривать, отделив один от другого. Ответы на них можно найти только в глубинах исторической памяти, базовым продуктом которой является миф, способный дополнить ограниченность эмпирического опыта. Поскольку именно память поддерживает уровень исторического сознания, постольку наука «должна стремиться поддержать максимально широкое ее определение», использовать все имеющиеся возможности для достижения достоверного знания, на междисциплинарной основе восстанавливая порой очень тонкие цепочки исторического процесса.

Д.Ф. Гатина-Шафикова
(Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань),
И.Ф. Шафиков
(Казанский федеральный университет)

Концептуальные и формальные представления о мусульманской идентичности в конце XIX–XX века (по визуальным и нарративным источникам)

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена повышенным интересом общества к исламу, его истории в Российской Федерации, и особенно к ритуалам и практикам. Доклад посвящен формированию концептуального содержания понятия «ахл ислам» (мусульмане) и его обывательской и художественной интерпретации XIX–XX веков.

Развиваясь, любое общество, вырабатывает определенные стандарты поведения, считавшиеся нормой в конкретном социуме. Социальные нормы – общепринятая конвенция правил поведения, соответствие которым отделяет норму от девиации. Основным мерилом «допустимого» от «недопустимого» становится мораль.

Существует 8 вариантов «действий» (амаль) по степени обязательности, дозволенности и запретности их для мусульман. Эти «действия», несущие как позитивные, так и негативные коннотации являются некими формальными критериями, определяющими отношение субъекта к мусульманской морали, и соответственно глубину его ислама. Эти «критерии» определены от, безусловно обязательных, до абсолютно запретных.

К примеру: сунна – не выполнение не грех, выполнение – милость пророка Мухаммеда; действия сунна: начало дел со слов «бисмилла», чтение корана начинать, произнося «аузу» и др.; харам – не выполнение норма, выполнение большой грех; действия харам: употребление алкоголя, распространение слухов, воровство и т.д.

В частности, Поволжская богословская традиция также обращалась к этой проблеме (Т. Ялчугул, Хибаталлах ибн Саидбаттал, Г. Утызимяни и др.). Реалии эпохи, рост религиозного и этнического сознания требовали от современников четко различать «своих» и «чужих». Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является глубокий анализ периодической печати, а также визуальных материалов, как источников, наиболее достоверно передающих отношение современников (самих мусульман и иноверных современников). Разработка данного вида источников демонстрирует, что мусульманская идентичность предполагала двойную

интерпретацию в интеллектуальном пространстве уламы (ученых) и в обыденной практике адептов ислама. Ахл ас-сунна ва-л-джамаа – в переводе люди сунны и общины, общий конфессионим последователей суннитского течения в исламе. По смыслу, это несколько уже чем «ахл ислам», и поэтому в контексте региональной идентичности, ассоциировался с уламой и осознанным возрождением сунны. К примеру, комплекс обрядов, связанных с рождением ребенка напрямую связан с сунной пророка Мухаммеда и поэтому их исполнение приближало человека к архетипу ахл ас-сунна. Однако для большинства уламы начала XX возрождение сунны, являлись скорее педагогическим инструментом в системе подготовки имамов и мусульманского образования в целом, чем конкретным руководством к действиям. Абсолютное большинство «ахл ислам» – обыватели татарских слобод и деревень – приверженцы традиционализма. Обывательский уровень интерпретации не отличался, детальным пониманием сущности догматических нюансов. На первый план выходили формальные, в первую очередь, не вербальные признаки идентичности. В юмористической периодике сложился образ консервативных мусульман обывателей – «Сенной базар» (Печән базары). Это словосочетание стало нарицательным – обозначающим оплот консерватизма и неприятие всего нового. Визуальные материалы ярко демонстрируют эти признаки – туфли, азиатские ичиги, широкие шаровары, длинные с широкими рукавами и воротниками рубахи, тюбетейки, шапки, халаты и бешметы («Бухарская мода»). Изображения демонстрируют рефлексию «аурата» (сокрытие тела в целях соблюдения ритуальной чистоты и приличий) для женщин, и присутствия норм морали в костюме и в моде в целом. Они также демонстрируют практики имевшие, как утилитарное, так и культовое, сакральное значение. К числу последних можно отнести комплекс ритуалов, связанных с гигиеной и ритуальной чистотой. В данном случае, следует мнение А. Франка, что мусульманин ассоциирует статус мусульманина с мусульманской одеждой, а соответственно тот, кто одет «по-русски», подозревается в отходе от общины и принятии христианства.

О.В. Головашина
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина)

Прошлое как ресурс: идентификационные риски*

В современных условиях прошлое не представляется тем, что непосредственно влияет на настоящее, память сближается с воображением и «никто не знает, как оно было на самом деле». В таких условиях прошлое все больше воспринимается как определенный ресурс, который можно использовать для достижения необходимых целей. Не важно, идет ли речь о мифологизации прошлого, как подчеркивают Ян и Алейда Ассман, или о его последовательной деконструкции, на чем настаивает П. Нора. В любом случае лишенное реальности прошлое может быть только инструментом или, как сказал бы П. Бурдье, «символическим капиталом» [*Бурдье П.* Формы капитала // http://www.situation.ru/app/j_art_752.htm 2].

В основном, использование ресурса прошлого можно свести к различным аспектам переписывания истории.

1. Индустрия «памятных мест»

Сейчас сайт практически любого города, предлагая достопримечательности, обращает внимание на памятники истории. Туристов завлекают такими фразами как «музей под открытым небом», «на этом месте 200 лет назад было...» и т.д. Популярное сейчас создание «бренда города», как правило, связано именно с историческими памятниками: Екатеринбург объявил себя «заповедником конструктивизма», а Томск гордится своей деревянной архитектурой. Однако такой интерес к прошлому объясняется не столько желанием сохранить историю для потомков, сколько стремлением на этой истории заработать. Туристические агентства позиционируют «экскурсионный туризм» как путешествие для гурманов, используя для описания возможности ощутить атмосферу Античной Греции те же дискурсивные практики, как для инфраструктуры пляжного отдыха. Буклеты описывают малозаметные остатки Карфагена в Тунисе как уникальный памятник; достаточно профессионально, если посчитать количество ежедневно прибывающих желающих ощутить вкус истории.

П. Нора доказал, что интенсивная коммеморация возникает, когда память утрачена [*Нора П.* Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. № 2-3. 2005 // http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/

* Статья подготовлена по результатам научно-исследовательских работ, выполненных при поддержке Гранта Президента Российской федерации для молодых кандидатов наук № МК-5552.2016.6, проект «“Индустрия памяти” в современной культуре: символические ресурсы и идентификационные риски».

nora22.html]. «Места прошлого» притягивают к себе соответствующую инфраструктуру для выгодной торговли. Гид объяснит, как правильно понимать эту кучу камней или магнит на холодильник (необходимые в качестве сувенира) и уже не имеет значения, с какой конкретно ежедневно прибывающей машины мой камешек, который я подобрала, гуляя по Парфенону. Иногда сам памятник истории уже не важен, ведь люди потребляют образ. Для спасения грота Ласко, где тысячи лет назад художники изобразили на стенах карту звездного неба, доступ был ограничен. Но в 500 метрах от него была построена точная копия, открытая для посещения туристов. В таких условиях важно не прошлое, каким оно было, а правильный маркетинг его продажи.

2. Доказательство легитимности

Это особенно характерно для постсоветского пространства, в котором до сих пор, несмотря на поколение деконструктивистов, метанарративы продолжают являться единственным способом доказать легитимность сложившегося порядка и оправдать желаемое. Образование новых государств на постсоветском пространстве ознаменовалось переписыванием учебников истории: советские воины, прежде освободители, стали оккупантами, «голодомор» приобрел значение геноцида, а азербайджанская нация соперничает по древности с другими народами, также спешно создающими свои нарративы. Примеры можно привести из любого выпуска новостей. Следствием этого являются постоянные «битвы памяти», «изобретение традиций» (Э. Хобсбаум) которые ведутся не за историческую истину, а за более выгодную легитимизацию. Историю уже не знают не только подростки, но и взрослые, не успевающие следить за перманентной интерпретацией очередной интерпретации. П. Бурдье считает невозможным существование гуманитарных наук вне политического контекста [*Бурдье П.* Социальное пространство: поля и практики. М.; СПб., 2007. С. 520-521], так как символические ресурсы, лежащие в основе, например, истории, не могут не быть использованы акторами.

3. Альтернативная история

Первая книга на тему «а что было бы, если» принадлежала перу еще Тита Ливия, который описывал, как могли бы развиваться события, если бы Александр Македонский не умер в таком молодом возрасте. Такая нарративная практика присутствовала в произведениях авторов XX в. (*Первухин М.* Пугачев-победитель. Берлин, 1924, *Гишгорн И., Келлер В., Липатов Б.* Бесцеремонный Роман. СПб., 1991), в том числе в форме фантастики Ф. Дик, П. Андерсон, Г. Гаррисон). Однако только сейчас можно говорить о массовом увлечении подобной литературой. Такие книги издаются почти ежедневно, их общий тираж давно превысил миллионы. В русскоязычной фан-

тастике доминируют две темы: Великая Отечественная война и начало XX века (с попытками предотвратить революцию и Гражданскую войну), что соотносится с наиболее популярными темами, волнующие любителей истории в сети Интернет [*Головашина О.В.* «Любители истории» и история для любителей: представления о прошлом в социальных сетях // Философские традиции и современность. 2014. № 1. С. 114-123]. Надо заметить, что пользуются популярностью альтернативные концепции, имеющие целью доказать связь истории России с библейской историей, или актуализирующие вопрос о уничтожении христианством «великой русской культуры». Такая литература создает новый исторический нарратив, легитимирующий ту или иную социальную группу и, что важно, она успешно продается, повышая собственную значимость (по П. Бурдье).

4. Генеалогия семьи, или как устроиться на успешную работу

Тренинги для успешного трудоустройства настаивают на необходимости выгодной интерпретации каждой строчки в резюме. Конечно, в сознании людей, которые не читали Хайдеггера, Делеза и Деррида, прошлое есть, но существует оно именно в таком виде, в котором требуется настоящему.

Если прошлое традиционно рассматривается как фундамент настоящего, то в основе маркетинга лежит не формирование идентичности, а получение прибыли. Однако, чем более эффективный маркетинг прошлого, тем большее распространение он имеет, и тем сильнее влияет на идентичность человека или группы. По замечанию К. Кнорр-Цетины, сейчас вещи все чаще заменяют людей в качестве посредников в процессе идентификации [*Кнорр-Цетина К.* Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах знания // Социология вещей: сб. статей. М., 2006]. Отношение к прошлому, прежде всего, как к ресурсу, чревато большими рисками для настоящего и будущего.

С.Е. Голубкина
(Нижегородский государственный университет)

Взгляд победителей: восстание махдистов в Судане и образ Африки по киноленте «Четыре пера» З. Корды

В английском кинематографе первой половины XX века популярность завоевали колониальные сюжеты. В кинолентах, созданных в это время, находили отражение и имперские амбиции страны, и официальная пропаганда, и идеология «бремени белого человека», и ориенталистские суждения о Востоке, оказавшие, в свою очередь,

значительное влияние на кинообраз колонизированных территорий. В 1930-е гг. в Великобритании появилась целая серия игровых фильмов о жизни империи в XIX веке, среди которых важное место занимают работы, созданные на киностудии «Лондон фильм» под руководством творческого союза братьев Корда.

Фильм З. Корда «Четыре пера» 1939 г. стал одной из самых знаменитых кинолент, повествующих об имперской политике Великобритании. Снятая по мотивам одноименного романа А. Мейсона (1902 г.), кинокартина была посвящена суданской кампании 1896–1898 гг. Данный сюжет был известен в кинематографической среде и фильм З. Корды стал четвертой по счету экранизацией этого произведения, называемого одной из самых великих военный историй, когда-либо опубликованных («The four feathers», 1915 г., США, реж. Дж. С. Доули; «Четыре пера» («The four feathers», 1921 г., Великобритания, реж. Р. Плэсети); «Четыре пера» («The four feathers», 1929 г., США, реж. М. Купер).

Кинолента повествует о судьбе Гарри Фэвершэма, сына бригадного генерала, который накануне отправки его полка в Судан, предпочитает остаться в Англии со своей невестой и вести спокойную мирную жизнь. Однако, три его друга посылают ему по белому перу, символизирующих трусость. Четвертое белое перо дает ему его возлюбленная. Гарри, пересмотрев свои взгляды на жизнь, решает доказать свою храбрость, и один отправляется в Египет.

Ключевой идеей сюжета является идея патриотизма и долга перед родиной, что и обусловило интерес к нему «Лондон фильм». С конца 1930-х гг. государство поддерживало создание художественных фильмов на имперскую тематику. Это было связано как со сложной внешнеполитической обстановкой на Западе, так и с неспокойным положением в заморских владениях. Важную роль сыграли отношения с нацистской Германией. Премьера фильма «Четыре пера» состоялась 18 апреля 1939 г., за несколько месяцев до начала войны. Наряду с такими фильмами как «Пламя над Англией» и «Наш флот в бою», данная кинолента является одним из ярких примеров пропагандистского кино, призывающего к военной готовности для защиты Британской империи [*Voeltz R.* Images and representations of British imperialism: cinematic adaptations of E.A.W. Mason's The Four Feathers // Interdisciplinary Humanities. 2010. Vol. 27. № 1. P. 16].

Важно отметить, что английская киноиндустрия имела тесные связи с политикой. Британский совет по классификации фильмов (BBFC), занимавшийся цензурой, указывал темы, приемлемые для выхода на экраны. Влиятельная консервативная партия создала Консервативную Ассоциацию Кино (CFA), ответственная за «хорошие отношения между партией и коммерческой киноиндустрией»

[*Hollins T. J.* The Conservative Party and Film Propaganda between the Wars // The English Historical Review. 1981. Vol. 96. №. 379. P. 364]. Появление фильмов на имперскую тематику обусловили и настроения общественности. В правление «Лондон фильм» входили министр иностранных дел Р. Де Ванситтард, У. Черчилль, миллионер Ф. Сессун, писатели Г. Уэльс и Р. Киплинг [*Трутко И.* От пионеров до «рассерженных» // Кино Великобритании. М., 1970. С. 21].

Указанные выше обстоятельства необходимо учитывать, обращаясь к тому, как в рассматриваемой киноленте оказался представлен конфликт в Судане 1896–1898 гг. Не требуя от фильма исторической объективности, представляется важным объяснить причины такой репрезентации. Изначальный сюжет романа Мэйсона был, конечно, в значительной степени упрощен и вульгаризирован, появилась четкая расстановка сил, оппозиция добрый/злой. Несмотря на то, что в центре внимания находятся душевные переживания английского солдата, небезынтересен и образ Африки, сконструированный фильмом.

Обратим внимание на объяснение причин конфликта. Судан изображается в киноленте как неотъемлемая часть империи, которая была атакована враждебными войсками, и, которую, без сомнения, должна защитить британская армия. В эпиграфе к фильму звучало: «В 1885 г. мятежная армия безжалостных дервишей поработила и убила в Судане много тысяч беззащитных туземцев, затем она начала осаду Хартума. Мужественный начальник крошечного гарнизона обратился за помощью к Англии, но так ее и не дождался». Спустя 10 лет Англия, во главе с генералом Китченером, наконец, сделала ответный шаг.

Этим начальником гарнизона был бывший генерал-губернатор Судана Ч. Гордон, посланный правительством для эвакуации англо-египетских войск из Хартума вследствие махдистского восстания. Причины возвращения Британии в Судан в 1896 г. были куда более сложными – он занимал одно из важнейших мест в геополитических планах Великобритании – но художественный фильм, конечно, не ставил перед собой цель восстановления реальных событий. В фильме подчеркивается, что Британия вынуждена вмешаться в ситуацию.

Принципиально важным моментом является изображение в фильме махдистов как захватчиков и поработителей Судана. З. Корда показывает зрителям армию дервишей и беджа («фуззи-вуззис» как прозвали их британские солдаты), перед сигналом тревоги: кто-то точит кинжалы, кто-то прыгает в ритуальном танце. То, что они произносят, не переводится, и это воспринимается как первобытные крики. По сигналу горна тысячи воинов седлают своих верблюдов, хотя некоторые из них справляются неуклюже. Фактически, африканцы изображаются в данной киноленте в двух действиях: верхом на лошади или верблюде пересекающие пустыню, мчащиеся с оружием в ру-

ках, или же истязающие своих пленников. Это образ врага, чье нормальное состояние – дикость. Интересно, что в фильме есть как африканцы-арабы из Северной Африки, так и черные африканцы, исповедующие ислам (но их манеры изображены одинаковыми).

Сегодня исследователи расценивают движение Махди в Судане как антиколониальное по своему характеру, ставя в ряд освободительных движений Африки. Фильм позиционировал иную точку зрения – восстание результат исламского фанатизма. Говоря словами Э. Саида, здесь «мы покидаем мир истории и вступаем в область империалистической полемики, в которой туземцы естественным образом оказываются виновниками и преступниками, а белый человек – строгим, но справедливым отцом и судьей» [*Саид Э.* Культура и империализм / Пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб., 2012. С. 308].

Африка представлена зрителям как земля, враждебная к человеку. Самым ярким примером этого явилась судьба одного из главных персонажей фильма – сержанта Дарренса. Чтобы проследить за переходом врага, он забирается на гору, но с него падает шлем и, не успев спуститься за ним вовремя, в результате солнечного удара, он падает в обморок, а затем теряет зрение. Гарри Февершем, оказавшись в Судане, переодевается туземцем племени Сангали. Данное племя, известное повсюду в Африке, согласно фильму «когда-то восстало против халифа», за что им выжгли клеймо на лбу, вырвали языки и превратили в изгоев. Их существование – еще одно доказательство восточного деспотизма и обычной жестокости этих мест.

В целом, фильм «Четыре Пера» З. Корды стал ярким выражением западного взгляда на события, в результате которых Судан стал одной из колоний Британской империи под видом англо-египетского совладения. Махдисты представлены в нем противниками человеческих ценностей, религиозными фанатиками, являющимися врагами не только империи, но и своей собственной страны. Главной характеристикой восточного «Другого» оказалась варварская жестокость, на которую Запад не мог не ответить. Заметим также, что роман «Четыре пера» и впоследствии был популярен в западном кино как сценарий о миссии Великой Империи («Storm Over the Nile», 1955 г., Великобритания, реж. Золтан Корда, Теренс Янг; «The Four Feathers», 1978 г., Великобритания, реж. Дон Шарп; «The Four Feathers», 2002 г., США, Великобритания, реж. Ш. Капур). Но и последний ремейк - работа режиссера Шекхара Капура (2002 г.), несмотря на заявленную цель создать менее про-имперскую версию сюжета, сохранила множество традиционных образов «черного континента».

А.В. Гордон
(Институт научной информации
по общественным наукам РАН, Москва)

Политика памяти в современной Франции

Активное вмешательство государственной власти в трактовку событий и деятелей прошлого обусловлено как историческими обстоятельствами, так и современной ситуацией во Франции. На протяжении двух последних веков Франция претерпела потрясения, которые не только трансформировали национальную идентичность, но и порой ставили под вопрос самую судьбу страны: Революция и наполеоновские войны, Реставрация и утверждение демократической светской Республики, поражение 1870 г. и капитуляция 1940 г., создание колониальной империи и ее распад, деколонизация и постколониальная миграция. Сакраментальный вопрос «неужели история нас обманула» не раз вставал перед нацией, претендовавшей на свое величие и цивилизаторскую миссию.

Катаклизмы сопровождались разломами в обществе, острой политической конфронтацией различных сил, которые конструировали собственную историческую идентичность. Противоборство на «историческом фронте» неоднократно доходило до «войн памяти», что и обусловило, в конечном счете, вмешательство государственной власти в стремлении стать верховным арбитром.

Целенаправленные попытки такого рода отчетливо прослеживаются на историческую глубину вплоть до 80-х годов XIX века, когда Третья республика законодательными актами подтвердила вопреки отчаянному сопротивлению клерикально-монархических сил свою преемственность с наследием Революции: день взятия Бастилии – национальный праздник, Марсельеза – государственный гимн, триколор – флаг Французской республики. Сто лет спустя, 80-е годы XX в. ознаменовались «великими коммеморациями»: 1500-летие крещения Хлодвига с его войском, 1000-летие династии Капетингов, 200-летие Революции. В отличие от Третьей республики Пятая республика торжественными церемониями на государственном уровне и многочисленными общественными мероприятиями стремилась подчеркнуть неразрывное единство всей национальной истории.

Той же ведущей тенденцией отличается и политика последующих десятилетий. Вместе с тем добавилось стремление внести «поправки» в утвердившуюся историческую идентичность. Такой характер носили «мемориальные законы». Первый из них закон Гайсо (1990) запрещал отрицание Холокоста, ксенофобию, антисемитизм. Президент Ширак официально признал вину Французского государ-

ства при режиме Виши за преследование евреев, тем самым положив предел голлистской концепции антифашистского единства Франции во Второй мировой войне и откликнувшись на разоблачение в профессиональном историческом сообществе и в общественном мнении «синдрома Виши» (тяготения к оправданию коллаборационизма).

Еще один «закон памяти», так называемый закон Тобира (по имени депутата-социалиста от Французской Гвианы, принятый 21 мая 2001 г.) признавал рабство и работорговлю «преступлением против человечности». Прессе вменялось в обязанность «защищать память о рабах и честь их потомков». Темы работорговли должны были получить надлежащее освещение в школьных программах и научных исследованиях.

Закон о геноциде армян в Османской империи оказался спорным в международном отношении, а закон 2005 г. о положительном значении французского «присутствия» в колониях вызвал настолько острую реакцию, что его пришлось отозвать. Выявились «автономистские» претензии различных социальных и национальных меньшинств на свое видение прошлого, требовавшее пересмотра утвердившихся архетипов французского исторического сознания. Одновременно возникло в какой-то степени выраженное в СМИ, но фактически более глубинное и подспудное сопротивление значительной части французского общества, не желавшей обсуждения болезненных сторон национального прошлого и, напротив, жаждавшей их забвения то ли в интересах воссоздания национального единства, то ли ради обретения массового душевного комфорта.

Многозначным было отношение к государственной политике памяти со стороны историков. Некоторые видные историки в принципе отвергали вмешательство государства в установление исторической истины. Далеко не все между тем признавали и привилегию окончательного вердикта ученых. Подчеркивалось, что собственно мнение самих историков меняется со временем, что делает совершенно необоснованными претензии на какую-либо фиксацию исторической истины.

Запрос общества на историческую память был в целом чутко воспринят во французском профессиональном сообществе. Впечатляющим примером квалифицированной и плодотворной «работы над памятью» стал многолетний труд большого коллектива ученых во главе с Пьером Нора, увенчавшийся в 90-х гг. монументальным изданием своеобразного путеводителя по пространству национальной традиции «Места памяти». А первой капитальной монографией, предвосхитившей современное систематизированное обращение ученых к исторической памяти, можно считать книгу Жоржа Дюби «Бувинское воскресение» (1973). Выделяется своей основательностью и

оригинальностью подхода монография, которой завершилось исследование мифологии самого популярного средневекового правителя Франции Людовика IX Святого Жаком Ле Гоффом.

Вместе с тем выявилось заметное разномыслие внутри профессионального сообщества относительно «работы с памятью». Некоторые ученые придерживается утвердившейся на рубеже XIX–XX веков во французской историографии позиции неприятия исторической памяти как антипода исторического знания, подлежащего искоренению в научном творчестве. Взвешенный подход сформулирован, думается, в книге А. Про «Двенадцать уроков по истории»: нельзя идти «в услужение памяти», но необходимо считаться со «спросом на память», чтобы «превратить этот спрос в историю».

При различии исходных позиций и всей социально-политической, юридической и идейно-теоретической сложности возникающих вопросов можно с понятной осторожностью утверждать, что в общественном мнении Франции намечается все же консенсус по нескольким более или менее определившимся пунктам. «Распоряжение» исторической памятью, работа над ее формированием и ее культивирование – социальная и моральная обязанность государства, гражданского общества, профессионального сообщества ученых. Нация должна принять всю свою историю, независимо от нравственной оценки тех или иных периодов, но и не исключая оправданности такой оценки. Государство должно способствовать историческому просвещению общества, избегая, однако, юридического санкционирования тех или иных оценок и формулирования официальной концепции национальной истории. Ученые не могут быть свободны от влияния массового сознания и исторической памяти общества, но своей профессиональной деятельностью должны способствовать преодолению политической конъюнктурности, углублению исторической культуры нации, утонченности национальной исторической идентичности в ее способности интегрировать частные локально-региональные и этноконфессиональные видения прошлого страны.

С.В. Городилин
(Институт российской истории РАН, Москва)

Реконструкция неизвестного: создание образа мери в историографии Российской империи

Меря, названная наравне со словенами, кривичами и чудью в важнейшем для исторического самосознания Российской империи тексте о событии, с которым связывалось зарождении ее государст-

венности – Сказании о призвании варягов - уже в результате этой своей роли автоматически обретала особую значимость для начальной русской истории, подкрепленную авторитетом «Нестора». Это дополнялось и тем, что известие Повести временных лет определяло мерю как «первых насельников» Волго-Окского междуречья – региона, центрального для истории Великороссии, представляющего своего рода heartland империи. Практически сразу замеченное историографией упоминание merens и mordens среди народов, подвластных Германариху, включало летописную мерю в общеевропейский исторический контекст, обеспечивая ей необходимую длительность существования в истории.

Сложностью, однако, было то, что при этом меря как этническая общность была совершенно лишена каких-то определимых свойств. Ни древнерусское летописание, ставшее основой для формирования имперского нарратива, ни фольклор, обративший на себя внимание чуть позже, не содержали об этом этносе больше никаких фактических сведений: меря присутствует в Сказании о призвании варягов, затем участвует в походах Рюрика и Олега на Смоленск, Киев и Константинополь, после чего исчезает со страниц летописи. Наличие данной лакуны в исторической памяти социума в первой половине – середине XIX века стало осознаваться как определенная историографическая проблема. Необходимым представлялось определиться с ролью мери в возникновении отечественной государственности, в рождении великорусской народности, в формировании того географического и культурного ландшафта, на котором разворачивалась последующая история России.

Любопытно рассмотреть, какими путями и при помощи каких механизмов отечественная историография решала возникшую перед ней проблему создания образа совершенно незнакомого народа, как национальное историописание взаимодействовало в этом вопросе с общественным сознанием, как на описание неизвестной и уже давно не существующей этнической общности повлияло происходящее в это же время формирование русской национальной мифологии. Источниковой базой могут служить как собственно научные тексты, так и общие обзоры, и учебные курсы русской истории, рациональным также представляется привлечение публицистики и краеведческих работ.

Поскольку фактического материала о мере практически не существовало, важнейшую роль в определении места мери в русской истории сыграло конструирование образа исчезнувшего этноса при помощи соотнесения его с существующим образом «русского» и образами других народов империи. Это позволяло решить вопрос о балансе отношения к нему как к «своему» или как к «чужому» в восприятии важнейшего эпизода начальной истории Руси. Интерес-

но заметить, что сформированные на такой основе представления вскоре сами начинали воздействовать на восприятие прошлого, становясь основой для отрицания достоверности летописного повествования или для весьма избирательной интерпретации данных археологических исследований.

В итоге к началу революционных событий XX века в российском общественном сознании уже имеется достаточно четкое, детализированное и при этом еще и нагруженное определенными оценочными коннотациями представление о мере и о ее наследии в современной реальности. Развитие этого представления отражено даже в русской литературе. «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря», – пишет в «Окаянных днях» Иван Бунин, и из дальнейшего текста становится очевидно, что именно со вторым типом связывается антисоциальность, азиатский «атавизм» etc. Близкие мотивы в отношении к летописным неславянским этносам звучат и в поэзии Серебряного века. Следует заметить, однако, что в предшествующий период, в середине XIX столетия, существовала и совершенно иная линия, предполагавшая восприятие мери как «своего» и при этом позитивного прошлого, имеющего живое продолжение в настоящем, но в эпоху развития мифологии национализма она не получает своего дальнейшего продолжения.

С.В. Григорьева
(Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского)

История Эфиопии в российской литературе путешествий рубежа XIX–XX веков: проблемы интерпретации

Эфиопистика – одно из наиболее развитых направлений дореволюционной отечественной африканистики. Российские путешественники, военные, дипломаты внесли весомый вклад в изучение Эфиопской империи. Особенно много работ, посвященных этому африканскому государству, вышло на рубеже XIX–XX веков, что было обусловлено комплексом причин. Во-первых, России, вступившей в эпоху империализма, не были чужды колониальные интересы и планы в различных регионах мира, в том числе и в зоне Африканского Рога. Их успешная реализация требовала глубокого знания языка, истории, традиций, обычаев, политической и пр. ситуации. Во-вторых, необходимость государственных затрат в далекие заморские территории нужно было обосновать, подготовить общественное мнение. Поэтому российская правящая элита стремилась

информировать население о проводимой внешней политике. На страницах российских газет и журналов печатались материалы о неизведанных и мало изученных африканских территориях, издательства охотно брали в печать дневники и записки путешественников. В-третьих, поскольку большинство российских подданных, осуществлявших продвижении на Африканский континент, являлись людьми образованными и любознательными, стремление познать страну, в которую их занесла судьба, было необходимым условием для понимания эфиопской действительности.

Пристальное внимание к современному состоянию эфиопского государства не могло не сопровождаться интересом к истории этой страны, населенной христианами и ведущей неравную борьбу с европейцами-колонизаторами. Фрагментарно исторические факты содержатся во многих работах того времени, однако полноценные обстоятельные исторические очерки Эфиопской империи мы находим лишь в некоторых из них. Прежде всего, хотелось бы отметить работы Е.Е. Долганева «Страна эфиопов (Абиссиния)» (СПб., 1896), А.К. Булатовича «От Энтото до реки Баро. Отчет о путешествии в юго-западные области Эфиопской империи в 1896–1897 гг.» (СПб., 1897) и Ю. Ельца «Император Менелик и война его с Италией. По документам и походным дневникам Н.С. Леонтьева» (СПб., 1898).

Протоирей и богослов Е. Е. Долганев попал в Эфиопию составе научной экспедиции. Офицер русской армии А.К. Булатович прибыл в Африку по долгу службы сначала в составе охраны отряда Красного Креста, затем как член Чрезвычайной Российской дипломатической миссии. Офицер в отставке Н.С. Леонтьев по личной инициативе поступил на службу к эфиопскому императору Менелику II. Несмотря на существенные различия в профессиях этих людей и задачах, которые стояли перед ними в Африке, в их подаче материала и интерпретации эфиопской истории много общего.

Эти исследователи демонстрируют глубокие знания истории Эфиопии, воспроизводя ее с древнейших времен до современных им дней. Их работы опираются на богатую источниковую базу. Владение амхарским языком позволило им самостоятельно собирать информацию, записывать «откровенные и живые рассказы самих абиссинцев», прорабатывать абиссинские хроники, ставшие впоследствии основой для написания книг. Высокий уровень образования и знание европейских языков способствовали привлечению к написанию исторических очерков письменных документов греческого, португальского происхождения, сочинений западных ученых и путешественников: Дж. Брюса, Э. Рюппеля, М. Паркинса, И. Лудольфа и др.

Несмотря на то, что авторы записок не являлись профессиональными историками, они владели методикой исторического ис-

следования и критического анализа исторических источников, сопоставляли факты, содержащиеся в различных документах, выдвигали собственные гипотезы, предлагали свои периодизации эфиопского прошлого. Подготовленные к печати работы были написаны понятным и доступным языком, содержали рисунки предметов жизни и быта эфиопов, изображения правителей Эфиопии, карты.

Представления русских путешественников, военных, дипломатов рубежа XIX–XX веков об истории Эфиопского государства строились в тесной взаимосвязи с потребностями российской колониальной политики на Африканском континенте. В 1890-е гг. Российская империя была заинтересована в развитии дружественных отношений с Эфиопией, рассматривала последнюю как «противовес английским действиям в северо-восточной Африке и нашу естественную союзницу». Поэтому в эфиопской и российской истории важным было найти нечто общее, что уже связывало нас в прошлом и что могло бы стать фундаментом, на котором можно было бы выстраивать будущие отношения. Таким фундаментом могли стать общие христианские корни. Отсюда особое внимание литературы путешествий к истории принятия христианской религии в Эфиопии и его последствиям. Представление об эфиопах как «братьях по вере», «черных христианах» активно внедрялось в сознание российской читающей публики.

Формирование полноценного исторического образа Эфиопии в России было тесно связано с потребностями самоидентификации. Пристальный взгляд на другую страну сквозь призму своей позволял осознавать и оценивать собственное прошлое. Благодаря этому наши соотечественники увидели много общего в эфиопской и российской истории: поликонфессиональный и полиэтнический характер государственности, сильную императорскую власть, приоритет авторитарных методов управления в условиях постоянных феодальных мятежей и внешней угрозы, общие христианские ценности и установки. Именно политическая история, деятельность эфиопских негусов внутри империи и за ее пределами нашли в очерках наиболее полное отражение, чего нельзя сказать о социально-экономической и культурной эволюции страны.

Характерной чертой российского видения истории Эфиопии была ее имперская окраска: эпизоды создания крупных империй расценивались в большинстве своем как позитивные, а последующие случаи их распада – как хаос, анархия, материальный и духовный упадок. Россиянам явно импонировала экономическая мощь Аксумского царства в его лучшие времена, когда там занялась заря новой христианской веры, и военное могущество современной Эфиопской империи, благодаря которому страна сумела отстоять свою независимость и целостность в войне с итальянскими захватчиками.

В условиях колониального раздела Африканского континента и обострения межимпериалистических противоречий большой интерес российских подданных вызывала история отношений Эфиопии с европейскими странами – Португалией, Англией, Францией, Италией. При этом подчеркивалось в целом негативное влияние европейцев, преследующих в регионе свои корыстные интересы. Подобная позиция в данном вопросе вполне отвечала интересам Российской империи, не стремившейся к территориальным захватам и поддерживающей власти Эфиопии в их борьбе с колонизаторами.

Таким образом, интерпретация эфиопского прошлого как истории древней христианской цивилизации, испытавшей на себе многочисленные завоевания, но выстоявшей и сохранившей свою независимость и самобытность, создавала благоприятную почву для установления дипломатических отношений, взаимовыгодного сотрудничества между странами и оправдывала действия Российского правительства в зоне Африканского Рога.

Джованни Гуайта (иеромонах Иоанн)
(Москва)

***Civitas Dei* и *civitas terrena* как определяющие понятия самоидентичности нарождающейся итальянской литературы (на примере Канцоньере Петрарки)**

Итальянская культурная идентичность, самосознание нарождающейся итальянской культуры определились, в решающей мере, благодаря трем «венцам» итальянской литературы Треченто – Данте, Петрарке и Боккаччо. Все три писателя были глубоко верующими, признавали назидательную цель литературы, считали свое творчество высоконравственным и рассматривали свои произведения как своеобразные путеводители для тех, кто идет дорогой поисков добра. В основе их произведений, как *Божественной Комедии*, так и *Канцоньере* и *Декамерона*, лежит встреча, столкновение между жизнью по плоти и жизнью по духу, земной любовью и вечной.

Все они унаследовали это трагическое противопоставление от блаженного Августина, который сталкивает *Civitas terrena,* град плоти и дьявола, основанный Каином Вавилон, с *Civitas Dei*, Градом Божиим, основанным Авелем. Августин считал, что «два града созданы двумя родами любви: земной – любовью к себе, дошедшею до презрения к Богу; небесный – любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе. Первый полагает славу свою в самом себе, второй – в Господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая сла-

ва – Бог, свидетель совести. Тот в славе своей возносит главу, а этот говорит Богу своему: “Ты, Господи... слава моя, и Ты возносишь голову мою” (Пс. III:4). Тем правит похоть господствования, в этом служат друг другу по любви» [*Блаженный Аврелий Августин*. О граде Божьем. XIV, 28].

В исторической действительности ни один из двух градов не побеждает другой. Каждый человек выбирает, какому граду принадлежать, но одновременно живет в них обоих. Точнее, два града встречаются и сталкиваются в душе каждого человека.

Литературная критика эпохи Романтизма, а затем марксистская критика, часто довольно тривиально противопоставляли ренессансную эстетику средневековой, считая, что новая культура Возрождения перенесла духовную ось космоса, ставя в центр мироздания человека как индивида со всеми его потребностями и стремлениями, ставшего *faber fortunae suae* (кузнецом своей судьбы), и сместив на обочину Бога, который в средневековой культуре был единственным подлинным субъектом Вселенной.

По этим же критериям литературная критика часто анализировала *Божественную комедию*, *Канцоньере* и *Декамерон*, пытаясь определить, какое из этих произведений в большей степени предвещает темы Возрождения и какое, наоборот, не вышло из рамок средневековой эстетики. Личности Данте, Петрарки и Боккаччо много раз сравнивались и противопоставлялись литературоведами, в попытках выяснить, кого из них можно считать пророком, если не первым человеком Возрождения.

Во второй половине XX века литературная критика подчеркивала средневековые черты писателей Ренессанса, а также культурную преемственность между Средневековьем и эпохой Возрождения.

Боккаччо – первый толкователь Данте, а Петрарка – первый толкователь Боккаччо. Данте структурировал *Божественную комедию* как восхождение от зла к добру, идеальный путь от плоти к духу. Также, хоть и менее очевидным образом, Боккаччо структурировал *Декамерон*, а Петрарка *Канцоньере*. Сама архитектоника трех литературных памятников, задуманная в строгом соответствии символическим числам и пропорциям (100 песен в Божественной комедии, 100 новелл в Декамероне, 365+1 стихотворений в Канцоньере) полностью соответствует канонам средневековой эстетики.

Конфликт между любовью к женщине и любовью к Богу разрешается в конце каждого из трех памятников апологией женщины, живущей по Духу: в *Божественной комедии* и *Канцоньере* песнями к Деве Марии, в *Декамероне* – новеллой Гризельды.

Противопоставление средневековой и ренессансной эстетики, первая из которых выставляется как мировоззрение богоцентричное и

духовное, а вторая – как плотское и материальное, иногда вновь предлагают некоторые представители культуры современной России. В соответствии с этим видением, эпоха Возрождения, которая, несомненно, стала поворотным пунктом и разрывом между западной христианской культурой (позднее католической и протестантской) и восточно-христианской (православной), ознаменовала начало «обмирщения» культуры, потерю духовности, торжество *Civitas terrena*. Дальнейшим развитием и логическим последствием этого процесса якобы стали затем эпоха Просвещения, материализм, и, сегодня, постмодернистский нравственный релятивизм. Согласно этой интерпретации православная культура, которая не приняла требования Возрождения и осталась верной ценностям Средневековья и византийской эстетике, представляет собой ковчег духовности, заповедник *Civitas Dei*. На фоне нового русского национализма, такая интерпретация истории, безусловно, имеет политическое значение.

Из трех «венцов» итальянской литературы четырнадцатого века, Петрарка более других предваряет темы и каноны предстоящей эпохи Возрождения, оставаясь при этом по существу средневековым поэтом. Как интеллектуал, он отличается от двух других поэтов и утверждает себя, (сознательно или нет), как человека нового времени. Как с лингвистической точки зрения, так и относительно стиля и содержания, он больше всех определил дальнейшее развитие итальянской литературы и повлиял на формирование итальянского культурного самосознания. Известный историк литературы Джанфранко Контини утверждал, что итальянскую литературу невозможно понять без Петрарки.

При этом Петрарка больше, чем Боккаччо и Данте, цитирует Библию и подражает ей, лучше знает Отцов Церкви, остается более верным Августину и развивает его тему вечного конфликта между Градом Божиим и градом человеческим. Именно этот конфликт, который является настоящим содержанием *Канцоньере*, благодаря Петрарке остался и впоследствии предметом большей части итальянской литературы. *Канцоньере*, поэтическое повествование о духовной борьбе между любовью к женщине и любовью к Богу, завершается песнью к Богородице *Alla Vergine* – палинодией, в которой поэт кается и молит Матерь Божию помочь ему в окончательном преодолении внутреннего конфликта и в стяжании духовного мира. Не случайно последнее слово песни к Богородице – *pace* (мир) завершает книгу.

Таким образом, эта духовная автобиография, эта «священная история мирской любви» (Дж. Контини), которая повествует нам о внутреннем раздоре Петрарки между влечением к земным удовольствиям и к Лауре, и духовным восхождением к Богу, заканчивается текстом высочайшей духовности и глубокого богословского содер-

жания, самым сложным из всего сборника с точки зрения метрической структуры и риторической композиции.

Первый вывод из изложенного выше анализа состоит в том, что Петрарка, самый близкий к Возрождению из трех «венцов», в действительности оказывается более верным канонам эстетики Средневековья, чем это может показаться. Второй вывод состоит в том, что упрощенное понимание и средних веков, и эпохи Возрождения, в значительной степени неадекватно, а банальное противопоставление, которое усматривает в Средневековье эпоху Духа, а в Возрождении начало потери духовности, весьма спорно.

К.А. Гусев
(Государственный исторический музей, Москва)

«Сохранить в истории отношение печати»: отечественная пресса об Антропологической выставке 1879 года в Москве

Вторая половина XIX столетия была временем становления и развития целого ряда новых научных дисциплин. При этом не менее активно шла общественная жизнь. Задача представления новой науки все больше была связана именно с общественностью, а не только с узким академическим сообществом. Одним из способов представить новое направление исследований общественности была организация выставок. Проведение большого научно-популярного мероприятия позволяло привлечь внимание публики, описать суть научной дисциплины, очертить границы ее применения.

Дисциплина, ныне называемая «физическая антропология», также кристаллизовалась именно в это время. Одним из центров ее формирования было Общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии при Московском университете (ОЛЕАиЭ). Эта организация стала именоваться «Императорской» после успешно проведенной Этнографической выставки 1867. Через пять лет (в 1872) прошла Политехническая выставка, на основе материалов которой был основан Музей Прикладных знаний. В 1879 г. состоялась Антропологическая выставка. Организаторы мероприятия поставили несколько основных задач: популяризировать новую научную дисциплину, собрать экспонаты для создания профильного музея, обеспечить материалами для работы образующуюся кафедру антропологии на физико-математическом факультете.

Выставка стала заметным событием не только в научной, но и в общественной жизни и стала темой публикации целого ряда статей в прессе. После ее окончания организаторы собрали наиболее

заметные тексты и опубликовали их в издании, посвященном мероприятию: «Чтобы сохранить в истории выставки отношение печати, мы представим здесь извлечения из написанных по поводу выставки статей, останавливаясь как на благоприятно относящихся к выставке, так и на несочувственных к ней». Анализ этих материалов позволяет не только составить представление о реакции общественности на конкретное мероприятие, но и о понимании ей (общественностью) сущности и задач антропологии вообще.

Большая часть отзывов прессы носила скорее положительный характер. «Русские ведомости» обратили внимание на подчеркнуто политически нейтральный, научный характер выставки. Издание соглашается, что главная задача антропологии «естественно-историческое и монографическое описание рода *человек* (так в оригинале – К.Г.)». Необходимо и исследование природного окружения (т.е. среды) в которой жили древние люди. Газета транслирует и поддерживает точку зрения организаторов Выставки. Взгляды этого издания и ОЛЕАиЭ совпадали еще по ряду вопросов, а один из видных деятелей Общества Дмитрий Николаевич Анучин долгое время сотрудничал в газете.

По-другому расставляет акценты статья в «Газете Гатцука». Постулируется необходимость изучать человека силами целого ряда дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. Но преимущество имеют гуманитарные дисциплины, т.к. основой развития является дух: «…тело действительно имеет свою самостоятельную историю, хотя в своем поступательном историческом движении, в своем развитии – зависит преимущественно от прогрессивного свойства духа». Однако тело развивается по своим законам, имеет свою историю, без его знания невозможно изучать человека. Эта мысль явно перекликается с идеями одного из организаторов выставки, Анатолия Петровича Богданова, который более чем за десятилетие до этого писал, что человек должен быть изучаем сразу несколькими дисциплинами, как естественнонаучными, так и гуманитарными, лишь содружество которых позволит добиться весомого результата.

В «Огоньке» вышла статья Владимира Николаевича Майнова (псевдоним – Корниевский), члена Русского Географического Общества. Его отзыв посвящен в большей мере материальному аспекту, а точнее тому, как комитет Выставки смог при ограниченном объеме средств (они напрямую называются «нищенскими») хорошо организовать популярное мероприятие, не имея финансовой поддержки от государства, в том числе местных властей. Однако частично текст содержит описание общественного мнения (сам автор его не придерживается). Ученых многие воспринимают как «…странных людей, копающихся в могилах и нянчащихся с чере-

пами», а при этом массово наблюдается безразличное отношения к древностям, что мешает построить картину далекого прошлого. А общественные инициативы не находят поддержки власти, в отличие от Западной Европы, где на организацию научно-просветительской работы выделяются немалые деньги.

Член Московского Общества Испытателей Природы Герман Адольфович Траутшольд, оценивая научный аспект мероприятия, посчитал, что на Выставке имелось большое количество экспонатов, интересных для ученых, занимающихся и антропологией, и археологией. Одной из характерных особенностей была попытка воссоздать природную среду, в которой находился древний человек. Для этого демонстрировались чучела животных – современников древних людей: мамонта, пещерного медведя. Такой подход был характерен не только для организаторов выставки, но и для многих ученых того времени, о чем свидетельствует, например, коллективная монография по древнему человеку Приладожья, вышедшая в Санкт-Петербурге в 1882 г.

Часть отзывов, конечно, носила отрицательный характер. В «Московских ведомостях» вышла обширная статья, подписанная «К.Л.». Автор критикует Антропологическую выставку прежде всего за несоответствие большей части представленных экспонатов заявленной тематике. Например, манекены представителей разных народов подобраны случайно и не могут ознакомить посетителей «...с типами человеческих пород». Из такой формулировки очевидно, что автор считает содержанием науки «антропология». Аналогична ситуация с целым рядом экспонатов, которые К.Л. называет подходящими для кунсткамеры (препараты частей тела, пораженных проказой, «банка с куском кожи Негра» и т. д.). В целом ряду подобных вещей только восковые модели человеческого мозга имеют отношение к теме, а вот разнообразные модели детских люлек и подобные вещи относятся скорее к этнографии (налицо понимание отличий антропологии и этнографии). Негодование автора вызывает отсутствие этикеток на черепах, основном антропологическом материале. Отдельной проблемой было отсутствие систематического описания окружения человека, природной среды в которой он жил. Да и орудия труда древнего человека, которые могли бы иллюстрировать его деятельность, практически лишены описания и систематизации.

Иной характер имели нарекания, высказанные в вышеупомянутой «Газете Гатцука». Автор под псевдонимом «А.Г.» протестует против самой идеи научной выставки: «...были поражены непрактичностью такой затеи, как «выставка научная»; даже более – каждый, если не вполне уяснил себе, то ощутил, что почему-то она словно профанирует святое дело науки». По мнению автора, выставка в принципе

не может носить именно научный характер, т. к. подразумевает собой «...конкурс, служащий к поощрению производителей».

Отзывы, появившиеся в печати, на Московскую Антропологическую выставку 1879 г. продемонстрировали неоднозначное отношение общественности к этому мероприятию. Большинство восприняло идею положительно. Основные дискуссии возникли о том, насколько содержание Выставки можно назвать «антропологическим». Из этих дискуссий стало ясно, что большая часть публики подразумевает под термином «антропология», дисциплину, изучающую человека в плоскости естественных наук. При этом считалось, что необходимо исследовать не только современного человека, но и людей далекого прошлого. Сведения об их жизни добывались в процессе археологических раскопок. Так же следует обращать внимание не только на физическое строение человека, но и на его деятельность. Особое внимание должна привлекать экологическая среда, в которой формировался и развивался древний человек.

Н.И. Девятайкина
(Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А.Гагарина)

Способы освоения времени и пространства гуманистом Петраркой (по трактату «О средствах против превратностей судьбы»)

Тексты итальянских гуманистов эпохи Возрождения интересны многим – новыми воззрениями на мир и человека, свежим и вдумчивым взглядом на природу, пристальным вниманием к светской истории, культуре, повседневности и многим другим.

Но самое важное: главным строительным материалом новой картины мира и новой концепции человека стало освоение и «присвоение» времени разной длительности и пространства всего Старого, а затем и Нового Света – культурного, мифологического, исторического, географического.

Принципиальные «знаки» этого нового обнаруживают себя у Петрарки (1304–1374) во всех текстах, но резюмируются, в определенном смысле, в трактате «О средствах против превратностей судьбы» (1354–1366). Это позволяет утверждать ряд важных причин. Во-первых, трактат, как ныне все больше признается исследователями (в том числе, У. Дотти, Кр. Карро, Ю. Шпишкой и др.), стал одним из показательных гуманистических текстов зрелого периода творчества Петрарки. Во-вторых, сочинение состоит из 254 диалогов, которые

«насквозь», «вертикально» пронизаны культурным (в широком смысле слова) материалом разных эпох и «пространств» – от библейских и греко-римских до средневековых и современных автору. География также очень широка для XIV века – от Британии до Индии и Китая.

Если начать с вопроса о *времени,* то диалоги фиксируют, как и следовало ожидать, наибольший интерес к многим столетиям греко-римской истории; на второй план можно поставить время библейское, с большим вниманием к евангельскому; далее – скромно – средневековое и современное.

В «паре» греко-римской Петрарку, как давно выявлено, больше захватывает римское время. Однако трактат выказывает знание всех «разделов» истории греческого времени, демонстрирует широкую адресацию к политической, военной истории, именам и примерам, особенно – культуре. В этом смысле оба времени сопоставимы по составленному автором статьи «индексу цитирования» (списку событий и имен). Греки, как и римляне, дают Петрарке обильный материал не только для позитивных, но и для негативных примеров из их истории. Это позволяет выразить сомнение по поводу обоснованности суждений о слабом «освоении» гуманистом греческой истории. Часть знания греков могла прийти к гуманисту через переведенные на латинский язык тексты самого разного характера, а также через самих римских авторов, адресовавшихся к греческому времени. Кое-что могло добавить общение с византийскими «греками», уже попадавшими в век Петрарки в орбиту взаимодействия с гуманистами.

В библейских, ветхозаветных, временах Петрарку интересуют больше всего Давид и Соломон. Библейский космос остается за пределами внимания, творение актуализируется больше всего в связи с Адамом и Евой. Новый Завет, конечно, «присутствует» во всех его «пространствах» и «временах», при этом любимый автор – апостол Павел. Главное «пространство» – религиозно-этическое, главное внимание – истории новозаветных персонажей в качестве дидактических примеров. Однако все это значительно уступает греко-римским материалам. А ведь трактат рассматривался Петраркой как «лекарство» для всех, «быстродействующее средство» под рукой каждого, как «скорая» помощь и совет при счастливой и враждебной судьбе. В этой ситуации дидактические акценты диалогов на светском греческом и римском прошлом могут свидетельствовать о многом: об «усталости» от только традиционных библейских наставлений и exempla, о потребности дополнить их примерами «из жизни», о культурном ожидании примеров из истории, мифологии, литературы, искусства. Трактат этим ожиданиям соответствовал и потому обрел популярность во многих странах на несколько столетий, особенно в немецкоязычной зоне, где был дважды переведен на немецкий язык, украшен

эпиграфами и ксилографиями, переиздавался много раз, несмотря на объем (Аугсбург, Франкфурт-на-Майне и др.). Все это вместе заставляет существенно уточнить прежние оценки трактата как наиболее средневекового из произведений Петрарки.

Средневековое время присутствует в диалогах в виде единичных фактов, имен, событий. Это не означает, что оно не знакомо гуманисту: он при случае «вытаскивает» свидетельства даже о женах раннесредневековых королей – Альбоина или полулегендарного Артура. Задолго до трактата, пораженный Аахеном и его красотой, он пересказывает в письме одну из лучших легенд о романтическо-мистической любви Карла Великого к некой даме, столь колдовски сильной, что после ее внезапной смерти он не давал ее похоронить, пока мудрый священник-старец не разгадал причин. Примеры легко умножить.

Напомним и о другом: Петрарка первый *отделил* средневековье от античности и от своего времени, «нового». Так что представление он имел, но не имел системного интереса, поскольку считал этот период временем упадка, забвения достижений античности, ее великой культуры. В части значения средневековья для Петрарки авторы сходятся в оценках. Осталось пересмотреть оценки диалогов.

Наконец, трактат позволяет внести немалые правки в суждение об отношении Петрарки к современности. Традиционный тезис таков: Петрарка жил мыслями и чувствами в иных веках, современность не любил, о ней не писал. Как показывают диалоги, да и другие сочинения, это далеко не так. Трактат «до краев» наполнен современностью – повседневной жизнью и меткими наблюдениями над ней, особенно городской, с ее деловым ритмом и азартом, оценками правителей, пап, знатных лиц. Автор почти не называет их по имени, но дает столь колоритные и конкретные характеристики, что узнать не очень сложно. Иными словами, Петрарка оставляет в диалогах колоритный «портрет» современности. Он жил заботами времени, думал над его событиями, больше всего – италийскими междоусобными войнами, пленением папства, грозными событиями вроде чумы, яркими свершениями в культуре.

Важно хотя бы кратко представить еще один тезис – о способах обозначения исторического прошлого. Самый частотный в диалогах прием – его деление на «наше» и чужое. Какой бы вопрос ни обсуждали участники диалогов, он почти не обходится без адресации к «нашим», «нашему» прошлому. В это понятие у Петрарки входит римская античность. «Наши» – это и древние римские цари и принцепсы, деятели культуры, политики, полководцы, философы. При этом чаще всего это прошлое описывается как настоящее, называется «недавним». Читателю то и дело предлагается «вспомнить» «наших»; если их примеров кажется мало, то тогда добавля-

ются «другие» (это могут быть и персы, и греки, и некие экзотические племена в Индии и т.д.). Это, кстати, могут быть и «галлы», и византийские «греки», причем, от исторических времен до современности: они чужие, часто описаны как недруги, приведены как негативные примеры действий или способов жизни народов.

Римское прошлое становится «нашим» в самом широком – и во времени/пространстве – смысле. Оно интересно автору как политическое, культурное, дидактическое, мифологическое, анекдотическое. Словом, интересно во всех проявлениях – героическом и смешном, малом и большом, политическом и этическом. Оно горячо любимо как «свое», но столь же и горько порицаемо за негативные для «родины» действия или их последствия.

Петрарка рядом с понятием «наши» ставит в диалогах «италики», «наша родина» и т.д. Это позволяет все увереннее отстаивать мнение: через обостренное внимание к «своему» и отделение от него «иного», «чужого» у гуманиста начинает проглядывать идея нации. Больше всего – в культурных одеждах, через всесторонний интерес к добытому в прошлом знанию, достижениям в искусствах, но и – в гордости за великие свершения, успехи Рима как такового, как государства, так и отдельных политических, военных и публичных личностей.

Диалоги трактата связывают времена и пространства, предлагают читателю некое большое историческое «поле», действие в котором охватывает, по современным понятиям, время средней длительности, если включать в него и мифологическое.

Петра Джеймс (Petra James)
(Свободный университет Брюсселя)

Coming to Terms with the Legacy of the Communist Dictatorship: Contemporary Central European Literatures as Places of Memory, Amnesia and Mourning

The present paper would like to offer a case study of several contemporary Central European novels (Czech, Slovak, Polish and German) in the perspective of Cultural Memory Studies. Indeed, we would argue that literature has played an important part in the debates on the legacy of communist dictatorships in post-communist Central Europe since 1989.

Historical topics have flourished in Central European literatures after 1989. We propose to interpret them as specific ways of coming to terms with the legacy of Communist dictatorship and in general with communist dictatorships of the 20th century. Contemporary Central-

European literature can thus sometimes be viewed as "Lieux de mémoire" of the 20th century.

That is why, in the first part of our paper, we want to address the limits and dangers of this successful concept as it is discussed (among others) by Paul Ricoeur in his major contribution to this theoretical debate *La mémoire, l'histoire, l'oubli* (2000).

In the second part, we would like to pay attention to the recurring patterns that seem to keep re-appearing in contemporary Central European literatures. Indeed, in our previous research we have discovered recurrent patterns and structures that allow us to read many of these texts as commemorative rituals and "work of mourning" (we draw on the Freudian terminology here) for traumatic elements of national pasts of the 20th century. The work of Paul Ricoeur inspires and entitles us again to transpose the Freudian concept (used in the psychoanalysis of an individual) onto the processes put in motion in national and other communities.

In the third part, we would like to concentrate on concrete examples of such texts, more specifically on novels dealing with the memory of the "German" past of the region. This topic keeps coming back as an almost obsessive (here again, links to psychological processes are more than evident) theme in German, Polish and especially Czech contemporary literature. As the almost exclusive issue taken up by writers from the long-lasting history of the German presence in Central Europe is the issue of post-WWII expulsions, we feel entitled to ask whether we are dealing with the mourning process for the cleansed national memory.

We want to consider the possibility of viewing the topic itself and its obsessive recurrence as a potential "screen memory" (we go back to Freud here). The novels dedicated to the German past would thus be less about the mourning of the loss of the cultural legacy of the German past and more a way of coming to terms with the legacy of dictatorships of the 20th century in Central Europe and especially about that of communism. We would like to prove our point by comparing the novels dedicated to the German question with those dealing with other historical topics (and that also reveal the patterns of commemorative mourning). This comparison reveals, as we hope, the parallel patterns and strategies at work in all of these texts.

The authors we would pay special attention to in our interpretations would be Reinhard Jirgl, W.G. Sebald, Pawel Huelle, Pavel Vilikovský, Jiří Kratochvil, Jáchym Topol, Kateřina Tučková, Radka Denemarková and Jakuba Katalpa.

The analyzed literary texts show clearly common patterns of collective mourning. They reveal a more general pattern of dealings with collective pasts, especially traumatic ones. However, this mourning is far from objective and express clear subjective bias. It is even more evident

in the literary texts dealing with the German memory. Indeed, even if the texts might be to a certain extent be considered as "lieux de mémoire" (as problematic as this concept might be) they are not so much "lieux de mémoire" of the German past but rather of communism or of the 20th century dictatorships in general as it has played out in the Central European space and history. Freud's concept of "screen memory" has revealed itself to be very relevant for the purposes of this study as has been the term "doublemapping" suggested by GoGwilt (*The Invention of the West*). These concepts would certainly deserve further investigation and development as would be impulses coming from Trauma Studies, Post-Colonial Studies and more generally theoretical studies dealing with the legacy of dictatorships. These are the directions that we envisage for our further research.

М.В. Дмитриев
(Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова;
Научно-исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва)

О парадоксах протонациональной идентичности в культуре Московской Руси: представлений о «русских» как Израиле

Цель доклада – изложить некоторые наблюдения над тем, в чем присущие Московской Руси дискурсы протонациональной коллективной идентичности отличались от протонациональных дискурсов обществ западнохристианского мира. Мы говорим и пишем о том, как русские, например, смотрели на немцев и немцы – на русских, подразумевая, что речь идет об этносах, этнических стереотипах, этнических представлениях более или менее корреспондирующих с современными и – а это очень существенно! – о понятиях и дискурсивных элементах, которые были общими для западнохристианских и восточнохристианских, европейских и византийско-славянских культур этого времени. Так ли это? Я предлагаю внимательно присмотреться к этому сомнению, используя в качестве точки отталкивания русские тексты XV–XVII веков, отразившие представления о Руси как Израиле. Кроме того, мы можем обратиться и к ряду других источников, указывающих на еще несколько «аномалий» (по сравнению с западноевропейской «нормой») в построении протонациональных дискурсов в допетровской России. Изучение этого вопроса должно послужить анализу форм «этнической» памя-

ти, «этнических» представлений и представлений о коллективной идентичности вообще в православных культурах по сравнению с культурами, выросшими из западного христианства.

Историографическая ситуация в данной области знаний такова, что специальных исследований мало, и они игнорируют отличия Московской Руси от западнохристианских стран. Многие авторы подходят к вопросу априорно и потому их публикации нерелевантны. Источники же, которые позволяют судить о старомосковских протонациональных дискурсах в их совокупности, – пестры, обильны, эклектичны, и большинство их хорошо известно специалистам.

Изучение темы «Русь как Новый Израиль» было начато Н.И. Ефимовым, который рассмотрел вопрос о содержании и роли представлений о Руси как Новом Израиле через призму истории политических, государственных представлений древнерусских книжников. Он продолжил наблюдения над отмеченным Дьяконовым тяготением русской политической мысли к «библейскому теократизму», считая что Дьяконов и другие исследователи не оценили адекватным образом значение этой тенденции в русской культуре. И уже из собранного Ефимовым материала видно, что дело не только в «теократической тенденции» политической мысли, но главным образом в том, что в ряде древнерусских дискурсов идентичность Руси (то есть то, что мы теперь называем национальным самосознанием) осмысливается в категориях принадлежности Руси к общности, созданной заветом Бога с Израилем, то есть принадлежностью «русских» – в известном смысле! – к той же общности, к какой принадлежали иудеи библейских времен... Христиане Русской земли и их правители – это *не русский* народ в том смысле, в каком мы понимаем выражение «русский народ» (в качестве этнической общности) теперь, а народ Библии, народ Ветхого завета, переплавившийся после пришествия Христа в общность Нового завета, то есть как бы «народ» истинных «иудеев», ставших после Боговоплощения истинными христианами.

В текстах, выразивших этот тип дискурса, можно увидеть несколько аспектов.

Как хорошо известно, идейные тенденции такого рода, сближающие Русь и Израиль, в самом деле «расцвели» во второй половине XV века и позднее. Об этом напомнили в обширных статьях И. Раба и Д. Роланд. Во многих текстах отождествление Руси с Новым Израилем присутствует эксплицитно, а число текстов, где мы находим или ветхозаветные аллюзии, или имплицитные ссылки на мотив «Русь как Израиль» вряд ли поддается обозрению. В целом, наверно, можно согласиться с И. Рабой в том, что мотив «Русь – Новый Израиль» – более значимый дискурс идентичности, чем мотив «Москвы – Третьего Рима».

Как объяснить столь большой удельный вес дискурса «Русь – Новый Израиль» в «протонациональном» самосознании Московской Руси? Ответ на этот вопрос пока невозможен, но есть одно обстоятельство, на которое, как кажется, никто до сих пор не обращал внимания, – а именно: связь между этой темой и темой «Нового Израиля» в древнерусской и византийской *антиудейской* полемике. В церковнославянских антиудейских текстах один из ведущих мотивов – это мотив замещения иудеев христианами как подлинным и единственным племенем Авраама. Этот мотив ярко выражен в «Слове о законе и благодати», едва ли не централен в «Толковой Палее», присутствует во многих других памятниках, в частности – в «Послании на жидов и еретики» инока Саввы, который, опираясь на Палею и обильно цитируя ее тексты, постоянно утверждает, что Авраам – отец именно христианам (то есть, по логике Саввы, – православным): «Аще ли сам себе не веруеши, то аз скажу ти: Авраам корень, а вы есте отрасли; но вы отломилися, а мы есте от язык ко Авраамову корню прицепилися, да уже ныне Авраам отец нам всем языком, верующим во Христа»; «Авраам бо преже закона угодил Богу и преже обрезаниа евангельское житие жил, якоже и мы, христиане; и сего ради Аврам отец бысть всем языком христианом» и т.п. Иначе говоря, поставив высказывания, отождествляющие Русь с Новым Израилем в контекст антиудейской полемики, мы обнаруживаем, что «русские» как Израиль наследуют древним евреям не как народ народу, а как одно конфессиональное сообщество – другому. Это значило бы, что «русский народ» мыслится не как *этническая*, а как сугубо конфессиональная *религиозная* группа. Это кардинально отличает Московскую Русь от стран «латинского» цивилизационного круга.

Развивая эти наблюдения, можно выдвинуть три предположения, над которыми еще предстоит поработать. Во-первых, дискурс «Русь – Новый Израиль», будучи очень весомым, если не доминирующим в протонациональных проектах московского периода, видимо, никак не может быть назван «этническим», служащим построению этнонационального самосознания, так как выраженная в нем «стратегия различения» апеллирует к сугубо конфессиональным, а не этническим дистинкциям.

Во-вторых, этот дискурс выражается не только в сравнении или отождествлении Руси и Израиля, «русских» и «евреев», в наделении Руси и ее православного населения именем Нового Израиля и его производными, но и в том, как понимается связь русской истории с библейской, какое место Русь занимает в эсхатологическом вселенском плане, как трактуется провиденциализм и пр.

В-третьих, генезис и особенности этого дискурса скорее всего очень тесно связаны с конфессиональными особенностями визан-

тийско-православной традиции – и в частности с богословской экзегетической теорией «замещения» иудеев христианами, теорией, так сказать, «монопольной аппроприации» Авраамова наследия и с тем, как понималось соотношение христианства и иудаизма. Видимо, существует связь между этим дискурсом и тем, какую роль соотнесение православия и иудаизма играло в построении представлений о византийской идентичности.

Обращение к летописным, агиографическим, актовым и дипломатическим источникам XVI века, конечно, делает картину более сложной. Но и эти источники подтверждают, как кажется, в целом (но не без известных исключений) мнение, что вплоть до конца XVII века национальная идентичность осмысливалась и выражалась в России *почти исключительно* в представлениях о а) династии и государстве; б) религии; в) территории. Все эти компоненты присутствовали и в этнонациональных дискурсах католической и протестантской Европы. Но там, на Западе, к тройственному дискурсу «московского» типа добавлялась система представлений и высказываний о «народах», которым присуща особая культура (культурная идентичность), отличающая, наряду с политической принадлежностью, религией и территорией, данный «народ» от других «народов». В этом отношении Московская Русь была очень не похожа на современный ей Запад, Центральную Европу и Польшу. Разные формы выражения, причины и культурные последствия этой асимметрии еще предстоит изучить и объяснить.

А.В. Доронин
(Германский исторический институт, Москва)

Язык как средство модерной национальной самоидентификации

На исходе Средневековья латынь все в большей степени становится языком «высоколобых», в повседневности ее теснят живые народные языки. Тогда в немецких землях в городских (сначала частных) школах уже практиковалось чтение и написание писем по-немецки. Изобретение книгопечатания сделало более доступными книги. Но не только их, широкое распространение получили листовки и другие печатные материалы, адресованные простой публике. Напрашивается, казалось бы, предположение, что народные языки (Volkssprachen) активно на рубеже XV–XVI веков, пробивали себе путь. Между тем, даже в XVI веке немецкий язык не стал еще самостоятельным предметом в школе, да и никаких современных

языков, в т.ч. иностранных, тогда в них не преподавали. Латынь продолжала занимать центральное место в образовательной системе, оставалась фундаментом религиозного благочестия (в приходской школе главное – освоить латынь на базе классических авторов и быть способным к имитации образцов). Продвинуться в изучении родного языка можно было, лишь переводя с древних, в первую очередь с латыни. Немецкой литературы тогда не было еще как таковой – то немногое, что было написано на народном языке, как правило, игнорировали.

Начало XVI века связано также с классическим ренессансным гуманизмом, олицетворение которого – итальянские Академии с их культом высокой античности и древних языков. Стержнем этого нового интеллектуального течения была «возрожденная» латынь, ориентированная на дохристианские образцы и существенно пополнившая за счет гуманистов свой вокабуляр. На этой «элегантной» (Лоренцо Валла) латыни, по возможности прибегая к древнегреческому и древнееврейскому, служители Аполлона общались между собой. Овладение латынью и древними языками являлось неотъемлемой, базовой частью и гуманистической учености тоже, ее наиболее важным атрибутом. К началу XVI века сложился последний общеевропейский пласт не разделенной еще по национальным языкам литературы – новолатинский.

Следует подчеркнуть, что латинская традиция христианизировалась на протяжении Средних веков и обрела в представлении Ренессанса легитимацию не только культурную – как язык грамоты и наук/искусств вообще, – но и нравственную, стала одной из основ (наряду с christianitas) нарождающегося в XV веке (перед лицом экзистенциальной турецкой угрозы) единого европейского культурного сообщества с его ценностями.

Между тем в самой программе ренессансного гуманизма был заложен пафос его саморазрушения. Возрождение классической античности в смысле подражания ей и ее нормативной аппликации в XVI веке сменилось инструментализацией, а затем отрицанием/преодолением как «чужой» (коль скоро итальянцы монополизировали ее на правах «прямых наследников») в интересах конструирования различных самобытных национальных древностей и утверждения национальных литературных языков. Апология рафинированной классической латыни, «возрожденной» Петраркой, стала своего рода тестом на «варварство». Так, В.В. Бибихин писал в этой связи: «Вернувшись к латыни, Петрарка сделал больше Данте и Боккаччо для перехода от этого универсального языка средневековой Европы к национальным языкам. Восстановленный им до “первоначальной” чистоты язык римской классики сделался <…> еще более итальянским,

чем сам итальянский. Возрождая латынь, Петрарка тем самым “объявлял о ее смерти”» [*Бибихин В.В.* Слово Петрарки // *Петрарка Ф.* Эстетические фрагменты. М.: Искусство, 1982. С. 34].

«Парадоксальным образом» ренессансная латынь стимулировала подъем народных языков, из которых выросли, оформились впоследствии языки национальные. В контексте набиравшего обороты спора за *trasnslatio imperii* ромоцентричный классический гуманизм, а с ним и латынь, отступали перед т.н. вульгарным гуманизмом, характерной чертой которого было складывание раннемодерных национальных мифологий с их акцентом на «отечественных», а значит, в первую очередь средневековых литературных памятниках и строительстве национальных языков. «Отечественное» идентифицировало себя в противопоставлении «чужому» в т.ч. через язык, преодолевая комплекс культурной неполноценности перед лицом Рима и высокой латыни («любой язык имеет собственное употребление и достоинство» – Авентин). Рядом с “mia Italia” Петрарки пустили побеги Germania Цельтиса или Francia Ронсара.

На рубеже XV–XVI веков ведомые Цельтисом и его виртуальным Sodalitas немецкие гуманисты охотно переиздавали и переводили «Космографию» Птолемея, «Германию» Тацита, «De mundo» Луция Апулея, сопровождая их пространными комментариями, посвященными в первую очередь древним германцам; создавали первые немецко-латинские грамматики и учебники для воспитания принцев и учебные пособия для артистических факультетов университетов, где примеры и цитаты из классиков все чаще звучали на родном для них немецком языке, а латинские термины были «онемечены» (переведены на немецкий или заменены аналогами-новоязами – как уступка схоластической латыни). Под водительством Цельтиса в рамках национального патриотического проекта «Germania illustrate» они выискивали в монастырских библиотеках и издавали литературные памятники, написанные на высокой латыни «отечественными авторами» (будь то стихотворные сочинения саксонской монахини Хротсвит из Гандерсхайма или эпос «Лигурин», воспевавший победу Фридриха Барбароссы над ломбардскими землями и Миланом, и др.). А вскоре сами все чаще стали переходить на «древний, более звучный, привычный, понятный всякому родной язык» (Авентин), адресуя свои опусы всем немцам и высмеивая притом «кухонную латынь» (см. «Письма темных людей»). Некоторые из них оказались даже готовы пойти еще дальше – вовсе отречься от традиции «древнеримской – средневековой латинской – современной итальянской (включая папство и его клир)», базировавшейся на латыни (Конрад Цельтис, Иоганн фон Дальберг Иоганн фон Тритемий, Иоганн Авентин). Отречься в целях (ре)конструкции собственной автохтон-

ной многотысячелетней традиции, мифа Germania, где немцы исконны от начала мира, родственны в культурном, языковом и даже генеалогическом отношениях древним грекам, где мифический Туискон даровал грекам и германцам единый язык, который через века пронесли и сохранили друиды, а воссоздал Карл Великий.

Подобного рода «антикварные» изыскания эпохи Ренессанса, преследовавшие «национальные» интересы, в итоге не имели существенного и продолжительного влияния. Интеллектуальные инициативы гуманистических Содружеств в немецких землях с началом Реформации стали обретать все большую теологическую окраску, покуда, преломившись через нее, не сфокусировались, на этапе позднего гуманизма, на попечении национального языка, литературы и учености. Благодаря Лютеру, переведшему Библию на немецкий, этнокультурная идентичность Germania=Deutschland, осознанная как исторически преемственная общность, обрела единый язык, а с ним единое культурное пространство. Сама Реформация стала гарантом культурной автономии немцев от Рима. Пусть и расколотая на три конфессиональных дискурса (католический, протестантский и кальвинистский), идея модерной германской нации в XVI в. оформилась. Далее ее становление шло рука об руку с развитием (обще)немецкого языка. Становившийся все более живым, богатым и раскованным, насыщенным и самодостаточным, зрелым, в эпоху позднего Просвещения он вытеснил, наконец, язык «высоколобых», латынь, уже и в качестве языка науки.

Б.Г. Доронин
(Санкт-Петербургский государственный университет)

Судьба Клио в Китае: к характеристике китайского историописания

Согласно восходящей к мифическому прошлому версии, у колыбели историописания в Китае стояла не дочь Зевса нимфа Клио, а два чиновника, в обязанности которых входила фиксация свершений и речей Хуан-ди (Желтого императора; вторая половина III тыс. до н.э.) – одного из пяти совершенномудрых правителей, заложивших основы китайской цивилизации. Эти записи должны были преподать урок образцового исполнения своих обязанностей всем последующим обладателям китайского престола. Данная версия – очевидное свидетельство самобытности китайского историописания, именно так складывалась его судьба и в реальной действительности.

Уже далеких предков современных китайцев отличало особое отношение к своему прошлому, они в нем источник опыта предков и инструмент консолидации общества. С началом становления национальной государственности знание прошлого становится необходимо и властям. Появление письменности и летосчисления позволило им приступить к записи наиболее важных событий, этим занимались особые чиновники. В то время они, видимо, были единственными, кто владел иероглификой, и поэтому имели самое непосредственное отношение к государственным делам. Уже в XI–X веках до н.э. ими были созданы первые полноценные исторические труды, фонд которых в последующие века неуклонно рос. Свои первые шаги китайское историописание делает в русле политической практики властей и государственных ритуалов формирующейся в Китае государственности.

Важнейшим событием на пути становления национального историописания в древнем Китае стало появление этико-политического учения Конфуция (551–479 гг. до н.э.). Являясь своего рода синтезом всех накопленных к тому времени цивилизационных ценностей, оно было ориентировано на создание имеющего глубокие историко-культурные корни централизованного и эффективно работающего государства. В основу этого учения был положен опыт, накопленный в процессе становления государственности и аккумулированный в исторических трудах. В Китае Конфуций и сам считается историком – традиция приписывает ему создание летописи царства Лу («Чунь цю»), где опыт его правителей трактуется автором как образец решения фундаментальных социально-политических проблем. В Китае этот труд и поныне считается эталоном, на который следует ориентироваться историку.

Окончательное становление китайского историописания произошло в империи Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.). Это было государство, основанное на конфуцианских принципах, и без опоры на историко-культурное прошлое оно существовать не могло. Поэтому власти сразу же устанавливают жесткий контроль над историописанием, становятся монополистами в этой важнейшей отрасли гуманитарного знания. Уже в империи Хань историописание становится одним из самых важных государственных институтов, который оказался весьма стабильным и просуществовал до краха конфуцианской монархии в начале XX века. Его основу составлял блок специальных служб, готовивших исторические труды, в работе которых была задействована значительная часть политической и интеллектуальное элиты империи, а курировал работу лично Сын Неба (в создании некоторых наиболее важных трудов императоры принимали и личное участие). Как правило, исторические труды готовились коллективно, нередко в этой работе участвовало от нескольких сот

до нескольких тысяч человек. В императорском Китае официальные исторические труды приравнивались к важнейшим государственным документам, они никогда не переписывались и подлежали вечному хранению. Все, что было написано о прошлом Китая вне рамок официального историописания, историей не считалось.

В центре внимания придворных историков находились дела правления, это была история политическая, ориентированная на демонстрацию незыблемости основ конфуцианской монархии, ее государственной доктрины и аккумуляцию опыта ее правителей. Чтобы успешно выполнить эти свои функции, официальное историописание должно было быть стабильным и свободным от излишнего давления политической конъюнктуры. И под эгидой властей императорского Китая историографический процесс не прерывался на протяжении более двадцати веков. «Династия может погибнуть, но ее история исчезнуть не может», – считали в императорском Китае. Все это время придворные историки руководствовались в своей работе фундаментальными принципами конфуцианства, прошлое они видели сквозь призму этого учения. Ни одна из бытовавших в императорском Китае религий сколько-нибудь заметного влияния на процесс историописания не оказала. Конфуций учил бережному отношению к прошлому, а на китайском престоле видел только легитимные династии. И придворные историки строго придерживались этих принципов, их труды выдержаны в позитивном ключе, о «плохих» династиях в них не сообщается. Никогда не пересматривалась и методика работы над официальными историческими трудами.

Официальное историописание отличает его необыкновенная продуктивность, только наиболее известных исторических трудов сохранилось несколько тысяч. Как правило, это огромные, многотомные сочинения, составлявшие ядро письменной культуры императорского Китая. В них весьма основательно, в подробностях описан путь, пройденный Китаем за пятьдесят веков, сохранены опыт, накопленный китайской государственностью за это время, и память о десятках тысяч исторических персонажей, активно участвовавших в ее становлении и развитии. Ни одна другая национальная историография не оставила подобного наследия. Именно оно и стало тем фундаментом, на котором развивается историография в постимператорском Китае, этот процесс идет в мощном силовом поле официального историописания.

С.М. Дудкин
(Корпоративный музей ФГУП «ФНПЦ НИИИС
им. Ю.Е. Седакова», Нижний Новгород)

Саров: пласты исторической памяти

Смена общественных парадигм в России XX века и уникальность опыта Сарова как первоначально религиозного, а затем – ядерного центра привели к специфическим метаморфозам исторической памяти у жителей города и выработке оригинальной самоидентификации, объединившей в единое целое представления о Сарове как одном из значимых религиозных центров Российской империи и Сарове как центре российской ядерной оружейной промышленности.

Первые насельники на холме, в месте слияния рек Саровки и Сатиса, появились еще в каменном веке. Согласно археологическим данным, позже на этом месте существовало мордовское поселение, датируемое XII–XIII веками и территориально (занимая площадь до 40 га) крупнейшее из известных мордовских городищ. По поздним преданиям, бытовавшим среди монахов обители, в 1298 г. здесь был расположен царский город Золотой Орды Сараклыч («Золотая сабля»), просуществовавший до 1389 г. и впоследствии заброшенный. Однако никаких письменных либо археологических источников о существовании на этом месте татарского города с подобным названием не выявлено.

Необходимо отметить сам факт существования на этом месте долговременного поселения, остатков земляного вала (существовал до 1960-х гг.) и рвов, ставших причиной появления у местного населения топонима «старое городище» (а так же «черное городище» и «чертово городище»).

Возможно, именно народные топонимы привлекли на место «чертова городища» первых монахов-отшельников: пензенского инока Феодосия (ок. 1664 – ок. 1670), монаха Герасима из Краснослободского монастыря (ок. 1670), иеромонаха Савватия и монаха Филарета из Санаксарского монастыря (ок. 1683).

Иеромонах Иоанн в 1705 г. получил разрешение на строительство в «старом городище» церкви. 16 июля 1706 г. построенная церковь была освящена архимандритом Арзамасским Павлом. С этого момента начинается история Сатисо-Градо-Саровской пустыни, в самом названии которой было меморизовано старое поселение.

Особую известность обитель приобрела во время жизни в ней Серафима Саровского (1778–1833). Среди посетителей старца были в.к. Михаил Павлович и, по легенде, император Александр I. Икона

с его изображением была подарена императрице Марии Федоровне. Возможно, именно эта связь с императорской фамилией и подтолкнула императора Николая II к поиску в старце сверхъестественного помощника в обретении престолонаследника.

В 1903 г. преподобный Серафим Саровский был причислен к лику святых. Обретение мощей сопровождалось знаковыми мероприятиями с участием императорской семьи и высших должностных лиц Российской империи. После торжеств Саровская пустынь становится одной из известнейших обителей России.

В 1927 г. в связи с антирелигиозной политикой правительственным решением монастырь был закрыт. Имущество и здания конфискованы и переданы в ведение Нижегородского управления НКВД. На базе монастыря была организована детская трудовая колония (1927–1931), затем исправительно-трудовая колония НКВД (1931–1938). Значительная часть монашествующих была сослана, некоторые – арестованы. Таким образом, сакральное пространство Сарова было разрушено. Однако часть монашествующих, как и живших при монастыре мирян, остались жить в поселке Сарово.

При создании первого советского ядерного центра в 1946 г. поселок был выбран местом его организации. По воспоминаниям участников, выбор во многом был спонтанен и совершенно не обоснован сакральным прошлым поселка; однако когнитивным диссонансом выглядит сопоставление прежней славы населенного пункта (несомненно, известного в мировом масштабе благодаря мероприятиям 1903 г.) и требований секретности к ЗАТО. Населенный пункт был лишен своего исторического названия (в разные годы назывался «Кремлев», «Арзамас-75», Арзамас-16»).

Согласно Постановлению СМ СССР от 17 февраля 1947 г., за пределы режимной зоны отселены 502 человека (121 семья и 24 одиночки) «неблагонадежных». В этот список вошли и жившие в поселке немногие бывшие монахи. Персонал объекта в основном был переселен из других мест и не имел исторической связи с городом. Был организован специфический режим, сформировавший особый микрокосм и новую самоидентификацию местных жителей – «особая точка», «ландшафтная аномалия» [*Каганский В.Л.* На чем Москва стоит. Особая точка» // Неприкосновенный запас. 1999. № 5(7). С. 9-19].

При описании Арзамаса-16 В.Л. Каганский вводит термин «сообщество миссии». Именно этим термином можно описать сформированную социокультурную установку, общую для подавляющего большинства работников и жителей Объекта – жизнь как необходимость ежедневной жертвы ради безопасности государства, «ради жизни на Земле». Эта установка во многом схожа с принципами монашества.

В то же время можно констатировать конфронтацию нового содержимого и исторической памяти города, вылившуюся в новое, индустриальное, перепрофилирование объектов сакрального пространства либо их уничтожение (бетонирование выходов из монастырских подземелий, создание бульвара на месте монастырского кладбища, проч.).

С конца 1980-х гг. формируется новый тип исторического сознания – специфическая синергетика двух пластов исторической памяти и сложная самоидентификация жителей города, выразившаяся в народном признании прп. Серафима Саровского покровителем ядерного центра. Становится общепринятым образ «технополис на святой земле», в маргинальной своей части давший начало новому феномену общественной мысли, получившему название «атомное православие». Автор этой концепции Е.С. Холмогоров пишет, например: «Вместе с Борисом Межуевым были в Сарове (бывший Арзамас-16), воплощенном Атомном Православии» [*Холмогоров Е.С.* «Атомное Православие»» // Русский обозреватель: сетевой журнал. 31 августа 2008. URL: http://www.rus-obr.ru/idea/594].

В этой связи интересно отметить несколько элементов вторичной музеефикации. Митрополит Антоний в своей статье 1903 г. указывает: «Так, после святого старца Серафима земля с его могилы, камень, на котором он молился, вода из источника, который он вырыл, почитаются как святые и по частям разбираются и разносятся верующими по домам, как чудодейственные, подающие исцеление в разных недугах…» [*Антоний, митр.* Необходимое разъяснение к недоумевающим о св. останках преподобнаго Серафима// Миссионерское обозрение. 1903. С. 8]. Камень, «на котором молился св. Серафим Саровский», демонстрировался в 1903 г.; после закрытия монастыря был разбит на фрагменты – и вновь демонстрируется как объект религиозного почитания.

Келья, в которой жил Серафим Саровский, в 1897 г. была включена в строение Церкви преподобного Серафима Саровского. Братский корпус, стоявший на этом месте, был разобран, нетронутой осталась лишь келья. Она стала мемориальной только с 1864 г., насколько ее обстановка уже к тому времени соотносилась с подлинным имуществом Серафима Саровского – сложный вопрос. В 1940-е гг. храм был переоборудован под театр, келья была разрушена. Естественно, никто не ставил целью сохранять ее убранство, мемориальные вещи. Однако сегодня келья восстановлена и заново обставлена.

Е.П. Емельянов
(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

Эволюция оценок башкирских восстаний XVII века в творчестве Н.В. Устюгова

Профессор московского Историко-архивного института Николай Владимирович Устюгов (1896/97–1963) принадлежал к числу крупнейших специалистов по отечественной истории раннего Нового времени. Одним из главных направлений его творчества было изучение прошлого Башкирии и, в частности, истории башкирских восстаний XVII–XVIII веков. Первое обращение Устюгова к данной тематике состоялось в конце 1930-х гг. и было связано с его работой в Институте истории АН СССР. В то время важнейшей задачей сотрудников института являлась подготовка многотомной «Истории СССР», которая должна была дать целостную марксистскую картину прошлого страны.

При работе над этим трудом одной из приоритетных тем являлась история народов СССР, провозглашавшихся жертвами колониальной эксплуатации со стороны царизма. В связи с такой характеристикой коренных народов их присоединение к России оценивалось как «абсолютное зло». Задачи укрепления советского государства и сглаживания межнациональных противоречий заставили партийное руководство приступить в середине 1930-х гг. к переоценке национальных историй [*Тихонов В.В.* Советские историки и переосмысление национальных историй в последнее сталинское десятилетие // Советские нации и национальная политика в 1920-е – 1950-е гг.: материалы VI Международной научной конференции. Киев, 10–12 декабря 2013 г. М., 2014. С. 239]. Однако эта переоценка была очень постепенной: в 1937 г. было объявлено, что присоединение к России являлось «наименьшим злом» для украинцев и грузин, но в истории других народов продолжала господствовать формула «абсолютного зла».

В 1939 г. Устюгов написал для четвертого тома «Истории СССР» раздел о башкирских восстаниях XVII в. Следуя официальным оценкам, он называл эти движения проявлениями общенародной антиколониальной борьбы, что подразумевало их историческую прогрессивность [Архив РАН. Ф. 1535. Оп. 1. Д. 39. Л. 128]. Однако, внешне принимая данные оценки, Устюгов внутренне не соглашался с ними. Проявлением этого стало добавление к официальным формулам примеров, демонстрировавших руководящую роль в восстаниях башкирской знати и их негативные последствия для русского населения Урала [Там же. Л. 57, 88-90.]. Параллельно с подготовкой указанного мно-

готомника Устюгов участвовал в работе над «Очерками истории Башкирии» (далее «Очерки»), для которых им был написан раздел о Башкирии XVII в., представлявший собой более идеологизированный вариант соответствующего раздела «Истории СССР».

Начавшийся в предвоенные годы идеологический поворот завершился в период Великой Отечественной войны, когда присоединение всех коренных народов к России стало оцениваться как «наименьшее зло» [*Дубровский А.М.* Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005. С. 440]. В этой ситуации завершенная в 1943 г. первая редакция «Очерков» оказалась идеологически неуместной и для ее переработки в 1945 г. в Институте истории была создана Башкирская комиссия, одним из участников которой стал Устюгов. В 194 г. он сделал на совещании данной комиссии доклад о башкирских восстаниях XVII в., где обосновывал их реакционность [Архив РАН. Ф. 1535. Оп. 3. Д. 84. Л. 196]. Однако Устюгов переоценил готовность исторического сообщества к отказу от прежних идеологических схем, и эта попытка окончилась неудачей: никто из участников совещания его не поддержал. После этого Устюгов представил в комиссию другой вариант текста о башкирских восстаниях XVII века, в котором давал им прежнюю характеристику как прогрессивных освободительных движений [Научный архив ИРИ РАН. Ф. 1. Раздел «А». Оп. 1. Д. 50е. Л. 49]. Однако в послевоенные годы такая характеристика антирусских восстаний также являлась неуместной, поэтому, по совету своего коллеги по Институту истории Р.М. Раимова, Устюгов стал использовать двойственную характеристику восстаний и отмечать в них прогрессивные и реакционные черты. При этом он относил к прогрессивной стороне восстаний выступление башкир против фискального гнета царского правительства, а к реакционной стороне – их отказ от русского подданства.

Впервые такая оценка восстаний была дана Устюговым в июле 1947 г. в докладе на научной сессии в Уфе и повторена в статье «Башкирское восстание 1662–1664 гг.», вышедшей в конце того же года [*Гузаирова Т.Б.* Научная сессия, посвященная вопросам истории Башкирии и истории культуры башкирского народа // Вопросы истории. 1947. № 11. С. 147; *Устюгов Н.В.* Башкирское восстание 1662-1664 гг. // Исторические записки. М.,1947. Т. 24. С. 109]. Позднее Устюгов использовал ее во второй редакции «Очерков», завершенной в 1950 г. [Научный архив ИРИ РАН. Ф. 1. Раздел «А». Оп. 1. Д. 50ж. Л. 157-296]. Однако завершение работы над ней совпало с официальным провозглашением реакционного характера движения Шамиля, ставившим под вопрос наличие прогрессивных

черт во всех национальных движениях в дореволюционной России. В этой ситуации руководство Института истории решило не выпускать «Очерки» из печати и продолжить их переработку.

С переоценки движения Шамиля началось внедрение в историю народов СССР формулы «абсолютного блага», означавшей однозначно положительную оценку присоединения коренных народов к России. Постепенность внедрения данной формулы создавала ситуацию идеологической неопределенности. В этих условиях Устюгов сохранил во втором варианте второй редакции «Очерков», завершенном в 1952 г., двойственную оценку башкирских восстаний. Однако на обсуждении подготовленного текста в Институте истории в апреле 1952 г. он повторил тезисы своего выступления 1946 г. и заявил, что башкирские восстания носили целиком реакционный характер [*Тихонов В.В.* Историки, идеология, власть в России XX века: очерки. М., 2014. С. 143-144]. В новом идеологическом контексте точка зрения Устюгова получила поддержку со стороны других историков и закрепилась в итоговом варианте многотомной «Истории СССР» (получившей к этому времени название «Очерки истории СССР») и третьей редакции «Очерков» (переименованных в 1952 г. в «Очерки по истории Башкирской АССР»), подготовленных в 1952–1956 гг. [*Устюгов Н.В.* Башкирия // Очерки истории СССР. XVII в. М., 1955. С. 809-811; *Устюгов Н.В.* Социально-экономические отношения в Башкирии во второй половине XVI и в XVII веке. Политика царизма. Феодальные движения // Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1956. Т. 1. Ч. 1. С. 81-123].

Выход из печати «Очерков по истории Башкирской АССР» совпал с началом процесса десталинизации, проявившемся в частности в отказе историков от формулы «абсолютного блага». Другими его проявлениями стали избавление историков от страха совершить непоправимую идеологическую ошибку и создание условий для разномыслия в исторической науке. Это позволило Устюгову сохранить характеристику башкирских восстаний как реакционных в своих работах конца 1950-х гг., несмотря на то, что она не совпадала с новым курсом на возрождение положительных оценок восстаний народов СССР [*Устюгов Н.В.* О характере башкирских восстаний XVII – первой половины XVIII в. // Материалы научной сессии, посвященной 400-летию присоединения Башкирии к русскому государству. Уфа, 1958. С. 86-126].

Эволюция оценок башкирских восстаний XVII века в работах Устюгова наглядно демонстрирует такие черты существования советских историков как двоемыслие и приспособление к господствующей идеологии. Однако изменения в советской идеологии носили амбивалентный характер: в зависимости от совпадения взгля-

дов ученого с новой партийной линией они создавали для него либо препятствия, либо возможности для продвижения своих взглядов. Для Устюгова положительным изменением стало внедрение в советскую историографию формулы «абсолютного блага», позволившее ему печатно выразить свои взгляды на характер башкирских восстаний. Но только снижение идеологического давления в эпоху «оттепели» позволило ему отказаться от обязательного следования любым колебаниям официального курса и выражать свою точку зрения на характер башкирских восстаний независимо от степени ее совпадения с линией партии.

А.В. Емельянова
(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

Мемуары о частном обучении в России XVIII века: опыт структурного контент-анализа

В результате изучения мемуарных текстов, посвященных событиям российской истории XVIII века, нами было выявлено сто мемуаров, содержащих информацию о домашнем и частном обучении в России. Среди них в шестнадцати сообщаются сведения об обучении дворянских детей в частных пансионах, которые мы выделили как объект для проведения анализа. В качестве единиц контент-анализа нами приняты упоминания об основных составляющих жизни воспитанников пансионов: программе обучения, методах, оплате за обучение, взаимоотношениях с учителями и товарищами, наказаниях, бытовых условиях, книжном фонде пансиона.

Совокупность данных единиц была разбита на три группы в соответствии с частотой упоминания в мемуарах: высокочастотную, среднечастотную и низкочастотную. К высокочастотной группе относятся характеристики учителей и информация о программе обучения (присутствуют соответственно в 10 и 9 воспоминаниях из 16).

При этом половина мемуаристов положительно отзывается о личности учителя (А.Т. Болотов, И.И. Дмитриев, В.Е. Энгельгардт, А.П. Степанов, К. Мартенс), а другая половина – отрицательно (Г.Р. Державин, Л.Н. Энгельгардт, П.П. Пекарский, Ф.Ф. Вигель, Н.Н. Мордвинов). При этом как положительные, так и отрицательные характеристики учителей связаны не столько с педагогическими способностями, сколько с их личными качествами. Так, писатель, ученый А.Т. Болотов, обучавшийся в 1749 г. в частном пансионе в Петербурге, положительно отзывается об учителе Ферре, преподававшем также и

в Сухопутном кадетском корпусе: «Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый» [*Болотов А.Т.* Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков 1738-1793. СПб., 1870. Т. 1. Стб. 106]. Действительный обер-прокурор Сената, поэт И.И. Дмитриев в 1774 г. был отдан на обучение в пансион отставного поручика, воспитанника Сухопутного кадетского корпуса Ф.Ф. Кабрита в Симбирске, о котором он отзывался так: «Кабрит был очень мил в обращении с нами: во время уроков часто давал нам отдыхать, позволяя предлагать ему вопросы, всегда охотно отвечал на них и сообщал между тем какие-либо полезные сведения» [*Дмитриев И.И.* Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника И.И. Дмитриева. М., 1866. С. 12]. То есть этот автор соединил характеристику учителя как человека с его методикой подачи знаний.

На втором месте по частоте упоминания находится информация о программе обучения. Больше половины авторов упоминали предметы, которым обучались в частных пансионах, однако они не давали полной характеристики программ обучения, а лишь вспоминали немногие предметы, запечатлевшиеся в их памяти. Основными предметами обучения в частных пансионах были иностранные языки (как правило, французский и немецкий), знание которых считались обязательными для дворян (8 авторов). Кроме того, часть мемуаристов упоминает о преподавании гуманитарных предметов: географии (6 авторов), истории (6 авторов); при этом лишь трое (В.Н. Геттун, И.И. Дмитриев, А.П. Степанов) писали о преподавании русского языка и двое (Л.Н. Энгельгардт, А.П. Степанов) — об изучении Закона Божьего. Говоря о преподавании прочих наук, пятеро мемуаристов упоминали математику.

К среднечастотной группе относятся упоминания о методах обучения (6 авторов), взаимоотношениях с учениками-товарищами (5 авторов) и наказаниях (5 авторов).

На страницах мемуаров отразились различные методы обучения: свободные беседы с учителями, в ходе которых ученики задавали вопросы и получали подробные ответы (И.И. Дмитриев, К. Мартенс), лекции учителя (А.П. Степанов) и механическое заучивание (Ф.Ф. Вигель, Г.Р. Державин, Л.Н. Энгельгардт). Оригинальную методику обучения французскому языку, применявшуюся в лучшем пансионе Петербурга, описывает А.Т. Болотов: «Учение наше состояло наиболее в переводах с русского на французский язык Езоповых басней и газет русских» [*Болотов А.Т.* Жизнь и приключения… Т. 1. Стб. 107].

В основном авторы мемуаров вспоминают только фамилии товарищей, обучавшихся вместе с ними. В некоторых пансионах существовала практика привлечения старших (или прилежных) уче-

ников к надзору за другими воспитанниками. Будущий генерал-майор Л.Н. Энгельгардт описал следующую систему, учрежденную в пансионе Смоленска в 1778–1779-х гг.: среди учеников были назначены «начальники», которые должны были следить, чтобы никто не говорил по-русски, не шалил и учил наизусть заданные уроки. Младшие «чиновники» с красным бантом в петлице надзирали над четырьмя учениками; старшие «чиновники» с голубым бантом надзирали за двумя младшими «чиновниками» [*Энгельгардт Л.Н.* Записки. М., 1867. С. 7-8]. Писатель А.П. Степанов вспоминал, что в московском пансионе в 1790-х гг. по вечерам старшие ученики не позволяли играть младшим, если они не приготовили заданных уроков и «обыкновеннейшее занятие всех было слушать лежа на кроватях, как один из старших читал громко и внятно» *[Степанов А.П.* Страничка из истории воспитания в России конца прошлого века // Русская школа. 1891. № 1. С. 18].

Пятеро авторов оставили подробный рассказ о наказаниях в частных пансионах. Судя по их воспоминаниям, наказания не отличались большим разнообразием, в основном они были телесными. Но именно эти воспоминания принадлежат к числу наиболее ярких страниц мемуаров, поскольку оставили глубокий эмоциональный след в детской памяти. У поэта Г.Р. Державина, посещавшего в 1750 г. пансион сосланного каторжника Иосифа Розе в Оренбурге, отложился в памяти облик жестокого учителя: «Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно» [*Державин Г.Р.* Записки. 1743–1812. М., 1860. С. 8]. Секунд-майор М.П. Загряжский ярко описал лишь один эпизод из жизни московского пансиона господина Утгова, врезавшийся ему в память, – это первое в жизни понесенное наказание за смех с товарищами в ночной спальне. Трех учеников поутру высекли, а на автора «надели розгу на веревочке через плечо и поставили в угол», из-за чего он долго плакал, «несмотря на увещевания товарищей» [*Загряжский М.П.* Записки (1770–1811). М.; СПб., 1993. С. 85]. Л.Н. Энгельгардт отмечал, что в пансионе Эллерта в Смоленске была установлена жесткая, «совершенно военная» внутренняя дисциплина с применением жестоких телесных наказаний и четкий распорядок дня, в соответствии с которым строились взаимоотношения как между самими учениками, так и между учениками и учителями. Как вспоминал автор, «младшие имели право наказывать, если кто скажет слово по-русски, одним ударом по руке ферулою, а старшие чиновники – по два удара. Если Эллерт узнавал, что сии чиновники худо исполняли свою должность или во зло употребляли власть, им

данную, то наказывал их ужасным образом, а иногда лишал бантов» [*Энгельгардт Л.Н.* Записки… С. 7-8].

К низкочастотной группе относятся упоминания об обучении девочек (3 автора), оплате за обучение (2 автора), бытовых условиях (2 автора) и книжном фонде в пансионах (1 автор).

О совместном обучении с девочками А.Т. Болотов и Л.Н. Энгельгардт писали, что девочки посещали частные пансионы Петербурга и Смоленска нерегулярно и занимались в основном танцами. Вероятно, это было связано с малой распространенностью совместного обучения. Литератор Ф.Ф. Вигель, обучавшийся в 1790-е гг. в пансионе госпожи Форсевиль в Москве, отмечал, что мальчики и девочки иногда обучались вместе, при этом девочки жили в отдельной половине.

Низкая частота других единиц информации связана с их тематикой – они посвящены тем явлениям, которые обычно не запечатлеваются детской психикой. Так, вопрос оплаты за обучение в пансионе упоминают лишь А.Т. Болотов и Л.Н. Энгельгардт. Со слов этих авторов она составляла 100 руб. в год. Бытовые условия подробно описывают А.Т. Болотов и А.П. Степанов.

Мемуары относятся к категории источников личного происхождения, характерной чертой которых является субъективность отражения действительности. Применение структурного контент-анализа позволяет выявить субъективные особенности восприятия мемуаристами процесса обучения в частных пансионах. Часть особенностей носит общий характер и связана со спецификой детской психики (наличие психологических характеристик учителей, но отрывочные сведения об оплате и бытовых условиях). Другие особенности носят индивидуальный характер, например, А.П. Степанов подробно описал библиотеку московского пансиона, в котором он учился в 1790-х гг.

Ю.А. Жердева
(Самарский государственный экономический университет)

Музеи Великой войны в России: формирование мемориальной культуры

Музеализация войны – это процесс встраивания войны в музейное пространство, перемещение ее из практик повседневного опыта в музейный контекст, основной характеристикой которого является не констатация явления, а его интерпретация. Помещение атрибутов войны в пространство музея легитимирует войну, обра-

щает ее в компонент коллективной памяти нации, объясняет ее в соответствии с господствующей исторической политикой. Во время войны в задачи музеализации входит формирование определенных способов увековечения памяти о войне (коммеморация) и мобилизация общественного интереса к войне, продолжение ее «другими средствами» на внутреннем фронте.

В отечественной историографии музеализация Первой мировой войны стала объектом особого исследования сравнительно недавно. До начала 1990-х гг. исследование мемориальных музеев войны, проектировавшихся в Российской империи в 1914–1917 гг., практически не велось, а сами музейные коллекции были рассредоточены сначала по музеям революции, а затем по краеведческим, историческим и военно-историческим музеям. Создание Ратной Палаты попыталась реконструировать по материалам музейных архивов Санкт-Петербурга Н.В. Александрова [*Александрова Н.В.* Российские военные музеи первой трети XX века (из истории организации и деятельности): дис. … канд. ист. наук. М., 1997]. Фонды трофейных комиссий Российского государственного военно-исторического архива в Москве легли в основание статьи А.А. Васильева, рассмотревшего деятельность этих комиссий в годы войны [*Васильев А.А.* Деятельность русских трофейных комиссий в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. (по материалам Российского государственного военно-исторического архива) // Первая мировая война: Пролог XX века. М.: Наука, 1998. С. 657-665]. Подробный очерк истории Ратной Палаты был составлен Д.Ю. Трошиным в преддверии воссоздания музея в Царском Селе [*Трошин Д.Ю.* Государева Ратная палата в Царском Селе // Екатерининский собор: альманах. СПб.: Серебряный век, 2010. Вып. 4. С. 55-57]. Интерпретацию войны в современных музейных выставочных проектах, посвященных недавнему столетию со дня ее начала, исследовала О.С. Нагорная [*Нагорная О.С.* Музеализация Первой мировой войны в Германии и России: юбилейные выставки между героикой и гуманизмом // Вестник Пермского университета. 2014. Вып. 4(27). С. 37-43].

Анализируя мемориальные практики по увековечению памяти о Первой мировой войне в России, мы исходили из двух рамочных допущений, принятых сегодня в memory studies: 1) символика мемориалов войны в большей степени говорит о времени их создания и об обществе, которое их создавало, чем о событии, которому они посвящены; 2) историческая память является процессом постоянного реконструирования и переопределения, в котором роль создателей проектов памяти могут играть не только официальные власти, но и влиятельные индивиды – писатели, художники, историки, музейные работники и т.п.

Мотивы собирания «архивов» или «музеев» войны в текстах их инициаторов, как правило, ученых или общественных деятелей, выглядят достаточно сложным комплексом. Первым побуждением собирателей «архивов» и «музеев» войны было стремление сохранить исторические свидетельства поворотного момента в истории, участниками которого ощущали себя организаторы.

Второй распространенный мотив – коммеморация, стремление увековечить в памяти потомков имена всех фронтовиков, не только погибших или отмеченных боевыми наградами, но и «вообще всех военных чинов, принимавших участие в настоящей войне» [Предложения по изучению 2-й Отечественной войны 1914–1915 гг. / Тульская губернская ученая архивная комиссия. Тула, 1915. С. 4]. И в официальном патриотическом дискурсе, и в «низовых» патриотических настроениях первых месяцев войны фронт выступал своего рода пространством, сакрализующим, легитимирующим «героизм»: погибший на фронте – герой и задача тыла – сохранить имена героев. В отличие от войн XIX века, коммеморации которых связывали «героизм» с индивидуальной стратегией, официальная пропаганда и широкая общественная дискуссия осени 1914 г. героизировали всю русскую армию, сам по себе «русский дух», сражающийся «за правду» и оттого обладающий «естественным героизмом» [*Пахалюк К.* Структура образа героев в российском общественном дискурсе в годы Первой мировой войны // Первая мировая война в истории и культуре России и Европы / под ред. Г.В. Кретинина и др. Калиниград, 2013. С. 310-311].

Наконец, заметную роль играл мотив меморизации участия тыла в войне. Проявившаяся в публичном пространстве борьба различных социальных групп за отражение собственного вклада в будущую победу стимулировала собирание документальных свидетельств такого рода. В регионах музеи мыслились местом, «где главным образом должны быть сосредоточены все материалы по тыловой жизни и деятельности местного края» [Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО) Ф. 429. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об.].

Стихийное появление мемориальных собраний войны осенью 1914 – зимой 1915 г. во многих крупных и мелких городах Российской империи оставалось нерегулируемым вплоть до конца войны. Имперское правительство не упорядочило процесс музеализации войны, но и не препятствовало ему.

Идея создания Музея Великой войны в центре вызревала в обеих столицах империи. В Петрограде собирание архива войны было централизованным и по распоряжению Государственного совета сосредоточилось в Академии наук [*Александрова Н.В.* Российские военные музеи… С. 72], а коллекционирование и изучение военных трофеев производилось двумя Трофейными комиссиями. Организация Музея

войны в Петрограде была инициирована осенью 1915 г., но лишь в октябре 1916 г. император утвердил официальное название музея – Императорский Петроградский музей Великой войны имени Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и музей был открыт (в 1917 г. он был переименован в Музей Мировой войны и Революции).

Главный Императорский Музей Великой войны должен был размещаться в здании Государевой Ратной Палаты в Царском Селе и демонстрировать коллекцию Трофейных комиссий. Строительство ее закончилось лишь в 1917 г., после Февральской революции, когда музей был открыт и стал называться Народный музей Мировой войны 1914–1917 гг., просуществовав лишь до 1918 г.

В Москве еще в декабре 1914 г. Городская дума создала специальную комиссию для организации Московского Музея войны, идейным вдохновителем которого был историк Сергей Бахрушин, а в 1917 г. было решено превратить его из городского в центральный Национальный музей войны в Москве [ЦГАСО. Ф. 429. Оп. 1. Д. 9. Л. 39 об.].

Самарский опыт музеализации Первой мировой войны показывает, что в годы войны региональная власть не сразу осознала музеи войны «инкубаторами патриотизма» (Карен Петроун). Инициатива организации музея войны в Самаре исходила от членов Кружка любителей старины и активных участников интеллектуальной жизни Самары. Он должен был создаваться как часть городского музея – предполагалось, что он станет отделом Второй Отечественной войны при Самарском публичном музее.

Общественная инициатива музеализации войны сразу же столкнулась с препятствиями. Во-первых, члены кружка не являлись сотрудниками Городского музея и не могли официально влиять на музейную политику. Противодействие городского головы было вторым препятствием в формировании музея войны в Самаре. В-третьих, преградой стало нежелание самих жителей губернии принимать активное участие в собирании материалов.

На региональном уровне в формировании коллекции отдела Великой войны заметны две противоположные тенденции: с одной стороны, она отражала господствующую до середины XIX в. концепцию презентации войны как поля доблестного подвига героев, побуждая собирать «героический нарратив» войны, с другой стороны, в ней заметно вызревание нового подхода к войне как к гуманитарному катаклизму и презентация ее как пространства личной катастрофы или объединения гражданских усилий.

А.В. Жидченко
(Российский научно исследовательский институт
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева,
Сибирский филиал, Омск)

Пространство исторической памяти постсоветского города: по материалам созданного в 1950-е гг. города Салават

В современный период внимание ряда авторитетных ученых-историков фокусируется на тех проблемах, которые еще два десятилетия назад были вне орбиты интересов отечественной историографии. Среди подобных направлений научной реконструкции – вопросы исторической памяти, идентичности, интеллектуальной культуры, образов прошлого и т.д. Стоит отметить вместе с тем и возрастающий практикоориентированный подход в исследованиях такого рода, который позволяет не только разрабатывать теоретические конструкты и обновлять методологию изучения столь важных проблем, но и формулировать реальные рекомендации для гармоничного развития общественных отношений в настоящее время.

В предлагаемой работе мы также не будем отступать от этих принципов и сосредоточим внимание на вопросах реконструкции пространства исторической памяти такого важного социального организма, как город. В качестве основного объекта изучения был выбран один из городов, строившихся в 1950-е и последующие годы, – башкирский Салават. Это с одной стороны пример города, каковых создавалось в Советском Союзе в этот период сотни, с другой стороны, пример города со своими особенностями развития.

В данной работе мы будем опираться на междисциплинарный подход: теорию культурно-цивилизационного ландшафта [*Рыженко В.Г.* Образы и символы советского города в современных исследовательских опытах: региональный аспект. Омск, 2010], теорию культурной памяти [*Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о пошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004; *Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. С. 30-34] и теорию городской культуры [*Рыженко В.Г., Назимова В.Ш., Алисов Д.А.* Пространство советского города (1920-е – 1950-е гг.): теоретические представления, региональные социокультурные и историко-культурологические характеристики (на материалах Западной Сибири) / отв. ред. В.Г. Рыженко. Омск, 2004].

В широком смысле главным элементом пространства исторической памяти советского города является его архитектурно-

планировочный ландшафт. Историческое ядро города Салават строилось в стиле позднего сталинского ампира и проектировалось группой ленинградских архитекторов. У старожилов и новых поколений горожан историческая часть города прочно ассоциируется именно с кварталами жилых домов и общественных зданий, построенных в этом стиле. Несмотря на появление в дальнейшем в Салавате более современных общественных центров и значимых мест для культуры и досуга, эта часть города стабильно сохраняет культурно-историческую преемственность, поскольку несет в себе заложенные смыслы и культурные коды представителей первого поколения горожан. Эти традиции незримо присутствуют в устных нарративах, привычках, а также в предметах быта, интерьера и планировки квартир и общественных мест старой части города. В своей совокупности они передают часть информации исторического пространства более молодым жителям районов города Салават, построенных в 1970–1990-е и последующие годы.

Другой значимый элемент, который нельзя не рассматривать в совокупности с предыдущим, – это повседневная жизнь города 1950-1960-х гг., сохраненная на сегодняшний день в воспоминаниях, фотоархивах и различных предметах, свидетельствующих о том времени. В постсоветской жизни этот элемент становится не столь значимым, как, например, упомянутый выше архитектурно-планировочный ландшафт, поскольку здания существуют здесь дольше срока жизни многих первостроителей и создателей города. О жизни в те годы воспоминания у людей остаются фрагментарными, востребуются они эпизодически, необходимость в обращении к ним возникает редко, они не вызывают большого интереса у представителей молодого поколения. Однако особенностью города Салават является то, что он строился с целью обеспечить рабочими кадрами одно главное предприятие – нефтехимический комбинат. За городом еще с момента возникновения его замысла прочно закрепилось профильное направление «города нефтяников». И этого профиля город придерживается по сей день, а значит, что повседневная жизнь его первых жителей является неотъемлемой частью и современного Салавата. Корпоративный характер социокультурной памяти накладывает общий отпечаток на историко-культурное пространство города: многие молодые жители являются потомками нефтяников или строителей, работников энергетики и смежных отраслей.

Кроме того, большое значение имеет постоянная актуализация воспоминаний о повседневной жизни в 1950–1960-е гг. со стороны самих горожан. В частности, этому способствуют проводимые в городе выставки, мероприятия, приуроченные к юбилейным датам, книги и статьи в периодической печати, наконец, интернет-ресурсы.

Важным в этом списке становится телевидение. Известный в городе писатель П.А. Журавлев является ведущим популярной городской телепередачи об истории города и его жителях.

В пространстве исторической памяти постсоветского города большое значение принадлежит таким учреждениям культуры, как музеи. В отличие от домов культуры и библиотек, которые меняются с течением времени и приспосабливаются к новым условиям современной жизни, музеи остаются хранителями информации о прошлом и трансляторами этой информации для горожан. Применительно к городу Салават стоит отметить как минимум два музея, выполняющих подобные функции. Это салаватский историко-краеведческий музей, который расположен в здании бывшего кинотеатра «Родина», Музей Трудовой Славы ОАО «Газпром нефтехим Салават», расположенный в здании ДК «Нефтехимик» (в городе также есть музей ретро-автомобилей). Каждый из этих музеев по-своему передает культурно-историческое наследие новым жителям города. В каждом музее есть свои уникальные предметы, свидетельствующие об истории города и способные вызвать интерес у горожан, стать частью коллективной и индивидуальной памяти. Так, в частности, в экспозиции историко-краеведческого музея представлен макет здания ДК Строителей, которого сегодня в городе уже нет, но его макет интересен для людей, не живших здесь в 1950-1960-е гг., как экспонат. Аналогичное внимание многих посетителей музея привлекает реконструкция рабочего кабинета директора нефтехимического комбината, градообразующего предприятия Салавата, 1950-х гг. Эти предметы – одни из тех, что накладывают отпечаток на память человека, а вместе с тем влияют на корпоративную идентичность горожан – как тех, кто усвоили ее от своих родителей (представители второго поколения), так и тех, что практически не переняли ее от более старших горожан.

Наряду с отмеченными в данной статье элементами пространства исторической памяти постсоветского города можно выделить много других, среди которых городская топонимика, памятники и памятные места, праздники и т.д. Однако если говорить о главных, системообразующих именно для города, элементах, то названные здесь, могут считаться основными. Их можно применить для исследования других объектов, в частности новых городов, построенных в СССР в середине XX века.

О.И. Журба
(Днепропетровский национальный университет
им. Олеся Гончара, Днепр, Украина)

Украинский историографический нарратив и перспективы его модернизации

Дисциплинарная история украинской историографии насчитывает чуть больше века. Ее начальный образ имел, как минимум, два варианта. Первый сформирован работами А.М. Лазаревского и Н.П. Василенко, которые сосредоточились на истории исторического познания, осуществляемого представителями малороссийской элиты. Исследуя их тексты и деятельность, прислушиваясь к настроениям образованной публики, историки поставили проблему индивидуальной и коллективной самоидентификации малороссийского социума, особенностей менталитета, его отражения и выражения в местном историописании. Их подход можно назвать «ситуативным», поскольку историографическая ситуация рассматривалась как самодостаточный социокультурный и историографический феномен. Причем деятельность своих героев А.М. Лазаревский органично вписывал в общероссийский контекст.

Иное лицо историописания формировали М.С. Грушевский и Д.И. Дорошенко. Опираясь на те же источники, они творили новый образ – образ современного этнонационального историописания. Отвечая общественно-политическим запросам украинского движения, этот образ был поставлен ему на службу как важный элемент эмансипации от «польско-российского порабощения». Такая конструкция органично вписывала «украинский историографический процесс» в концепт «украинского национального возрождения», формируя, соответственно, конфронтационный, герметичный образ отечественной исторической науки, отказывая ее представителям в наличии сложных иерархий идентичностей. Именно под пером М.С. Грушевского и Д.И. Дорошенко «прежние изыскатели малороссийской старины» превращались в украинских историков-патриотов.

Отмечу, что в интеллектуальных баталиях «малороссийского» и «украинского» образов «своего» историописания убедительную победу одержал последний. Обобщающие работы представляют отечественную историографию как целостный, непрерывный, линеарный, эмансипаторский процесс развития, несомненно, украинской исторической мысли от Киевской Руси до сего времени. Поэтому в историографических нарративах доминирует образ «угнетенного» историописания, которое, освобождаясь от порабощения, запретов и преследований, «отвоевывает» украинскую историографическую

территорию от ее «незаконного» захвата российскими и польскими историческим сознанием и наукой.

Важной чертой современного образа украинского историописания продолжают оставаться представления о его этноцентризме. Украинская историография, как и украинское национальное сознание, как будто бы не рождались, а, не зная разрывов, передавали эстафету исторического знания/познания с глубокой древности, не меняя своего этнонационального облика. Именно поэтому в историографических практиках возникла необходимость различать понятия «украинская историография», «историография в Украине», «историография истории Украины». Каждое из них определяло перекрестные, но совсем не тождественные познавательные пространства, причем только «украинская историография» обрела право на репрезентацию «своего» историописания в отличие от «вовсе не наших», или «не совсем наших» практик, которые касались или изучения украинской истории извне, или изучения неукраинской истории изнутри.

«Украинская историография» получила монопольный статус учебной дисциплины, стержнем которой, если несколько упрощать, становилась презентация процесса познания истории этнических украинцев этническими украинскими историками, их борьба с искажениями правдивой украинской истории как внешними, конечно же, враждебными историографиями, так и изнутри, – идейными оппонентами и противниками. Такая упрощенная, герметичная и телеологическая стратегия создания долгой коллективной биографии доминировала на протяжении всего XX века. Но сегодня активная «этнизация» образа отечественного исторического и историографического процессов, как кажется, окончательно исчерпала свой когнитивный потенциал, превращаясь в ощутимый анахронизм.

В результате поиска конкурентных стратегий была предложена и проверена на материале социальной и интеллектуальной истории концепция становления украинского историописания второй половины XVIII – первой половины XIX века, опиравшаяся на региональные подходы и представлявшая процесс генезиса, консолидации и нациофикации регионального историописания. Становление региональной исторической науки на украинских просторах Российской империи представлялось как формирование в рамках региональных вариантов таких идейных, проблемно-тематических, организационных элементов, которые под влиянием Романтизма начинали создавать модерные историографические иерархии. Именно в этом контексте на рубеже XVIII–XIX веков переосмысливались цели, мотивы, задачи, способы, стили, источники писания истории отдельных регионов, осваивались стратегии и механизмы писания этнической истории.

Безусловно, такому подходу также свойственна некоторая телеологичность, что нацеливала на поиски элементов национального в домодерном социуме. Однако заметим, то, что искалось в рамках исследования путей формирования национального историописания, оказывалось результатом *становления*, а не развития давно уже *ставшего*. Кроме этого, региональный подход давал возможность существенно ослабить традиционную «малороссоцентричнисть» в представлении украинского историографического процесса, выявить и обосновать прерывность и асинхронность развития отечественной историографии, наконец, что имеет особое значение, – поставить проблему формирования и функционирования исторической и историографической культур на украинских землях империи.

В результате применения такой исследовательской оптики исчезала привычная целостность и беспрерывность. Формирование украинской историографии представлялось уже не в виде эволюции, пусть не совсем зрелого, но несомненно и всегда «украинского» историописания. Оно разворачивалось как процесс асинхронного развития региональных историографических ареалов, вписанных каждый по-своему в структуры польского и общероссийского имперского исторического познания, в местные культурные практики, как процесс их сложного взаимодействия, как непрерывный поиск «своей» идентичности в бурном времени тотальной модернизации, что на интеллектуальном рынке вызывал к жизни многочисленные проекты множественных лояльностей, нуждающихся в своей исторической легитимации.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что для украинской интеллектуальной жизни и общественного движения всего XX века ключевыми оставались задачи утверждения и преодоления отдельных региональных «самосознаний», «склеивание» на их основе образа единой украинской этнической территории, единой этнической культуры, в том числе единого прошлого, настоящего и будущего, то есть задача не столько «изъятия» местного самосознания из иерархий «общероссийского», сколько, включение его в структуры «всеукраинского».

Постановка проблемы региональной исторической и историографической культур переакцентировала исследовательские подходы с поиска механизмов формирования и функционирования собственно украинской этнонациональной традиции на культурологическую оптику. В таком случае конкурирующие синхронные практики историописания приобретали равноправный статус и получали шанс на соответствующую репрезентацию как самоценные представители региональной исторической и историографической культур, а не только враги-оппоненты украинского национального видения истории или, в лучшем случае, как историографические потоки, индифферентные к украинскому вообще.

Так, например, в существующих репрезентациях украинской историографии отсутствуют имена таких крупных историков, как И.В. Лучицкий, П.М. Бицилли, В.П. Бузескул, и других специалистов, глубоко укорененных в региональную культуру и историографию. Причиной стало их безразличие к украинскому национальному проекту и расположение предметного поля профессиональных интересов вне прошлого собственно украинских земель. Десятки других имен и тысячи текстов, выросших, в прямом смысле, на «нашей» почве и определявших интеллектуальное и духовное лицо «нашего» пространства, забыты или маргинализированы как «неукраинские», «антиукраинские», или «недостаточно украинские». В то же время, откровенно игнорируя принцип историзма, отказывая историкам в их самоидентификации, к «украинской историографии», начиная с М.С. Грушевского, безоговорочно причислялись, скажем, М.А. Максимович и А.М. Лазаревский, скептически оценивавшие задача украинского движения и его деятелей и никогда с ним себя не связывавшие.

Обновление стратегии презентации истории украинского историописания представляется возможным путем расширения и усложнения предметного поля дисциплинарной историографии: с одной стороны, в направлении исследования исторической культуры общества в целом, а с другой, путем привлечения всей совокупности исторической интеллектуальной продукции, произведенной на почве региональных историографических ареалов.

Л.П. Заболотная
(Национальный музей истории Молдовы
Академии наук Молдовы, Кишинёв, Молдавия)

The history of the private life of Maria (Lupu) Radziwiłł reflected in the images of the epoch

The history in images gives us a visual frame of the chronography of historical events, as seen by certain eminent personalities and figures. Undoubtedly, the images of the women of the time – the mural paintings (frescoes) and the portraits preserved in the foreign museums (in Poland, Lithuania, Belarus, Russia, Ukraine, etc.) or in the private collections give us the unique possibility of seeing the history as a whole, in all its nuances and colors, thus filling in the gaps of the written descriptions that sometimes have a subjective character or are entirely missing. Also, the visual aspect used in the methodology of historical research allows the author to combine texts and images, and thus to augment the value of the material documents – narrative sources and art pieces, in order to create the profound, multi as-

pect, detailed portrait of the epoch in general terms, as well as to give out the reflection of the daily life, spirituality and morals of the time.

The different images of Maria (Lupu) Radziwiłł – engravings and paintings from the 17th-18th centuries - are of particular interest.

The present work aims to present certain fragments of the private life of the Princess Maria (Lupu) Radziwiłł. Maria, the daughter of Vasile Lupu, was the second wife of the nobleman Janusz Radziwiłł. His first wife was Katarzyna Potocka, the daughter of Maria Movilă, born of her marriage to Ştefan Potocki and was the niece of Ieremia Movilă. The work has been elaborated based on the analysis of the art pieces preserved in museum collections.

Maria was born of the first marriage of Vasile Lupu to Tudosca, the daughter of Steward Costea Bucioc (Băcioc). He was one of the most influent boyars of his time. He commanded the Moldavian army in the war against the Turks, after which he retired to Poland [See: *Stoicescu N.* Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Secolele XIV–XVII. Bucureşti: Enciclopedică Română, 1971. P. 347-348]. Maria got married to the notorious magnate Janusz Radziwiłł. The wedding took place on February 5, 1645, in Iași, the capital of the Principality of Moldavia. There are various records speaking about this wedding, that describe Maria's beauty [See: *Happel Eb. W.* Căsătoria principelui Radziwiłł cu o domniţă din Moldova // Călători străini despre Ţările Române. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1973. Vol. V (îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu). P. 643] and intelligence («a learned girl») [Paul de Alep Călătoria lui // Călători străini… Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. Vol. VI. (îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu). P. 25-35]. Eberhard Werner Happel (1647-1690) described the wedding of Janusz Radziwiłł to the daughter of Vasile Lupu, Maria, based on the mentions found in a Latin manuscript that he cites in his record and that seems to have been the work of an eye-witness. In this context, we will attempt to chronologically follow the history of the portraits and images of Maria (Lupu) Radziwiłł, preserved in various foreign museums and collections, as contemporary Moldova does not hold any art piece reflecting the image of the 17th century lady, not to mention the portraits of other ladies and princesses of the time.

At present, there are a few effigies (effigy-images) of the votive painting of the Three Holy Hierarchs Church (Iași, Romania), and also portraits and engravings of Maria (Lupu) Radziwiłł.

This study is an attempt to edify the preserved images of the epoch from different points of view: as works of art, as painting techniques of the time or of the historical patrimony in general, in order to frame, in a particular way, the importance of moral values. According to our own

point of view, it is this sort of historical sources that allows the discovery and the study of certain research areas that have been neglected by the specialists: people's behavior and way of thinking, snippets of the private daily life of families, regarded as a whole, the spirituality and manners of the epoch and, particularly, of women.

О.В. Заиченко
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Арминий-Герман и Александр Невский. Трансформации национальных мифов о «Герое»: сравнительно-исторический анализ

С эпохой Возрождения в недрах нарождающихся европейских наций начинают формироваться основополагающие исторические мифы, ставшие главным средством конструирования национальной идентичности и дававшие ответ на вопросы: «Кто Мы?» и «Кто Они?». Важной частью этих мифов стали нарративы о «Героях» – знаковых фигурах, с которыми формирующаяся нация могла бы идентифицировать себя и персонифицировать те положительные качества, которые сама себе приписывала. Как правило, на роль героев «избирались» эпические вожди с харизматической аурой, успешно противостоящие агрессии со стороны внешнего мира. Конструируемые интеллектуалами образы вождей-освободителей занимают прочное место в исторической памяти своих народов и на протяжении веков являются важными позитивными символами коллективной интеграции, претерпевая с течением времени различные трансформации, соответствовавшие изменениям дискурсов о национальной идентичности, частью которых они являлись. В представленном докладе делается попытка проследить связи между трансформациями мифов о «Героях» и изменениями самовосприятия общностей, видевших в них свою репрезентацию.

Для немцев такой знаковой фигурой национальной памяти стал вождь германского племени херусков Арминий, объединивший разрозненные германские племена и одержавший в 9 г. н.э. в Тевтобургском лесу победу над римскими легионами наместника Галии и Германии Публия Квинтилия Вара, для русских – князь Александр Невский, разбивший в 1240 и 1242 гг. во главе новгородского ополчения шведов на Неве и рыцарей Тевтонского ордена на Чудском озере. Вне зависимости от того, как современники оценивали одержанные ими победы, с течением времени они стали восприниматься потомками как поворотный пункт национальной истории. Согласно немецкой

исторической традиции великий полководец Арминий навсегда остановил наступление Рима на германские земли на правом берегу Рейна, что обеспечило политическую и культурную независимость германских племен от Римской империи: благодаря ему немцы навсегда остались немцами. Александр Невский, превратившись из новгородского князя, то есть регионального политического деятеля, в «вождя всего русского народа», не только спас русские земли от натиска шведов и немцев с Запада, и татаро-монгольского гнета – с Востока, но и защитил православие от притязаний католического Рима, объявившего крестовый поход против «истинной веры». Таким образом, русские и немцы, в конечном итоге, обязаны своим «Героям» сохранением национальной, а в случае России и религиозной идентичности, так как в самовосприятии народа понятия «русский» и «православный» сливались воедино. Этим объясняется тот факт, что нарратив об Александре Невском был основан и тесно связан с религиозно-православным дискурсом. В отличие от мифа об Арминии, который, хотя также использовался в религиозном дискурсе, всегда носил выраженный светский характер.

При анализе процесса формирования этих двух национальных мифов о Героях, несмотря на их значительную национальную и региональную специфику, связанную также и с фактором «монгольского присутствия», нельзя не заметить определенное сходство условий и характера трансформации обоих героических нарративов, что позволяет говорить о наличии определенных тенденций, характерных как для Западной, так и для Восточной Европы.

Общим для этих персонажей является тот факт, что о реальной жизни Арминия и Александра Невского до нас дошло очень мало информации, что дает простор для их мифологизации. Оба рассматриваемых нами мифа, сконструированных в основном в XVIII–XIX веках, создавались на основе более древних исторических нарративов, в результате многократного переосмысления уже имевшихся повествований. В основу мифа об Арминии был положен античный нарратив о “clades Variana” (Варовом побоище), опиравшийся на исторические сочинения Публия Корнелия Тацита, Веллея Патеркула и Диона Кассия, обнаруженные и опубликованные впервые в Италии в начале XVI века. С началом Реформации латинские тексты были переосмыслены и переработаны немецкими гуманистами, прежде всего Ульрихом фон Гуттеном, в поисках политической аргументации против засилья римско-католической церкви. Поставив знак равенства между античным Римом и Римским папством, миф об Арминии с самого начала формировался как гуманистический манифест борьбы сторонников Реформации за политическую и религиозную свободу, культурную самобытность, а также за единство нации перед лицом

более сильного и более цивилизованного соседа с Запада, будь то католический Рим или Франция. В этот же период Арминий становится частью династического дискурса как предок курфюрста Саксонии Фридриха II Мудрого, который, по мысли немецких гуманистов, должен был, подобно новому Арминию, возглавить «борьбу с Римом».

Нарратив об Александре Невском первоначально был частью религиозно-сакрального дискурса, основанного на житийной литературе, повествующей, начиная с 1280-х гг., о святом князе, принявшим в конце жизни монашество, и связанных с ним чудесах. До XVI в. Александр оставался местным святым, прежде всего монахом-чудотворцем, популярность которого со временем значительно выросла, выйдя за рамки Владимиро-Суздальской земли. Во второй половине XVI в., в период царствования Ивана IV Грозного, для легитимации его наступательной политики как на Западе, так и на Востоке образ Александра Невского, уже не только монаха, но и воина, защитника православной веры от католического Рима и варварского монгольского ханства, становится наиболее востребованным. Культ святого князя распространяется по всей территории влияния православной церкви. В 1547 г. произошла его официальная канонизация. Одновременно он становится частью московского династического дискурса как прародитель династии Даниловичей, заняв прочное место в генеалогических преданиях Московского государства, которые венчала фигура Ивана IV. Как в сакральном, так и в династическом дискурсе о святом князе с XVI века также неотъемлемо присутствует тема «борьбы с безбожным Римом» в виде противопоставления русских-православных «латинянам», под которыми следовало иметь в виду шведов и Тевтонский орден.

Таким образом, начиная с XVI века, в ходе процесса конструирования национальных героических мифов оба персонажа последовательно становились героями религиозного, династического, а затем национального и имперского дискурсов, причем в обоих случаях активизация мифа о «Герое» приходится на XVIII век с последующей национализацией – в XIX веке. В результате, с одной стороны, происходит секуляризация образа Александра Невского, который в ходе преобразований Петра I, запретившего изображение святого в монашеском облачении, из инока превращается в полководца и самодержца и тем самым прочно встраивается в новую политическую знаковую систему, в центре которой находится институт императорской власти. С другой стороны, происходит германизация образа Арминия, который утрачивает свое латинское имя и из героя античного нарратива превращается в немецкого национального героя херуска Германа. Востребованность как Арминия-Германа, так и Александра Невского в наибольшей степени возрастала в кризисные моменты национальной истории, связанные,

прежде всего, с освободительными войнами, защитой национальной независимости, а также борьбой за становление национальной государственности. В соответствии с обстоятельствами нарративы о Героях каждый раз наделялись новыми смыслами. На смену борьбе православия и протестантизма с католическим Римом, борьбе за территории с более сильным соседом с Запада или Востока пришла борьба с иностранным влиянием за национальную и культурную самобытность, борьба за государственное единство, политическая борьба с внутренними врагами за конституционные реформы и врагами внешними за политическое преобладание в Европе. Таким образом, конструируемые героические мифы формировали не только положительный образ «своих», но и негативный образ «чужого», образ «врага».

В XX века оба героических нарратива в результате крушения Российской империи после Первой мировой войны и падения Третьего Рейха – после Второй подверглись процессу демифологизации, сопровождавшемуся полной утратой сакрального смысла. В 1990-е гг. в ходе трансформации национальной государственности, поиска новой идеологии и коллективной идентичности в России и Германии мы можем наблюдать возрождение старых мифов и попытку создания на их основе нового героического нарратива. Примером чему могут служить масштабные торжества в 2009 г. в Германии, посвященные двухтысячелетию легендарной победы Арминия в битве в Тевтобургском лесу, и титул «Имя России», присвоенный Александру Невскому по итогам голосования телезрителей в ходе реализации масштабного общенационального проекта в 2008 г.

А.Г. Иванов
(Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, Липецкий филиал)

Этико-аксиологическое измерение мифогенности истории: социальная мифология

Социогуманитарная сфера в настоящее время является достаточно мифогенной. В первую очередь это относится к истории. Не случайно К. Леви-Стросс обращал внимание на историю, сравнивая ее с мифом и утверждая, что история сегодня имеет такое же устройство, что и миф [Беседа с Клодом Леви-Строссом Константина фон Барлевена и Галы Наумовой // Вопросы философии. 2009. № 5. С. 66-79]. Мифогенность означает способность впитывать и актуализировать социальную мифологию, которой присущи процессы мифотворчества и мифологизации. Данные процессы требуют эти-

ческого измерения и оценки того, какую опасность они могут представлять для развития общества. Среди социальных сфер и областей знания наиболее уязвимыми перед мифами являются история и политика. Мифотворчество проявляется в них в конструировании исторических мифов, мифологизация – в ремифологизации исторической памяти. Это может привести к формированию устойчивых представлений, к демонтажу исторической памяти, ценностей; при этом существует опасность потери нравственных ориентиров.

Современный миф и, в целом, социальная мифология имеют двойственные характеристики: с одной стороны, миф может нести угрозу общественному развитию; с другой стороны, социальная мифология может быть фактором целостности общества.

Весьма показательно такая двойственность продемонстрирована в работе К. Резникова, где автор рассматривает мифологию истории России, подразделяя функционирующие в общественном сознании мифы на утверждающие и кризисные: «Первые возникают по подъеме духовных сил общества; они прославляют народ и страну; правительство их использует для укрепления власти. Вторые появляются при упадке или болезни общества; они проникнуты пессимизмом, часто усугубляют процессы распада. Между мифами идет конкуренция за место в общественном сознании» [*Резников К.Ю.* Мифы и факты русской истории. От лихолетья Смуты до империи Петра. М.: Вече, 2016. С. 3].

Еще Э. Кассирер считал, что миф перестал быть свободной и спонтанной игрой воображения, что его хорошо отрегулировали, приспособили для политических нужд и использовали с весьма конкретными политическими целями [*Cassirer E.* The Myth of the State. L.: Yale Univ. Press, 1966. P. 27-296]. Начиная с последних десятилетий XX в. широко распространенным как среди российских (В.С. Полосин, А.М. Цуладзе и др.), так и среди западных (Р. Барт, К. Хюбнер и др.) ученых является мнение о тесной связи мифов, истории и политики, о том, что историческое сознание, политическое сознание, идеология постоянно используют мифы.

Объяснение тесного взаимодействия, взаимопроникновения политики, истории и мифа, на наш взгляд, заключается в том, что они выполняют в обществе интегрирующую функцию, пронизывая все другие формы и уровни общественного сознания.

В ряду факторов, придающих общественному устройству целостность, все основные сферы жизни общества в той или иной степени обеспечивают устойчивое общественное развитие. Однако, рассматривая, в частности, духовную сферу, можно выделить в ней особый компонент, позволяющий говорить о наличии и функционировании конкретного общества, государственного образования, народа, – это

его социальная мифология. Причем социальная мифология есть не просто компонент структуры общества, а некий метакомпонент, который «скрепляет» общество, начиная уже с обыденного уровня.

Главное здесь – не смешивать социальную мифологию с другими компонентами духовной сферы, например, с идеологией. Важно не загонять социальную мифологию в определенные рамки (культурный код, политическая идеология и т.п.), а дать возможность существовать органично и выполнять свойственные ей мировоззренческие, аксиологические, компенсаторные, идентификационные и другие функции.

Особенным компонентом целостной структуры общества социальную мифологию делают история ее возникновения и способность той или иной функции социальной мифологии приобретать актуальность, выходить на первый план в процессе разрешения определенных общественных противоречий. В частности, по мнению Ф.В.Й. Шеллинга, «источник мифологии каждого народа восходит к такой области, где нет времени изобретать, выдумывать ее – все равно, отдельным ли лицам или всему народу, где нет времени для искусных облачений и недоразумений» [*Шеллинг Ф.В.Й.* Введение в философию мифологии // *Шеллинг Ф.В.Й.* Соч.:в 2 т.; пер. с нем. М.: Мысль, 1989. Т. 2. С. 214]. Так, поиск национальной идеи российского общества сложно представить без использования потенциала идентификационной функции социальной мифологии. Определяющим условием целостности общества социальную мифологию делают как в целом ее свойства и функции, так и контекст, конкретные проявления. Следует отметить, например, актуализацию мифов в кризисные периоды общественного развития, когда отсутствует определенность в социальном бытии, нарушается целостность общественного устройства, не просматриваются горизонты развития. Именно в таких ситуациях социальный миф способен определить вектор развития, дать интерпретацию общественным явлениям.

Исходя из сущностных характеристик социального мифа, можно предполагать, какое влияние миф окажет на общественное развитие, какая судьба ждет общество. Здесь вновь следует обратиться к Ф.В.Й. Шеллингу: «Однако народ обретает мифологию не в истории, наоборот, мифология определяет его историю, или, лучше сказать, она не определяет историю, а есть его судьба (как характер человека – это его судьба); мифология – это с самого начала выпавший ему жребий» [*Шеллинг Ф.В.Й.* Введение в философию мифологии… С. 213]. Эта мысль Ф.В.Й. Шеллинга, по нашему мнению, вполне применима и к социальной мифологии. Ведь какое колоссальное влияние на судьбу, скажем, германского народа оказал в XX веке миф нации. Этическое содержание социальной мифологии выступает тем критерием, который, собственно, и определяет, станет ли социальная мифология не-

отъемлемым компонентом целостного общества (как, например, в Китае, где национальная мифология, безусловно, цементирует государство, несмотря на «перегибы» в виде идеологических коммунистических дополнений) или же ввергнет его в пучину потрясений. В любом случае, следует помнить о том, что «мифологизация сознания становится особенно опасной, когда ослабевает влияние нравственных начал в жизни общества» [*Зобов Р.А., Келасьев В.Н.* Социальная мифология России и проблемы адаптации: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н. Келасьева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. С. 33].

Кончено, социальная мифология различается по масштабам и охвату социальных слоев: субъекты (индивиды, социальные группы) могут обладать своей собственной мифологией. Изучая мифологии отдельных социальных классов, как, например, Р. Барт и его исследования «мелкобуржуазной мифологии» в Европе середины 50-х гг. XX века [*Барт Р.* Мифологии: пер. с фр. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004], можно находить определенные устойчивые механизмы функционирования мифологии, циркулирования социальных мифов с последующим их разоблачением, рационализацией. Однако более важным представляется поиск мифологий, объединяющих разрозненные социальные группы, общество в целом; поиск таких социальных мифологий, которые могли бы стать «метакомпонентом», придав структуре общества органичную целостность.

В настоящее время во многих обществах социальная мифология как компонент общественной структуры не институциализирована. Одним из немногих механизмов, способных сделать социальную мифологию более проявленной, по крайней мере, в границах отдельного государства, является легитимация. Только через признание всеми слоями общества ценностей социальной мифологии возможно ее укоренение. Однако история демонстрирует, что такая консолидация общества происходит редко, а если и случается, то в основном в моменты, когда самому существованию общества (государства, народа) угрожает смертельная опасность.

Т.Н. Иванова, О.О. Дмитриева
(Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова)

Столетний юбилей Отечественной войны и складывание исторической памяти о событиях 1812 года в российском обществе

Победа над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г. является одним из важнейших культурных символов национальной исто-

рии нашего народа. Однако, когда 30 июля 1814 г. через Триумфальные ворота в Санкт-Петербурге шли возвратившиеся из Европы войска, чувство ликования в душе русских людей омрачалось воспоминаниями о людских потерях, сожженной Москве и разоренных деревнях. Долгое отступление летом 1812 года, неоднозначные оценки итогов Бородинского сражения, личный опыт и индивидуальные воспоминания участников этой церемонии создавали совсем не единодушную картину закончившейся войны, которую пока еще не называли Отечественной. Последовавшие затем осмысление и индивидуальная рефлексия происходили одновременно с целенаправленным процессом конструирования общей для всего российского общества исторической памяти об этом событии. Это была обобщенная, эмоционально окрашенная система символов, мифов, идеологем, которые способствовали складыванию коллективной идентичности. Историческую память, по мнению Л.П. Репиной, можно рассматривать как постоянно обновляемую структуру, «непрерывный процесс, в котором идентичность социума поддерживается посредством реконструкции воображаемого прошлого», в ходе которого происходит нейтрализация «противоречивых и даже конфликтующих версий этого прошлого» [*Репина Л.П.* Историческая память и национальная идентичность: подходы и методы исследования // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М.: ИВИ, 2016. Вып. 54. С. 11]. В ходе реконструкции исторической памяти о войне 1812 г. шла мифологизация определенных образов, переоценка, а иногда и забвение (целенаправленное или случайное) многих элементов реальных исторических событий.

Коммеморативные практики, направленные на создание коллективной памяти об Отечественной войне, исходили как от государства, так и от отдельных социальных групп. Этот процесс шел не столько эволюционно, сколько дискретно, в ходе празднования юбилеев войны. Существует сильная взаимосвязь коммеморации и исторической памяти, в которой первая выступает как механизм формирования воспоминаний, а вторая как конечный результат манипуляций общественным сознанием. Мы выделяем следующие формы коммеморативных практик.

Нарративная форма – это появление воспоминаний участников войны, исторических исследований и художественных произведений. Роль последних особенно значима в воздействии на культурную память. В произведениях В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и др. происходила мифологизация определенных героев и событий 1812 года.

Визуальная форма начинается с серии карикатур и лубочных картинок, появившихся еще в ходе войны, и получает свое закон-

ченное выражение в образах грандиозной Бородинской панорамы. При этом можно проследить конкретное воздействие литературных произведений на живописные образы, например, в серии картин В.В. Верещагина.

Монументальная форма – это создание «мест памяти» (триумфальные арки, Московский манеж, Александровская колонна, храм Христа Спасителя, комплекс памятников Бородинского поля и т.д.). Они создавали пространственные образы: в этих пространствах, с одной стороны, протекала повседневная жизнь обычных людей, а, с другой стороны, они становились центрами различных церемоний.

Церемониальная форма заключалась в выработке особых ритуалов празднования юбилеев и дней памяти наиболее значимых событий войны.

Особую роль в формировании исторической/культурной памяти российского общества об Отечественной войне играло масштабное празднование ее столетнего юбилея, в ходе которого были интегрированы все вышеперечисленные формы коммеморативных практик. Я. Ассман, говоря о культурной памяти, отметил: «Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к которым прикрепляется воспоминание. Фигуры воспоминания воскрешаются в чинопочитании праздников и освещают ту или иную современную ситуацию» [*Ассман Я.* Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004 С. 54]. Так, в период празднования столетия был использован ряд символов, при помощи которых создавался шаблон памяти о войне. Власть рассматривала этот юбилей как возможность в сложной исторической обстановке (поражение в японской войне, рост международной напряженности и революционного движения) консолидировать российское общество, вызвать рост патриотизма. В прессе прямо отмечалась необходимость «воскресить в памяти сотен миллионов героический, национальный подвиг, объединивший русскую землю от дворца до бедной избы» [Цит. по: *Бочков Е.А.* «Придать юбилею Отечественной войны значение всенародного торжества»: деятельность высших и центральных органов власти и управления Российской империи по организации праздничных мероприятий, посвященный 100-летию Отечественной войны 1812 г. // Новейшая история России. 2012. № 3. С. 7].

Нарративные коммеморации 1912 г. – это, прежде всего, публикация воспоминаний и других источников о войне, популярных статей в периодической печати. Одновременно с пропагандистскими публикациями в т.н. «толстых журналах» развернулась дискуссия ученых о наиболее спорных моментах войны: причины долгого

«уклонения от главного сражения», назначение главнокомандующим М.И. Кутузова, оставление Москвы неприятелю. В дискуссии принимали участие как консервативные историки, так и либерал М.М. Ковалевский, демократ Н.А. Рожков и др. Для идеологической пропаганды важным стало издание массовыми тиражами популярных брошюр «для народа», в которых подвиги 1812 г. представали в виде общенационального героического символа. Основным объектом этот пропаганды была учащаяся молодежь и представители «простого народа», которым эти брошюры раздавались бесплатно.

Важнейшим визуальным символом юбилея стала панорама Ф. Рубо «Бородинская битва», открытая в ходе торжеств в павильоне на Чистых прудах.

Большое значение власть придавала «местам памяти». В течение 1912 г. было открыто более 40 памятников на местах сражений, большая часть которых – на Бородинском поле. Именно Бородино стало центральным «местом памяти», где 25-26 августа 1912 г. начались юбилейные мероприятия. Кроме того, в 1912 г. был выпущен памятный рубль, а также отчеканены различные памятные медали, которые вручались выдающимся деятелям науки, образования, меценатам и организаторам юбилейных торжеств.

Особых чествований удостоились еще жившие ветераны войны, пятеро из которых встретились с императором Николаем II на Бородинском поле. Важным актом коммеморации явилось основание «Общества потомков участников Отечественной войны», а также «Бородинского общества».

Единой датой празднования стало столетие Бородинского сражения. Торжества начались 25 августа 1912 г. и продолжались в Москве до 30 августа. Обратим внимание на то, что в Москве, в Санкт-Петербурге, а также во всех губернских и уездных городах огромной империи обязательными были следующие акты: в церквях и соборах прошли заупокойные литургии, панихиды и молебны, с последующим крестным ходом; в учебных заведениях проводились беседы и торжественные собрания; воинские и полицейские подразделения участвовали в смотрах и парадах; были организованы народные гуляния (выступления хоров и оркестров, иллюминации, фейерверки и т.д.). В ходе этих мероприятий вручались памятные медали, раздавались бесплатные брошюры и альбомы с портретами императора Александра I и героев войны.

Эти торжества были направлены не на осмысленный анализ событий Отечественной войны, а на создание чувственно-эмоционального образа героического прошлого, единения (кратковременного, но торжественного) всех сословий. Именно в ходе празднования столетнего юбилея выкристаллизовалась и обрела

четкие формы культурная память о событиях 1812 г., которая включает не подлежащие сомнению образы народного полководца М.И. Кутузова, героев народного ополчения и партизанского движения, безусловную веру в целесообразность военной тактики русских войск и характеристику этой войны как Отечественной, сплотившей в патриотическом подъеме весь народ.

Эти исторические образы пережили критику всего «царского периода» в первые годы Советской власти и стали той «скрепой», которая способствует формированию национальной (а точнее государственной) идентичности сегодняшней России. Это наглядно продемонстрировало торжественное празднование 200-летнего юбилея Отечественной войны в 2012 году.

С.Н. Игнатова, О.Б. Божков
(Социологический институт РАН, Санкт-Петербург)

Почему «непредсказуемо» наше прошлое?

Человеческая память связывает прошлое, настоящее и будущее. Однако память не только удерживает факты жизни, но также плодит легенды и мифы.

История надындивидуальна, она как бы «отодвинута» от нас: ее «действующие лица» не мы, живущие здесь и сейчас. История принадлежит всем. Можно сказать, что история – это коллективная память. И этой памяти свойственны те же недостатки, что и индивидуальной. Прошлое в определенном смысле маргинально, т.к. имеется у каждого в отдельности и у всех нас. Это то, что реально было. В этом прошлом были окружающие нас конкретные люди (известные только нам или очень многим – те, кого называют героями истории). В истории (в исторической науке), как правило, действуют именно герои, правители и только общим «темным пятном» – народные массы.

Историки, конечно же, изучают в основном отдаленное прошлое. Лишь относительно недавно внимание историков (школа анналов) привлекли обычные люди, представители разных слоев общества и их повседневная жизнь даже в отдаленные исторические эпохи. При этом родоначальники школы анналов начали с изучения условий, в которых жили люди в прошлом (Ф. Бродель).

Психологи изучают свойства и механизмы памяти. Собственно, прошлое их интересует лишь постольку-поскольку.

Социология – наука об обществе, и ей важно понять, как это общество возможно и как оно изменяется.

На заре перестройки было много исследований о советском в тогдашнем российском человеке. Совсем по-иному этот промежуток российской истории воспринимается гражданами сейчас. Уже сложилась некая временная дистанция, наполненная событиями государственными и личностными, появились новые представления и новые мифы.

Мы попытались заглянуть в эти представления у небольшой, но очень значимой социальной группы. В течение девяти лет мы проводили исследования в сельской местности Нечерноземной полосы РФ, в типичной российской глубинке. На одном из этапов этого многолетнего проекта объектом нашего изучения стали представители наиболее активной части сельского социума. Это сельские предприниматели, руководители сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности, и руководители, главы местных администраций сельских поселений. В каком-то смысле эту группу можно охарактеризовать как сельскую элиту.

За несколько лет мы провели сплошное интервьюирование представителей вышеуказанной группы в семи районах четырех областей Северо-Запада РФ. Всего было собрано 175 глубинных интервью, 100 с главами администраций и 75 с руководителями предприятий. Интервью делилось на биографическую и экспертную части. Основным акцентом биографической части являлась трудовая биография, но в целом биографическое интервью было гораздо шире – от происхождения и образовательного пути информанта до подробностей его современной жизни, включая экономические проблемы семьи, досуг, проблемы детей, характеристики прошлого и будущего. Советский период времени не исследовался здесь как самостоятельное явление. Нам было интересно, какие отсылки к этому историческому отрезку будут встречаться в рассуждениях информантов в ходе подробного рассказа о своей жизни, если специально не акцентировать внимание на советской эпохе. В каком виде она существует в дискурсе наших информантов по прошествии более чем двадцатилетия с момента крушения Советской власти, является ли еще актуальной, и в чем она актуальна?

Средний возраст наших информантов 48 лет, то есть значительная их часть родилась, выросла, социализировалась еще в СССР; среди них практически не было людей младше 30 лет, что вполне объяснимо, если учесть основные характеристики исследуемой группы. Все получили образование в эту эпоху, и даже некоторый трудовой и социальный опыт. СССР – это факт их собственной биографии, и, так или иначе, у них должны были сложиться какое-то отношение к тому времени.

Логично было бы ожидать актуализации советской риторики, или хотя бы ее осколков, в части трудовых отношений, столь важных

для наших респондентов именно в ходе разговора о трудовом пути, ибо он пришелся у многих именно на советский период времени. Собственно, трудовые ценности наших информантов и сохранили на себе еще налет советского, а все остальные сферы жизни оказались как бы десоветизированными. Именно когда в дискуссии были затронуты вопросы коллективной идентичности сельского товаропроизводителя, жителя села, его трудовой идентичности всплыли те ценности труда, которые мы бы охарактеризовали как советские, хотя в полной мере они таковыми на самом деле не являются.

Итак, воспоминания информантов о сталинских, хрущевских и брежневских временах носили спонтанный, не спровоцированный интервьюерами характер. В биографической части интервью нас в большей степени интересовали траектории личных жизненных путей информантов и мотивы их изменений.

В рассказах о прошлом не было ни умилительной ностальгии, ни ожесточенных проклятий. Это был, как правило, спокойный рассказ. Гораздо более эмоционально напряженным рассказ становился, когда речь заходила о настоящем (все интервью были взяты в 2005–2009 гг.).

Актуализируем результаты нашего анализа:

1. При разговоре о сельской жизни, о сельском хозяйстве, его развитии на данной конкретной территории никак не проявили себя различные советские и постсоветские идеологические клише. Они как-то легко ушли из обыденного сознания, из повседневной жизни. Те информанты, кто в ходе интервью актуализирует в своем рассказе эпизоды советского времени, чаще всего характеризует его абстрактными, вне эмоциональными словосочетаниями: «раньше», «при коммунистах», «власть в сельсовете» и т.п. Даже те, кто был членом КПСС, говорят о «коммунистах» так, как будто это были не они сами, а кто-то иной, чужой, как будто инопланетяне некий промежуток времени управляли страной.

2. Для наших информантов «прошлое» и «настоящее» это череда событий (то «трудности», то «стало лучше»), и зависит это от внешних ограничений, внешних влияний на условия повседневной жизни. А какая на дворе эпоха становится уже не столь актуально, потому что в повседневной жизни приходится адаптироваться к любой эпохе.

3. Ценностью для респондентов, глядя из настоящего, становится стабильность, которая очень важна для занятого в сельском хозяйстве. Весь его трудовой цикл становится успешным только в условиях стабильности при тотальной зависимости от изменчивости погоды, различных внешних условий (большой урожай – низкие цены на продукцию, низкий урожай – отсутствие прибыли). В этих

условиях стабильно функционирующее предприятие является гарантом стабильности и трудовой и повседневной жизни.

4. Труд остается важнейшей ценностью, самым значимым фактором сохранения столь желаемой устойчивости. Это труд не ради советской родины, не во имя каких-то достижений, это повседневный тяжелый труд крестьянина, потому что на селе постоянно надо трудиться.

5. «Колхоз» по-прежнему является основной мифологемой и советского и постсоветского села. Однако отношение к нему у наших информантов очень неоднозначное. «Развал» колхоза (совхоза) воспринимается как локальная катастрофа, но лишь потому что этот «развал» лишил сельских жителей такой значимой повседневной стабильности: исчезли рабочие места, возникла угроза сельском образу жизни, нет привычного цементирующего начала, вокруг которого строилась жизнь на селе, колхоз раньше отвечал за все, поскольку, таким образом, было выстроено социальное взаимодействие сельского сообщества.

В описании своей жизни наши информанты удивительным образом продемонстрировали, что советскость, как таковая не являлась для них ценностью. Уверенно в их рассказах можно идентифицировать в качестве ценности, их собственную молодость; а также порядок и предсказуемость. Практически все информанты говорили о том, что во все времена много и трудно работали. Но и эта работа воспринимается ими, как непреходящая ценность. Ярче всего в биографических нарративах проявилось (говоря на языке политического дискурса), что самое ценное для информантов в их прошлом – предсказуемость того, что будет завтра.

И.Н. Ионов
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Циклы исторического сознания, историческая память и самоидентификация

Развитие исторического сознания на Западе и в России тесно переплетено с «процессом цивилизации», как его называл Н. Элиас, то есть с изменением контроля над поведением человека. Механизм этого процесса задает тесную связь характера поведения и его осмысления (рационализации), в том числе исторической рациональности. Рост общественного контроля и самоконтроля за поведением человека предполагает растущую идентификацию индивида с истеблишментом (в XVI–XVIII веках – с придворным обществом,

позже – с более господствующими слоями Запада или периферийных империй). Эта идентичность (рассматриваемая как «подлинная» и «единственная») конструируется на базе ложной исторической памяти, которая заставляет человека вспоминать не собственное (родовое, местное, сословное) прошлое, а прошлое истеблишмента (страны, власти, дворянства). Память о собственном прошлом геополитического или социального аутсайдера при этом может принижаться или вытесняться как образ «случайного» на фоне «необходимого». Результат – становление фантастических форм самоидентификации и исторической памяти, которые Н. Элиас называл левантинизмом, а Ж. де Готье – боваризмом. Их разрушительные политико-идеологические свойства хорошо показаны на примерах Латинской Америки (Л. Сеа) и Восточной Европы (А. Мелег).

Рост роли истеблишмента сопровождается созданием им иерархической картины исторического прошлого, в которой исторический процесс задается как рациональный, сущностно необходимый, строго детерминированный логикой и лишь раскрываемый в отдельных фактах на уровне явлений. Подлинной и единственно научной историей выступает образ нормативной триумфалистской истории истеблишмента (как «всеобщей» истории), подчиненными элементами которой позиционируются квазиистории периферии (деспотий Востока и дикарей Юга). Это историческое сознание основано на сакрализованной культурной памяти и репрезентируется монологически в нормативном модусе «я вспоминаю», затрудняющем разделение идентификационной (связанной со сменой исторических перспектив), когнитивной (источниковедческой и аналитической) и коммуникативной (репрезентативной) составляющих исторического знания (и особенно выявление противоречий между ними, хотя об этом писал еще И.Г. Дройзен).

Правда, процесс роста контроля над поведением человека не является однонаправленным. Смена лидера глобального развития и доминирующих социальных групп в условиях монополии на формирование идентичности и исторической памяти порождает разрушительные, ресентиментные формы самоидентификации и исторической памяти, направленные против старого истеблишмента и связанных с ним ценностей и идеалов (прогресса, демократии, толерантности). Развитие «процесса цивилизации» уже в начале XX в. привело к созданию альтернативных самоидентификации и исторического сознания в Германии, опиравшихся на идеал *Kultur*, что стало идеологическим обоснованием Первой мировой войны (*Kulturkrieg, la gurre pour la civilisation*).

Конец XIX – начало XXI века отмечены, как показал К. Вутерс, не однонаправленным «процессом цивилизации», а циклической сменой периодов контролируемого уменьшения контроля

над поведением («информализация») и возвратными тенденциями роста такого контроля («реформализация»). С периодами информализации 1890-х, 1920-х, 1960–1970-х гг. связано возвышение геополитических и социальных аутсайдеров (деколонизация, десегрегация). В это время господствует протестная идентичность (М. Кастельс), распадаются нормативные формы исторической памяти. Проблемы участия местного населения в формировании национальной идентичности в колониях (в том числе США и Австралии) и национальной исторической памяти дали толчок к переосмыслению роли аборигенов в истории и содержания антропологических знаний (начиная с Ф. Боаса). Смена идентичностей в процессе трансатлантических миграций породила интерес к проблеме идентичности и осознание множественности актуальных самоидентификаций личности (Э. Эриксон). Происходит кризис культурной и становление многовекторной исторической памяти (в том числе по поводу Холокоста). Наконец, сильнейший удар по европоцентристской картине истории нанесла концепция «ориентализма» Э.В. Саида.

Историческая рациональность приобретает критический характер. Проблемы смены идентичностей и исторической памяти возбуждали интерес к изучению их конструирования (Б. Андерсон) и шире – к конструированию философско-логических оснований исторического знания, профессиональных подходов к источникам и их анализу, репрезентаций прошлого. Критика нормативных образов истории раскрывает множественность подходов к перспективизации, анализу и репрезентации прошлого (Х. Уайт). Важнейшую роль играет пересмотр последующими поколениями памяти о прошедших войнах (А. Ассман). В рамках устной истории актуализируются местные и родовые формы исторической идентификации и памяти. Возникает глобальная и транснациональная история, ориентированная на децентрированный, множественный образ прошлого, создаваемый из разных перспектив, в том числе в диалогическом модусе «обо мне вспоминают». Макро- и микроистории взаимодействуют на поле транскультурной и перекрестной истории. Надо подчеркнуть, что на каждом уровне критики нормативистских представлений об исторической истине и объективности в эпохи информализации возникают паллиативные, оппортунистические подходы, позволяющие сохранять представление о достоверности исторического знания (типа «реляционизма» К. Маннхейма).

При этом регулярно в 1900–1910-е, 1930–1950-е, 1980–2010-е гг. происходит возврат к реформализации на фоне возрождения роли истеблишмента и стремления масс идентифицироваться с ним. В духе редколлегии журнала «Ab Imperio» можно сказать, что если эпохи информализации связаны с поколениями, ориентированными

на восприятие общества в локковской парадигме, признающей наличие у людей здравого смысла, а значит возможность и ценность роста свободы поведения, то эпохи реформализации связаны с поколениями, ориентированными на гоббсовскую парадигму, подозревающую человечество в отсутствии здравого смысла, абсолютизирующую опасность «войны всех против всех» и превозносящую ценности власти, порядка и контроля. К. Вутерс ассоциировал последние с эпохами кризисов и доминирования ценности выживания.

Наиболее ясно тенденции к реформализации проявляются не в геополитическом истеблишменте, а среди теряющих авторитет геополитических аутсайдеров, особенно в султанистских странах (Дж. Голдстоун), где развивается негативная идентичность (Э. Эриксон). Власти этих стран маргинализируют протестную идентичность, претендуют на возрождение традиционных идеалов и ценностей, исторической памяти триумфалистского типа. Формируется то, что Н.Е. Копосов назвал «памятью строгого режима». Мемориальные законы, которые в условиях демократии защищают многообразие мнений, так как отстаивают право слабого, в эпохи реакции направлены против исторических дискуссий и отстаивают право власти определять прошлое.

В отличие от классического «процесса цивилизации», описанного Н. Элиасом, в XX–XXI веках формирование нормативной идентичности и исторической памяти происходит не стихийно, а целенаправленно, в форме государственной информационной политики манипулирования процессом самоидентификации и конструирования исторического сознания. Это сопровождается масштабной дискредитацией форм самоидентификации, исторической памяти и исторического сознания предшествующей эпохи как релятивистских, постмодернистских, пораженческих, упадочнических, извращенных. Уход от триумфализма (например, в рамках устной и семейной истории) рассматривается как злонамеренное искажение исторической истины. При этом заимствуются некоторые мировоззренческие достижения предшествующего периода, в частности критика универсализма и неприятие европоцентризма, которые используются националистами и государственниками в интересах новых социальных истеблишментов, служат обоснованием для репрезентации собственной маргинальной для профессионального сообщества историков точки зрения как релевантной современному представлению об исторической истине.

Р.Б. Казаков
(Научно-исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва)

Историческое знание в ранних переводах Н.М. Карамзина

Важнейший и последний в жизни Н.М. Карамзина период написания томов «Истории государства Российского» начался в октябре 1803 г. и оборвался со смертью историографа в мае 1826 г. До сих пор остается неясным, каким образом Н.М. Карамзин приобрел знания по истории России, освоил огромное количество рукописных и печатных источников, что позволило написать двенадцать томов текста исключительных литературных достоинств, сопроводив их двенадцатью томами Примечаний, содержащих краткие замечания, уточнения, ссылки на изученные источники, а часто – публикацию обширных фрагментов или полных текстов письменных памятников разных эпох.

Моя гипотеза состоит в том, что для ответа на вопросы о генезисе и эволюции исторических взглядов Н.М. Карамзина, накоплении исторического знания, формировании его исследовательских подходов необходимо обращаться ко всему творчеству историографа «доисторического» периода, начиная с его первых сочинений и переводов, появившихся в 1782–1783 гг., когда автору было всего 15 лет.

Попробуем проанализировать первые три сочинения юного автора, пытаясь обнаружить там историческое знание, презентированное в любых его формах. Это переводы с немецкого «Разговора австрийской Марии Терезии с нашей императрицею Елисаветою в Елисейских полях» (не дошел до нас), идиллии швейцарского писателя С. Геснера «Деревянная нога» [*Геснер С.* Деревянная нога: швейцарская идиллия гос. Геснера / пер. с нем. Н.М. Карамзин. СПб.: тип. Брейткопфа, 1783. 18 с.] и поэмы А. Галлера «О происхождении зла»; [*Галлер А.* О происхождении зла, поэма великого Галлера / пер. с нем. М.: тип. Комп. Типографической, 1786. 78 с.].

О существовании первого неразысканного перевода Н.М. Карамзина мы знаем из воспоминаний И.И. Дмитриева, к написанию которых он приступил в 1823 г. Н.М. Карамзин начал службу в Преображенском полку в апреле 1781 г., ему 14 лет. И.И. Дмитриев вспоминал: «Следуя моему примеру, он и сам принялся за переводы. Первым опытом его был “Разговор австрийской Марии Терезии с нашей императрицею Елисаветою в Елисейских полях”, переложенный им с немецкого языка. Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию с переводчиком, книгами из своей книжной лавки. Не могу и теперь вспом-

нить без удовольствия, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика фильдингова "Томаса-Ионеса" (Том-Джона), в маленьком формате, с картинками, перевода Харламова. Это было первым возмездием за словесные труды его» [*Дмитриев И.И.* Взгляд на мою жизнь: записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева. М.: тип. В. Готье, 1866. С. 40]. Карл-Вильгельм Миллер – известный издатель и ближайший сотрудник Н.И. Новикова, с которым они основали в 1773 г. «Общество, старающееся о напечатании книг» [*Зайцева А.А.* Книжная торговля в Санкт-Петербурге второй половины XVIII века. СПб.: БАН, 2005. С. 128-157; *Беспалова Е.К.* К вопросу о связи Дмитриева с московскими масонами конца XVIII века // Иван Иванович Дмитриев (1760–1837). Жизнь. Творчество. Круг общения. СПб.: ИРЛИ РАН, 2010. С. 66-79].

Видимо, два абзаца в воспоминаниях И.И. Дмитриева – это все имеющиеся у нас сведения о первом переводе Н.М. Карамзина, ничего не прибавляет к биографии Н.М. Карамзина и исследовательская литература. Но воспоминания И.И. Дмитриева позволяют довольно точно датировать появление перевода, а также предложить гипотетическую реконструкцию его содержания.

Немецкое издание «Разговора» и его перевод на русский с походом в лавку книгопродавца Миллера могли состояться в 1781-1782 гг. и в самом начале 1783 г. Причем собственно переводить Н.М. Карамзин мог в течение всего нескольких месяцев 1781 и 1782 гг. и самого начала 1783 г., когда он находился в полку. Если допустить, что перевод все-таки выполнен в Петербурге, то это могло быть сделано в сентябре-декабре 1782 г. и в январе 1783 г. «Разговор» не был большим по объему, по-видимому, он предназначался для публикации в журнале.

Если обратиться к произведениям новой европейской литературы того же жанра, что и «Разговор», например, к «Разговорам мертвых» М.Н. Муравьева [*Муравьев М.Н.* Разговоры мертвых // *Муравьев М.Н.* Опыты истории, словесности и нравоучения. Сочинения Михайла Никитича Муравьева, изд. по его кончине. М.: Унив. тип., 1810. Ч. 1. С. 245-353], то можно предположить, о чем беседовали два крупных исторических персонажа – императрицы двух крупнейших европейских империй. Они могли прославлять деяния друг друга, упоминая при этом исторические события, вполне знакомые читателю: военные победы, обеспечивавшие безопасность и процветание державы, мудрое законодательство и реформы, способствовавшие благу подданных, покровительство искусствам, наукам, просвещению. Это образы идеальных просвещенных монархов, оставивших заметный след в истории.

В том же 1783 г. в Петербурге был напечатан карамзинский перевод идиллии «Деревянная нога». Это также весьма небольшое произведение – 18 страниц текста в восьмую долю листа. Текст располагался на 15,5 страницах. Если следовать высказанным предположениям, то оба перевода должны были быть сделаны в сентябре-декабре 1782 – январе 1783 г. одновременно или последовательно один за другим.

Девять из 15,5 страниц текста уделены рассказу старика-инвалида о сражении при Нефельсе 9 апреля 1388 г. Рассказ содержал очень точные детали самого сражения. Швейцарцы разгромили отряд австрийцев численностью свыше шести тысяч человек, что привело к независимости швейцарских кантонов от Австрийского герцогства. С. Геснер дал конкретное указание на описываемое событие в подстрочном примечании. Карамзин аккуратно и точно воспроизвел его в переводе: «Сражение при Нефельсе, в кантоне Гларусе, произшедшее в 1388 году» [*Геснер С.* Деревянная нога… С. 8]. Упомянутые реалии и хронологические даты позволяют примерно датировать описанные в идиллии события, происходившие в первые десятилетия XV века.

Галлерова поэма «О происхождении зла» вышла в 1786 г. уже в Москве, после отставки Карамзина и его приезда из Симбирска в Москву. Это важнейший для него период знакомства с Н.И. Новиковым, дружбы с Александром Андреевичем Петровым, это годы Дружеского ученого общества и совместных литературных и журналистских занятий. В это время Новиков – издатель массы исторических трудов, вводивших в оборот новые источники, двух изданий «Древней российской вивлиофики» и несостоявшихся журналов «Сокровище российских древностей» и «Повествователь древностей российских» 1775–1776 гг. Иными словами, работа над переводом поэмы шла в атмосфере историко-публикаторских усилий Новикова и его помощников.

Галлер сопроводил свою поэму восемью примечаниями. В переводе Н.М. Карамзина – девять примечаний. Карамзин сохранил в переводе три примечания Галлера, снял пять и добавил шесть своих. Примечания Карамзина сильно отличаются от галлеровых. Карамзин сохранил те примечания Галлера, где авторский текст пояснялся через локализацию местонахождения автора, сняв остальные. Собственные примечания Карамзина обращены к читателям непосредственно: они поясняют некоторые мысли Галлера, акцентируют на них внимание, толкуют неясные, по мнению Карамзина, места. Наконец, все они подписаны: «Примеч. переводч.». Так к строкам «Коль приятно между древами сими раздающееся эхо, когда собор щастливых тварей, исполненный спокойствия, в беззаботном наслаждении воспевает радостные песни!» Карамзин прибавляет свое примечание: «Под сими щастливыми тварями разумеет Галлер Альпийских пастухов. Все,

слышанные мною от путешествовавших по Швейцарии о роде жизни их, в восхищение приводило меня. Размышление о сих щастливцах часто побуждало меня восклицать: “о смертные! почто уклонилися вы от начальной невинности своей! почто гордитесь мнимым просвещением своим!”». До путешествия в Европу и знакомства со швейцарскими «щастливыми тварями» у Карамзина было еще почти три года [*Галлер А.* О происхождении зла… С. 11, 29-30, 59, 61, 69].

В этом переводе заслуживают внимания, помимо строк с описанием реалий швейцарских мест, сами примечания как писательская практика, которая в дальнейшем станет системообразующей в «Истории государства Российского». Очевидно, что редактирование примечаний Галлера и писание собственных примечаний – осмысленная работа Карамзина, хотя увидеть в ней какую-то единую логику, единый принцип вряд ли возможно.

Реконструкция работы Н.М. Карамзина с текстом А. Галлера, внимание к особенностям издания поэмы на русском языке позволяют уловить тот момент ранней творческой биографии Карамзина, когда он сознательно различает переводимый текст и примечания и обнаруживает специальные усилия при создании последних. Видимо, это начало складывания приема исследовательской работы, самым заметным применением которого будут Примечания в «Истории государства Российского».

Уже первые переводы Карамзина дают яркие примеры его литературной деятельности, которая становилась все более исследовательской, все более наполненной рефлексиями по отношению к читаемым произведениям. Автор стремительно и очень по-взрослому переставал быть только переводчиком. Изложенные наблюдения над появлявшимися элементами историописания и – шире – приемами исследовательского отношения к произведениям показывают, что накопление исторического знания, формирование Карамзина-историка, начиналось уже в его первых литературных опытах.

Г.Н. Канинская
(Ярославский государственный университет
им. П.Г.Демидова)

Проблемы Пятой республики во Франции в оценках французских историков

В истории Пятой республики, созданной во Франции в 1958 г. и существующей до наших дней, французские историки выделяют несколько «судьбоносных», или «переломных» моментов, повлиявших

на изменение «социокультурной экосистемы» страны. После «славного тридцатилетия» 1958–1975 гг. Франция прошла через «решающее двадцатилетие» конца 1960-х – 1980-х гг. и вступила в полосу социально-экономической, политической и культурной «разбалансированности» в начале третьего тысячелетия. Все эти процессы и дискуссии по их поводу во французской историографии вызывают научный интерес не только во Франции, но могут послужить серьезной основой для размышления отечественных специалистов.

Определение «решающее двадцатилетие» впервые употребил один из ведущих представителей «культурной истории» во Франции Ж-Ф. Сиринелли. Главными характеризующими его проблемами могут быть названы следующие.

Первая проблема – поколенческая. Она выражается в том, что ушла с политической авансцены старая голлистская «политическая элита» и на смену ей пришла элита, вышедшая из Мая 68-го. Она четко осознает место свое в новой, «политико-медиатическо-культурной», системе. Именно эта доминирующая элита 68-го влияет на коллективную память сегодняшних дней, ставя под вопрос, насколько голлистское наследие востребовано.

Вторая проблема вытекает из первой – и сводится к вопросу о том, каково само влияние этого Мая 68-го? По сути, по поводу зарождения V Республики и ее «коллективной идентичности» во французском обществе уже сложился консенсус, а вот наследие Мая 68-го по-прежнему вызывает дискуссии. Суть дискуссии сводится к такой дихотомии: (1) «не есть ли утверждения о влиянии Мая 68-го следствием одурачивания политико-медийного?»; (2) с другой стороны, «не стали ли именно консенсусные институты, политические система и практики V Республики залогом развития Франции в долгосрочной и краткосрочной перспективе»?

Выводы, к которым пришли французские исследователи периода 1965–1985 гг. сводятся к следующим положениям.

1. Задуманные в эпоху экономического процветания, институты V Республики вынуждены приспосабливаться к современности и управленческим функциям в новых реалиях.

2. Тем не менее, в обществе сложился устойчивый кризис доверия к политическому режиму и его правящим элитам.

3. Разладилась дееспособность таких прежних регуляторов социо-культурной сферы, как церковь, профсоюзы, ассоциации, семья. Изменилась под воздействием урбанизации не столько социальная стратификация, сколько стиль жизни и моральные нормы. Общепринятые прежде ценности – «умеренность» и «осмотрительность», характерные для общества, где такие события, как преждевременная смерть, несчастный случай на производстве, тяжелая болезнь, могли

стать серьезным поворотом в жизни семьи, померкли, поскольку теперь, в обществе социального страхования и перераспределения общественных благ, такие случаи не столь драматичны. Им на смену пришли, благодаря кредиту, быстрому удовлетворению потребностей, новые ощущения, а вместе с ними и недоверие к власти, ее институтам, которое рикошетом переносится на традиции и запреты. Это «разлаживание ценностей» наглядным и самым явным образом проявилось в Мае 68-го. Возник термин «блокированное общество». При этом оказалось, что у V Республики имеется сильный генетический код, но при этом – слабая «экосоциальная структура». Социополитическая экосистема, представляющая собой сплав институтов и социокультурного цоколя, сравнима с живым организмом. В этом организме институты и общество как носитель институциональных ценностей развиваются в ритме несовпадающем. История политических систем во многом зависит от этих политических дополнительных составляющих, воплощенных в общественных ценностях, успешных или несостоявшихся, которые вибрируют, как пружины, между институтами и социокультурным цоколем в виде социально-экономического порядка. От вибрации этих дополнительных составляющих зависит легитимность режима.

4. По сравнению с началом V Республики, совпавшим с колониальной войной в Алжире, и последовавшим за ее завершением окончанием периода колониальной империи Франции, Франция стала приучаться жить «в урезанном виде». В то же время она «открылась» миру по другим направлениям, в частности, занялась активно европейскими конструкциями, в том числе интеграционным процессом.

5. В 1960-е гг. пришло время стремительного развития аудиовизуальных средств связи, которым национальные границы неподвластны.

6. По-новому зазвучало и понятие *государство-нация*. В «урезанной» стране, центростремительные силы которой были очевидны в начале 1960-х гг., возникли «новые» центробежные силы.

7. В середине 1980-х гг. появились новые факторы, повлиявшие на жизнь V Республики, и связаны они были не столько с экономической глобализацией, сколько с социокультурной. «Образ» пришел в квартиры. Если напрямую это событие и не задевало политические институты, то косвенно все же сказалось на них. У граждан появилось чувство «коллективной неуверенности», что не может не расшатывать политический режим. V Республика, по сути, теперь должна управлять все более и более волнующимся обществом, подчиненным влиянию страстей, привнесенных извне. «Телевизионная камера» отныне «делает» события, «создает социальные связи», представляет собой «агору», где жители обсуждают проблемы демократии. В таком слу-

чае, встает вопрос о том, что стало с либеральной демократией. Может, теперь правильнее говорить о «демократии мнений» или «демократии общества»? Культурная история политики и современности позволяют прийти к такому эмпирическому выводу: современная либеральная демократия «заразилась этим трепетанием общественного мнения, погруженного в телевизионный антропологический капкан и пляшущего под его дудку». В результате сложилось общество нервическое, в котором играют немаловажную роль «политические репрезентации» не очень высокого качества. Прежде политике учили школа, парламентская трибуна, другие традиционные места «делания политики». Они учили убеждать, объединять, добиваться твердой поддержки в политической борьбе. Теперь же главный упор сделан на «политический язык». Теперь, чтобы «подцепить на мушку», приоритет отдается «пафосу», а не «слову», то есть эмоциональной окраске, а не строгому анализу ситуации или проблемы, выраженному в четкой словарной форме. Отныне не так, как при предыдущих Республиках и в начале V-ой, когда граждане противостояли государству. Теперь атомизированное общество своим внешним характером противостоит властям, их дискуссиям, по которым и судит о властях.

8. Еще одно важное изменение «решающих двадцатых» связано с демографическим субстратом, вызванным обновлением поколений. И этот субстрат тоже сильно повлиял на политическую ситуацию. Когда в 1958, 1962, 1965 гг. во Франции голосовали на выборах разного уровня, это были граждане, которые принадлежали к традиционному клише правые–левые и принимали режим как таковой, ибо помнили нестабильность предшествующей IV Республики. Те же, кто пришел к урнам в 1967 и 1974 гг., – это уже было поколение «бэби-бумеров», но все же до 1980 г. избирательная процедура шла вокруг прежнего «кливажа», поколенческого. Затем в избирательный корпус влились поколения «эпохи нестабильности».

9. С момента зарождения V Республика жила под знаком четырех «П»: мир (paix), процветание (prospérité), полная занятость (plein emploi), прогресс (progrès). Этот девиз в принципе попрежнему является определяющим и позволяет до сих пор считать, что, при всех изменениях, V Республика оставалась символом равновесия, сложившегося между институтами, обществом, несмотря даже на острую идеологическую борьбу, которая вписывалась в логику биполярности. Поэтому все нападки крайне левых не «буржуазную демократию» имели мало успеха. Но после 1980-х гг. эта экосистема дестабилизировалась и дала трещину. И не только социо-экономический цоколь ее подточился, но и ценностный тоже. Некоторые идеологии стали проповедовать мысль о том, что любые авторитеты вредны, и расцвела идея многовариантности.

10. На «решающее двадцатилетие» V Республики приходится важный период в национальной французской истории. Влияние происшедших в это время событий-изменений на наши дни следует изучать в политикогеографическом срезе, то есть анализировать те «игры», которые стабилизируют экосистему. В короткой перспективе необходимо осознать политические процессы, составляющие интригу дня, а в среднесрочной предстоит анализ таких важнейших бинарных оппозиций в жизни общества, как «примирение/прилаживание – расхождение/отклонение».

Н.Ш. Каркозашвили
(Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова)

Американцы в представлении британских путешественников первой половины XIX века

На протяжении первой половины XIX века все больший интерес друг к другу проявляли жители Великобритании и США – бывшей метрополии и ее колонии. Особенно активными оказались британцы: поток путешественников, отправлявшихся в Америку, увеличивался год от года. Публиковавшиеся по итогам таких визитов сочинения в форме дневников, путевых записок и писем находили постоянно растущий спрос у читателей, создавая настоящий «американский бум».

Англичане видели в жителях Соединенных Штатов прежде всего социально-политическую общность людей, объединенных демократическими ценностями. Их особенно интересовали северные и северо-восточные штаты, имевшие давние демократические традиции. Путешественников весьма удивляло широкое участие американцев в политической жизни – благодаря утвердившемуся к началу 1830-х гг. в большей части страны всеобщему избирательному праву для мужчин. Писательница с консервативными взглядами Ф. Троллоп отметила невероятную агрессивность участников предвыборных кампаний, «неистово» превозносивших своих кумиров: «Адамс навсегда!» или «Джексон навсегда!» [*Trollop Fr.* Domestic manners of the Americans. N.Y., 1949. P. 55]. Такого рода «демократизм» тесно увязывался в сознании британцев с невысоким уровнем общей культуры жителей Америки. Ярким его проявлением путешественники считали широкое применение недостойных методов предвыборной борьбы – обманчивых обещаний, подкупов, клеветы, шантажа. Лишь немногочисленные радикально настроенные авто-

ры, стремившиеся в своих публикациях к созданию положительного образа американской демократии, например феминистка Ф. Райт, настаивали на том, что политики в Америке «вели между собой только честную борьбу» [*Wright Fr.* Views of Society and Manners in America. Cambridge, 1963. P. 140].

В повседневной жизни американцы показались путешественникам «чересчур» прагматичными, что, по мнению писательницы Г. Мартино, даже их религиозным чувствам придавало «показной» характер. По свидетельству англичанки, многие жители США, полагая, что «нормальные люди не связаны религией за пределами церкви», фактически отвергали необходимость постоянного соблюдения христианских принципов и норм [*Martineau H.* Society in America. N.Y., 1981. P. 132.]. На взгляд Ф. Троллоп, само посещение богослужений являлось для них скорее дополнительной формой досуга, развлечением, нежели подлинным таинством, призванным оказывать глубокое духовное воздействие на верующих [*Trollop Fr.* Domestic manners… P. 352].

Совершенно иначе американцы относились к предпринимательской деятельности. По словам журналиста Дж. Стерлинга, наряду с политикой это была та сфера, в которой они «вели себя, как одержимые, не останавливаясь ни перед чем и не зная жалости к сопернику» [*Stirling J.* Letters from the Slave States. N.Y., 1969. P. 58]. Изумлявшая иностранцев невероятная предприимчивость жителей Америки тесно сопрягалась с их «безудержной» устремленностью к обогащению: «Ни в одной другой стране не существует такого поклонения мамоне, такого почитания богатства...» [*Mackay A.* The Western World, or Travels in the United States in 1846–1847 years. L., 1850. Vol. 1. P. 6]. По выражению известного писателя Ч. Диккенса, «все <…> заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские связи» американцев, «...казалось, были переплавлены в доллары. Людей ценили на доллары, мерили долларами». На взгляд многих путешественников, меркантильность жителей США крайне негативно влияла на их духовное развитие и личностные качества. Ч. Диккенс привел высказывание одного из своих попутчиков-американцев: «…мы <…> – деловой народ и не нуждаемся в поэзии <…> Доллары, банки, хлопок – вот наши книги» [*Диккенс Ч.* Американские заметки // *Диккенс Ч.* Собр. соч.: в 30 т. М., 1962. Т. 9. С. 298]. Потрясенный бесчеловечным обращением с неграми-невольниками, писатель объяснял его «неправильным пониманием свободы…», которое для получения наживы «…делает рабовладение необходимым» [*Диккенс Ч.* Письма // Там же. Т. 29. С. 106].

Ради обретения богатства жители США, по свидетельству многих авторов, с легкостью шли даже на нарушение закона, занимаясь

«рискованным бизнесом»: «У них в почете умение ловко обделывать дела <…> Нарушение условий сделки, банкротство или удачное мошенничество расцениваются <…> в зависимости от того, насколько ловко это было проделано» [*Диккенс Ч.* Американские заметки… С. 297].

Но главным способом достижения личного благосостояния оставался для американцев упорный труд. Г. Мартино с восхищением писала об их абсолютной уверенности в своих безграничных возможностях и бесстрашии перед любыми препятствиями. Движимые желанием, «все перепробовав, выбрать то дело, к которому имелось подлинное призвание» [*Marryatt Fr.* Diary in America. L., 1839. P. 58], обитатели заокеанской республики поражали путешественников своей склонностью к постоянным переездам и перемещениям в пространстве, что придавало их жизни невероятно быстрый темп. Отсюда и отмеченный многими «неуютный обычай» американцев – длительное или даже постоянное проживание в гостиницах – и привычка с «молниеносной быстротой принимать пищу» [*Бурстин Д.* Американцы: национальный опыт. М., 1993. С. 145]. Путешественники наблюдали «поспешное» принятие пищи американцами практически повсеместно: в гостиницах, железнодорожных буфетах, во время плавания на пароходах. Вот какое описание оставила Ф. Троллоп: «Трапезовали они в полном безмолвии и с такой поразительной торопливостью, что завершили свой обед, когда мы только приступили к нашему» [*Trollop Fr.* Domestic manners… P. 57].

Оскорбительной для эстетического вкуса утонченных англичан показалась не только склонность жителей Америки к «быстрым ленчам», но и их «чрезмерная раскрепощенность» в повседневной жизни, также служившая показателем низких стандартов внутренней культуры. В восприятии путешественников американцы зачастую выглядели совершенно невоспитанными, не признающими элементарных правил поведения людьми. Ч. Диккенс был изумлен «фамильярностью» своих соседей по гостинице, которые могли запросто зайти к нему в номер, не снимая шляпы и засунув руки в карманы, и «глазеть битых два часа, время от времени звучно сморкаясь <…> или освежая горло глотком воды из стоящего в комнате кувшина…» [*Диккенс Ч.* Американские заметки… С. 144]. Особенно вызывающей британцы посчитали широко распространенную в США привычку жевать табак и сплевывать его где попало. По свидетельству Ч. Диккенса, «этот мерзкий обычай принят во всех общественных местах Америки. В зале суда судья имеет свою плевательницу, секретарь – свою, свидетель – свою, подсудимый – тоже свою...» [Там же. С. 142].

Отсутствие традиционных для Старого Света ограничений проявлялось и в простоте взаимоотношений между американцами,

когда, например, за одним столом в гостинице могли оказаться и губернатор штата, и никому не известный фермер, подолгу споривших на политические темы. Путешественники с консервативными убеждениями были категорически против «чересчур вольного» поведения прислуги, которая в любой момент могла «хлопнуть дверью». Независимый характер находившихся в услужении американцев проявлялся и в том, что, по словам писателя Т. Хэмилтона, в американских домах слугам не предписывалось обязательно представлять гостей, поскольку в этом усматривалось нарушение принципов равенства [*Hamilton T.* Men and manners in America. L., 1968. Vol. 1. P. 108]. Ф. Троллоп была крайне возмущена тем, что даже самые простые и небогатые люди – булочники, извозчики, прачки – при обращении друг к другу говорили «леди» и «сэр» [*Trollop Fr.* Domestic manners… P. 100].

На страницах сочинений британских путешественников был представлен собирательный гротескный образ жителя Америки, наделенного невиданной энергией, предприимчивостью и практицизмом, свободолюбием и бесстрашием, жесткостью и даже жестокостью, необходимыми в достижении жизненных целей. Ему явно не хватало внутренней культуры, широты взгляда на мир, разборчивости в средствах, бескорыстия. Однако эти качества в наибольшей степени были присущи населению демократических, свободных штатов Севера и Северо-востока США. Многие авторы отмечали заметно большую утонченность, аристократизм, традиционность манер южан.

При всей обобщенности и преувеличенности представленной в публикациях англичан характеристики она вобрала в себя те черты, которые особенно бросались в глаза иностранцам, и, будучи многократно растиражированной, активно влияла на формирование в европейском сознании того стереотипа восприятия американцев, от которого мы не свободны и сегодня.

Н.В. Карначук
(Томский государственный университет)

Тексты-однодневки и историческая память: английские площадные баллады конца XVI – первой половины XVII века и их читатели

Феномен исторической памяти – его формирование, функции и, порой, ре- или деконструкция – сегодня является предметом многочисленных исторических исследований. При этом более заметно обращение историков к материалам периода новейшей истории, и

рельефнее всего представлены результаты, затрагивающие сферу, которую можно назвать политической: возникновение, сознательное развитие и применение технологий манипуляции историческим прошлым. В то же время процесс формирования исторической памяти в более ранние эпохи представляет значительный интерес и остается недостаточно изученным.

Эпоха раннего Нового времени стала периодом, когда многие факторы, влияющие на формирование исторической памяти и способность государства манипулировать ею, переживали период становления. В их числе: возникновение развитого управленческого аппарата, усиление «третьего сословия», первое появление (во многом благодаря развитию книгопечатания и расширению сферы коммуникации) широкоохватного общественного мнения, осознание властью необходимости и возможности управления этим мнением, наработка методов таких манипуляций. Это период бурных динамичных изменений во всем, что касается восприятия места человека в общине, обществе и мире, и – неизбежно – в истории. Необходимо также учитывать, что эти перемены, как правило, сочетались с жесткими политическими, религиозными, экономическими и социопсихологическими кризисами.

В частности, для Англии вторая половина XVI – первая половина XVII века стали временем серьезных и часто разнонаправленных изменений в сфере политики и веры, временем травматических перемен в социальной структуре общества. Как уже не раз отмечали исследователи исторической памяти, кризисная, переломная эпоха обычно вынуждает и отдельных людей, и общество в целом обратиться к поискам устойчивой картины мира, которая примиряла бы возникающие новые реалии с тем, что воспринималось как традиция и пришедшая из прошлого и освященная им норма. Историческая память, обращение к позитивным и/или отрицательным примерам прошлого играли в этом примирении заметную роль. Другой значимой функцией исторической памяти была ее способность формировать чувство общности, принадлежности к единому социуму, поскольку она могла предложить набор важных знаковых символов и сюжетов, которые подпитывали бы чувства общности (прежде всего, хотя отнюдь не исключительно – общности национальной).

О поисках опоры и примера в прошлом свидетельствует рост количества исторических хроник и книг, посвященных Англии былых времен: выросло не только количество наименований, но и частота переизданий. В репертуаре лондонских театров большой популярностью пользовались пьесы с сюжетами о правителях прошлого, перипетиях политики и войны. По выражению М.А. Барга, «история восседала на интеллектуальном троне эпохи».

Однако книги большого объема в хорошем переплете были востребованы прежде всего людьми с высоким достатком и хорошим образованием, театр представлял собой развлечение, доступное широкой публике по ценам, но локально столичное. Была ли тема «поиска прошлого» в равной степени актуальна для более широких, но менее зажиточных социальных групп? Каким представало прошлое для англичанина не-интеллектуала? Какие факторы заметней всего участвовали в формировании исторической памяти широких слоев населения?

Из письменных источников основным, легко доступным для средних и низших слоев английского города и деревни, являлись «тексты-однодневки»: баллады и памфлеты, напечатанные на одном большом листе бумаги. Они печатались в большом количестве, продавались на площадях, на ярмарках, циркулировали по провинции благодаря торговцам-лоточникам. Популярные баллады запоминались и переходили из уст в уста, порождая у более поздних собирателей фольклора иллюзию «народного» происхождения текстов. Листы с гравюрой и текстом служили в домах фермеров украшением общих комнат и детских. Авторы баллад, чаще всего анонимные, редко были профессиональными «поставщиками новостей». Издатели баллад (а политические и религиозные убеждения издателя, как доказала, например, С. Кроуфорд, имели значение не меньшее, чем убеждения сочинителей текстов), вынужденно ориентировались не только на собственные вкусы, но и на спрос. Создавалась ситуация, когда могло возникнуть и моментально стать достоянием широких кругов читателей/слушателей сколь угодно индивидуализированное, своеобразное произведение, однако темы, сюжеты и взгляды, не вызывавшие интереса покупателей, не получали дальнейшего распространения. Такие баллады не перепечатывались, не возникали тексты сходного содержания, «паразитирующие» на удачном образце, не возникали отзвуки и отсылки на них в других источниках эпохи, что постоянно наблюдается в случае с текстами, отвечавшими широким ожиданиям.

Таким образом, невозможно говорить о социокультурной манипуляции, о «нажиме сверху», со стороны образованной элиты, стремящейся формировать вкусы и представления (в данном случае представления о прошлом) «простецов». Скорее это процесс отбора коллективным общественным сознанием тем, сюжетов и смыслов, отвечавших непроговоренному, но существующему понятию «истинного», необходимого прошлого. Важно подчеркнуть: процесс этот шел непрерывно, испытывая влияние как одномоментных ярких сенсаций (некоторые из них становились смыслообразующими

образцами для более поздних текстов), так и постепенно изменяющейся общественной ситуации в целом.

Насколько можно судить, площадная литература, в отличие от более рафинированных жанров, не была «одержима» историей. Подсчеты (с неизбежной значительной погрешностью, поскольку как количество наименований и размер тиражей, так и содержание многих баллад являются спорными) показывают, что только около трех процентов всех баллад, опубликованных с 1557 по 1642 гг., были полностью посвящены историческим темам: описанию давно произошедших драматических событий, войнам, персоналиям прошлого. В то же время злободневные политические события, новости, касающиеся управления, войны или религии, составляли от 30 до 40 процентов всех публикаций. Количество исторических сюжетов в балладах начинает несколько увеличиваться к 1720–1730 гг., хотя и очень незначительно.

Однако граница между “history” и “story” в площадной литературе крайне размыта, сами эти слова семантически однородны и взаимозаменяемы, так же как и слово “tale”, любой из этих терминов мог оказаться в заглавии как исторической баллады, так и бытовой или любовной истории. Прошлое порой проникало в баллады в качестве метафор и сравнений, в виде кратких отсылок к некогда имевшим место событиям, с которыми сравнивались злободневные происшествия. Площадная английская баллада дает основание предполагать, что ее читатели не ощущали «разрыва времен», не пытаясь ни противопоставить настоящее прошлому, ни прилагать духовные усилия к «заштопыванию» такой прорехи. Читатель баллад «жил в истории», утоляя таким образом жажду устойчивости, континуума существования привычного мира.

Заметной, хотя и не неожиданной, чертой площадной литературы является определенное «хронологическое безразличие»: более ранние или более поздние события и персонажи могли упоминаться в таком порядке, какой казался автору наиболее драматическим или осмысленным, но не в хронологическом. Точно так же обращает на себя внимание весьма дискретное обращение к правителям и событиям прошлого. В баллады могли попасть император Валериан и Вортигерн, король Артур, Эдуард IV, Генрих V и Ричард III, но другие правители не были представлены. Ни разу авторы исторических баллад не обратились к биографическому жанру, предпочитая рассказы об отдельных ярких эпизодах, что обращает на себя внимание, поскольку тип собственно биографической баллады в этот период уже сложился.

Интерес представляет живая, но неоднозначная связь площадной литературы, касающейся прошлого, с миром «серьезной литературы» и театра. Следствием появления популярной пьесы или книги

нередко становились баллады, вкратце (и часто весьма своеобразно) повторяющие их сюжет. Далеко не все темы и сюжеты, активно развивающиеся в литературе, находили отражение в площадной балладе. К примеру, история короля Артура и рыцарей Круглого стола породила всего две или три баллады и заметно уступала в популярности истории Гая из Уорика. «Фауст» Марло и «Тит Андроник» Шекспира дали богатую пищу авторам площадной литературы, но другие пьесы этих драматургов прошли для баллады – и массового ее потребителя – незамеченными. В целом, при всех связях с высокой литературой, площадная баллада, обращаясь к истории, обладает большим запасом самостоятельности не только стилистической и лексической, но и смысловой.

Е.В. Карпенко
(Сибирский федеральный университет, Красноярск)

Образ китайского торговца в трансграничном регионе Сибирь – Монголия во второй половине XIX века*

История межкультурного взаимодействия содержит немало исследовательских направлений, особый интерес представляют такие взаимодействия в зонах трансграничья. Кросс-культурные контакты на приграничных территориях являются отражением не только состояния межгосударственных и межкультурных взаимоотношений, но и проявлением элементов национальной идентичности, особенностей менталитета. Анализ диалога культур и народов на границе позволяет выделить наиболее яркие особенности национальной идентичности, присущие этносу. В данной работе мы обратили внимание на образ китайского торговца в трансграничном регионе Сибирь – Монголия во второй половине XIX века.

Вторая половина XIX века открыла новый этап в русско-китайских отношениях, именно этот период оказал глубокое влияние на развитие территорий Сибири и Монголии. В рассматриваемый период Монголия являлась частью Цинской империи, закрытым районом. Китайцы имели право въезда на территорию Монголии только после получения специального разрешения – пропускного свидетельства. После подписания Пекинского договора 1860 г. был открыт доступ в Монголию русским подданным. В свою оче-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-11-24002.

редь, согласно условиям Пекинского договора, китайские торговцы получали право вести торговую деятельность на территории Российской империи. Таким образом, во второй половине XIX века начались довольно активные контакты русских с монголами и китайцами Монголии, которые были представлены в лице военных, чиновников и торговцев. Китайские торговцы начали посещать Сибирь, стали первыми китайцами, с которыми сибиряки вступили в непосредственный контакт. Вплоть до 90-х гг. XIX века китайские торговцы составляли основу китайской миграции в Сибири. В процессе активизации межкультурного взаимодействия в приграничных районах обеих империй был сформирован общий образ китайского торговца в регионе, отражающий особенности русско-китайской торговой конкуренции в Монголии, основные узлы противоречий русско-китайских отношений.

Источниками, анализ которых позволяет определить особенности поведения китайского торговца в Сибири и Монголии, являются свидетельства путешественников, материалы местных газет, архивные документы. На территории Монголии и Сибири в рассматриваемый период вели торговлю представители купеческого сообщества провинции Шаньси. Они имели веками сложившиеся принципы ведения торговли. Выходцы из Шаньси торговали в монгольских степях, они же отправлялись покорять сибирский рынок, являясь в полной мере торговцами трансграничья. Образ китайского торговца складывался через призму традиций ведения торговли, деловой культуры шаньсийского купечества, русско-китайских взаимоотношений в Монголии и Сибири. Во второй половине XIX века сложился образ китайского торговца как хитрого и успешного купца, надежного партнера в торговом деле (умеющего держать слово), неприхотливого и ведущего замкнутый образ жизни человека, члена одной большой корпорации, в погоне за наживой пренебрегающего некоторыми ценностями, являющимися значимыми для русских. Постараемся кратко раскрыть каждую из перечисленных сторон образа китайского торговца.

Во-первых, русско-китайская конкуренция на монгольском рынке способствовала созданию образа успешного купца. До 60-х годов XIX века китайские купцы чувствовали себя в Монголии свободно и уверенно. Ко времени прихода русских торговцев китайские купцы организовали торговую сеть по всем хошунам: «везде, где кочевник, там и “майхен” китайца; он кочует вместе с монголом, живет с ними круглый год одною жизнею, одевая их в дешевую далимбу, снабжая всем необходимым и собирая от монгола все, что последний может продать» [Московская торговая экспедиция в Монголию: сборник. М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1912. С. 63].

С разрешением китайским торговцам заниматься торговой деятельностью на территории Российской империи китайские купцы начали активное продвижение из Монголии в Сибирь, большая их часть развернула свою деятельность в Забайкалье. К концу XIX века (за сорок лет) во всех городах и крупных уездах Сибири располагались лавки китайских торговцев. Во второй половине XIX века складывалось впечатление, что у китайцев умение торговать – в крови. И. Коростовец отмечал: «Китаец – купец по природе <…> Китайские купцы предприимчивы, трудолюбивы, расчетливы, аккуратны и сметливы» [*Коростовец И.Я.* Китайцы и их цивилизация. СПб.: Издание книжного склада Н. Аскарханова, 1896. С. 218].

Важной чертой, составляющей образ китайского торговца трансграничья, являлась верность долгу, слову. Обязательства по договору выполнялись неукоснительно: репутация компании или отдельного торговца для китайца стояла выше возможной выгоды. И. Коростовец писал о китайских торговцах: «Мелкие торгаши довольно беззастенчивы и часто пользуются правилом “не надуешь – не продашь”, но крупные коммерсанты придерживаются более благородных принципов и выказывают большую солидность» [Там же]. Как отмечено выше, торговцы Монголии и Сибири все являлись выходцами из провинции Шаньси, особенностью их деловой культуры был принцип «справедливой прибыли», в отношениях с партнерами выражавшийся в честности и порядочности.

Деятельность шаньсийских торговцев в Сибири и Монголии создавала мнение о «едином духе» и сплоченности китайских торговцев. В основе такой сплоченности лежал принцип землячества. В регионе представители купечества сообщества Шаньси всегда действовали согласованно: на работу принимали только выходцев из своей провинции, совместно договаривались о ценах и общей линии поведения на рынке, бойкотировали фирмы из других провинций. Таким образом, создавалось впечатление о том, что все китайские торговцы действуют заодно, по «секретной инструкции». В периоды напряженных отношений между Российской и Цинской империями именно торговцы вызывали подозрение у русских властей.

Еще одной чертой образа китайского торговца Сибири и Монголии является замкнутый образ жизни, обособленность от местного населения. Монголия в составе Цинской империи представляла собой закрытый регион, вся деятельность в районе Халхи была строго регламентирована. Политика цинских властей была направлена на разделение китайцев и монголов в районе (под запретом были даже браки между китайцами и монголками). За два столетия китайские торговцы в Монголии сформировали линию поведения, выражавшуюся в обособленности от местного населения, которую перене-

сли и в Сибирь. Кроме того, принцип «справедливой прибыли», лежавший в основе деловой культуры китайских торговцев трансграничья, также определял замкнутый образ жизни торговца, сведение к минимуму общения с местным населением. Центральной идеей принципа «справедливой прибыли» шаньсийцев выступала идея о поддержке и помощи в развитии своего сообщества: от помощи землякам до содействия государству. Китайские торговцы не стремились оседать в Монголии или Сибири, всю прибыль они вывозили в застенный Китай, на родину в Шаньси. Например, купцы известного в истории русско-китайской торговли рода Чан следовали установке «цзю цзу эр шан» (聚族而商торговля объединяет род): участвовали в ремонте дорог, займах правительству и др. Семья торговцев Чан славилась в уезде Юйцы благотворительностью. В годы засухи Чан предоставляли во временное пользование земельные участки соседям и землякам, организовывали обеды для нищих и т.п. В 1877 г., в год большой засухи на севере, Чан Вэйчэном в усадьбе Чан были развернуты масштабные строительные работы, где бедные взамен одного принесенного камня имели возможность пообедать [晋商常家商业伦理初探// 山西大学，太原，2007 年 (*Бай Миндун*. Анализ торговой этики шаньсийских купцов Чан: магистер. дисс. / Университет Шаньси. Тайюань, 2007) С. 14]. Стремление к реализации принципа «справедливой прибыли», желание вернуться на родину с капиталами для содействия развитию государства формировали у российских обывателей образ китайского торговца как жаждущего наживы.

Мы рассмотрели лишь несколько составляющих образа китайского торговца в трансграничном регионе Монголия – Сибирь во второй половине XIX века. В этот период китайские торговцы составляли основу китайской миграции в Сибири и выступали в роли серьезных конкурентов в борьбе за монгольский рынок. Таким образом, на процесс формирования образа китайского торговца трансграничья оказали влияние такие факторы, как русско-китайская конкуренция в Монголии, принципы деловой культуры купеческого сообщества провинции Шаньси, противоречия русско-китайских отношений в рассматриваемое время.

О.А. Кашинская
(Российский государственный
гуманитарный университет, Москва)

Конструирование образа императора Павла I в учебных исторических нарративах XIX – начала XX века

Автор поставил целью обратиться к механизму формирования и трансформации образа императора Павла I в учебных текстах по русской истории. Для этого были проанализированы учебные тексты по истории Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьева, С.Ф. Платонова, Д.И. Иловайского, А.Я. Ефименко.

Учебники и учебные пособия по национальной истории – один из наиболее распространенных видов историографических источников. Презентируемое в них историческое знание относится к социально ориентированному типу. Этот тип исторического знания помогает конструировать национальное, локальное, конфессиональное прошлое и выполняет практические задачи удовлетворения потребности общества в нужном (соответственно той или иной ситуации) прошлом, а также контроля над социальной памятью [*Маловичко С.И.* Источниковедение историографии // Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 529, 542-543].

Авторов учебных пособий, объединяет одна цель – конструирование государствообразующих событий прошлого России, и образ императора Павла I, встраиваемый в такой ряд, зависел от цензурной практики и разделяемых историками мировоззренческих перспектив.

Н.Г. Устрялов больше внимания уделил внутренней политике Павла I, воссозданию им петровской Коллегии, утверждению порядка престолонаследия и, конечно, заботе об армии. В целом, историк представил читателю положительный образ императора Павла I. [*Устрялов Н.Г.* Начертание русской истории для учебных заведений. СПб, 1839. С. 318, 330].

Д.И. Иловайский конструировал положительный образ Павла I посредством акцентирования внимания на внутренних преобразованиях, в частности на сословной политике и ее положительных следствиях. Иловайский пояснил так: «При императоре Павле Петровиче начались ограничения помещичьей власти, которая стала тормозом экономическому развитию страны после того, как Екатерина II издала указ от 18 февраля 1762 г. “О вольности дворянской”, и продолжены его последователями на престоле» [*Иловайский Д.С.* Руководство к русской истории: средний курс. М., 1901. С. 148].

С.М. Соловьеву, напротив, для создания положительного образа Павла I понадобилось обратиться не к внутренней, а к внешней политике императора. Павел не хотел воевать с Францией, отмечал историк, и подкрепил этот вывод своим объяснением: «Павел I <…> старался дать людям отдохнуть и не ввязываться в войны» [*Соловьев С.М.* Учебная книга по русской истории. М., 1860. С. 523].

В «Учебнике русской истории» С.Ф. Платонова (1909–1910) дается уже совершенно иной образ императора Павла I. Историк отказался от господствовавшей в учебной литературе практики создания положительного и или нейтрального образа Павла. Надо вспомнить, что, например, В.О. Ключевский вообще не включил Павла I в «Краткое пособие по русской истории». Однако, Платонов отрицательные черты Павла I постарался передать не столько через проводимые императором мероприятия внутренней и внешней политики, сколько посредством конструирования совершенно не идеального детства, тем самым способствуя пониманию читателем отрицательных последствий прихода такого человека к власти. Платонов акцентировал внимание на отношениях Екатерины II с Павлом, на том, что она считала его не способным править, а Павел не смог простить ей смерти отца. Историк обратил внимание на отлучение Екатериной II от отца Александра Павловича для того, чтобы посадить его на трон в обход самого Павла I, и на удаление Павла от двора в «ссылку» – в Гатчину и Павловск. Последний момент Платонов усиливает для того, чтобы показать, как испортился характер Павла, у которого появились нервная раздражительность, болезненные припадки жестокого гнева, недовольство угнетенным положением при дворе, боязнь лишиться престола. Таким образом, ко времени вступления на престол Павел изменился до неузнаваемости – из благородного и благодушного от природы человека превратился в раздражительного, с тяжелым характером. [*Платонов С.Ф.* Учебник русской истории. СПб., 1909. С. 350].

А.Я. Ефименко при конструировании образа Павла I следовала уже за Платоновым. Историк усилила отрицательные черты характера Павла, а его мероприятиям в Гатчине придала абсурдистский характер. Ефименко поясняла, что Екатерина II не успела передать престол Александру I, поэтому он перешел к Павлу I, у которого был очень тяжелый характер. Раздражительность Павла, его мелочность, страшные вспышки гнева были причиной многих бедствий для государства и отдельных людей. Поэтому четыре года царствования Павла «были тяжелыми годами для русского общества». [*Ефименко А.Я.* Элементарный учебник русской истории. 6-изд. Пг., 1917. С. 167].

Анализ текстов учебных пособий по истории России предоставил возможность увидеть, что положительный образ Павла I, фор-

мировавшийся до последней четверти XIX века, затем, к началу XX века, сменился на прямо противоположный. Эта смена была связана не только с политической ориентацией историков и ослаблением цензурных запретов, но и с трансформирующимся образом Павла в исторической памяти общества.

Одним из притягательных сюжетов исторической памяти второй половины XIX – начала XX века явилась история короткого царствования и трагической гибели императора Павла I. Историографическая традиция этого сюжета формировалась и трансформировалась медленно. Тем не менее, мифологизированная история жизни и смерти Павла I сохранялась в устной памяти; амбивалентный образ Павла I, представлявшийся то деспотом, то жертвой – в исторических анекдотах и преданиях, предвосхитил накал ученых споров вокруг его правления.

Убедительные решения образа Павла I на том этапе были предложены в литературных произведениях о павловской эпохе. Его образы, созданные в учебных нарративах, взаимодействовали с образами русской художественной культуры. Например, в драме Д.С. Мережковского «Павел I» (1908; открывает трилогию «Царство Зверя») в самой первой картине Павел предстает в привычном для российского читателя облике деспота, подозрительного и вспыльчивого, порой выказывающего явные признаки сумасшествия. Однако ближе к неминуемой развязке всевластный тиран на поверку оказывается объектом политических и психологических манипуляций, заложником и жертвой собственного окружения; его убийство прочитывается как грозный пролог грядущих событий – в сцене совещания заговорщиков угадываются политические прожекты начала XX века [*Мережковский Д.С.* Павел I // Мережковский Д.С. Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 3].

Е.Н. Кириллова
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Новые социальные категории раннего Нового времени: «мастера, работающие на других»

Французские ремесленные регламенты раннего Нового времени, особенно в середине XVII – XVIII веке, фиксируют новых участников процесса производства – «мастеров, работающих на других» (maîtres qui travaillent pour les autres maîtres). Альтернативная и тоже новая категория – «мастера, держащие лавку» (maîtres tenant boutique ouverte), владельцы собственных мастерских. Повторяясь от текста к тексту, эти описательные определения не заменяются более короткими и емкими, позволившими бы точнее и лаконичнее

определять эти категории. Корпорации видят и в тех, и в других, прежде всего, мастеров и называют их именно так, предпочитая пространные описания выработке новых определений.

Профессиональная состоятельность, на которой основана социальная идентичность ремесленников как социальной группы, подразумевает, что мастер – это специалист, который досконально знает свое ремесло, владеет собственной мастерской и инструментами, самостоятельно приобретает сырье, принимает заказы и продает готовые изделия. Он всегда – и постоянно – работает на себя, а не на другого мастера или купца. Таким образом, новое словосочетание «мастер, держащий лавку» (предполагавшее, что ее хозяин полностью самостоятелен и не работает на другого) как раз соответствует прежнему значению слова «мастер». Применительно к этой категории ремесленников корпорации считали нужным определять некоторые временные параметры. Так, у булочников Реймса (устав 1743 г.), только мастер, уже десять лет державший лавку, мог быть назначен присяжным (должностным лицом корпорации), у колпачников (уставы 1706 и 1735 гг.) – тот, кто держит лавку не меньше года и работает на себя.

Для мастеров, работавших по найму, напротив, характерна неопределенность временны*х* характеристик: неизвестно, как давно, каким образом и в течение какого срока мастер «работает на другого» – разово, время от времени, регулярно, всегда. Отсутствие временны*х* параметров и временны*х* ограничений позволяет рассматривать состояние «работы на другого» как вр*е*менное. Возможность вернуться к работе «на себя» выглядит безусловной именно потому, что сроки и характер работы по найму не оговаривались.

Постоянная характеристика – полученный ранее статус мастера – является и расценивается как более важный критерий, чем вр*е*менное положение наемного работника. Однако именно оно определяло профессиональные возможности такого человека: право учить учеников, участвовать в оценке шедевров и в общих собраниях корпорации, размер корпоративных взносов и др. В общих собраниях реймсских колпачников (уставы 1706, 1735 гг.) не могли участвовать «мастера, не имеющие лавки»; «мастера, работающие для других мастеров», и сыновья мастера, не достигшие 22 лет. «Мастера мясники, не держащие прилавок» (устав 1737 г.), не могли покупать в Реймсе товары, относившиеся к их профессии, если не имели на то распоряжения полноправных мастера или мастерицы или не были их представителями. Мастеру-повару (устав 1757 г.), работавшему на другого мастера, нельзя было принимать учеников.

Такие случаи, когда мастер становился работником и работал на другого мастера, были известны и для ранней истории корпора-

ций. Их фиксирует, например, «Книга ремесел» Парижа (начало 1260 гг.) – не как «традицию», но и не как невозможную ситуацию.

Парижские изготовители гамаш (LV устав «Книги ремесел») решили, что 33 подмастерья, прежде бывших мастерами (их имена перечислены в X статье регламента), могут стать мастерами, не покупая ремесло и ничего дополнительно не уплачивая, поскольку они были мастерами прежде (ont esté aucune foiz mestres). Также в уставе были названы имена 45 мастеров. То есть всего 78 человек ранее, за некоторое время до составления регламента и записи его в «Книге ремесел», стали мастерами и работали как мастера, но впоследствии 33 из них, т.е. 42% от общего числа, опустились до уровня подмастерьев, не утеряв, как полагала корпорация изготовителей гамаш и как признали вслед за ней власти, своих прав. В качестве причин названы бедность мастера или его «желание», которое никак не разъяснялось (et sont devenuz vallez par povreté ou par leur volenté).

Пример изготовителей гамаш нельзя отнести к единичным случаям, хотя корпорация не усматривала в этом проблемы и полагала возврат к прежнему статусу не просто возможным, но единственно правильным и не требовавшим от бывшего мастера никаких дополнительных действий или затрат.

Важно отметить, что «Книга ремесел» определяет фактическую роль потерявших самостоятельность мастеров, называя их «подмастерьями», в то время как позднейшие регламенты используют это название исключительно для работников, еще не получивших звания мастера, но не для мастеров, зависимых от других мастеров. Я усматриваю в этом признак исключительной ценности (для конкретного человека и для ремесленных корпораций) полученного ранее социального статуса, достигавшегося как выполнением сложного шедевра, так и крупными вступительными взносами.

Звание мастера является свидетельством высокой профессиональной квалификации, которую человек не утрачивал вместе с профессиональной состоятельностью. Однако понижение личного социального статуса (его неполноправность как мастера) не проходило бесследно для его семьи: возможность передать статус мастера своим детям была невелика именно в силу невысокой материальной обеспеченности – даже сохраняя право обучать своих детей (поварам, работавшим на других, было запрещено учить посторонних учеников), родители вряд ли могли обеспечить их будущую самостоятельность.

Эта новая социальная группа – специалисты высокой квалификации, периодически или постоянно работающие по найму – в перспективе, лишившись не только мастерских, но и инструментов, станет частью класса наемных рабочих.

Ю.Ю. Клычников
(Пятигорский государственный лингвистический университет)

Память о Кавказской войне в современной политической практике

Обширная историография, которая связана с событиями, по устоявшейся традиции называемыми «Кавказской войной», уже сама по себе свидетельствует о том интересе, который сохраняется в обществе к этому явлению. Современники и участники многогранных военно-политических, социокультурных, экономических процессов, происходивших в регионе преимущественно в первой половине XIX столетия, уже пытались осмыслить причины и суть этого эпохального феномена. Но даже по мере затухания сполохов военного противостояния говорить о том, что произошедшее явление начали трактовать sine ira et studio, не приходится.

Болезненный переход в постсоветский мир вызвал всплеск интереса к «славному прошлому» на фоне достаточно унылого настоящего. Не стали исключением и сюжеты, связанные с историей вхождения (включения, присоединения, завоевания, поглощения, интеграции и т.д. – в зависимости от взглядов автора-исследователя) Кавказа в состав Российского государства. Утомительная, а главное – эвристически непродуктивная «война историографий», будучи неотъемлемой составляющей «войн памяти», то затихая, то вновь усиливаясь, ведется и поныне.

Политизация истории – достаточно привычная и обыденная практика, характерная для Северного Кавказа. И «Кавказская война» относится к числу наиболее популярных тем. Ее сюжеты при соответствующей интерпретации позволяют демонстрировать культивируемые среди местных народов маскулинные ценности. Пожалуй, никакой иной исторический экскурс не обладает такими возможностями. Отсутствие полноценной письменной истории в дороссийский период делало прошлое Кавказа обезличенным, а после вхождения в состав многонародной державы местные достижения становились частью общих свершений. Другое дело – противоборство с могущественной империей, которая к тому же побеспокоилась оставить огромный корпус источников, не дав кануть в безвестности именам многих местных удальцов, в иных обстоятельствах разделивших бы судьбу «набежчиков» предшествующего времени. Набег с целью захвата добычи превращался в «антиколониальную борьбу», банальное «людокрадство» – в отстаивание свободы и независимости и т.п. Многие черты архаичного общества начинали интерпретироваться и получали смысловое наполнение, присущее совсем другой исторической эпохе.

Возникшее презентивное мифотворчество к тому же давало вполне реальные политические и экономические преференции. За эвфемизмом «царизм» скрывались вполне реальные претензии к русскому миру, что в последнее время вообще перестали маскировать, настойчиво вводя в оборот выражение «русско-кавказская война».

Такая тенденция не могла не привести к игнорированию другой стороны русско-северокавказских отношений. Вполне мирное взаимодействие, общность культурных, экономических и политических интересов были обыденностью, которая самим фактом своего существования бросала тень на «героическую историю». Лишиться ее местные интеллектуалы из числа национальных историков не могли, да и не хотели. Она давала им привлекательный и почитаемый статус борцов за интересы своего народа, обеспечивала востребованность со стороны местных властей, ценивших мобилизационный потенциал враждебности, наполнявшей историю «Кавказской войны». Это был их аргумент в диалоге с государством. В этой связи любопытна язвительная реакция на такую интерпретацию прошлого, которую можно отнести к фольклору, так как авторство теперь вряд ли удастся установить: «Русские завоеватели обрушились на беззащитные аулы, кишлаки и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры, школы».

Примечательно, что в разных регионах интерес к этим событиям далеко не равнозначен. По сравнению со своими соседями Ставрополье не демонстрирует повышенного интереса к данной проблематике. О былой борьбе империи с «немирными» горцами начинают вспоминать лишь при обострении межнациональных отношений.

Не претендуя на полное владение информацией, отметим, что у местных исследователей проблематика так называемой Кавказской войны не входит в число научных приоритетов. Естественно, те специалисты, которые изучают события XVIII–XIX веков на Кавказе, неминуемо должны касаться и вопросов, связанных с политикой империи в регионе, российско-горских контактов и т.п. Но то, что принято называть «Кавказской войной», зачастую является лишь историческим фоном для выбранной темы.

В поисках следов этого явления в восприятии жителей Ставропольского края на современном этапе целесообразно остановиться на памятниках, которые ассоциируются с Кавказской войной. Здесь, безусловно, речь идет об увековечении заслуг А.П. Ермолова – знаменитого «проконсула Кавказа», известного своими жесткими мерами по обузданию горских «хищничеств». Такой интерес следует связать с ситуацией в Чеченской республике, которая в результате прихода к власти криминально-террористического режима де-факто вышла на некоторое время из российского правового пространства и подверглась дерусификации. Исход русского населения при попустительстве

федеральных властей наблюдается и в других северокавказских республиках. Не находя сочувствия и помощи у современных власть имущих, люди ищут моральную поддержку в примерах прошлого. И здесь образ не знавшего поражений брутального генерала играет важную мобилизующую роль в защите этнических прав населения.

Представляется, что в обществе существует определенная потребность в «образе врага», которая является частью идентичности. Она не всегда проявляется в делинквентном поведении, но о ее наличии свидетельствует актуализация истории, связанной с событиями вооруженного противостояния, имевшего место в XIX веке.

Возможно ли кардинально переломить такую ситуацию и использовать ресурс исторической памяти для консолидации населения региона? Оптимистичный прогноз маловероятен. Для значительной части населения Северного Кавказа из числа горцев имам Шамиль и плеяда его соратников останутся героями, долгое время противостоявшими России. Найти альтернативу легендарному имаму в горской истории сложно, что связано с отсутствием персонификации истории у архаичных обществ. Имеющиеся яркие по местным меркам личности явно уступают по популярности третьему имаму Чечни и Дагестана, ставшему региональным лидером, известность которого вышла далеко за пределы Кавказа.

Избирательность памяти, присущая folk history, акцентирует внимание именно на противостоянии с российской властью, забывая о кровавых действиях Шамиля и его предшественников в борьбе с теми горцами, которые не признавали мюридизма, насаждаемого адептами этого религиозного учения. Воспитательная функция истории при ее практическом применении приводит к формированию комплиментарного мифа, в котором акцент делается на идеализацию собственного народа и демонизацию «враждебного» окружения.

У «русского» взгляда на события так называемой Кавказской войны акценты смещаются на противоположные – горские «герои» становятся «антигероями» и наоборот. При определенной схожести фобий представляется, что такого накала интереса, какой мы видим у «горского мира» к данному периоду истории, у «мира русского» не наблюдается. Причин тому множество. Для России присоединение Кавказа осталось пусть и важной, но далеко не самой заметной вехой в ее прошлом. Внимание к данной проблематике, таким образом, не фокусируется ни научными кругами, ни общественностью. Оно возникает лишь при экстраординарных обстоятельствах, связанных с политическими катаклизмами последних десятилетий. Вовлеченность местных ученых в «войны памяти» – скорее исключение, чем правило.

С.Ю. Козлова
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Союз итальянских женщин как проводник идей новой идентичности в свете послевоенной трансформации итальянского общества (1940–1960-е гг.)

Базовой предпосылкой возникновения новой идентичности стало активное участие итальянок в движении Сопротивления. На волне Сопротивления к 1945 г. из женских групп, действовавших при партизанских отрядах, возникает ведомая коммунистами организация – Союз итальянских женщин, которая ставит перед собой цель объединить всех женщин Италии, независимо от вероисповедания, политических взглядов и социальной принадлежности. Из относительно небольшой женской ассоциации Севера (50-70 тыс. человек в период Сопротивления) Союз к 1948 г. превратился в крупную организацию, в которой состояло уже более 1 млн, а к 1956 г. – более 3 млн человек.

Союз стал для итальянок новой социальной практикой, они получили возможность сообща влиять на систему общественных отношений и общественное мнение, изменять итальянское общество. С этой точки зрения, Союз выполнял важную историческую роль: являясь необходимым звеном в связке «женщина – общество», он определил пути вовлечения итальянок в общественную жизнь. У членов организации появилась общая идея единства (хотя, с учетом исторического контекста, это было, скорее, единство на уровне регионов, за исключением самых крупных акций, проводимых Союзом) и общие ценностные ориентиры. В национальном руководстве Союза состояли родственницы известных итальянский политиков (П. Тольятти, Л. Лонго, П. Ненни, Дж. Росси и др.), однако основную массу членов организации составляли простые женщины. Союз стал проводником идей новой идентичности в женские массы. Организация за время своего подотчетного ИКП существования (1940–1960-е гг.) проявила себя во многих сферах общественной жизни, она сделала свой вклад в формирование социальной идентичности, являющейся важным регулятором самосознания и социального поведения женщин.

Союз сосредоточился на социализации женщины через ее привлечение к решению наиболее острых проблем. Деятельность организации, способствовавшая зарождению новой идентичности, имела следующие направления.

Во-первых, продвижение идеи суфражизма, а после предоставления итальянкам права голоса в 1946 г. – вовлечение женщин в политическую жизнь (работа с женским электоратом, пропаганда в

женской среде, увеличение женского представительства в партиях, включение женщин в предвыборные списки, выдвижение в местные, а с 1948 г. – в государственные органы власти и т.д.).

Во-вторых, связанная с массовым выходом женщин на рынок труда законотворческая инициатива Союза: защита трудящихся матерей, страхование, организация рабочих мест, равная с мужчинами оплата труда, ликвидация архаичных норм итальянского законодательства, борьба с женской безработицей, расширение сфер применения женского труда, защита надомного труда, пенсионное обеспечение и т.д.

В-третьих, благотворительность, зачастую совместно с Красным Крестом, ИКП или зарубежными женскими организациями, например, Антифашистским комитетом советских женщин. В условиях, когда находившиеся у власти христианские демократы в вопросе субсидирования отдавали предпочтение католическим организациям, социальные акции Союза, как правило, через АКСЖ, финансировало советское правительство. Организация занималась созданием приютов для детей-сирот, восстановлением школ, организацией детских праздников (например, ежегодных обедов на Рождество и Богоявление), спектаклей и летних лагерей для детей трудящихся, оказывала помощь семьям, пострадавшим во время наводнений в долине реки По (в частности, в 1951 и 1957 гг.).

В-четвертых, участие в Движении сторонников мира. После разорительной для Италии войны идея мира становится одной из ключевых в деятельности демократических организаций. Союз способствует выработке серии «женских» символов движения, играющих существенную роль в социализации итальянской женщины. Эти символы делятся на несколько групп:

1) символ-знак (в значении печатный знак – текст: многочисленные призывы, статьи в газетах и журналах, петиции; в значении подпись – как личный знак человека, знак его согласия); широкие кампании по сбору подписей за мир в 1940–1950-е гг. являлись основной формой приобщения итальянок к проблеме сохранения мира (например, Стокгольмское воззвание 1950 г., Венское «Обращение к народам мира» 1955 г. и др.);

2) символ-звук – речи членов Союза в защиту мира, произносимый на массовых мероприятиях набор лозунгов с ключевыми словами «мир», «разоружение», «мирное сосуществование и т.д.;

3) символ-предмет/вещь (флаги мира, деревья мира, ленты памяти погибших воинов и т.д.);

4) символ-действие (многочисленные манифестации и распространенные в 1960-е гг. марши мира);

5) символ-образ (например, «ангелы мира» и т.д.).

Союз итальянских женщин являлся членом Международной демократической федерации женщин, через участие в деятельности которой итальянки включались в процесс генерации идеи мирового единства в борьбе за мир. В МДФЖ Союз находил ориентир, а участие в международных конгрессах давало итальянкам возможность понять, что схожие процессы социализации женщины происходили во многих европейских странах.

В-пятых, работа с общественным мнением. Своей деятельностью организация боролась с предубеждениями, которые в прошлом препятствовали участию женщины в социальной жизни. Влияние отсталых феодальных обычаев и традиционный взгляд на женщину наблюдались, прежде всего, в южных сельскохозяйственных регионах (Сицилия, Калабрия, Кампания), где был распространен тип «старой семьи», основными характеристиками которой являлись экономическое единство, внутренняя иерархия и жесткое подчинение женщин. Существенное влияние на ломку старых семейных кодов оказывали миграционные процессы, в результате которых мужское население либо мигрировало в промышленно развитые города (Милан, Турин, Генуя) и становящиеся промышленными зонами пригороды крупных городов, либо эмигрировало за границу, а женщины становились главами домохозяйств, примеряя на себя новую внутрисемейную роль и включаясь в процесс социализации. Преодолевалось такое явление, как обусловленный традицией женский конформизм, являвшийся одной из существенных черт старой (традиционной) идентичности. Теперь женщины не принимали пассивно существующий порядок вещей, они пытались создавать этот порядок с учетом своих потребностей. Менялись ценностные приоритеты, а позиция, что социальная активность женщины надламывает единство семьи, постепенно изживала себя.

В-шестых, издание журнала “Le Noi Donne”, ставшего опорой новой женской культуры, основанной на более высоком, нежели раньше, уровне самосознания и идее самоценности. Журнал активно способствовал принятию женщинами идеи эмансипации и постматериальных ценностей. В 1950-е гг. в крупных городах, таких как Флоренция, Неаполь, Палермо, появлялись курируемые Союзом и коммунистами «женские культурные союзы». Особое внимание уделялось борьбе с неграмотностью в женской среде, Союзом организовывались соответствующие курсы.

В качестве *седьмого* направления деятельности Союза, способствовавшего социализации женщины и возникновению новой идентичности, выделяется работа с молодежными организациями и привлечение молодежи в свои ряды, что являлось существенной необходимостью, поскольку основную возрастную группу его членов составляли

женщины в возрасте от 40 лет и старше. Как показывают многочисленные статьи в коммунистической и женской периодике, именно молодое поколение с легкостью принимало идеи эмансипации.

Деятельность Союза итальянских женщин может служить конкретным примером поиска идентичности, основанной на принципе индивидуализации и зарождавшейся потребности в самореализации, выступавших в качестве альтернативы материнству. «Коллегиальный аспект» новой женской идентичности являлся одним из существенных проявлений процесса послевоенной демократизации.

И.Е. Кознова
(Институт философии РАН, Москва)

Образы прошлого в журнале «Огонёк» (1923–1991 гг.)*

Возобновленный к изданию в 1923 г. журнал «Огонёк» стал, по сути, первым советским массовым изданием, направленным на формирование у читателя многогранного образа социально-культурного времени.

Обложка первого номера возобновленного журнала предъявляла два облика настоящего, построенного на контрасте «тьмы» и «света»: один был обращен к прошлому, символизировал уходящее, разруху Гражданской войны в образе смерти, другой – к будущему, куда новая Россия устремлялась в виде могучего корабля, идущего вперед под лучами яркого солнца. В посвященном В. Ленину очерке главного редактора журнала М. Кольцова вождь революции представал человеком из будущего. Коллективным же творцом будущего на страницах «Огонька» выступали трудящиеся массы, но прежде всего – молодежь и дети.

Облику революционного настоящего страны и мирового революционного грядущего соответствовал и актуальный образ прошлого, представленный как всемирная история борьбы угнетенных за свое освобождение. Наиболее распространенным оценочным словосочетанием по отношению к прошлому России было «проклятое», «темное», разрыв с которым был насущен и предопределен («царизм ушел в область преданий»). Его зримым символом была Петропавловская крепость.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-03-00192.

В то же время нэп в некоторых своих проявлениях сохранял недавнее прошлое с его атрибутами, что становилось в журнале предметом критики.

В контексте сталинской «революции сверху» мифологизированный образ прошлого до середины 1930-х гг. был связан с идеей классового противостояния. Если и существовала убежденность, что «пролетариат должен знать свое прошлое», то под ним подразумевались главным образом «предреволюционная жизнь и борьба отцов и дедов нынешнего пролетарского читателя». В их изображении отчетливо проявлялась политическая конъюнктура. Так, в 1935 г. в связи с двадцатилетием Первой русской революции значительное внимание в «Огоньке» уделялось закавказским событиям; складывался также соответствующий пантеон героев революции и Гражданской войны. В образах революционного прошлого присутствовал аспект героической жертвенности, которая требовалась от масс и в годы социалистического строительства. Характерна в этом плане публикация «Огонька» № 5 за 1935 г., повествующая о рабочих отрядах, воевавших за Донбасс и погибших от рук «белых». Журнал поддерживал и интернациональную линию, но она теряла свои позиции.

С середины 1930-х гг. политика в отношении прошлого подверглась трансформации: актуализировалась идея «наследия» и «исторического прошлого» за пределами революционных традиций, произошел отход от социологизированной истории классового толка. Материалы «Огонька» показывают, как раздвигались границы прошлого. Народность и патриотизм в качестве ключевых культурных доминант вызывали к жизни новых героев, включая былинно-фольклорных – от Ильи Муромца до Кузьмы Минина.

С конца 1930-х гг. заметно «сгущение» исторической символики, связанной с обороной страны, обращение к «славе русского оружия» с целью показать «неописуемую храбрость русского солдата». Актуализация военного прошлого коснулась также событий Первой мировой войны. «Огоньковские» номера за победный 1945 г. в плане описательной и визуальной презентации героического прошлого были особенно впечатляющими. При этом Прошлое превращалось в Настоящее, и февральские исторические хроники «Огонька» о «гнезде тевтонов» в Восточной Пруссии (№ 5) или «Мы уже бывали в Берлине» (№ 6-7) трансформировались в апрелемае в репортажи с места событий. В публикациях 1946 г. война представала уже как хотя и недавнее, но прошлое. Прошлым становилось и довоенное время.

Переводя послевоенные идеологические новации, связанные с укреплением имперско-державного патриотизма, на язык масс, «Огонёк» стремился показать «вековечную мудрость народа» в качестве

неоспоримой силы русской культуры. По-прежнему сквозной темой выступал ратный героизм («русский народ всегда был превосходным воином»), задавала тон героика и применительно к задачам мирного строительства. Не случайно на протяжении 1946–1951 гг. повышенное внимание к творчеству В. Сурикова, с точки зрения журнала, «самого народного из всех русских художников», утверждавшего «героическое начало русского народа и его истории».

Вместе с тем после войны получила новый импульс тема революции и социалистического созидания. В связи с тридцатилетием революции («датой зрелости») «мерзостям крепостнического и буржуазно-дворянского прошлого» противопоставлялось руководимое партией и вождем великое народное действо – строительство нового общества, «светлого дома». Вступление человечества во вторую половину XX века и партийный курс на построение коммунизма расставляли акценты между прошлым, настоящим и будущим, на чем сосредоточил внимание в № 1 за 1951 г. А. Сурков, главный редактор журнала в 1946–1953 гг.

В 1950-е – 1980-е гг. (главным редактором журнала в 1953–1986 гг. был А. Софронов) материалы «Огонька» показывают, что прошлое то сужало, то расширяло свои временные границы, подчиняясь двум приоритетным направлениям, сложившимся в предыдущие десятилетия. В одном случае на первый план выходило укрепление советского общественного строя, в другом – развитие русского патриотизма. При этом прошлое по-прежнему трактовалось в героическом ключе. Прежними остались и призывы к борьбе с «пережитками прошлого в сознании и поведении советских людей».

С середины 1950-х гг. образы прошлого продолжали нести идею революционного обновления во имя коммунистического грядущего. Рубеж 1950–1960-х гг. воспринимался современниками как новая эпоха – «современность», в которой советским людям покоряется пространство и время. В новой эпохе существовали свои внутренние рубежи: одним стал 1953 г., другим – 1961 г., когда пятидесятые годы квалифицировались уже как прошлое.

В период «оттепели» оказалось востребованным прежде всего прошлое советское; при этом романтизированные революция и Гражданская война в качестве «светлого» противопоставлялись сталинскому периоду как «темному». Попытки части общества критически осмыслить сталинское прошлое не получили на страницах «Огонька» развития. В этом плане он скорее выразил общие тенденции на свертывание процесса десталинизации. Правда, в № 49 за 1962 г. журнал откликнулся на новомировскую публикацию рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», заявляя, что «это – прошлое, совсем недавнее прошлое, но оно навсегда кануло в

вечность», что «ворошить прошлое» необходимо для настоящего и будущего, что «не может быть запретных тем». В целом «Огонек» ограничился короткими заметками о репрессированных военачальниках и отдельных деятелях культуры. Ударение было сделано на понятия «партийность», «народность», «патриотизм».

Исторический жанр живописи служил обоснованию настоящего: народ, представленный в творчестве В. Сурикова, И. Репина и В. Васнецова «не может не быть великим народом». Богатыри выступали собирательным символом («от них пошли и Ермак, и Кузьма Минин, и Степан Разин, и Пугачев»). Шестидесятые, позиционировавшиеся как «время сильных характеров и богатырских свершений», добавили в этот список Ю. Гагарина, а поэт В. Фирсов писал: «стрелой, сразившею Мамая, летит ракета в высоту». В год своего 45-летия (1962) Октябрь представал, по выражению поэта М. Карима, в новом облике – «космодромом века».

Новая граница прошлого и настоящего была обозначена в редакционной статье «Огонька» № 1 за 1966 г.: прошлым стала хрущевская эпоха. С середины 1960-х и до середины 1980-х гг. «Огонёк» поддерживал официальную линию на вытеснение сталинизма из памяти общества, а также на активизацию русского национального самосознания. Не случайно в нем прозвучала критика в адрес журнала «Новый мир», сформулированная в т.н. «Письме 11-ти» (1969, № 30). Прошлое представлялось временем достижений и побед, что, прежде всего, относилось к войне.

Важную функцию «работы над прошлым» «Огонёк» выполнил в годы перестройки (главный редактор в 1986–1991 гг. – В. Коротич). Развив в диалоге с читателями общественные дебаты по поводу советского прошлого, он способствовал также выходу «виктимной» модели прошлого из неофициальной ниши.

М.Е. Колесникова
(Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь)

Региональное и локальное в исторических исследованиях: поиск исследовательских практик

Исследовательская практика показывает, что принципиальной основой в подходах к пониманию различных лексических вариаций, используемых для обозначения многообразия проявлений «региональной составляющей» в научных исторических трудах, выступает представление о содержании понятий: региональная / провинциаль-

ная / местная история, регионалистика / регионология, краеведение / историческое краеведение, локальная история/новая локальная история, провинциальная / региональная историография. Дифференциация их предметных полей и дисциплинарных полномочий является одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед научным сообществом. Ученые неоднократно пытались «договориться о терминах», дискутируя на предмет методологии региональных исторических исследований, так как состояние понятийного аппарата – определенность и согласованность в понимании и объяснении терминов и понятий – есть важное условие корректности и успешности организуемой научной работы.

В настоящее время ученые сходятся во мнении, что региональная составляющая – прочно определившееся направление современных исторических исследований и ее легитимность не вызывает сомнения, а вот ее «образы» в виде институционально закрепленных (и закрепляющихся) исследовательских полей выступают сейчас в виде многомерного объекта с расплывшейся конфигурацией своего содержательного наполнения. Появление терминологических новаций, связанных с усложнением структуры региональных исследований, поиск подходов к анализу новых объектов региональной истории заставляют внимательно изучать практику применения тех или иных понятий, эволюцию их значений. Для научного сообщества сегодня характерно оперирование множеством понятий часто без осмысленного выбора конкретной терминологии, с одной стороны, а с другой – попытка самоидентифицировать характер своей исследовательской деятельности через приверженность к определенным лексическим формам. Процесс самоидентификации регионалистов и краеведов через поиск понятий, обозначающих содержание и организационные формы их деятельности, шел по нескольким направлениям [*Репина Л.П.* Локальные исследования и национальная история: проблемы синтеза // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М., 1989. Вып. 1. С. 150-153].

Как отмечает И.И. Колесник, первое из них отражает давнюю традицию, прочно сохраняющую свои позиции и в наше время. Все, что, по мнению ее представителей, сейчас подпадает под категорию «региональные исследования», на протяжении ста лет числилось за краеведением. В связи с этим тезисом многие из тех, кто изучает историю края или проблемы, ограниченные объектами в рамках определенной территории, считают себя краеведами или специалистами в области исторического краеведения. В их среде есть те, кто считает более корректным называть себя специалистом в области региональной истории, местной истории, локальной истории и т.п. Заимствование новых понятий из зарубежной историографии при-

вело, с одной стороны, к недифференцированности терминологической практики в широких кругах исследователей, к использованию понятий краеведение и регионоведение как синонимов, а с другой – к рождению таких своеобразных лексических новаций, как региональное краеведение.

Второе направление в поисках терминологической самоидентификации, по мнению И.И. Колесник, связано с подходом, ориентированным на дифференциацию довольно широкого уже репертуара понятий, объединенных региональным ракурсом изучения конкретных социокультурных объектов. Исходным концептом в данном случае выступает положение о том, что усложнение структуры накопленного до сегодняшнего дня огромного корпуса знаний о крае, определившиеся принципиальные различия в их функциональной направленности, организации исследований, профессионализме участников требуют введения различных таксономических единиц, учитывающих нюансы в едином процессе познания конкретной территории, региона.

Представители третьего направления рассматривают историческое краеведение как особую разновидность исторической регионалистики. Историческое краеведение, в данном случае, выступает как интегральное научное направление, специфика которого заключается в том, что оно сближает системы природоведческого и социогуманитарного знания, дает возможность конкретизировать и персонифицировать историко-культурный процесс, разрушает барьеры между профессиональной наукой и историками-любителями, расширяет и организует круг людей, заинтересованных в изучении своего края, способствуя тем самым воспитанию национального самосознания и любви к малой родине [*Колесник И.И.* Философия и культурология: пути обновления историографии // Россия в XX веке. Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 592].

Исходным концептом позиции представителей четвертого направления является контекстное восприятие региональной составляющей исторических исследований. Регионалистика и краеведение в данном случае определяются в качестве элемента, включенного одновременно в две системы: «То, что в контексте развития “большой исторической науки” рассматривается как региональное исследование <…> может приобрести значение краеведческого знания, если окажется востребованным и освоенным в системе знания о том или ином регионе или городе» [*Шмидт С.О.* Краеведение и региональная история в современной России // Методология региональных исторических исследований: материалы межд. семинара 19-20 июня 2000 г., г. Санкт-Петербург. СПб., 2000. С. 14]. Таким образом, краеведение как система знаний о крае пополняется за счет общеисторических работ точно так же, как факты и знания, добытые в рамках краеведческих

исследований, могут войти в систему знаний «большой (академической) науки», если они будут востребованы в ее границах.

Многие ученые придерживаются мнения о том, что приоритеты современных исторических исследований связаны в первую очередь с изучением не столько общего и типового, сколько особенного и индивидуального. В связи с этим регионалистика выдвигается в качестве важнейшего составляющего компонента развития современной историографической ситуации, т.е. именно с региональными исследованиями связывается прорыв в изучении истории вообще. Однако для того, чтобы добытые специалистами в области региональных исследований знания вошли в систему знаний «большой науки», необходимо, прежде всего, повышение профессионального уровня исследований, которые проводятся в регионах. Они должны не только быть значимы для системы знаний о крае, но и включаться в систему регионалистики и систему знаний о стране в целом. Взаимосвязь локального, регионального и общего предполагает многоуровневую структуру краеведческого знания.

Свое понимание и решение проблемы дисциплинарной иерархии современного гуманитарного знания с позиций историко-культурной парадигмы теории истории предлагают Т.А. Булыгина, В.П. Корзун, С.И. Маловичко, С.С. Минц, Г.П. Присенко, Л.П. Репина, М.Ф. Румянцева, В.П. Рыженко, А.А. Севастьянова, Н.В. Середа, И.Ю. Шустрова и др. Ими рассматриваются проблемы соотношения макро- и микроистории, пересечение дисциплинарных полей интеллектуальной истории, региональной истории, локальной истории, истории исторической науки.

И.Г. Коновалова
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Эвристическая функция разграничения в арабских географических описаниях IX–X веков

Одним из ведущих способов землеописания в средневековой исламской географии было проведение границ – природных, этнографических, государственно-административных, социальных, лингвистических, религиозных и т.п. Разграничение выступало как универсальное средство как систематизации, так и интерпретации сведений, а также рассмотрения информации в различном масштабе (мировом, региональном или страновом) и в разных контекстах [см.: *Коновалова И.Г.* Разграничение как средство описания в средневековой исламской географии // Международный журнал исследова-

ний культуры. 2015. № 4 (21). С. 73-84]. Принцип разграничения обладал еще и эвристическим потенциалом, позволяя через проведение границ обнаружить и зафиксировать новые этносоциальные и политические реалии. Яркий пример дают описания древнерусского общества в сочинениях исламских авторов IX–X веков.

Хронологически первым и ключевым элементом образа ранней Руси в исламских источниках являются пути, по которым движутся русы – купцы, воины и дипломаты. Их центральное место в формировании образа ранней Руси вполне закономерно, так как именно эти категории лиц были наиболее подвижным элементом, оставляющим заметный след в пространстве.

Подробная картина путей, по которым перемещались русы в Багдад и Византию, появляется в сочинении арабского ученого IX века. Ибн Хордадбеха «Книга путей и государств». Это давно введенное в научный оборот сообщение о путях купцов-русов [Bibliotheca geographorum arabicorum / ed. M.J. de Goeje. Leiden: Lugduni Batavorum, 1889. T. VI. P. 154 – далее BGA] обычно рассматривается в контексте нумизматических реконструкций торгового пути от Балтики до Багдада, причем основное внимание уделяется самому маршруту русов [историография: *Коновалова И.Г.* Русы на трансконтинентальных торговых путях IX в. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2009 г.: Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. М., 2010. С. 88-99]. А вот откуда они приходят, остается вне поля зрения, так как Ибн Хордадбех ничего не говорит о стране русов. Ему известно лишь то, что русы везут свои товары из «наиболее отдаленных земель славян» и добираются до Хазарии по «Реке славян». То есть на международном рынке русы появляются, можно сказать, из ниоткуда, и единственной частью пространства, маркируемой как «русская», оказываются сами торговые маршруты, которые они эксплуатируют. При этом по мере удаления от Багдада пути русов становятся все менее и менее отчетливыми для их исламских контрагентов, теряясь где-то у «наиболее отдаленных земель славян».

Плотный «славянский» контекст сообщения о русах (везут товары из земли славян, плывут по «Реке славян», говорят по-славянски) не случаен: Ибн Хордадбех описывает русов через знакомый арабам этноним «славяне» и называет их «видом» славян, а обрисовывающий сходные торговые маршруты другой арабский автор Ибн ал-Факих (начало X века) вообще не пользуется этнонимом «русы» и приписывает эти торговые маршруты славянам [BGA V, 270-271]. Таким образом, до начала X века внешний наблюдатель с трудом мог отграничить русов от славян. С одной стороны, Ибн Хордадбех подчеркивает особость русов, но с другой –

указывает, что это особость внутрих славянской общности («вид славян»), а для Ибн ал-Факиха выделенность русов из массы славян становится уже совсем неразличимой. Очевидно, что Ибн Хордадбех в лице русов описывает новый этносоциальный феномен, который в силу его новизны с трудом поддается описанию. Что это именно этно*социальный* феномен, говорит то, что для описания русов как части славянской общности Ибн Хордадбех использует тот же самый термин *джинс*, что и для обозначения каст в своем рассказе об Индии.

Благодаря интенсивным торговым связям Халифата с Восточной Европой в конце IX века в исламском мире стали циркулировать первые сведения о месте обитания русов, на основе которых в арабо-персидской литературе X–XVI веков сформировался устойчивый образ страны русов как «острова» [см.: *Коновалова И.Г.* «Остров русов» как географический образ // Исторический вестник. 2012. № 1. С. 42-53]. Сопоставление дошедших до нас многочисленных версий этого рассказа показало, что их первоисточником была так называемая «Анонимная записка», составленная в конце IX в. и последовательно характеризующая «северные народы» — печенегов, хазар, буртасов, булгар, венгров, славян, русов, жителей дагестанского царства Сарир, аланов [историография: *Новосельцев А.П.* Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г.: памяти чл.-корр. РАН А.П. Новосельцева. М., 2000. С. 303-313; *Göckenjan H., Zimonyi I.* Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter: Die Ǧayhānī-Tradition (Ibn Rusta, Gardīzī, Ḥudūd al-ʿĀlam, al-Bakrī und al-Marwazī). Wiesbaden, 2001].

В отличие от сообщения Ибн Хордадбеха, в рассказе об «острове русов» информация об их торговых путях занимает подчиненное место, а основное внимание уделено показу русов в месте их обитания [BGA VII, 145-147]. Если на трансконтинентальных торговых путях IX – начала X века русов еще можно было спутать со славянами, то у себя дома они были отграничены от славян весьма четко. В «Анонимной записке» русы противопоставлены славянам, прежде всего, по своему образу жизни: их единственным занятием была торговля рабами и пушниной, они сами ничего не производили, а все необходимое для жизни брали у славян силой.

Однако отграниченность русов от славян была не абсолютной. Если социокультурно, экономически и политически русы славянам противопоставлены, о пространственно-географическом разграничении между ними речь не идет. В этой связи обратим внимание на важную деталь в описании Анонима – указание на то, что среди русов нет землевладельцев. Отсюда следует, что территориализация

власти в обществе русов в конце IX века еще находилась в зачаточном состоянии, а само их государство в это время фактически являлось самоорганизованной правящей знатью. Об отсутствии какой-либо территории за пределами резиденции правителя, на которую бы распространялась власть русов, говорит и характер описания «острова», в котором нет ни названий географических объектов, ни упоминания о внешних границах Руси. Вполне вероятно, что отсутствие информации о политических границах Руси конца IX века и привело к формированию образа древнерусской земли как «острова», то есть пространства, отделенного от остального мира естественными границами.

Обратившись к сообщениям о русах в других исламских источниках IX – первой половины X века, увидим в них многочисленные указания на теснейшую связь русов со славянской средой. Ибн Хордадбех, прямо называвший русов «видом славян», а также Ибрахим ал-Йа'куб (вторая половина X в.) отмечают славяноязычие руссов [Kitāb al-Masālik wa-l-Mamālik d'Abū 'Ubaid al-Bakrī. Tunis, 1992. Vol. I-II. 1992. P. 336]. Ибрахим ибн Йа'куб сообщает и о том, что русы и славяне совместно эксплуатируют торговые пути, ведущие в Польшу и Чехию [Ibid. P. 332], а по словам ал-Бируни (первая половина XI в.), Волга в его время называлась «Рекой русов и славян» [*Абу-р-Райхан ал-Бируни*. Канон Мас'уда // Абу-р-Райхан ал-Бируни: избр. произвед. Ташкент, 1976. Т. V. Ч. 1. С. 473]. Ал-Мас'уди (середина X в.), говоря о проживавших в Итиле язычниках – славянах и русах – описывает их погребальный обычай как общий для тех и других, а также отмечает, что в гвардии хазарского царя служат как русы, так и славяне [*Maçoudi*. Les Prairies d'or. Paris, 1863. T. I. P 9, 12]. Анонимный автор «Пределов мира» (ок. 982 г.), говоря о славянском городе *Вабнит*, утверждает, что «некоторые из его жителей похожи на русов» [*Ḥudūd al-'Ālam*. 'The Regions of the World'. A Persian Geography 372 A.H. – 982 A.D. L., 1937. P. 159]. В близком по времени к «Анонимной записке» источнике другой языковой традиции, «Раффельштеттенском таможенном уставе» (904/6 г.), также есть свидетельство о тесной связи русов и славян: согласно этому уставу, купцы-славяне, приходящие в Баварское Подунавье, приходили туда «от руси» (*de Rugis*) [*Назаренко А.В.* Немецкие латиноязычные источники IX–XI веков: тексты, перевод, комментарий. М., 1993. С. 65].

То есть земля («остров») русов в описании исламских авторов предстает не чем-то внешним по отношению к земле славян, а напротив, тем, что бывает трудно отграничить от нее. В этом смысле «остров русов» следует рассматривать как часть земли славян, место, где формируется новая идентичность – русы. Географический образ

«острова русов» эту новую идентичность показывает *in statu nascendi*. Что это именно *новая* этничность в состоянии становления, говорят и слова ал-Мас'уди, что русы – это конгломерат различных народов [*Maçoudi*. Les Prairies… P. 18], и свидетельство «Повести временных лет» под 882 г., что *русью* назывались «варяги, и словене, и прочие».

Таким образом, использование различного масштаба – континентального, регионального и странового – и последовательное проведение границ между русами и другими народами Восточной и Центральной Европы (прежде всего, славянами) позволило исламским авторам IX–X веков дать картину поэтапного складывания этносоциальной и территориально-политической общности русов.

В.П. Корзун
(Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского)

Н.М. Карамзин в советских учебниках по историографии: формирование корпоративной памяти*

Врачу, исцелися сам!
Евангелие от Луки

Умение испытать на себе свой собственный профессионализм является свидетельством профессиональной легитимации. Это верно и для историка – «профессионального воскресителя прошлого». Историк формирует свою коллективную идентичность, профессионально анализируя прошлое своей науки, ее интеллектуальные генеалогии и вершинные достижения – образцы. Реконструкция прошлого науки есть в то же время и сотворение/свидетельство ее настоящего, а в определенном смысле и «воспоминания о будущем», то есть задавание научных перспектив.

Учебники историографии являются в этом плане уникальным историографическим источником: благодаря им занимают свою историографическую нишу, соотносятся так или иначе с научным мэйнстримом исследователи, произведения и научные направления, зачастую не прошедшие еще научно-монографическую разработку. Уникальность заключается и в двуединой природе данного источника, взаимосвязанности в его рамках процессов создания историографического знания и его трансляции и регуляции («равняйтесь на образцы»).

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект № 2467.

Эпифеноменом данного процесса является складывание корпоративной памяти сообщества. Познание историографического прошлого на страницах учебников принципиально многослойно – они информативны не только в плане воскрешения или забвения знаковых фигур (пантеона классиков) и событий истории науки, но и той историографической ситуации, когда это воскрешение/забвение происходит. Причем как раз отношение к классикам, стоящим на просвете историографического бытия, наиболее содержательно характеризует ту или иную историографическую ситуацию.

В отечественной историографии статус неоспоримого классика, открывшего древнюю Россию, как Колумб Америку, принадлежит Н.М. Карамзину, его личность и творчество – предмет профессионального интереса преимущественно двух смежных областей гуманитаристики: филологии и историографии. Причем филология преуспела явно больше – в первую очередь потому, что поставила проблему интеллектуальной генеалогии, «сотворения Карамзина». Своего Лотмана в историографии пока не обнаружилось.

Первым учебным пособием по историографии в советское время была, как известно, знаменитая «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна (М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1941). В центре внимания автора оказывается не классовая инкриминация, а выявление места историка в процессе развития науки, значения его творчества и присущих ему внутренних противоречий. Историк констатирует пограничное, междумирное положение Карамзина – «в историографии между XVIII и XIX вв.»; выделяет влияние на формирование его мировоззрения таких идейных течений, как масонство, западноевропейский сентиментализм, которые, с точки зрения автора, Карамзин трактует отнюдь не в русле западноевропейской практики. В то же время, по Рубинштейну, для раннего Карамзина характерно адекватное восприятия философских импульсов Запада. Под влиянием концепции И.Г. Гердера для него актуализируется идея единства мирового исторического процесса, в его идеологии раннего периода «наличествуют следы известного космополитизма <…> Карамзин уже примыкал к наиболее передовой по содержанию философско-исторической концепции своего времени». У Рубинштейна социально-классовая детерминация творчества Карамзина обозначена, но занимает сравнительно незначительное место. Историк фиксирует противоречивость научно-методологических основ творчества Карамзина: с одной стороны, избираемый им методологический принцип «прагматика в противопоставлении философскому размышлению» принадлежит XVIII в.; с другой, Карамзин не мог пройти мимо представления об истории как подлинной науке, «которое полностью утверждается в XIX веке» – этот принцип, «столь далекий от действительного содержания его

Истории, от всего духа ее, сформулирован во Введении: “история не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир”». По Рубинштейну, такому представлению об исторической науке соответствует трактовка Карамзиным ее предметной области – «весь состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность». Он констатирует источниковедческий прорыв, совершенный Карамзиным, его длительную и углубленную работу над документальным материалом, тонкое критическое чутье, придающее примечаниям не только археографическое, но и историческое значение. И в то же время источниковедческая критика «остается за пределами повествования <…> этот разрыв между примечаниями и текстом переходит иногда в прямое противоречие» [*Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. СПб., 2008. С. 199]. В наибольшей степени разрыв между намерением и воплощением проявляется у Карамзина при попытке «раскрытия реальной внутренней связи исторических событий, <…> определении причин политических трансформаций». Тем не менее, историк фиксирует отражение этой внутренней интенции (поиск внутренних взаимосвязей) и в архитектонике карамзинского текста; он отмечает выделение Карамзиным общих глав, посвященных «состоянию России» за каждый отдельный период ее истории: «В этих главах читатель выходит за рамки чисто политической истории и знакомится с внутренним строем, экономикой, культурой и бытом» [Там же. С. 210]. С начала XIX века выделение таких глав, отмечает Рубинштейн, становится обязательным. Таким образом, Карамзин, усвоив европейские культурные образцы [см.: *Рудковская И.Е.* Политический мир Древней Руси в главном труде Н.М. Карамзина // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М., 2006. Вып. 17. С. 12-54], задает нормы профессионализма в формирующемся отечественном научном сообществе. И при многих отрицательных коннотациях в оценке историка, весьма показателен акцент на складывании профессиональных норм как отражении движения науки.

Труд Рубинштейна пришелся на период формирования советского историзма, содержательно-нормативные рамки которого еще создавались/закреплялись/усваивались. С позиций этой содержательной динамики возможно было воспринять динамическую противоречивость творчества Карамзина с высокой степенью адекватности. Но эти рамки уже четко и жестко определены к периоду «историографического оживления» с конца 1950-х гг., когда выходят в свет курсы лекций и учебные пособия Л.В. Черепнина, В.И. Астахова, В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева, А.Л. Шапиро, А.М. Сахарова и др. Оценка творчества Карамзина в этих текстах отражает сложившийся канон советского историзма.

В учебных пособиях по историографии В.И. Астахова, В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева Карамзин вписан в контекст социально-экономического развития России, его взгляды жестко детерминированы условиями «кризиса феодально-крепостнического строя» и «страхом перед Французской буржуазной революцией». Эти обстоятельства «определили реакционную сущность исторической концепции Карамзина, привели его к идеализации прошлого, к защите и оправданию существующего строя» [*Астахов В.И.* Курс лекций по русской историографии (до конца XIX в.). Харьков, 1965. С. 162]. Налицо редукция мировоззренческих и теоретико-методологических взглядов историка, по сравнению с интерпретацией Рубинштейна. Авторы акцентируют классовую сущность исторических взглядов Карамзина и подчеркивают, что главной целью его «Истории» было «внушить незыблемость монархической идеи»; по Астахову, «задачи научно исследовательского порядка, поставленные в этот период на повестку дня, находились у него на втором плане» [Там же]. В корпоративной памяти закрепляется негативный образ «классика» – «неправильный классик». Рефлексия Карамзина по поводу ремесла историка надолго выпадает из учебников и учебных пособий, хотя, нужно отдать должное, всегда упоминается источниковедческое значение его работ. Классик, но не интеллектуальный герой, классик, «пылящейся» на книжной полке… С незначительными модификациями в различных учебниках вплоть до конца 1970-х годов закрепляется определение Карамзина как основоположника официально-монархического, крепостнического направления в русской историографии, классовый подход превалирует.

Каноны советского историзма, но уже в его смягченном, модернизированном, научно-культурологическом варианте, прочитываются и в учебном пособии А.М. Сахарова «Историография истории СССР. Досоветский период» [М.: Высш. школа, 1978. 256 с.]. Автор начинает повествование не с жесткой социально-классовой оценки творчества Карамзина, а с политического контекста, характеристики культурных традиций времени. Обращение к политическому контексту сближает его с непосредственными историографическими предшественниками: Сахаров так же, как и они, отмечает влияние Французской революции и наполеоновских войн на творчество Карамзина, говорит о стремлении историка «найти в истории такие начала, которые гарантировали бы незыблемость существующего строя и способность выстоять перед неотвратимым нашествием грозных сил Наполеона» [Там же. С. 91]. Но прямолинейно жесткая трактовка Карамзина как представителя реакционной дворянской историографии у Сахарова отсутствует. И более того, в описании образа историка появляются положительные коннотации – «одареннейший представитель» дворянской историографии, «внес немало позитивного в научное познание русской исто-

рии» и т.д. Безусловно новое – попытка рассмотреть культурный ресурс эпохи: в традициях времени, века Просвещения было «измерять современность по меркам античности». Сахаров не употребляет такое определение, как национальный нарратив, но по существу фиксирует его специфику и авторское целеполагание применительно к карамзинской «Истории». Соответственно из текста лекции о Карамзине уходят и отрицательные характеристики «литературно-живописующего стиля». Оспаривая тезис П.Н. Милюкова, что дальнейшее развитие науки истории шло не через Карамзина, а мимо него, Сахаров, по существу, говорит о роли Карамзина в формировании научного сообщества историков. Карамзин провоцирует интенсивную полемику, причины которой связаны с кризисом прежней познавательной парадигмы. Этот кризис характеризуется историографом не в инкриминационно политическом, а в академически научном ключе. Таким образом, классик в тексте Сахарова не просто положительный или отрицательный интеллектуальный герой, его портрет представлен в интерьере проблематики закономерностей развития науки. В этом смысле речь идет о классике как важном ресурсе формирования не только академической памяти, но и профессионализма историка в целом.

М.В. Короткова
(Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского)

**Курляндское герцогство – владелец колоний
в Африке и Вест-Индии:
память в режиме «долгого времени»**

В многочисленных научных трудах, посвященных проблематике памяти, мест памяти, коммеморации, анализируются обращения того или иного общества к собственному прошлому. В этой связи представляется убедительным тезис П. Нора о связи коммеморации и национальной идентичности. Однако нации, имевшие в прошлом малый опыт собственной государственности либо не имевшие его вовсе, вынуждены при конструировании национальной идентичности искать позитивные моменты в эпохах «чужого» правления. В частности интерес представляет включение памяти о колониальном периоде Курляндского герцогства в латышское национальное сознание. Важно проанализировать, в каких условиях эта память актуализировалась и как менялось восприятие эпохи, наметился разрыв между самой эпохой и ее значением в настоящем.

Курляндское герцогство было образовано в 1562 г. в результате распада Ливонского ордена и последующей секуляризации земель. Последний магистр ордена Готхард Кеттлер принял титул герцога и стал вассалом Великого княжества Литовского, а после заключения Люблинской унии – Речи Посполитой.

Миниатюрной колониальной империей Курляндское герцогство стало при внуке Готхарда Якобе (1642–1682). Он получил образование в Кенигсберге, много путешествовал, во внутренней политике был сторонником меркантилизма, большое внимание уделял кораблестроению. При нем герцогство обладало мощным флотом, сопоставимым с флотами ведущих государств. Придерживаясь политики нейтралитета (настолько, насколько позволяли положение крестника Карла I, вассальная зависимость от Польши и лютеранское вероисповедание), укреплял связи с другими государствами, пытался участвовать в датской Ост-Индской компании, торговал с удаленной Южной Америкой, вел переговоры с папским престолом о совместном освоении Австралии.

В ситуации острого соперничества с ведущими колониальными державами Курляндия участвовала в процессе колонизации. Известно о трех попытках герцогства закрепиться на Тобаго: в 1639, 1642 и 1654 гг., из них лишь последняя увенчалась успехом. До того, в 1651 г., Якоб приобрел у местного властителя остров в устье реки Гамбии в Западной Африке. Метрополия и две колонии образовали треугольник трансатлантической торговли.

Сохранившиеся документы свидетельствуют о неоднородном этническом составе колониальных экспедиций, снаряженных герцогством, в них участвовали немцы, датчане, голландцы, англичане, шотландцы, курземцы (последние были малочисленны), и о поощрении Якобом поселений иностранцев на островах под флагом герцогства. Кампания по освоению заморских территорий явно выходила за рамки истории региона Курземе.

Оказавшись на Тобаго, курземские крестьяне получали личную свободу (эта мера не распространялась на привезенных из африканской колонии рабов), наделялись землей. Поэтому национальная память до наших дней сохранила доброе отношение латышей к «своему» немецкому герцогу.

Курляндский торговый треугольник функционировал недолго. В 1658 г. во время польско-шведской войны 1655–1660 гг. герцог Якоб был взят в плен шведами. Этим воспользовались датские поселенцы: укрепившись на островах, они заявили об их принадлежности скандинавскому государству. После заключения Оливского мира 1660 г., возвращения из плена и возврата Тобаго курляндский герцог признал права Англии на Гамбию, уступленную ей к тому времени датчанами, в обмен на признание его прав на Тобаго. Однако, фактически, гер-

цогство утратило контроль над вест-индской колонией, поскольку уже не могло противостоять давлению со стороны более сильных соперников и местных племен. Таким образом, Курляндия владела африканской и вест-индской колониями менее десяти лет, однако последующие столетия показывают, что память о коротком, но впечатляющем промежутке «не совсем своей» истории была сохранена и неоднократно актуализировалась в латышском национальном сознании.

Актуализировалась она каждый раз, когда латышская нация находилась на переломных этапах формирования/утраты собственной государственности – в межвоенный период и после выхода республики из состава Союза ССР. Характерная для подобных периодов фрагментация прошлого в латышском случае имела свою специфику. Дело в том, что до 1918 г. латыши не имели опыта независимого существования. Поэтому был запущен механизм «присвоения» (согласно этно-символистской концепции Э. Смита). С точки зрения национального самосознания, из «времен господства иноземцев» наиболее предпочтительными представлялись «немецкие времена», а точнее – эпоха Курляндского герцогства, «своего» герцога Якоба и колониальных владений. Трансформация памяти в данном случае являлась необходимым условием адаптации.

Образ Тобаго стал элементом мифологии, использованной для конструирования национальной идентичности. Широкая эксплуатация образа была характерна для периода авторитарного правления К. Ульманиса (1934–1940), причудливо переплетаясь со столь же свойственной тому времени критикой «немецких времен». Для реанимации «национальной» памяти использовались различные жанры коммеморации. Так, в 1935 г. А. Гринсом была написана и вскоре поставлена патриотическая пьеса «Тобаго!». В ней Якоб Кеттлер был представлен как герцог латышей, его этническое происхождение нивелировалось, как и участие немцев в колонизации. В 1938 г. была осуществлена постановка одноименной и сходной по содержанию оперы М. Янсонса. А через год Латвийское государство масштабно отмечало Мемориальные дни Якоба. Лейтмотивом мероприятий стало сопоставление, «связь времен» правления герцога и независимого существования Латвийского государства. В поле официальной истории в 1930-е гг. действовал созданный Институт истории (так называемый «Центр латвианизации истории»), публиковавший труды по той же проблематике.

В период пребывания Латвии в составе Союза ССР образ Тобаго активно использовался латышской диаспорой Соединенных Штатов в целях сохранения национального самосознания. Ведущая роль в этом деле принадлежала американскому латышу Э. Андерсону, защитившему в 1956 г. диссертацию по проблеме курляндской колонии. В 1960 г. он возглавил экспедицию, которая по итогам путешествия на

остров подготовила документальный фильм о курляндском периоде в истории Тобаго. В 1978 г. в память о курземских поселенцах на берегу острова был установлен монумент работы скульптора-эмигранта Я. Минтикса. Латышская диаспора США организовывала путешествия для эмигрантов в бывшую курляндскую колонию и традиционные латышские праздники Яновой ночи на ее территории. В результате такой мемориализации Тобаго превратился в сакральное место для латышских эмигрантов США. Однако идеализирующий взгляд диаспоры на курляндское присутствие на острове мало согласовывался с памятью местного населения об эпохе колониализма.

После выхода Латвии из состава СССР главным отрезком истории, подлежавшим коммеморативному воспроизведению в самой республике, стал период независимого существования. Однако эпоха колониальных владений по-прежнему вызывала национальную гордость. Об этом свидетельствует частое использование наименования «Тобаго» для обозначения различного рода коммерческих предприятий. К этому времени литературоведы доказали, что Д. Дефо «поселил» своего героя именно на Тобаго и именно в то время, когда остров принадлежал Курляндии. Была актуальной и театральная репрезентация: в 2001 г. была осуществлена постановка музыкальной пьесы М. Залите «Тобаго!» на одном из курземских диалектов. По задумке автора, герцог дал свободу курземцам и организовал сопротивление датскому завоеванию. Латвийское правительство, со своей стороны, санкционировало включение карибского колониального эпизода в латышскую национальную историю. На остров была направлена археологическая экспедиция, были подготовлены соответствующие музейные экспозиции. В 2010 г. Латвия широко отмечала 400-летие со дня рождения герцога Якоба.

Таким образом, хотя Курляндия управлялась немецкими герцогами и пользовалась относительной самостоятельностью, находясь в вассальной зависимости от Речи Посполитой, тем не менее для латышей XX века, до того времени не имевших национальной государственности, ранее считавшийся «чужим» период собственной истории становится элементом конструирования национальной идентичности. Каждый раз, когда нация находилась на переломных этапах формирования/утраты собственной государственности, латыши реанимировали трансформированную память о прошлом, прибегая к использованию различных жанров коммеморации. При этом подбор жанров и расстановка акцентов позволяли сконцентрировать внимание на положительных моментах и нивелировать значение отрицательных. В результате образ Гамбии (в отличие от образа Тобаго) был отброшен строителями национальной идентичности, поскольку свидетельствовал об участии «своего» герцога в работорговле.

А.В. Корчинский
(Российский государственный
гуманитарный университет, Москва)

Память нации как история болезни («Бесы» Ф.М. Достоевского)*

Уже в прижизненной критике было отмечено, что, стремясь написать «тенденциозный» роман, который стал бы «окончательной плетью» для «нигилистов и западников», Достоевский создал портрет современного российского социума, охваченного общей болезнью «шатости» понятий, ценностей и верований. Моделью общества, одержимого «бесами», выступил вымышленный губернский город (возможный прототип – Тверь, где писатель «сидел» осенью 1859 г. по возвращении из Семипалатинска, ожидая разрешения на въезд в столицы) с его обитателями и гостями, принадлежащими к различным сословиям.

Сама по себе концептуализация замкнутого пространства провинциального города как своего рода площадки мысленных экспериментов (Л.М. Лотман, Р. Николози), исследующих конфликт между «новыми людьми» и носителями традиционной картины мира, типична для «нигилистических» и «антинигилистических» «романов идей» 1860–1870-х годов. Однако модель экспериментального романа (И. Паперно), представленная в «Бесах», существенно отличается от уже канонизированных к концу 1860-х гг. способов изображения и конструирования социальной действительности.

1. Вызывает интерес то, что Достоевский не просто фиксирует ряд общественных типов. Его внимание направлено на социальный порядок и отношения между людьми накануне предполагаемой политической, нравственной и культурной «смуты». Состояние умов в России таково, что «нечаевское дело» выглядит лишь одним из многочисленных симптомов всеобщей готовности к насилию и бесчестью. В «Бесах» – «все нигилисты», а не только «коротенькие», «недосиженные» молодые радикалы или праздные обыватели и домашние тираны, подхватывающие «идею, попавшую на улицу». У Достоевского нет стандартного для консервативного романа 1860-х годов положительного героя (прежде всего – аристократа и носителя традиционных ценностей), способного противопоставить нигилизму позитивную программу и потенциал биологического воспроизводства рода (И.П. Смирнов). Более того, писатель рисует крайнюю степень вырождения такого типа: Ставрогин, обладающий недю-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-24-49004.

жинным интеллектом и репродуктивным здоровьем, оказывается главным «бесом», неспособным уверовать ни в одну из своих идей, включая идею отрицания; Шатов, теоретик русского православного национализма, не имеющий, впрочем, веры и низводящий Бога «до простого атрибута народности», едва начав путь душевного возрождения, погибает. Нет в «Бесах» и обнадеживающих народных типов, казалось бы, вытекающих из «почвеннической» идеологии автора.

2. Подобный подход к «диагностике» исторического момента подразумевает не только социально-этическую, но и национально-политическую оптику. Речь идет не об одних лишь опасных тенденциях в среде новых поколений дворянства и разночинцев, представителей мещанства, духовенства, рабочих или бывших крепостных. Роман повествует о народе, но не только как о социальном слое, отличном от элит, а – о народе-нации. Именно о нации говорят Ставрогин и Шатов, обсуждая возможности возрождения религиозного единства «русского народа-богоносца». О необходимости своеобразного общенационального экзорцизма и покаяния мечтает в финале Степан Трофимович Верховенский.

3. Это, в свою очередь, требует особого подхода к авторскому конструированию предыстории основного сюжета «Бесов». Экспериментальный хронотоп романа представляет собой, если так можно выразиться, «альтернативную историю настоящего» или «антиутопию современности». Будущее – в полемике с социально-утопическим романом в духе Н.Г. Чернышевского – представлено в гротескной теории Шигалева и – в качестве сатиры на прокламации ишутинцев, нечаевцев и «русских бланкистов» вроде П.Н. Ткачева – воплощено в своего рода «программе революционных действий» Петра Верховенского. Но значительно более серьезный акцент сделан на настоящем и подготовившем его прошлом России. Последнее интересует писателя с точки зрения генезиса современного состояния общества, находящегося в преддверии национальной катастрофы.

4. По сути, Достоевский создает альтернативную модель исторической памяти, призванную объяснить наступающую духовную «смуту» в России. История общественной мысли, связанная с поколением «отцов», оказывается историей становления нигилизма, корни которого Хроникер, излагая биографию Степана Трофимовича и проводя типологические параллели к фигуре Ставрогина, находит в романтизме (байронизм, поэма В.С. Печерина), декабризме (образ М.С. Лунина), западничестве (Т.Н. Грановский как прототип С.Т. Верховенского), утопическом социализме 1840-х гг. (упоминание петрашевцев), деятельности В.Г. Белинского, И.С. Тургенева, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, М.А. Бакунина и, разумеется, нигилистов-шестидесятников. Достоевский устанавливает «неочевидные»

связи между «отцами» и «детьми» (ср. известную фразу из письма автора наследнику престола, будущему Александру III: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева»). Он привлекает большой массив дискурсивного материала 1840–1860-х гг., включая фрагменты текстов Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского и многих других, перекодируя многочисленные политические идиомы предшествующих десятилетий и создавая на их основе новый критический язык. Однако интеллектуально-нравственная «диагностика» русской современности не ограничивается у Достоевского переосмыслением прошлого образованного слоя. На более глубоком уровне организации коллективной памяти, моделируемой в романе, актуализируются две другие национальные травмы – Смута начала XVII века и, – учитывая черновики «Бесов», – реформы Петра I. Обе травмы связаны с угрозой утраты культурной самобытности России, а первая – в сочетании с воспоминаниями о крестьянских восстаниях и отсылками к сектантским движениям – вводит важнейшие темы династического кризиса, самозванства и «русского бунта», в трактовке которых Достоевский своеобразно развивает художественную историософию А.С. Пушкина (Н.Д. Тамарченко).

5. Создание «антиутопического» образа современности и ее предыстории, которая складывается в телеологический нарратив национальной памяти, устремленный к катастрофе как закономерному финалу всеобщей духовной деградации, нуждалось в особом типе романного письма, устанавливающего особую корреляцию между фикциональным миром и исторической реальностью. И действительно, вымысел в «Бесах» как «возможный мир» или «опытное пространство» экспериментального романа весьма своеобразно соотносится с реальностью. Вымышленные герои, события, топосы и дискурсы, как в обычном реалистическом повествовании, восходят к конкретным историческим прототипам, однако, и сами эти прототипы присутствуют в романном мире. Например, С.Т. Верховенский и Кармазинов не просто «представляют» в сюжете соответственно Грановского и Тургенева, но и сосуществуют в одной системе пространственно-временных координат со своими прототипами. «Нечаевская пятерка» Петра Верховенского организуется не только в губернском городе, где и ведет свою подрывную работу, но и – по слухам – в Москве, где действовала реальная «пятерка» Нечаева. Художественное означающее отсылает, таким образом, одновременно и к внутреннему, и к внешнему миру произведения, располагаясь на его границе. Впервые подобный прием был использован, по-видимому, Толстым в «Войне и мире» (в романе фигурируют и Василий Денисов, и его прототип Денис Давыдов), но Достоевский превращает

его в базовый принцип построения системы исторических референций в романе. Фикциональный сюжет, дублируя историческую реальность, не замещает ее, как миметическое подобие, а продолжает ее или продолжается в ней. Художественная вселенная и исторический мир как бы лежат на разных сторонах «ленты Мёбиуса», будучи встроены в одну и ту же сеть причинно-следственных связей и многократно усиливая «эффект реальности» происходящего, как если бы симптомы описываемой болезни имели место не в воображении автора и читателя, а в одном из губернских городов тогдашней России или, вернее, в каждом из них.

Т.А. Косых
(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

Образ британской провинции в сочинении С. Джонсона «Путешествие по Западным островам Шотландии» (1775 г.)

Шотландия и ее жители оставались для англичан XVIII столетия одним из главных поводов для многочисленных шуток и насмешек. Недаром, «Жизнь Сэмюэла Джонсона» Джеймса Босуэлла (1791) буквально пестрит высказываниями знаменитого доктора Джонсона (1709-1784) о шотландцах. Лексикограф то и дело иронично отмечал: что «назойливость шотландцев подобна назойливости пиявки» [*Murphy A.* An essay on the life and genius of Samuel Johnson. L., 1792. P. 106], для шотландца нет лучше «дороги, чем та, что ведет в Англию» [*Boswell J.* Life of Samuel Johnson / ed. By R.W. Chapman. Oxford, 1998. P. 302], и «какой враг будет вторгаться в Шотландию, если там ничего нет?» [*Boswell J.* Life of Samuel Johnson. Boston, 1807. Vol. II. P. 243]. Однако северная Шотландия, или Хайленд, оставалась в представлении англичан своего рода «терра инкогнита».

Первым англичанином, отважившимся посетить гэльскую окраину, едва умиротворенную после якобитских восстаний 1715 и 1745 гг., стал именно доктор Джонсон. Поэтому для реконструкции английского образа далекой британской провинции особый интерес представляет «Путешествие по Западным островам Шотландии» (1775), написанное литературным «диктатором» (как часто именовали Джонсона) в виде повествования о поездке в страну гор.

Путешествие доктора Джонсона совместно с его верным другом Дж. Босуэллом (шотландцем по происхождению) на Гебриды длилось с августа по ноябрь 1773 г. «Я желал посетить Гебриды, или Западные острова Шотландии, так долго, что я едва ли вспом-

ню, когда это желание впервые возникло» [*Johnson S.* A Journey to the Western Islands of Scotland / ed. by M. Lascelles. Yale University, 1971. P. 4], – этими словами доктор Джонсон начал дневник путешествия. Целью поездки в отдаленный регион было созерцание «образа жизни, совершенно отличного от своего собственного». Как пишет Босуэлл, его и Джонсона вдохновило на поездку «Описание Западных островов Шотландии» шотландца М. Мартина (1703).

На страницах «Путешествия» доктор Джонсон стремился следовать поставленной цели изучить быт и нравы жителей горной Шотландии. Посещая все новые и новые места, он описывал увиденные пейзажи и особенности ландшафта: «по пути в Сент-Эндрюс я ни разу не увидел дерево, которое, я был бы уверен, выросло в нынешнем веке» [Ibid. P. 10]. «Дерево такая же редкость в Шотландии, как и лошадь в Венеции» [Ibid. P. 11], – с иронией подмечает Джонсон. Чем дальше путешественники продвигались на север, тем более литератора поражала «оголенность» страны и обширные просторы бесплодных земель. Тем не менее, лексикограф видел определенные преимущества в поездке по Шотландии: «ночь и день мы проводили в одинаковом уединении и одинаковой безопасности, ибо там, где так мало путешественников, откуда взяться грабителям» [Ibid. P. 14].

Подобно этнографу, литератор стремился записывать мельчайшие подробности повседневной жизни. Отмечая, что «древние города Шотландии, как правило, имеют вид необычный для англичан» [Ibid. P. 22], Джонсон описывает конструкцию дома: вход в него осуществляется через крыльцо, которое достигает второго этажа. Попасть на первый этаж можно спустившись по лестнице вниз. Кроме того, с интересом литератор рассказывает о жилище горцев: хижина, около шести футов в высоту, состоит из камней, выстроенных в ряд и закругляющихся кверху, соломенную крышу над ней удерживает огромный камень, от которого спускаются к концам крыши сплетенный в веревки вереск.

В «Путешествии…» доктор Джонсон попытался пересмотреть собственное представление о жителях Шотландии. Без сомнения, он отмечал их гостеприимство: «В Сент-Эндрюсе, некогда архиепископском городе <…> нам было предоставлено жилье в доме одного из профессоров, вежливость и благожелательность которого заставили нас забыть, что мы были чужаками» [Ibid. P. 6]. Даже пожилая жительница Хайленда с радушием встретила незваных гостей и «с истинным пастушеским гостеприимством <…> предложила нам присесть и выпить виски» [Ibid. P. 25].

С другой стороны, литератор отмечал религиозность шотландцев, готовых каждое воскресенье проходить восемь английских миль ради церковной службы. Однако здесь же проявляется антипа-

тия литератора к пресвитерианской церкви Шотландии. Прогулки среди руин когда-то епископского города Сент-Эндрюса навели автора на мысли, что хотя город «страдал ранее от более чудовищных и серьезных разрушений, но недавние бедствия влияют на него с большей силой. Насилие Нокса и его последователей подобно вторжению Алариха и Готов» [Ibid. P. 10]. Обращаясь к шотландской истории, литератор с укоризной припомнил, как «во время Реформации, чтобы снарядить шотландскую армию, были разграблены две церкви и свинец был отправлен на продажу в Голландию. Я надеюсь, любой читатель обрадуется, что этот кощунственный груз был потерян в море» [Ibid. P. 25].

Вопреки собственному стремлению беспристрастно описывать жизненный уклад шотландцев, Джонсон постоянно подчеркивал пользу контактов северных соседей с англичанами. Так, даже Оливер Кромвель, о котором литератор никогда не придерживался высокого мнения, выглядел спасителем шотландцев. «То, что римляне сделали для других народов, то в значительной степени сделано Кромвелем для шотландцев, завоевывая, он дал им цивилизацию и путем насилия научил искусству мира» [Ibid. P. 28], – уверял Джонсон. Более того, лексикографу рассказали в Абердине, что только от солдат Кромвеля шотландцы узнали, как изготавливать обувь и выращивать капусту. Сам он с иронией отметил: «как они жили без капусты не так легко догадаться», однако «число тех, кто ходит босиком, по-прежнему достаточно <…> На островах даже сыновья джентльменов ходят первые годы своей жизни босиком» [Ibid. P. 29]. Разумеется, по мнению Джонсона, для бедных шотландцев Уния с Англией стала лучом света: «пока Уния не вынудила их познакомиться с английскими манерами, обрабатывание земель было неумелым, а их домашняя жизнь бесформенной, их пища была груба, как на пирах эскимосов, и дома грязны, как хижины готтентотов» [Ibid].

Примечательно, что в «Путешествии…» не встречается ни слова о событиях 1745-1746 гг. и битве при Каллодене, когда побежденный Карл Эдуард Стюарт бежал на остров Скай, откуда, с помощью Флоры Макдональд, смог бежать во Францию. Тем не менее, интерес литератора к этим событиям был очевиден, о чем свидетельствует дневник Босуэлла. В письме от 30 сентября 1773 г. к миссис Трейл Джонсон с гордостью сообщал, что «имел честь повстречать прославленную мисс Флору Макдональд» [Letters of Samuel Johnson. / ed. by B. Redford. Oxford, 1992. Vol. II: 1773–1776. P. 90], которую прочили в невесты Молодого Претендента. Однако литератор не счел нужным затрагивать эту тему, видимо, сочтя ее выходящей за рамки сочинения об образе жизни британской окраины.

Таким образом, в представлении доктора Джонсона Англия являлась самой совершенной страной в несовершенном мире. Изучая другие культуры и народы, литератор непрестанно сравнивал их с английским эталоном. «Путешествие по западным островам Шотландии» доктора Джонсона является ярким подтверждением этому. Несмотря на желание наиболее полно и правдиво описать собственное путешествие в Шотландию 1773 г., Джонсон остался верен существовавшим чисто английским стереотипам о своих северных соседях. В итоге, «Путешествие…» оказалось не беспристрастным дневником этнографа, а образчиком формировавшегося в Англии на протяжении XVIII столетия образа «других» шотландцев.

И.А. Кукушкина
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Историческая память украинского народа о Первой мировой войне

Исследования, посвященные исторической памяти украинского народа о войне 1914–1918 гг., в исторической науке практически отсутствуют. Украинские исследовали А.П. Реент и Б.М. Янчишин в обобщающей статье об украинской историографии по истории Первой мировой войны [Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. Київ, 2013. С. 18-60] называют лишь одну работу, посвященную данной проблематике [*Горбик В., Денисенко Г.* Воєнна історія України в пам'ятках. К., 2003].

Собственно и сама политика исторической памяти о Первой мировой войне на государственном уровне в Украине до последнего времени также отсутствовала. Объясняется это тем, что события Первой мировой войны оказались заслоненными событиями 1917–1920 гг., а затем и Второй мировой. Однако в народе эта память сохранилась в песнях, рассказах, рисунках, художественных произведениях.

Художественная литература, прежде всего произведения О. Кобылянской, Н. Кобринской, О. Маковея, О. Олеся, В. Сосюры, В. Стефаника, оказалась настоящим хранилищем исторической памяти о войне. Хотя в украинской литературе военного периода и встречаются сочинения, воспевающие военные баталии, герои большинства украинских произведений не понимают ни целей, ни сущности войны. Не понимает, за что именно он осужден на смертную казнь, герой рассказа О. Кобылянской «Письмо осужденного на смерть воина своей жене», заснувший в окопе во время отступления австрийской армии. Не

понимают логики действий ни российских, ни австрийских войск герои новелл Марко Черемшины «Село во время войны».

Трагедия разделенного народа во время войны нашла отражение в рассказах Ольги Кобылянской, поэмах Тодося Осмачки, стихах Олександра Олеся и Осипа Маковея. Новелла Василя Стефаника «Мария» раскрывает невозможность для простого человека осознать, как люди, говорящие на том же языке и поющие те же песни, могут быть солдатами вражеской армии. «Проклятьем Каина» называет судьбу украинского народа вынужденный зарабатывать свой хлеб на киевских скотобойнях поэт О. Олесь. В то же время война способствовала укреплению чувства национального единства (О. Маковей «Братья»).

Первой попыткой составить антологию народной памяти о Первой мировой войне стал сборник «Лысоня», включающий в себя документы различного характера: воспоминания, письма, тексты и ноты песен, поэтические произведения, фотографии [Лисоня. 1916–1996. Документи, щоденники, спогади, листи, поезії, пісні, знимки. Бережани, 1996]. В сборнике, посвященном 80-летию сражения у г. Лысоня, прослеживается также состояние могил павших воинов, начиная с 1920-х гг. по настоящее время, и действия местного населения по сохранению памяти о них, несмотря на противодействие властей – сначала польских, а затем советских. Десятилетие спустя была издана книга «Брусиловский прорыв на Волыни», включающая в себя не только различные архивные материалы (мемуары, фотодокументы, рисунки того времени), но и краткий обзор и анализ исторических событий 1916 г. «Это издание никоим образом нельзя трактовать как попытку обвинения или оправдания действий всех участников конфликта, но лишь как незаангаживированны взгляд на события, который произошли почти столетие тому назад», – отмечают составители сборника [Брусиловський прорив на Волині: факти, цифри, дати, документи, матеріали, карти, телеграми, мемуари, фотографії, раритети. Луцьк, 2006].

С конца 80-х гг. XX века большое внимание стало уделяться выявлению и реставрации могил и памятников погибшим в Первую мировую войну. В 1988 г. с инициативою поиска могил воинов Первой мировой войны выступила редакция журнала «Памятники Украины». Во время акции «Забытые могилы» было выявлено и приведено в порядок сотни могил членами как украинских, так и немецких и австрийских общественных организаций. При этом возобладал поход с позиций объективизма и общечеловеческих ценностей: выявляются и сохраняются могили всех погибших воинов, независимо от того, на какой стороне они воевали. В частности, было приведено в порядок одно из крупнейших мемориальных кладбищ, расположенное в с. Звенячин Заставницкого района в Черновецкой области, где были похоронены 11830 воинов

немецкой и российской армий. Сооружаются и новые памятники. Так, в 2011 г. около с. Керниця (Львовская обл.) при участии представителей Австрии и Венгрии был открыт памятник на солдатском кладбище, где были захоронены останки 282 воинов австрийской и российской армий – участников Городокского сражения. Последней по времени акцией памяти, начатой украинской общественностью, является составления списка всех памятников и памятных мест, связанных с Первой мировой войной. [Вікіпедія: Вікі любить пам'ятки/Українські пам'ятки Першої світової війни // http://uk.wikipedia.org].

Подводя первые итого изучения исторической памяти украинского народа о войне 1914–1918 гг., можно отметить следующее. В исторической памяти эта война сохранилась, с одной стороны, как чужая, братоубийственная, с другой – как событие, укрепившее свободолюбивый народный дух и чувство национального единства народа, разделенного государственной границей. Исторической памяти украинцев чужд этнический национализм – сберегается память обо всех погибших в годы войны, независимо от их национальной и государственной принадлежности.

В.В. Кутявин
(Самарский научно-исследовательский университет
им. академика С.П. Королева)

Гетерогенные этнические стереотипы как саморепрезентация

Гетерогенные этнические стереотипы, т.е. образы других этнических/национальных групп, формируют типы межэтнической коммуникации. Вместе с тем гетерогенные стереотипы неизбежно и невольно («автоматически») характеризуют собственную культурную общность, которая обнаруживает свои глубинные качества и смыслы в соприкосновении с другой культурной общностью. Диалог культур разрывает их замкнутость и преодолевает однозначность, позволяя глубже понять их культурную «запрограммированность» (закодированность), которая чаще всего и порождает этнические стереотипы. Как обычно бывает в ситуации диалога, размышления о другой этнической общности прямо или неосознанно соотносятся с собственной судьбой, а значит неизбежно проецируют «свои» («эталонные») ценности на «чужие», при этом другие культуры рассматриваются сквозь призму своей. Получается, что любой портрет «чужого» становится одновременно и саморепрезентацией «своей» культурной общности.

Представления поляков о русских и России, сложившиеся в эпоху романтизма, обладают чрезвычайной притягательностью для ис-

следователя этнических стереотипов. Это объясняется продолжительностью и многосторонностью контактов двух соседних народов, особым – системным – характером польско-русского взаимодействия, неизменно сопровождавшегося рефлексией и саморефлексией и формировавшего, в конечном счете, облик и судьбу этих наций.

После восстания 1830–1831 гг. «постижение» России польскими мыслителями становится особенно разносторонним и настойчивым, отражая сложные взаимовлияния польской и русской мысли, выделяя почти современный набор проблем и дилемм, передавая взаимные ненависть и восхищение во взаимном восприятии двух народов. Это противостояние двух народов как коллективных индивидуальностей было поднято на историософский (метафизический) уровень. Необычайную популярность приобретает представление о непримиримом столкновении двух цивилизационных кругов, двух систем – свободы и неволи, конституционализма и деспотизма. Радикальная русофобия для многих польских писателей становится патриотическим ритуалом, интеллектуальным предрассудком и эмоциональным предубеждением, превращая русских, инородцев и иноверцев в идеального «чужого». Польский романтизм, переживший расцвет в 1830–1850-х гг., выработал новые понятия, которые позволяли по-новому моделировать реальность. Писатели романтики настойчиво искали национальный дух, культурный «код» народов, стремились обнаружить особенности национального характера. Нет более богатого инструментария для анализа национальной проблематики, чем созданный романтиками, в том числе и польскими. Время романтизма оставило нам много понятий, аналитических категорий и эмоциональных подходов для постижения национальных «душ». Образ русских и России формировался, таким образом, в атмосфере идейного и политического максимализма. С тем большей выразительностью обнаруживались уникальность и своеобразие культурного сообщества поляков, а суждения о русских часто характеризовали и поляков. Иногда даже больше поляков, нежели русских.

С.С. Лазарян
(Пятигорский государственный лингвистический университет)

Российская имперская идентичность и условия северокавказских реалий первой половины XIX века

Российская имперская идентичность представляла собой модель универсальной цивилизации, объединявшей множество культур и этносов, которые получали в ней свое место, но продолжали

использовать многие свои архетипические мотивы, позволявшие разным народам сохранять свое особенное лицо в симфонии общего для них имперского пространства. Предоставив имперский инструментарий для последующего конструирования имперской идентичности, Россия не препятствовала традиции, не мешала этническому многоголосию, требуя лишь лояльности имперскому универсализму, который определялся ею как общее благо. Россия выплавляла в своем котле нечто особенное, что давало всем народам возможность сохранять собственное естество под покрывалом имперской монархии и что, в конечном счете, примиряло их с имперскими смыслами даже тогда, когда империя приходила к ним незваной.

Державное начало предопределяло условие многонародности имперского мира, созидающего «сверхнацию», и предоставляло шанс существованию культурной инвариантности. Характерный для российского имперского мира патернализм как сущностное проявление державных институций был понятен и не вызывал отторжения у многих народов, так или иначе ставших частью имперской «сверхнации». Державный патернализм даже мог выступать своеобразной компенсацией там, где наблюдалось ослабление или умаление традиции.

Следует также обратить внимание на функциональный аспект российского имперского мира. Россия никогда не выступала как восточная деспотия с характерным для нее тотальным государственным регламентированием общественной жизни и стремлением к униформизму. Россия представляла собой «метаэтническую общность», управляемую не национальной, а сословной монархией, «терпимой к плюрализму образов жизни, верований, этнических традиций» [*Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А.* Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты. М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 303].

Осваивая новые социокультурные пространства, имперский мир сохранял внутри себя определенную переходность социокультурных форм, определявшихся сосуществованием русских культурных смыслов и культурно-конфессиональных смыслов всех других народов, которые так или иначе были причастны к имперскому миру, но никогда не сливались во всеединство.

В силу того, что российская имперская идентичность формировалась в условиях полиморфизма этничности, конфессионализма, культурности и многоязычия, она обладала возможностью найти, в конце концов, общий язык с любой очередной этничностью, ввести ее в свой амбивалентный мир без критического ущерба для новообращенных, которые в имперской оболочке не только не исключали, но причудливым образом притягивались друг к другу. Эта изна-

чальная сложность и разнородность культурной основы, в которой присутствовали элементы славянской, угро-финской, тюркской, монгольской, еврейской, византийской и западной культур, служила фундаментом и площадкой объединения всех векторов развития в рамках имперской структуры.

Не представляя собой социально-культурного монолита, не преодолевая до конца своей внутренней противоречивости, имперская идентичность скреплялась достаточно прочным обручем – монархией, не мешавшей лояльной ей традиционности всех видов сосуществовать и развиваться в качестве элементов имперского мира. Потому в рамках имперского монархизма все составляющие российской имперской идентичности выступали взаимодополнениями даже тогда, когда взаимоотталкивались в ходе исторической примерки.

Конфликтность, которая время от времени выходила на авансцену исторического развития российского имперского мира, можно назвать стабильной противоречивостью. До тех пор, пока она развивалась в рамках и под эгидой многозначности, цементируемой универсальностью монархизма, данная конфликтность была лишь проявлением процессов исторической «притирки» составляющих и новоприобретаемых элементов имперской цивилизации, за которыми следовало их постепенное сопряжение.

Российский имперский мир выступал как мир миров, когда он приблизился к миру Кавказа, который также представлял собой своеобразный мир миров, но иного масштаба и структурности. Проблема состояла в том, что российская социокультурная многоликость была полиморфизмом универсальности, а мир миров Кавказа был полиморфизмом традиционности, выступавшей не как многомерное единение, а как множество единичностей. Потому их первоначально конфронтационное сопряжение, несмотря на культурную разноликость, имело шансы на взаимопонимание, поскольку их внутренняя структура была сходной и функционировала на платформе полиморфизма.

В дальнейшем присутствие Российской империи в географическом и социально-культурном пространстве Северного Кавказа стало менять смыслы и контексты существования горских обществ. Горским народам были предложены новые исторические горизонты, от которых они были слишком отдалены не только всем прежним ходом исторического развития, но и часто сущностными смыслами их социокультурного фундамента.

Внутренние институциональные социальные нормы и внешнее окружение, определявшие многовекторное развитие народов Северного Кавказа, способствовали выработке специфической идентичности, в которой преобладали милитаристские мотивы. Это были обще-

ства, рожденные войной и для войны. Иных условий существования за многовековую историю горцев не было не потому, что горцы отличались какой-то исключительной приверженностью к агрессивности, а потому, что агрессия со стороны внешнего окружения вынуждала горский мир существовать в условиях перманентной войны.

В ареале изначального существования народов Северного Кавказа необходимость этнической идентичности предопределена исторически в силу того обстоятельства, что вся история Северного Кавказа есть история постоянной социальной нестабильности, напряженность которой колеблется, но никогда не угасает. Идентичность в таком социально-культурном пространстве означала мобилизацию и единственно возможную форму аварийной защиты от внешних угроз, средство самосохранения.

Столкновение с новыми обстоятельствами, возникшими в процессе коммуникации между Северным Кавказом и Российской империей, сопровождалось набором инноваций, которые ставили вопрос об актуальности местной идентичности. Например, основы местных горских идентичностей столкнулись с набором имперских требований – признания первостепенности монархии, использования русского языка при контактах с официальными институциями, а также с имперской системой судопроизводства и имперской системой права, городским образом жизни и повседневного быта и др. Приход русских в горы стал сопровождаться непривычными или обременительными для местных жителей способами обыденного существования, формы которого сильно изменяли прежнее горское общежитие. Непривычной и малопонятной местному населению была и форма административно-политического управления на территориях, подконтрольных российским властям.

Горские общества часто не понимали сути происходящего, но испытывали множество препон и требований, противных их традиционному существованию, которые легко возбуждали почти всеобщее негодование против русских. Этим умело пользовались представители местных исламских элит, которые поражались в правах и теряли свой прежний статус в новой структуре имперской централизаторской политики. В разных частях Северного Кавказа вспыхивали вооруженные столкновения между имперскими войсками и кавказскими ополчениями.

В ответ на сопротивление имперскому обновлению установилась практика карательных походов. Изменился даже сам язык, на котором российские власти стали разговаривать с непокорными горцами, называя их исключительно мошенниками и разбойниками, что «почти сделалось официальным титулом горца» [Народно-

освободительная борьба Дагестана и Чечни под руководством имама Шамиля: сб. документов. М.: Эхо Кавказа, 2005. С. 4].

Только чрезвычайные военные, дипломатические и административные усилия М.С. Воронцова, которые продолжились в действиях А.И. Барятинского, переломили ситуацию в пользу России. Князья Воронцов и Барятинский подготовили условия и показали горцам, прежде всего тем, кто был способен и хотел видеть, пути позитивного сожительства с империей. К 60-м гг. XIX века, когда Российской империи удалось доказать горским обществам, что ее присутствие в кавказском регионе имеет безвозвратный характер, а все иные цивилизационные альтернативы окончательно лишились возможности быть ей конкурентами, горская традиционность стала постепенно приоткрываться навстречу имперским импульсам. Внутренняя жизнь горских народов сделалась доступнее для имперских влияний, а горская традиционность приобретала вид сложной конструкции, на которой стали прививаться имперские ценности, превращая ее в идентичность-гибрид. Такая идентичность не была устойчивой, содержала в себе большое число переходных градаций соотношения локальности и новаций, которым еще предстояло трудное самоопределение-выбор, который первоначально реализовывался, по большей части, на индивидуальном (семейном) уровне.

М.П. Лаптева
(Пермский государственный национальный
исследовательский университет)

Методологические рефлексии Поля Рикёра

Французский философ П. Рикёр (1913–2005) был членом десяти академий и почетным доктором трех десятков университетов разных стран. У него было редкое амплуа: его называли «публичным интеллектуалом», имевшим безупречную профессиональную компетентность во многих науках. В своих многочисленных интервью и выступлениях он настаивал на ответственности человека перед историей [*Рикёр П.* Память, история, забвение. М., 2004. С. 5]. Для методологии истории Поль Рикёр интересен и важен не меньше, чем Карл Ясперс, книгу о котором он опубликовал еще в 1947 году. Тем самым он «открыл» для французов этого немецкого автора, подобно тому, как Р. Арон «открывал» для них М. Вебера.

Большое место Рикёр уделял культурно-историческим проблемам, занимался анализом рефлективного потенциала гуманитарных наук [см.: *Клименкова Т.А.* Проблема культурно-исторического твор-

чества в феноменологической герменевтике П. Рикёра // Французская философия сегодня. М., 1989. С. 245-257], искал возможности их диалога, его волновали эпистемологические вопросы исторического познания. Он был уверен в том, что для создания целостного представления об историческом прошлом необходимо сочетать социологические и гуманитарные подходы [см.: *Калимонов И.К.* Концепция исторического повествования Поля Рикёра // Уч. зап. Казанского государственного университета. 2005. Т. 147, кн. 2. С. 85-99].

Рикёр нередко употреблял термин «кризис рассказа», понимая под ним отход многих современных историков от строго нарративной формы исторического изложения. Это было проявлением прагматического поворота в методологии: не случайно Рикёра называли даже идейным символом прагматической парадигмы.

Его концепция нарративной идентичности давала несколько иное, чем в США, понимание «возрождения нарратива». Если для американских историков новизна «возрождения» была связана с применением информационных технологий, то европейское (в данном случае именно рикёровское) понимание «возрождения нарратива» было, на мой взгляд, своеобразной реабилитацией метода описания, который в XX веке (и особенно в СССР) нередко буквально клеймился упреками в «ненаучности». При этом Рикёр не призывал вернуться к простой повествовательной форме в духе историописания минувших столетий: акцент его подхода был связан с тем, что автор какого-либо повествования репрезентирует в нем свое субъективное переживание жизни, а «всякая история Жизни смешивается с историей других жизней» [*Рикёр П.* Путь признания. Три очерка. М., 2010. С. 100].

Историк, по мнению Рикёра, «не является простым нарратором: он раскрывает мотивы, по которым он считает какой-то фактор – скорее, нежели другой, – достаточной причиной определенного хода событий» [*Рикёр П.* Время и рассказ: в 2-х т. М.; СПб., 2000. Т. 1. С. 216]. Такая реабилитация метода описания опиралась на современную для конца XX века методологию, немыслимую без учета других методов исторического объяснения. Когда Рикёр связывает между собой различные виды исторического объяснения (прежде всего, мотивационное и причинное), то тем самым он проясняет и суть своего прагматизма: нерационально отбрасывать любые методы, выработанные представителями исторической профессии даже тогда, когда еще не существовало сколько-нибудь профессиональной методологии вообще.

Рикёра волновало, до какой степени нарративистская интерпретация отражает «эпистемологический разрыв, возникающий между историями, которые рассказывают, и историей, которую выстраивают по следам документов»? [*Рикёр П.* Память… С. 338]. Поскольку структуры связаны с описанием, а события – с рассказом,

то именно рассказ связывает события и структуру, которая становится условием его возможности [Там же. С. 344-345].

Один из методологических уроков Рикёра заключается в том, что нельзя изучать историческую память без учета диалектики памяти и забвения. Забвение, по Рикёру, – это символ исторического состояния, точнее, символ его непрочности. С одной стороны, вряд ли историк может без ущерба для своего профессионализма глубоко окунуться в постижение психологических механизмов такого феномена, как забвение. А с другой стороны, этого требуют современные представления о важности междисциплинарного подхода к историческому материалу.

Согласно Рикёру, процедура объяснения в истории предполагает *описание* внутренних отношений одного события с другими и помещение его в исторический контекст, что дает возможность превратить груду событий в определенную последовательность: «объяснение целого будет зависеть от понимания связей, которые существуют потому, что его частям придается определенная форма» [*Рикёр П.* Время… С. 234].

Своеобразная формула Рикёра – «больше объяснить, чтобы лучше понять» нацеливает на детальный анализ факторов и отбор звеньев причинности, «которые должны войти в историческое изложение» [Там же. С. 215]. Его мысль помогает историкам найти новые возможности изучения взаимозависимости исторического понимания и исторического объяснения.

Называя историографию «архивированной памятью», он сближает объяснение и понимание настолько, что чуть ли не делает из этих понятий одно слово (в русском переводе его книг это выражено сочетанием двух слов через косую черту). Мне, как и И.Н. Ионову, импонирует в методологии П. Рикёра то, что она «не сводится к оправданию объяснения или понимания, она принципиально диалогична» [*Ионов И.Н.* Цивилизационные представления на рубеже XXI века: перезагрузка// Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы. М., 2010. С. 226].

Формулируя свои вопросы к источнику, историк пытается понять смысл событий и действий людей, участвующих в этих событиях. Для Рикёру существенно подчеркнуть, что понимание не противостоит объяснению. В диалектике этих понятий ему важнее то, что их объединяет, – это сознание эпохи, своеобразный «анализ анализов» [*Рикёр П.* История и истина. СПб, 2002. С. 39], анализ всех взаимодействий и многочисленных отношений.

В размышлениях над проблемой понимания Рикёру помогло изучение теории психоанализа и исследований, связанных с проблемой тревоги. А вот для Макса Вебера это было бы совершенно неприемлемо. Французский последователь Вебера Р. Арон подчеркивал, что вебе-

ровское «понимание» не связано с загадочными, заумными или сверхразумными способностями, потому что «мы не можем понять сразу, без предварительного исследования, значение поведения других» [*Арон Р.* Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 494].

Понимание для Вебера было ступенью к объяснению, иначе говоря, Вебер предпочитал видеть разницу между этими процедурами в работе исследователя. Цель исторического исследования, по Веберу: «понимая, объяснить» [*Вебер М.* Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990. С. 561]. Главное в его методе понимания – выявить смысл существующих ментальных процессов. Понимание для Вебера – это понимание причин, а сама проблема причинности в истории, согласно Веберу, «всегда ориентирована на сведение конкретных результатов к их конкретным причинам» [*Вебер М.* Критические исследования в области логики наук о культуре // Там же. С. 468].

«Социология понимания» Вебера не требовала от исторической науки отказа от веры в технику «понимания». Вебер полагал, что «понимание» может быть только одним из способов объяснения исторических событий, но не может заменить само объяснение. А Рикёр, подчеркивая, что цель историка – понять и объяснить, использовал двойной термин «объяснение/понимание», отказываясь тем самым противопоставлять объяснение пониманию. Он был уверен в том, что «нет оснований для различения рассказа, понимания и объяснения» [*Рикёр П.* Время…С. 198].

Ссылаясь на Дильтея, считавшего интерпретацию особой формой понимания, Рикёр дополняет его мысль выделением трех уровней исторического дискурса: документальный уровень, уровень объяснения/понимания и уровень литературной репрезентации прошлого [*Рикёр П.* Память… С. 260]. Всякое понимание, по Рикёру, опосредовано знаками, символами и текстами. Ему было важно, что символы обладают двойным смыслом: буквальным и иносказательным, духовным. Благодаря этому символ «зовет к интерпретации». Понимание возможно, если оно включает семантический, рефлексивный и экзистенциальный подход [Современная западная философия. М., 2009. С. 16].

По мнению И.К. Калимонова, смысл концепции Рикёра «заключается в объяснении способов изложения исторических реконструкций, позволяющих соединить обыденное сознание с научным объяснением» [*Калимонов И.К.* Концепция исторического повествования… С. 97].

Суммируя все вышеизложенное, я хотела бы настаивать не только на своеобразии подходов французского мыслителя к нескольким важным вопросам исторической методологии, но и на его глубоком проникновении в результаты того пути, который историческое познание совершило почти за столетие, прошедшее со смерти Вебера.

Ж.Е. Левина
(Омский государственный педагогический университет)

Постмодернистские основы конструирования исторической памяти в советской культуре

Под постмодернизмом в данной работе понимается тип культуры, синтезирующий особенности традиционной и современной культур. Такая модель включает светскую организацию социальной жизни, но признание религии, мифологии в духовной сфере, сочетание мировоззренческих и инструментальных ценностей [Культура: теории и проблемы. М.: Наука, 1995. С. 271].

Память той или иной социальной общности (народа) о важнейших событиях своего прошлого является одной из наиболее специфических традиций-воспоминаний, формирующих стереотипы воспитания [*Лотман Ю.М.* Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб., 2000. С. 124, 129].

Советский период в истории России особенно интересен в рамках заявленной проблематики тем, что формирование исторической памяти характеризуется некоторыми новыми чертами. Создание исторической памяти являлось частью государственной политики. Основой комплексной программы рациональных действий, направленных на создание исторической памяти советского народа, становится осознанная интеллектуальная традиция, порожденная «естественнонаучным бумом» второй половины XIX в., когда работа Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» сделалась своего рода «антибиблией», превратившись в трактат религиозный и этический, политический и социологический. Цитатами из писем К. Маркса ярко проиллюстрировал эти особенности Л.Е Кертман. В 1860 г. Маркс писал Энгельсу о работе Дарвина: «эта книга дает естественноисторическую основу для наших взглядов». А в письме к Лассалю уточнял: «…она годится мне как естественнонаучная основа понимания исторической борьбы классов» [*Кертман Л.Е.* История и культура стран Европы и Америки (1870-1917). М.: Высшая школа, 1984. С. 128].

Формирование исторической памяти происходило на нескольких уровнях. Декретами, принятыми в первые же месяцы советской власти, устанавливалась государственная монополия на учреждения, играющие основную роль в формировании исторической памяти: «Об охране библиотек и библиохранилищ» (17 июня 1918 г.), «О реорганизации и централизации архивного дела» (1 июля 1918 г.) «Об охране научных ценностей» (19 декабря 1918 г.), «О реорганизации, приеме на учет и охранение памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и

учреждений» (5 октября 1918 г.) и др. [*Ильина Т.В.* История искусств. Отечественное искусство. М.: Высшая школа, 1994. С. 328].

На государственном уровне сознательно отбирались и рекомендовались к внедрению определенные элементы, которые должны были стать основой исторической памяти советского народа. На первый план выходила не столько этническая самоидентификация, сколько разделение на «своих» и «чужих» по признаку классовому.

Осознание своих задач декларировалось в программных документах художественных объединений: «Революционный день, революционный момент – героический день, героический момент, и мы должны теперь в монументальных формах стиля героического реализовать свои художественные переживания» [Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1412. Оп. 1. Д. 296. Л. 4].

Стереотипы формировались и закреплялись во всех сферах культуры. Народное творчество разделялось на «свое» и «чужое» [*Гуревич А.* Фольклор и работа литорганизаций // Сибирские огни. 1935. № 5. С. 135]. Произведения искусства воспринимались как враги или соратники. Действия, предпринимаемые по отношению к таким «противникам», полностью соответствовали способам, применяемым силовыми структурами в борьбе с преступниками. В 1931 году заместитель директора Государственного Западно-Сибирского музея считал, что «необходимо **обезвредить** [здесь и далее выделено мной – *Ж.Л.*] картины, но не совсем их изъять и если **изъять**, то **на срок**, до тех пор, когда они не будут обезврежены» [Исторический Архив Омской области. Ф. 1076. Оп. 1. Д. 129. Л. 27].

Музеи целенаправленно подбирали сведения и оставляли в сознании те факты, которые наиболее ярко иллюстрировали подвиг как мученическую смерть. Западно-Сибирский краевой музей в 1931 году ставил задачу собрать материал, характеризующий классовую борьбу на современном этапе: «убийства советских партийных работников кулаками, похороны жертв, суды, пожары». Отмечалось, что в музее эта проблема «отражена совершенно недостаточно». Мероприятия по сохранению в памяти Гражданской войны оставляли в культурном городском ландшафте места, связанные с самыми трагическими событиями. Памятными досками были отмечены конспиративные квартиры и здание бывшего кадетского корпуса, в подвале которого пытали и расстреливали коммунистов [Там же. Д. 165. Л. 6]. В материалах, посвященных истории ВКП (б), имелся специальный раздел «жертвы колчаковских репрессий» [Там же. Д. 70. Л. 5].

Деятельность представителей художественной интеллигенции в рамках государственного заказа создавала унифицированную историческую память советского народа, активизируя православные ценности. Представители революционного лагеря обретали черты правед-

ников, для которых несправедливое страдание составляет почетный долг. Классовая борьба совпадала с пониманием цели и смысла жизни в российской теологии, получая все признаки христианской добродетели, служащей не только личному совершенствованию человека, но и прославлению жизни, только достигнув глубины страданий, облачившись в одеяние скорби [*Тареев М.* Цель и смысл жизни // Смысл жизни: антология. М.: Прогресс, 1994. С. 178]. Оптимизм напоминает жизнерадостность русского религиозного искусства, воплотившего «мысль о блаженстве, которое вырастает из страданий», где «самая скорбь претворяется в радость» и «к радости всеобщего воскресения нельзя пройти мимо животворящего креста Господня» [*Трубецкой Е.* Умозрение в красках // Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв.: антология. М., 1993. С. 178].

Квинтэссенцию представлений о классовой борьбе и героизме в советской культуре определил Вс. Вишневский в названии своей пьесы: «Оптимистическая трагедия». Художник Н.К. Сверчков, работавший в Омске, анализируя собственное творчество, среди картин, посвященных подвигам советских людей в Гражданской войне, назвал «Гибель В.А. Шляпниковой. Чехословацкий корпус в Сибири», «Братская могила», «Гибель комиссара П.Е. Крепкова» и др. Автор специально остановился на собственном понимании революционного героизма и подвига: «Во всех этих картинах герои погибают**,** но смерть их прекрасна, умирая, они остаются жить в сердцах людей. В раскрытии этого жизненного устремления заключена основная сила реалистического искусства» [*Сверчков Н.К.* Счастье. Чебоксары, 1976. С. 76-77].

В сценах жизни первобытного человека автор отразил этапы развития человечества, создав живописную интерпретацию теории Ч. Дарвина и работы «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса: «“Утро” – изображен первобытный человек. Утро символично: это пробуждение человечества, начало истории разумного. Шкура на человеке – первый шаг человека в труде, сознательных действиях. Наступление дня неотвратимо, ночь животного состояния прошла. Картина “На страже” символизирует охрану этого дня, защиту завоеванного человеком пути к прогрессу. В картине “Первобытная семья” изображена реальная группа людей – символ сплочения человеческого коллектива на Земле. Если это так, утверждал я в этих картинах, если человеческое начало сумело победить силы первобытного хаоса, оно способно восторжествовать и ничто не остановит его на пути вперед: победа гуманизма, любви к жизни, человеческого разума неизбежна» [Там же. С. 77].

Вырабатывание новых «традиций-воспоминаний» в системе советской культуры включало не только создание новых символов, но и использование архаических, а также актуализацию религиоз-

ных архетипов. В сознании людей свободно соединялись естественнонаучные достижения, установки диалектического и исторического материализма и мифологических образы.

О.Б. Леонтьева
(Самарский научно-исследовательский университет
им. академика С.П. Королева)

Историческая память современного российского общества как исследовательская проблема*

«Мемориальный поворот» в исторической науке (поворот к изучению памяти об историческом прошлом, живущей в сознании общества) по своей значимости выходит далеко за рамки науки академической. В социокультурном плане это – одно из проявлений «мемориального движения», широкого общественного интереса к проблемам исторической памяти. Ярким показателем актуальности этой проблематики для мировой общественности является присуждение Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлане Алексиевич. Перед нами – редкий для современной гуманитаристики пример, когда методологические повороты в историческом знании свидетельствуют о переменах в исторической культуре всего общества.

В тех случаях, когда историк обращается к изучению коллективной памяти своих соотечественников, исследование приобретает рефлексивную природу: выяснив, что именно люди помнят о своем прошлом, а что предпочитают забывать, мы делаем шаг к пониманию того, вокруг каких идей, символов и ценностей строится коллективная идентичность современного общества. Так, в знаменитом исследовании Пьера Нора и его коллег не просто предпринят анализ «мест памяти» французского общества конца XX века, но на основе этого анализа выделено несколько исторически сложившихся типов национальной памяти. Роль историка в «мемориальном движении» может быть различной: на практике историк может взять на себя и миссию активного участника, инициатора общественно значимых коммеморациий, бойца на фронтах «войн памяти» – и функцию эксперта, критически оценивающего содержание тех или иных проектов «общего прошлого». Однако и в том, и в другом случае исследование становится не только решением научной проблемы, но и выражением гражданской позиции.

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14–01–00418а «Исследовательские стратегии и практики историков России (начало XXI века)».

В последние годы в российской исторической науке сложилась своя «историография памяти»: особое научное направление, для которого характерна ярко выраженная междисциплинарность, широкий спектр источников (от материалов «устной истории» и социологических опросов до художественных воспроизведений прошлого) и столь же широкий диапазон методов их изучения, почерпнутых из лингвистики, психологии, этнологии, социологии и других гуманитарных дисциплин. В этом массиве исследовательской литературы можно особо выделить такие труды, где предметом изучения становятся структура и содержание памяти современного российского общества: и воспоминания о недавнем прошлом, охватывающие временной горизонт в три-четыре поколения («коммуникативная память», по терминологии Я. Ассмана»), и представления об отдаленном историческом прошлом («культурная память»).

Одну из ключевых проблем, которая поднимается в этих работах, можно сформулировать следующим образом: как отражена в памяти наших современников трагическая и противоречивая история XX века? Поиск ответа на этот вопрос тесно связан с другой проблемой: насколько устойчивыми оказались в современных условиях те формы и содержание коллективной памяти, которые сформировались на предшествующих этапах истории? Целый ряд исследований, выполненных в русле «историографии памяти», посвящен анализу культуры памяти, сложившейся в советский период.

В рамках идеологического проекта по формированию новой советской идентичности (а следовательно, и единой картины общего исторического прошлого) были созданы свои исторические мифы и пантеон исторических героев, свои практики коммеморации, своя символика, а также сформировались свои запретные темы, зоны умолчания и стратегии обхода травмирующих воспоминаний. Тем не менее, в трудах современных историков культура памяти советского периода не предстает тотальной или монолитной, полностью подвластной идеологическому конструированию. Напротив, важной исследовательской задачей становится выяснение того, как соотносились «большой нарратив», «официальный дискурс» памяти – и личная, семейная память, коммуникативная память поколений: см. коллективные труды «Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа» (М., 2005), «Век памяти, память века» (Челябинск, 2004), «“Работа над прошлым”: XX век в коммуникации и памяти послевоенных поколений Германии и России» (Челябинск, 2014). Предметом исследования становятся социокультурные практики сохранения семейной памяти в условиях беспрецедентной социальной мобильности XX века (работы С.А. Чуйкиной, И.В. Нарского и др.); альтернативные и маргинальные версии «общего прошлого»,

бытовавшие в культурной памяти советских крестьян и горожан (работы И.Е. Козновой, А.С. Майер). Исследовательские задачи переплетаются здесь с гуманитарной миссией ученого – потребностью услышать полифонию голосов, доходящих из недавнего прошлого.

В свою очередь, изучение содержания исторической памяти российского общества начала XXI в. позволяет задаться вопросом: насколько успешными оказались попытки построить новую, «постсоветскую» идентичность, предпринимавшиеся с 1990-х гг.? Стратегии осмысления исторического прошлого – прежде всего советского – в современной российской культуре (героизация, ностальгия, «нормализация» прошлого, «работа над прошлым», предполагающая общественное обсуждение его трудных вопросов) становятся предметом анализа, в частности, в работах Б.В. Дубина «Россия нулевых» (М., 2011), Н.Е. Копосова «Память строгого режима» (М., 2011), А. Эткинда «Кривое горе» (М., 2015). Как правило, исследователи отмечают многослойный характер современной исторической памяти, фиксируют внимание на том, как трактуются в ней ключевые события истории XX в. (Великая Отечественная война, массовые репрессии), стремятся выявить причины «ренессанса» тех культурных форм памяти и забывания, которые сложились еще в советскую эпоху.

Особый круг исследований составляют работы, посвященные изучению образов прошлого и исторических мифов в сознании общества. Под историческими мифами, как правило, понимаются либо продукты осознанной идеологической манипуляции, либо более сложное и многомерное явление – образно-символические представления о прошлом, несущие в себе аксиологическую составляющую и необходимые обществу для сохранения идентичности и трансляции ценностных ориентиров. Изучение исторических мифов, унаследованных не только от советской, но и от более ранних эпох, выводит исследователей на важную проблему: в какой мере эти мифы вошли в современное историческое сознание, насколько они при этом подверглись переосмыслению и о каких социокультурных переменах в самом обществе это свидетельствует? Так, в исследованиях Б.В. Дубина, Л.Д. Гудкова и Н.Е. Копосова современные «битвы памяти» вокруг Великой Отечественной войны трактуются как показатель того, что в сознании современного российского общества память о войне выступает в качестве «мифа происхождения», – причем именно в форме «официального мифа», сложившегося в 1960–1970-е гг. С.Е. Эрлих интерпретирует деструкцию «декабристского мифа» в современном массовом сознании как свидетельство глубочайшего ценностного кризиса российской интеллигенции. В работах С.О. Шмидта, посвященных феномену популярности так называемой «фолк-хистори» (альтернативной истории) в массовом сознании,

предпринята попытка реконструировать социокультурный портрет «потребителя» этой литературной продукции и понять, какие глубинные общественные запросы она удовлетворяет.

Концепция исторической памяти, строящейся вокруг мифологизированных представлений о прошлом, в свою очередь, порождает ряд вопросов: каковы роль и место науки, профессионального исторического исследования в структурах коллективной памяти? Может ли наука играть активную роль в формировании исторического сознания общества? Ведет ли верификация исторических фактов к деконструкции устоявшихся мифов исторической памяти или к порождению новых? Ответ на эти вопросы важен не только для понимания структуры исторической памяти общества, но и для самоидентификации научного сообщества.

А.А. Линченко
(Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Липецкий филиал)

Этноцентризм и конфликтогенные версии прошлого в историческом сознании современной молодежи: опыт отечественных и зарубежных исследований*

Проблема этноцентризма в историческом сознании, политике памяти, и шире, – массовой исторической памяти относится к числу тех проблем, которые продолжают привлекать к себе внимание исследователей по всему миру. Избегая крайностей примордиалистского, конструктивисткого и инструменталистского подходов, в качестве отправной точки можно было бы предложить следующее определение этноцентризма: «Этноцентризм – это ***объективное, универсальное*** [здесь и далее выделено автором – *А.Л.*] свойство этнического сознания оценивать культуру других этносов, мир, историю сквозь призму ценностей собственной этнической группы, ***скрепляющее группу*** и потому изначально не приводящее к отрицательным последствиям» [определение принадлежит В.В. Ковригину, см.: *Линченко А.А., Ковригин В.В.* Этноцентризм и историческое сознание молодежи в современном мире. Воронеж, 2014. С. 40]. Полагая в качестве основы типологизации этноцентризма степень его проявления в различных общностях, В.В. Ковригин выделяет

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 16-33-01019 «Государственная политика памяти в Российской Федерации: философские основания и стратегии реализации».

следующие типы этноцентризма: гибкий этноцентризм, межэтническое сравнение, воинствующий этноцентризм. С этих позиций также можно было бы говорить о различной степени конфликтогенности версий прошлого в массовом историческом сознании и профессиональном сообществе историков и педагогов. Однако, о каких формах и видах этноцентризма можно было бы говорить применительно к европейской и российской молодежи? Насколько агрессивными являются его формы в историческом сознании молодых людей? Что является важнейшим источником сохранения тенденций этноцентризма в молодежном историческом сознании?

Ответить на эти вопросы нам поможет сравнительный анализ наиболее заметных социологических исследований исторического сознания молодежи в России и за рубежом, имевших место в 1980-х – 2000-х гг. Речь идет о кросс-культурных исследованиях в европейских и неевропейских странах, предпринятых в 1989–1992 гг. Й. Рюзеном и Б. фон Боррисом (ФРГ), в 1988–1997 гг. Ю. Тодоровым (Болгария), проекте «Youth and History» (1995, М. Ангвик и Б. фон Боррис), исследованиях 2000-х гг. в Квебеке (Ж. Летурно), ЮАР (Й. Вассерман, У. ван Бик), России (В.М. Немчинов, Ж.Т. Тощенко, М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги, В.М. Утенков и А.С. Закалин).

Сопоставляя результаты различных по своей направленности и объему выборки исследований по всему миру в отношении интересующей нас проблемы этноцентризма, можно сделать несколько выводов. Во-первых, несмотря на наличие неких общих моментов в историческом сознании молодежи на сегодняшний день трудно говорить о едином содержании этноцентризма в нем. Это связано с тем, что элементы этноцентризма в историческом сознании молодежи зависят от специфики конкретной территории проживания, социокультурного контекста, типа политической системы, и, конечно, уровня социально-экономического развития. Во-вторых, проблема этноцентризма в историческом сознании молодежи оказывается в фокусе внимания во второй половине XX века и новом тысячелетии только в тех странах, где этнонациональные отношения обострены (Германия, Болгария, Эстония, ЮАР, Канада). В-третьих, основным источником этноцентризма в историческом сознании молодежи является учебная деятельность. Ключевую роль в формировании исторических представлений учащихся играют учителя и учебники. Формы проявления этноцентризма в учебных книгах многообразны и вряд ли когда получится составить целостный их перечень. В исследовании выявлены три основные формы – преобладающее внимание к событиям национальной истории, апологетические и героизирующие оценки прошлого нации, прямые искажения исторических фактов. В учебниках последних двух десятилетий доминирует первая форма этноцентризма – прева-

лирующее внимание к событиям национальной истории. Вторым по значимости источником сохранения и развития этноцентризма в историческом сознании молодежи продолжает оставаться семейная память. В-четвертых, несмотря на сложность выявления универсальной структуры этноцентризма в историческом сознании молодежи на основе имеющихся зарубежных и отечественных исследований возможно определение тех сходных признаков и характерных черт, которые позволят в дальнейшем наметить универсальную типологию форм этноцентризма и выявить его сущность.

Анализ имеющихся к настоящему моменту исследований позволяет говорить о наличии как минимум трех уровней в историческом сознании молодежи: субнационального, национального и сверхнационального. Это и объясняет главную проблему в формировании равномерного, сбалансированного отношения к этноцентричному взгляду на прошлое – проблему совмещения региональной, национальной и глобальной истории. Однако содержательное наполнение каждого из уровней зависит от конкретного положения субъекта исторического сознания в социальном времени и пространстве, истории страны, ее исторической культуры. Исследования показали, что типы и формы этноцентризма в историческом сознании молодежи могут зависеть от религиозных (Болгария, ЮАР, Индия), политических (ФРГ, Россия), лингвистических (Эстония, Квебек) и конечно антропологических (ЮАР, Квебек, ФРГ) факторов. Более того, в транзитивных, трансформирующихся обществах интенсивность этнонациональных интерпретаций истории у молодых людей значительно выше, чем в обществах стабильного типа. Сходным моментом, имеющим универсальное значение, выступает и тематический интерес детей и юношества. Речь идет об отсутствии равномерного взгляда на историю не только всего мира, но и своей страны. Наибольшей популярностью пользуются самые яркие и заметные эпохи в истории своей страны, зачастую связанные с ростом ее значения на мировой арене, культурными или военными достижениями.

Этноцентризм проявляется даже в стремлении молодых людей по-иному рубрицировать хронологические границы той или иной эпохи или столетия. Также можно говорить о различном понимании роли пространства как символа этноцентризма в историческом сознании молодежи. По крайней, мере, в России пространственная локализация молодого человека (дом, улица, район, город) оказывает гораздо большее влияние на его историческое сознание, чем в ФРГ. Несмотря на универсальное значение учебной деятельности и семейной памяти, специфика этноцентризма в историческом сознании молодежи существенна и лишь в некоторой степени сопоставима, всегда завися от перипетий региональной исторической культуры и исторической судьбы.

А.С. Листкова
(Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал Волгоградского государственного
медицинского университета Минздрава РФ)
С.С. Минц
(Кубанский государственный университет,
Краснодар)

Социально ориентированное историческое знание как средство индивидуальной и коллективной психологической адаптации

Проблема социально ориентированного исторического знания обостряется во времена кризисного состояния общества. Эпоха Постмодерна принесла понимание, что создание образов истории – естественное состояние исторического знания. Попробуем рассмотреть намеренное создание социально ориентированного исторического знания как механизм социальной адаптации.

Сюжет, на интерпретации которого мы опираемся, касается создания образа одного из трагических событий времен Гражданской войны 1918 г. представителями так называемых воображаемых сообществ. Нас интересуют условно сплоченные группы лиц, члены которых устанавливают ирреальные социальные связи вне тех сообществ, в которые они включены непосредственно через формальные и неформальные структуры общества. В имагологии такие группы называют имажинарными.

Представления членов имажинарных групп о трактуемых событиях часто являются результатом воображения, но используются со вполне конкретными идентификационными целями. Их создатели при помощи образов придают устойчивость своей идентичности и находят «единомышленников», существование которых, реальное или виртуальное, помогает им избавиться от чувства социального одиночества. Отдельные исторические события заключаются в художественный образ, превращаются в значимые для представителей группы «места памяти». Они дают основу постепенной институализации воображаемого сообщества, материализуют его в системе реальных, а не воображаемых социокультурных связей.

Во времена Гражданской войны в эмигрантской среде и много позже среди современных сторонников возрождения идеалов Белого движения гибель осенней ночью 31 октября 1918 г. (в текстах представителей Белого движения – 18(31) октября) на пятигорском кладбище 59 заложников, еще сравнительно недавно спокойно отдыхавших, живших или лечившихся в курортном Пятигорске, ин-

терпретировалась по упрощенной схеме конфликта макро понятий – варварства и цивилизации [*Мельгунов С.П.* Красный террор в России 1918-1923 гг. М.: СП «PUISO», «P. S.», 1990; *Калюжный Г.* Заложники красного террора // Литературная Россия. 7 декабря 1990; *Его же*. Панихида по убиенным за отечество // Литературная Россия. 25 октября 1991; *Черленевская Н.* Панихида памяти народной // Кавказская здравница. 1 ноября 1991].

Убийство заложников – одно из трагичнейших событий любой войны. Оно чудовищно уже само по себе, не имеет оправдания с точки зрения общечеловеческой морали, часто становится объектом юридического разбирательства и легко превращается в объект идеологических манипуляций.

Казнь заложников в Пятигорске, характеризующая ужасы Гражданской войны, страшна уже своей обыденностью. Но исторической памяти этого мало. Ей нужна драматизация событий. До сих пор достоверно неизвестно, были ли погибшие расстреляны или зарублены. Если расстреляны – это жестоко, но не театрально. Если зарублены – тогда появляются реки крови, которые ужасают даже самих исполнителей.

Романтизация казни заложников как знакового события начинается в ходе деятельности Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. Следователи выбирают вариант «зарублены» [*Фельштинский Ю.Г., Чернявский Г.И.* Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии [Электронный ресурс]. URL: http://swolkov.org/doc/kt/01-2.htm (дата обращения: 26.03.2016 г)].

В Положении об Особой комиссии провозглашалось, что ее целью было «выявление перед лицом всего культурного мира разрушительной деятельности организованного большевизма» [Там же]. Как видим, аффектированное изложение изначально предназначалось для репрезентации события «вовне». Материалы комиссии должны были помочь заручиться поддержкой мирового сообщества. Но в них был и момент психологического отторжения – своеобразного «неузнавания» того, что происходило в новой России. Момент «неузнавания» носил более интимный характер, но пока находился на периферии восприятия происходившего. Эмиграция помогла трансформировать его в отстранение, в собственный взгляд на события Гражданской войны как бы «извне»: участвовали в Гражданской войне большевики; они и творили все злодеяния; сажали и убивали. Для живших «вовне» Гражданская война продолжалась. Она рождала восприятие Советской России как огромного лагеря, в котором продолжал свирепствовать красный террор.

Себя же, тех, кто находился вне ограды из колючей проволоки и конструировал с помощью «работы горя» (А. Эткинд) идентификационный образ (миф-1), члены имажинарной группы считали свидетелями и обвинителями. Под мифом-1 мы будем понимать восприятие новой власти людьми, чьи идеалы зиждились на постулатах, рожденных в царской России. Данный миф для них стал причиной «неузнавания» России новой и способом восприятия себя истеблишментом разрушенной империи. Миф-1 рождается в период активного противостояния сторонников «старой» и «новой» России. Он связан с «неузнаванием» нового и последующим отторжением *советской реальности,* мешающей комфортной самоидентификации тех, кто потерпел поражение.

Под мифом-2 будем иметь в виду рецепцию и усвоение культурной памятью современного «воображаемого сообщества» того же эпизод трагического прошлого, имеющего личностный смысл для определенных людей из ныне живущих. Работа их памяти направлена на отрицание *советской истории,* ее преодоление и подчеркивание связи сознания конкретного индивидуума и имажинарной группы с досоветской эпохой. Миф-2 помогает перенести ценности советского времени в область незначимого и выстроить иную существенную идентификационную связь: царская Россия – провал – настоящее время. Миф-2 – это тоже отторжение и неприятие прошлой реальности, мешающей отождествлению себя с ушедшим. Миф-2 предназначен прежде всего «для внутреннего пользования». Он нужен индивидууму для конструирования собственной идентичности. В мифе-1 преобладает образ групповой идентичности, направленный вовне. В мифе-2 на первый план выходит необходимость компенсировать разбалансированность внутренней индивидуальной идентичности.

Мифы-1 и -2 являются крайними точками в восприятии событий Гражданской войны имажинарными группами. Между ними существует множество пограничных состояний и переходов, относящихся к различным темпоральностям. Несмотря на временну́ю отдаленность и разницу мировоззрений людей начала XX и XXI века, главной идеей, нашедшей свое отражение в мифе-1 и мифе-2, является мысль о возможности сохранения идеалов канувшей в Лету царской России в сознании людей из «воображаемого сообщества».

Изменение идентичности члена воображаемого сообщества или группы в целом запускается аффектированным восприятием отдельных событий и рожденным им травматическим переживанием истории. Из-за них происходит сбой в исторической памяти. Он связан с кризисом идентичности. Это мучительное состояние человек может преодолеть своими силами и/или опираясь на окружающих, но только

в том случае, если он перестает ощущать себя жертвой. Мифологемы, изобретенные или заимствованные, заполняют память индивидуума, сливаясь с его индивидуальным бессознательным. Опорой для человека становится коллективное бессознательное воображаемого сообщества, которое может существовать не только в виде реальной атмосферы психологического общения, но и как фантомный образ. Человек создает некий культурный код, который помогает ему осознавать собственную самоценность и социальную значимость своих поступков. Его идентичность строится в воображаемых координатах, определяющих для него реальность значимых социальных связей. Его деятельность начинает ориентироваться на имажинарную группу как на референтную. Человеку все равно, реальна эта группа или существует лишь в его воображении. Но до поры до времени. Основой существования человеческой культуры является диалог. Полноценный диалог становится залогом психологического здоровья индивидуума. И человек ищет единомышленников, с которыми можно поделиться своими переживаниями и размышлениями. Если не находит их в своем окружении, устанавливает сетевые связи, воспитывает наконец свое окружение в соответствии с выработанным им культурным кодом. По мере распространения и укрепления сетевых связей имажинарные группы складываются в поле реального социального взаимодействия как непосредственного, так и опосредованного. Воображаемое сообщество начинает обрастать плотью социокультурных связей. Конституируясь, они рождают свои социальные институты, и воображаемое сообщество из виртуального превращается в реальную социальную группу.

Историки всегда будут искать правду истории, всегда будут стараться понять, «как было на самом деле». И всегда будут создавать не только верифицируемое, но и некое социально ориентированное историческое знание, ибо оно запускает механизм социокультурной трансформации общества.

Тилльман Лозе (Dr. Tillmann Lohse)
(Берлинский университет
имени Гумбольдта, Германия)

The Identity of Secular Canons. Before, during and after the Reformation

Collective identities are a very controversial topic of research. Hardly any other term has been overworked as much in everyday language during the last two or three decades. So nowadays identity may mean all or noth-

ing. A commonly accepted method for its determination is still missing, although there have been many attempts to develop such. However, «collective identity» as a scholarly catchword seems to be in good company. Since alternative terms like «class consciousness», «self-conception» or «mentality» are anything but less problematic. This finding may seem quite sobering, but it is neither my objective to simply lament, nor to historizise or evaluate different theories constructed by erudite researchers.

Instead, I shall present a very pragmatic way to study something that could equally be termed as «identity» or «class conciousness» or «self-conception» or «mentality» of a distinct social group, namely the secular canons of late-medieval and early-modern times. I simply ask: What whished secular canons to be done by secular canons?

At first glance this might sound like an odd question, because the requirement profile of a canon was quite extensively defined by the Council of Aachen in 816 CE. But the «institutio canonicorum» with its lenghthy quotations from the fathers of the church was not only – maybe not even primarily – the result of a collective introspection. Its provisions mainly supplied the want for a more categorical distinction between monks and canons, articulated not at least by lay outsiders who did not belong to one of these groups at all. Thus, in the so called Rule of Aachen internal and external perceptions of «the» canons are heavily mixed up with each other. In later times, by contrast, we have different types of sources that give us rather unadulterated insights into the identity of the secular canons, particularly: collections of statutes, liturgical compendia and endowment deeds. It is true, the character of these texts is equally normative only, but still! It may be worth a try to deduce from these provisions the behavioral repertoire of secular canons and to study the coherence and persistence of this set during and after the cultural revolution of the reformation.

А.А. Лушников
(Пензенский государственный университет)

Образы прошлого на страницах дидактической антиязыческой литературы Древней Руси

Под антиязыческой литературой Древней Руси понимаются дидактические произведения, полностью посвященные развенчиванию того, что авторы понимали под «язычеством». В исторической науке подобные сочинения традиционно рассматривались как источник, на основе которого можно «реконструировать» восточнославянскую мифологию – и таких противоречивых «реконструк-

ций» было создано довольно много в связи с тем, что для современного исследователя представления самих древнерусских книжников о ходе истории оказываются очень специфичными. Исследование историософских представлений авторов антиязыческих произведений, отражающих социальную логику текста, позволяет решить многие вопросы, связанные с прочтением и интерпретацией такого сложного исторического источника. Данная литературы имеет собственную историю, в процессе которой менялись историософские представления книжников.

XI–XIII века. Именно в это время проявляется большинство характерных черт антиязыческих сочинений – на основе авторитетных источников формируется общее представление о «язычестве» как о явлении духовного порядка и его роли в истории, складываются его основные описательные модели, переходящих из одного сочинения в другое. Уже тогда главная цель антиязыческих произведений Руси состояла не в описании каких-либо языческих верований и обрядов и тем более не их «истории», а в демонстрации пагубности для души всего, что с ним связано, – поэтому исследователь, который «ищет историю» в подобных текстах, сталкивается с тем, что их автор имел в виду совершенно другое. Тем не менее, антиязыческие произведения носили конкретный, а не абстрактный характер, поэтому с XI–XII веков в учительную литературу была введена своеобразная «историческая схема», объясняющая, откуда появилось язычество – наиболее четко она была отражена в «Слове святого Григорья изобретено в толцех о том, како первое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали, то и ныне творят» (далее – «Слово Григория об идолах»), имеется в виду его «формула» развития идолопоклонства от упырей и берегинь к Роду и рожаницам (якобы от египтян) и к Перуну. Интересно, что и для современного исследователя, и для средневекового книжника «язычество» – продукт деятельности человеческого разума, однако последний понимал его и как результат прельщения человека, забывшего истинного Бога, дьяволом. Не исключалось и своеобразное «развитие» язычества – от одних форм к другим. Не представляется, однако, корректным сравнение «формулы» средневекового книжника и современных изысканий в области истории религии, а также приписывание ее «активной» творческой деятельности автора аутентичного древнерусского произведения. Опыт сравнительного анализа источников позволяет заключить, что такая «история» восточнославянского язычества есть ни что иное, как переложение формулы «первоначальных ересей», содержащейся в трактате «Панарион» Епифания Кипрского (IV в. н. э.), известного на Руси не позже XII века, – краткое изложение находится в Ефремовской кормчей

XII в. (ГИМ. Син. 227), получившей свое развитие в «Хронике» Георгия Амартола [*Истрин В.М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе: текст, исследование и словарь. Петроград, 1920. Т. 1: Текст]. Здесь язычество трактовалось в духе перенесения идолопоклонства, изобретенного Серухом, от одних народов к другим, в том числе и к славянам.

Древнерусские книжники, однако, ввели еще одну описательную модель – «пантеона богов», которым приносили кровавые жертвы. Речь идет об известном «пантеоне Владимира», ставшем поводом для многочисленных реконструкций, касающихся религии у восточных славян в конце X века. Тем не менее, для книжников была важна духовная составляющая описываемых событий и явлений, поэтому здесь они использовали библейский образец кровавого пантеона богов Ханаана, возглавляемых громовержцем Вилом (Баалом). Не стоит думать, что здесь авторы сознательно шли на подлог либо сами не разбирались, о чем писали: создавая образ Владимира-язычника в противовес Владимиру-христианину, они должны были продемонстрировать пагубность и духовную составляющую язычества, используя авторитетные тексты, – поэтому на собственную историю и были перенесены библейские штампы. Данный «пантеон» наиболее четко прослеживается в известной статье Повести временных лет, но влияние этого пассажа просматривается и в первых учительных сочинениях против язычества, при этом имена богов могли варьироваться, так как фактическая сторона дела книжников интересовала меньше всего.

Наряду с моделями заимствования язычества от одного народа к другому и кровавого пантеона были известны и толкования идолопоклонства в духе эвгемеризма. Однако факт усвоения такой интерпретации язычества на Руси спорен. Следы эвгемеризма мы находим только в Повести временных лет – в записях, заимствованных из «Хроники» Георгия Амартола и Хроники Иоанна Малалы [Полное собрание русских летописей. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1926. Т. 1: Лаврентьевская летопись. С. 92; Полное собрание русских летописей. Петроград, 1923. Т. 2: Ипатьевская летопись. С. 274-276], а в аутентичных дидактических сочинениях, направленных против язычества, какие-либо отсылки на происхождение богов от великих людей прошлого отсутствуют.

Вторая половина XIII – XVI век. На первый взгляд, по мере того, как христианство проникало глубже в общественное сознание, антиязыческая литература становилась неактуальной. Тем не менее, она широко представлена в сборниках XIV–XVI веков. Можно было бы заключить, что такое активное переписывание есть свидетельство стойкости язычества, однако ситуация представляется более сложной, так как со второй половины XIII века антиязыческая тематика соеди-

няется с эсхатологической. Если ранее идолопоклонство толковалось как заносное явление, с которым в общем-то почти покончено, то теперь оно «обращено на современность» и стало толковаться как причина гнева Божьего и всех бедствий, постигших Русь. Такое понимание было отражено в «Слове о маловерии» Серапиона Владимирского и постановлениях Владимирского собора 1274 г. и для XIII века действительно могло свидетельствовать об усилении явлений, которые интерпретировались книжниками как «языческие». Интересно, что идеология и даже характер расположения групп антиязыческих произведений Паисиевского сборника [ОР РНБ. Ф. 351. № 4/1081] соответствуют «Правилу Кюрила», в которых изложены постановления Владимирского собора 1274 г. Поэтому уместно говорить о целой дидактико-эсхатологической традиции, в русле которой, по-видимому, и был написан вероятный протограф Паисиевского и Софийского [ОР РНБ. Ф. 728. № 1285] сборников. Наконец, для более позднего времени этот эсхатологизм оставался актуальным, так как Русь находилась в ожидании конца света, что особо отразилось в Трифоновском сборнике XIV века [ОР РНБ. Ф. 728. Соф. № 1262]. Тем не менее, тот же Паисиевский сборник хорошо свидетельствует о том, что антиязыческая тематика понималась в еще более широком смысле: так, ядро учительной традиции против язычества располагается в комплексе произведений против «чужой веры» вообще, а цикл многочисленных записей против «плясаний» и «игрищ» окружен аналогичными статьями о невоздержании, игнорировании поста и распутного поведения.

XVII век. Еще Н.М. Гальковский специально выделил литературу позднего периода, которая «служит показателем того, как у нас с течением времени забывалось древнее язычество» [*Гальковский Н.М.* Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. М., 1913. Т. 2. С. 293]. Наиболее яркие тексты подобного рода – произведение «Об идолех Владимировых» Пискаревского сборника [НИОР РГБ. Ф. 228. № 153], статьи Густынской летописи [Полное собрание русских летописей. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.Т. 40: Густынская летопись], Киевского синопсиса [Синопсис Київський // Лаврский альманах. Киев, 2002. Спецвып. 2]. Для нас они интересны не столько наличием «вымышленных» фактов, сколько тем, что язычество в них уже не преподносится в отрицательном свете, сравнивается для придания авторитета с религией древних греков, его духовная составляющая не рассматривается, оно понимается как часть родной истории, часть «героического прошлого». Все это, в свою очередь, заложило основы для первых исторических трудов о «дохристианской религии славян», выполненных в духе романтизма.

Таким образом, историософские представления авторов антиязыческой литературы с помощью самых разных экстраполяций изменялись от понимания язычества как явления, перенимаемого одними народами от других и попавшего к славянам извне, от модели «кровавого пантеона» по образцу религии Ханаана к приспособлению подобных моделей под эсхатологическую традицию и впоследствии – до переосмысления язычества как части героического прошлого и даже снятия с него отрицательного контекста.

Л.Н. Мазур
(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

Событие в исторической памяти: механизмы формирования, сохранения и трансформации*

Историческая память – ядро коллективного сознания общества, которое выполняет функции самоидентификации каждого отдельного человека и всего общества в целом, способствует включению индивида в пространственно-временной континуум прошлого-настоящего-будущего, определяя его место в реальности и обеспечивая преемственность прошлого с настоящим. В этой связи возникает вопрос: как функционирует коллективная и индивидуальная память о прошлом, как формируется «карта памяти», какие образы она включает и как меняется с течением времени?

Историческая память – это не только социально детерминированный, но прежде всего психический *процесс*, связанный с запоминанием, сохранением и воспроизведением прошлого опыта человека, народа, страны и включением его в сферу сознания. Память оперирует преимущественно *образами,* обладает способностью к ранжированию воспоминаний, регулирует режим их хранения и подразделяется на оперативную и долговременную. Это деление представляет особый интерес, поскольку приближает нас к пониманию механизмов функционирования памяти на индивидуальном и коллективном уровне.

Оперативная память содержит эмоционально окрашенные образы, актуальные для человека и общества на данный момент. *Долговременная память* предназначена для хранения более полной и систематизированной информации о прошлом. Она содержит уже

* Тема поддержана грантом РГНФ № 14-01-00352а «Визуальные репрезентации российской деревни в художественном кинематографе 1920–1980-х гг.: источниковедческое исследование».

не эмпирические образы, а мифы и логически оформленные сведения о прошлом – то, что называют знанием. Задачу формирования долговременной памяти в обществе выполняют наука и искусство, реагируя на текущие события и перемещая их образы в «хранилище долговременной памяти» – *документы*. Они составляют основу так называемой гипотетической памяти, которая формируется на индивидуальном уровне в процессе получения образования и путем самообразования – через приобщение к произведениям науки, литературы и искусства, посещение «мест памяти».

Взаимодействие между коллективной долговременной и оперативной памятью представляет собой сложный процесс перемещения образов прошлого из документированной памяти общества в индивидуальную память и их актуализацию. В ходе получения образования и первичной социализации личности историческая информация приватизируется, формируя каркас исторической памяти (индивидуальная долговременная память). Дизайн каркаса исторической памяти зависит как от индивидуальных особенностей личности, так и от качества образования: он может быть более или менее полным и достоверным, а главное, рациональным или мифологичным. Для подавляющего большинства людей, не занимающихся профессионально историей, каркас исторической памяти неизбежно приобретает черты *мифа о прошлом*.

Процесс актуализации исторической памяти связан с перемещением информации о прошлом из долговременной в оперативную память, когда определенные события приобретают для человека и общества особую значимость. Основными активаторами/раздражителями памяти выступают *информационные сигналы*, поступающие из окружающей среды – это различные мероприятия (обычно юбилейные), праздники, посвященные историческим событиям и историческим личностям; документальные, научно-популярные, художественные литературные и аудиовизуальные тексты, транслируемые средствами массовой информации; «места памяти».

Актуализация исторической памяти может носить *организованный* характер и реализовываться как *политика «сохранения памяти»*. Это происходит в последние годы по отношению к событиям Великой Отечественной войны. Аналогичный процесс протекал в конце 1980-х – 1990-е гг. в связи с реабилитацией репрессированных в СССР. Актуализация исторической памяти может быть *стихийной*, т.е. определяться интересами, жизненным опытом и практиками личности. Можно говорить о *систематическом* режиме актуализации исторической памяти, который поддерживается календарем и теми событиями, которые в нем отмечены – это годовщины, юбилеи исторических событий. Так, например, 12 апреля мы вспомина-

ем о полете в космос Ю. Гагарина, 26 августа – о Бородинском сражении, 7 ноября – о Великой Октябрьской революции и проч.

Описанные выше механизмы функционирования исторической памяти нашли отражение в социологическом исследовании, проведенном в апреле 2016 г. В Уральском федеральном и Оренбургском государственном университетах был организован опрос студентов 1–3 курсов неисторических специальностей с целью реконструкции карты исторической памяти и оценки информационных каналов ее формирования. Также изучались представления студентов о событиях, связанных с сельской историей – коллективизацией и освоением целины. Первое можно рассматривать как событие национального значения, в той или иной степени затронувшее судьбы многих российских семей. Второе событие, более близкое по времени (т.е. находится в границах «живой памяти»), имеет региональное значение.

В целом, по итогам опроса только 30% респондентов считают, что историю знать очень важно, причем половина из них относится к гуманитариям. 62,6% студентов отметили, что знание истории важно, но их интересуют другие вещи. 3,6% студентов отметили, что прошлое их не интересует, столько же – затруднились ответить на вопрос.

Среди выделенных респондентами исторических событий чаще всего упоминались: победа в Великой Отечественной войне; Первая мировая война; отмена крепостного права; крещение Руси; распад СССР; революция 1917 г., Отечественная война 1812 г. Чаще встречаются образы, связанные с военной историей, реже – события «мирной» истории – полет Ю. Гагарина в космос, реформы. Среди имен исторических деятелей на первом месте стоит Петр I, реже упоминаются Иван Грозный, Екатерина II, Александр II, И.В. Сталин, Ю.А. Гагарин. В целом память о военном прошлом в сознании молодых людей превалирует над другими событиями.

Изучение роли информационных каналов, связанных с формированием исторической памяти, опиралось на их рейтинговую оценку по 5-балльной шкале (см. табл.).

Таблица

Рейтинги каналов информации
для формирования исторической памяти

Каналы информации	Средний балл
Уроки истории в школе	3,93
Лекции в университете	3,64
Документальные и научно-популярные фильмы	3,39
Научная и научно-популярная литература	2,95
Музеи, выставки, мемориальные комплексы	2,93
Художественная литература	2,88

Художественные фильмы	2,84
Тематические телепередачи или радиопередачи	2,81
Интернет-сайты	2,73

Основу исторической памяти о событиях прошлого закладывает школа. Роль учителя и учебника для формирования представлений о прошлом не подлежит сомнению, как и то, что школа дает преимущественно «рациональный» взгляд на историю. Важное значение для студенческой молодежи имеют научно-популярные фильмы и документальные по истории, а также научная и научно-популярная литература. Чуть ниже в рейтингах находятся музеи, выставки, мемориальные комплексы, позволяющие прикоснуться к прошлому. Влияние географических «мест памяти» следует рассматривать как самостоятельный канал информации, закрепляющий и актуализирующий исторические знания через механизмы визуализации прошлого. Художественная литература и кино занимают в рейтингах более низкую позицию, видимо, вызывая у студентов меньший интерес как источник информации. Любопытно, что доверие к художественной литературе и кино у студентов негуманитарных специальностей несколько выше, чем у гуманитариев: около 33% оценили этот канал информации на «4» и «5» баллов; напротив, у «гуманитариев» высокие баллы художественной литературе поставили 36,7%, а кино – только 20,4%. Завершают рейтинг интернет-сайты с тематическими информационными ресурсами.

Студенты представляют собой наиболее образованный и социально активный отряд современной молодежи, поэтому результаты проведенного опроса строго репрезентативны по отношению к учащимся, проживающим в крупных городах. В целом они составляют около половины от численности населения страны в возрасте от 18 до 24 лет (45,9% в 2009 г.). Вместе с тем, их изучение позволяет охарактеризовать механизмы и информационные каналы создания образа прошлого, а также выделить этапы его формирования и рассмотреть особенности современной информационной среды, которые значимы для понимания специфики этого образа.

Опрос показал, что среди активаторов исторической памяти наиболее важное место занимает политика государства, связанная с задачами «сохранения памяти», а также информационная среда, которая создается в обществе системой образования и СМИ. Не только молодежь, но и другие возрастные группы «реагируют», главным образом, на текущий информационный фон и обсуждаемые в обществе проблемы. Поэтому содержание карты коллективной исторической памяти постоянно обновляется. Большую роль в фор-

мировании образов исторического прошлого в коллективном сознании играют информационные технологии, основной тренд развития которых связан с постепенным, но очевидным переходом от письменной культуры к визуальной, заменой текстов образами. Визуальные технологии особенно сильно влияют на структуру исторического сознания и процессы запоминания/воспоминания.

С.И. Маловичко
(Московский государственный областной
гуманитарный институт)

Формирование национально-государственного нарратива и контр-нарратив в исторической культуре России первой половины XIX века

С конца XX века историки актуализировали проблему «национальной истории», которая продолжает поддерживаться методическим национализмом и отчасти выполняет защитную функцию против усложняющейся современности. Сама национальная история представляет совокупность видов историографических источников, позиционирующих национальную историю. К ней относятся исторические произведения, принадлежащие как к научному типу историописания (монографии, диссертации, научные статьи, рецензии, материалы историографических дискуссий и др.), так и к социально ориентированному типу историописания (национально-государственные нарративы, учебные пособия по национальной истории, статьи и т.д.) [см.: Источниковедение: учеб. пособие. М.: ВШЭ, 2015. С. 529-559].

Национально государственный нарратив как вид историописания возник в классической европейской модели исторической науки XIX века. Влияние на конструирование национально-государственных нарративов в Европе, в том числе в России, оказало многотомное историческое произведение И. Мюллера «История швейцарской конфедерации» (в 5 т., 1786–1808). На модель национальной истории Мюллера (в которой особый интерес обращен к «своему» государству-нации) обратили внимание историописатели приступившие к написанию «целой истории народа»: С.Н. Глинка [Руская история: в 14 ч. М., 1823. Ч. 1. С. 24-25] и Н.М. Карамзин [История государства Российского: в 12 т. СПб., 1818-1829. Т. 1. С. XIX-XX]. В Европе уже в первой половине XIX века вырабатывается «общий шаблон» национально-государственного нарратива, имевший ряд региональных особенностей, а «История» Карамзина влияет на практику написания национальных историй в чешской,

польской, литовской и румынской историографиях [*Baár M.* Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century. N.Y., 2010. P. 124-128, 295, 304].

В отличие от исследовательских работ национально-государственный нарратив предназначался для широкой читательской аудитории [см., напр.: *Карамзин Н.М.* Указ. соч. Т. 1. С. IX]. Актуализация внимания на «своем» превращалась в идеализацию истории «своей» нации-государства («священная книга народов») и поиск критериев ее исключительности. В «Истории государства Российского» Карамзин четко провел линию на национализацию истории и даже высказал мысль об отличном от других народов интересе русских к истории [Там же. С. XII, XVI].

Националистическая реакция эпохи романтизма на универсализм, присущий эпохе Просвещения, содействовала актуализации поиска историками национальных корней и особых свойств своих народов, а также созданию определенного европоцентристского образца, названного А. Лиакосом «европейским каноном». По мнению историка, он представлен определенными правилами рефлексии о Европе и общим набором объясняющих концептов («европеизация», «отставание», «задержка», «наверстывание», «анти-вестернизация» и др.), используемых историками Испании, Центральной и Восточной Европы, Балкан) [*Liakos A.* The Canon of European History and the Conceptual Framework of National Historiographies // Transnational Challenges to National History Writing. N.Y., 2013. P. 317-334].

Национально-государственный нарратив Карамзина уже имеет набор черт, присущих «европейскому канону». Историк отмечает, что язык славянский родственен другим европейским языкам [*Карамзин Н.М.* Указ. соч. С. 123-124], что христианство всем европейцам «предвестило науки и просвещение», явилось шагом к гражданственности [Там же. С. 129] и т.д. Кроме того, Карамзин нашел причину и виновника «отставания» России от ведущих держав: «…Россия, терзаемая монголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть: нам было не до просвещения!» [Там же. Т. 5. С. 569].

В исторической культуре России первой половины XIX века национально-государственный нарратив Карамзина стал доминирующим, несмотря на неоднократно издававшиеся многотомные работы С.Н. Глинки и Н.Г. Устрялова. Труд Карамзина вызвал не только широкую критику отдельных его конструкций и «неточностей», но стимулировал появление контр-нарратива в среде историков, позиционировавших иную модель интерпретации национального прошлого.

По мнению С. Бергера, национальная история, претендующая на доминирование в исторической культуре своего времени, может стимулировать появление контр-нарратива, имеющего иную политиче-

скую и иную перспективу [*Berger S.* National Historiographies in Transnational Perspective: Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries // Storia della Storiografia. 2006. № 50. P. 10]. На мой взгляд, контр-нарратив может иметь иной способ выбора научного подхода и другую «модель интерпретации» в историописании. Важную составляющую контр-нарратива составляют элементы дискуссии. Таким образом, контр-нарратив может быть представлен таким видами историописания, как материалы историографических дискуссий, хроники, а также имеющими комбинированные признаки научного исследования и историографической дискуссии.

В российской историографии принято определять роль представителей «скептической» школы» (кроме их нового отношения к историческим источникам) как борьбу с *устаревшими* формами исторического знания («с историческими воззрениями XVIII в.» [*Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М., 1941. С. 234], как разрушение «старого, отжившего в науке» [Историография истории России до 1917 г.: учеб. для студ.: в 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 248]. С этим нельзя не согласиться. Однако надо обратить внимание на то, что представители «скептической школы» выступили и против *нового* – против утверждающейся в классической европейской историографии модели национально-государственного нарратива.

«Скептики» высказали несогласие с его важнейшими чертами, присутствовавшими в историческом произведении М.Н. Карамзина. М.Т. Каченовский не согласился с актуализацией «своего» в «священной книге», в ущерб беспристрастности, минимизации историко-сравнительной практики в историописании, с доминированием патриотической позиции над научной. Кроме того, историк подверг критике приемы историописания, не соответствующие строгой научной работе историка: использование риторических приемов вместо научной критики источников; употребление понятий, нарушающих «желаемую точность» [Вестник Европы. 1819. Ч. 103. №№ 2, 4; Ч. 104. № 5. С. 49-50; № 6. С. 132; 1821. Ч. 116. № 1. С. 35-44; 1829. №. 14. С. 99; № 17. С. 15; № 18. С. 94, 117].

Модель конструирования национально-государственного нарратива вызвала протест и Н.С. Арцыбашева, отметившего, что такие приемы «не могут быть терпимы в слоге историческом, где нужна величайшая точность выражений» [Московский вестник. 1828. Ч. 11. С. 291, 295; Ч. 12. С. 57]. В итоге, историк противопоставил национально-государственному нарративу хронографическую модель «чистой и посторонними вставками не запутанной» национальной истории – «Повествование о России». В отличие от нарративного объяснения, присутствующего в национально-государственном нарративе, в национальной истории Арцыбашева в строгой академической фор-

ме даны пояснения в форме комментария [*Арцыбашев Н.С.* Повествование о России: в 3 т. М., 1838–1843].

Контр-нарративы представителей «скептической школы» позиционировали научную модель интерпретации национального прошлого, но помимо профессионализирующегося сообщества историков они не достигали читателя. Еще в начале формирования принципов «исторической критики» Каченовский определил свою позицию: историк «должен трудиться не для сидельцев мучных лавок, … не для охотников рассказывать вздор» [Вестник Европы. 1811. № 18. С. 148-149]. Напротив, национально-государственный нарратив, представляя специальный интерпретационный способ проникновения в прошлое, позволял отбирать государствообразующие «события», целенаправленно подавлять или актуализировать нужных «героев», «национальных врагов», был ориентирован на широкий круг читателей и отвечал потребностям социокультурной ситуации.

Е.С. Марей
(Научно-исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва)

Осмысление образов последних готских королей в латинской и кастильской хронистике: к вопросу о конструировании исторической памяти и идентичности

Осмысление причин гибели королевства вестготов в астурийских и каролингских хрониках начинается почти сразу – в VIII–IX веках. В целом, нашествие арабов трактовалось позднейшими хронистами как Божья кара за грехи народа готов и его королей, особенно последних – Витицы и Родриго [Подробный анализ см.: *Martin G.* Un récit (la chute du royaume wisigothique d'Espagne dans l'historiographie chrétienne des VIII et IX siècles) // Idem. Histoires de l'Espagne médiévale. Historiographie, geste, romancero. Paris, 1997. P. 11-42]. В XIII веке по приказу короля Альфонсо X (1252–1284) было создано первое историческое произведение на кастильском языке – «Первая всеобщая хроника Испании» [*Catalán D.* La Estoria de España de Alfonso X. Creación y evolución. Madrid, 1992; *Martin G.* Le pouvoir historiographique (l'historien, le roi, le royaume. Le tournant alphonsin) // Histoires de l'Espagne médiévale. Historiographie, geste, romancero. Paris, 1997. P. 123-136*; Id.* Compilation (cinq procédures fondamentales) // Ibid. P. 107-121; *Id.* Los intelectuales y la Corona : la obra histórica y literaria // Alfonso X y su época / coord. M. Rodríguez Llopis. Murcia, 2002. P. 259-285; Alfonso X el Sabio y las crónicas de España / Coord. I.

Fernández Ordóñez. Valladolid, 2000 etc.]. По приказу мудрого короля ее текст должны были читать рыцарям на пирах, таким образом, версия событий, изложенная там, с большой долей вероятности может считаться общепринятой. Тем самым произведение Альфонсо служило сознательному конструированию исторической памяти в том ключе, в каком его видел правитель.

Рассказ о гибели Толедского королевства следует начать с правления короля Витицы (главы 546–552). Традиция изображать его как нечестивого грешника и бездарного правителя начинается с каролингского *Chronicon moissiacense* (пер. пол. IX в.) и находит свое продолжение во «Всеобщей хронике» Луки Туйского († 1249) и «Об испанских событиях» Родриго Хименеса де Рады († 1247). Составитель «Первой всеобщей хроники», по сути, компилирует два последних произведения. Так, в течение первого года своего правления Витица проявлял доброту и милосердие, вернув из изгнания тех, кого отправил туда его отец, и простив всем долги, однако дальнейшее его правление было поистине ужасным. Прежде всего, хронисты обвиняют короля в том, что, сам будучи сластолюбивым, он погрузил в пучину разврата все королевство. Своим нечестивым поведением он показывал дурной пример подданным и прежде всего знати. Таким образом, готы вслед за своим королем погрязли во множестве грехов, так что арабское завоевание подавалось как Божья кара.

Ко всему прочему падение морали привело к потере боевого духа – готы разучились сражаться. Здесь свою роль сыграла и злонамеренная политика Витицы: опасаясь, как бы подданные не подняли против него восстание, он приказал разрушить стены городов, а мечи в буквальном смысле перековать на орала. Замечу, что Лука Туйский относит эти мероприятия к правлению Родриго, однако составитель «Первой всеобщей хроники» настаивает на том, что это был Витица.

Витица вмешивался в дела церкви. Помимо попытки обязать священников вступать в брак, он отнял у Синдереда епископскую кафедру Толедо и передал ее своему брату Оппе, который оказался таким же развратником. Кроме того, по свидетельству хрониста, в правление Витицы «иудеи почитались больше, чем церковь» [Primera crónica general que mandó componer el Rey don Alfonso el Sabio e se continuaba bajo Sancho IV en 1289 / Publ. por R. Menéndez Pidal. Madrid, 1955. Vol. 1. 552]. А так как авторами хроник были епископы, неудивительно, что портрет короля получился столь отвратительным, и именно в таком виде он перешел в «Первую всеобщую хронику».

Рассказ о правлении последнего короля, Родриго (710–711 г.) изложен в главах с 552 по 557. Лука Туйский и Родриго Толедский, чьи произведения легли в его основу, указывают, что Родриго был храбрым воином, но нравом был весьма похож на злодея Витицу,

что его и погубило. Так, он с позором изгнал из страны сыновей Витицы, которые отправились служить маврам.

Последнему королю было знамение: когда он приказал открыть некий запретный дворец в Толедо (думая найти там сокровища), то на его стенах увидел изображения людей в арабских одеяниях и пророчество, согласно которому открытие дворца должно привести к завоеванию Испании. Эту же легенду арабского происхождения излагает и Родриго Толедский, с той лишь разницей, что, согласно его версии, король открыл дворец, несмотря на уговоры всех его подданных этого не делать, следовательно, именно его самонадеянность привела к дальнейшей катастрофе, тогда как в «Первой всеобщей хронике» король, скорее, предстает жертвой несчастливых обстоятельств.

Хронист стремится преуменьшить вину короля в знаменитой истории о бесчестьи Ла Кавы. Согласно источникам, король обманом или силой добился близости прекрасной девушки, после чего отказался взять ее в жены. Ла Кава пожаловалась своему отцу, графу Юлиану, родственнику Витицы и наместнику приграничной Сеуты. Желая отомстить за дочь, Юлиан перешел на сторону мавров и сдал им крепость. Именно это и стало залогом быстрого и успешного завоевания. Показательно, что хронист проклинает гнев и упрямство Юлиана и именно его, а не короля, делает главным виновником катастрофы.

Итак, в «Первой всеобщей хронике», как и в предшествующих, падение королевства вестготов связывается с грехами и ошибками последних королей – Витицы и Родриго. При этом по сравнению с латинскими хрониками вину последнего составитель пытается приуменьшить, переложив ее на Витицу. Кроме того, хронист, работавший при дворе Альфонсо X, показывает, что, несмотря на неприглядное поведение Родриго, окончательно королевство погубил предатель граф Юлиан. Такая направленность «Хроники» была продиктована желанием ее составителя (и Альфонсо X) продемонстрировать опасность конфликтов между знатью и королем и в конечном итоге служила конструированию идентичности кастильского рыцарства, сплоченного вокруг правителя.

А.В. Матецкая
(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

Новые практики конструирования коллективной памяти в информационном обществе

История является важнейшей составляющей не только коллективных идентичностей, но и идентичностей индивидуальных. Опре-

деление ценности и значимости собственной биографии, судьбы родственников и предков связано с общим видением исторических событий – как оно преподносится официальными культурными экспертами, конструирующими образ прошлого. В то же время личная, семейная или даже групповая история может в определенных ситуациях не совпадать с доминирующей версией истории. Однако пока такая частная история остается замкнутой в узких групповых границах, она не способна изменить доминирующую картину прошлого и не приводит к масштабному переопределению ситуации. Радикальное переосмысление прошлого возможно в ситуациях глубоких культурных и политических потрясений.

Сохранение механизмов конструирования и поддержания доминирующего образа прошлого в руках группы экспертов – почти что культурная универсалия, хотя группы экспертов исторически меняются. В современных обществах эта группа представлена сообществом профессиональных историков, от исследователей до школьных учителей и музейных работников, чья деятельность осуществляется в рамках определенных институтов. Пока сохраняется монополия соответствующих культурных экспертов на формирование коллективной памяти, альтернативные образы исторического прошлого могут существовать только в качестве маргинальных течений, не влияя существенно на господствующую систему базовых представлений об истории. Общее видение прошлого определяет коллективную идентичность и ценностное единство общества.

В эпоху постсовременности или позднего модерна ситуация с формированием и трансляцией культурного опыта, в том числе и той его части, которая связана с образом прошлого, изменилась. Изменения связаны с несколькими факторами. Критика «больших нарративов» и критика «историцизма», например, поставили под сомнение общие идейные рамки, определявшие осмысление исторического процесса. Но нас здесь интересует не столько динамика самого исторического знания, сколько изменение положения истории как института, ответственного за конструирование прошлого, в обществе эпохи постмодерна или поздней современности. В этом контексте важны такие факторы как развитие информационных, коммуникационных технологий и рост влияния медиа, вызвавшие появление понятий информационного и медиатизированного общества.

В медиатизированном обществе медиа становятся важным каналом передачи культурных смыслов, едва ли не главным средством познания мира. Медиа выполняют и функцию конструирования и распространения образа прошлого в массовом сознании, оттесняя в какой-то степени такой важный социальный механизм массового освоения истории, как школьное образование. Можно возразить, что

транслируемые медиа сведения, относящиеся к истории, находятся в рамках, определяемых исторической наукой. Однако это далеко не всегда так. Медиа способствуют популяризации и легитимации «альтернативных» взглядов на историю, часто имеющих очень отдаленное отношение к исторической науке. Исторический дискурс тоже присутствует в медиа – но практически на равных с дискурсом «альтернативным», которому он часто проигрывает в соревновании за внимание массового зрителя. История становится жертвой общего постсовременного недоверия к власти и близкой к ней «официальной науке». Это недоверие способствует процветанию конспирологических концепций и сомнению в правильности того образа прошлого, который формирует «официальная история», что усиливает популярность представителей истории «неофициальной». С другой стороны, господство медиа предоставляет широкие возможности для идеологического манипулирования прошлым в обществах, где существуют соответствующие политические предпосылки. Манипулятивный потенциал медиа был успешно использован диктаторскими режимами даже тогда, когда технические возможности медиа были гораздо меньше, чем сегодня.

В медиатизированном обществе история тоже медиатизируется – экспертами становятся те, кто утверждается в этой роли медиа. Возникает новая группа экспертов, не связанная с профессиональным историческим сообществом – например, ведущие популярных «исторических» телепрограмм, а медиа приобретают функцию трансляции исторического знания и формирования коллективной памяти.

Интернет стал новым средством коммуникации, открывшим широкие перспективы для «исторического творчества». Благодаря Интернету, практически все желающие получили новые возможности не только для получения исторической информации, но и для и участия в создании образов прошлого. В сетевом пространстве сегодня существует множество исторических ресурсов, представляющих как «официальную», так и «альтернативную» историю. Исторические сетевые сообщества могут быть связаны как с познавательным интересом к прошлому, подразумевающим бо́льшую или меньшую близость к профессиональному историческому дискурсу, так и с интересом «экзистенциальным», обращенным не к истории вообще, но к своей собственной личной истории, истории своей семьи или истории своего народа. В рамках таких сообществ реконструкция личной или групповой истории может превращаться в инструмент критики и пересмотра доминирующих (или воспринимаемых как доминирующие) представлений об историческом прошлом. Так, в российском сегменте Интернета постсоветская критика СССР вызвала к жизни множество «ностальгических» [*Абрамов Р.* «Совет-

ский чердак» российской блогосферы: анализ ностальгических виртуальных сообществ. URL: http://gefter.ru/archive/11282 (дата обращения 10.05.2016)] сообществ, ориентированных на «воссоздание», а фактически – на конструирование «правильной картины» советского прошлого. Эти ностальгические сообщества функционируют не только как форма общения единомышленников, но и в качестве своеобразных виртуальных мест памяти. Участие в этих сообществах подразумевает практику общих воспоминаний, связанную с обсуждением личного опыта, подлинность которого, подтверждаемая другими, превращает его в опыт коллективный, «объективный», или обсуждение артефактов, принадлежащих прошлому и наполненных общим эмоциональным смыслом. Эти практики можно рассматривать и как своеобразные методы верификации знания.

Интернет позволяет организовать совместную деятельность по формированию и корректировке определенного образа прошлого, отстаиванию его в спорах с идейными оппонентами, укреплению позиции через обретение сторонников. Это в равной мере касается сообществ, ориентированных и на чисто исторический, и на «экзистенциальный» или «ностальгический» интерес. Подобная деятельность подразумевает, что ее участники воспринимают себя как полноправных экспертов, чья позиция обладает таким же весом, как и позиция экспертов профессиональных. Легитимации себя в качестве эксперта способствует именно участие в совместной деятельности, поскольку идентичность индивида требует подтверждения со стороны социального окружения.

Формирование исторических сообществ в Интернете демонстрирует появление новых практик взаимодействия с историческим наследием. Конструирование образа прошлого и поддержание культурной памяти перестает быть функцией только лишь сообщества профессиональных экспертов и институций, связанных с деятельностью этого сообщества, но превращается в распространенный вид культурной деятельности, субъектом которой может стать каждый. Конструирование прошлого обретает новые функции. В частности, оно оказывается связанным не столько с проблемой поддержания коллективной идентичности больших сообществ, сколько с проблемой определения индивидуальной идентичности в условиях, когда индивидуальная идентичность все больше превращается в «рефлексивный проект».

Официальные институты памяти и сообщество профессиональных экспертов действуют сегодня в новом, фрагментированном и многообразном культурном пространстве, включающем множество трактовок прошлого, конструируемых и распространяемых новыми субъектами культурной деятельности. Возникновение практик конструирования коллективной памяти за пределами профессио-

нального исторического сообщества сопровождается возрождением мифологического восприятия прошлого, однако эта проблема выходит за рамки данной статьи.

Хольт Мейер (Holt Meyer)
(Эрфуртский университет, Германия)

«Здесь жил поэт»: The Russian National Product Placement of the Staged Post-Shoah Pushkin (1949)

"Here lived the poet" … in more colloquial English, reversing the Russian: "The poet lived here". As I will put forth later, this title refers to Pushkin's living in the USSR, indeed excelling as the greatest Russian among Russians, also as a hero of World War II. For Pushkin the same could be said as for Lenin – zhil, zhiv I budet zhit', and I would claim that this is the way one should read the "zhil" in "zdes' zhil poet". I will be arguing that the Pushkin of 1949, the year of his 150th birthday, also incessantly called "our contemporary" during these years, is assigned the same timelessness as Lenin, that this is a key feature of the staging of the "poet" in the Stalin era, and particularly in the second half of the 1940s, in the years after the war and the Shoah.

When I say "staged" I also mean "produced" both in the sense of a product and in the sense of a film or theater production. The Pushkin purveyed in 1949 is one who is to an extremely high degree a product, indeed one which was in the making for well over a decade. It is is interesting and instructive to compare the "Soviet cultural products" at hand to those of the budding "people's democracies" in East Central Europe, where the process of mass terror (comparable to 1937 in the USSR) and erasure of huge areas of national history (comparable to the 1920s in the USSR) was just beginning and the memory of the classic avant-garde was still fresh (and thus the self-evidence of "Socialist Realism" not present), while the ideology 'applied' to these countries were in their content born of the needs of the USSR in the late 40s.

Much has to be pruned away from this Pushkin to make him into the mighty tree whose branches are the classics of Socialist Realism (this was going on in the 30s) and whose roots are of a nationally, perhaps even racially pure Russianness (this was the concern of the 40s). In fact, it is mainly the roots which are manipulated, especially in the 40s cleansed of all significant "Western" influence in order to make the Pushkin tree acceptable for a Russian culture which is said to have invented everything worthwhile for modern humanity. This mechanically

produced Pushkin is then staged, and the stage after the war and the Shoah is a completely different one from the one in the 30s.

Taking the positions of Benedict Anderson [Imagined Communities. New York, 1991], Eric Hobsbawm [The Invention of Tradition / eds. Eric Hobsbawm, Terence Ranger. Cambridge, 1983] and David Brandenberger [Natonal Bolshevism. Stalinist Mass Culture and Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge/Mass. and London, 2002], who refers to both in analyzing Stalinist Russia, as a point of departure, I begin with the claim that national consciousness, at least in the 19th and in the 20th century, is produced by print media. I would like to examine and flesh out this thesis by observing a page form the Soviet newspaper "Trud" of June of 1949.

The title of Brandenberger's book speaks of national identity and in the text he addresses the "formation of popular national consciousness" as his main topic, and sets forth: *But for all of this abstract interest in the role played by political agents, print capitalism, universal public education, and mass culture in the formation of popular national consciousness, remarkably few studies have examined the process in detail on an empirical level.* Given this position, one might say that my concentration of newspapers here is a step backwards from Brandenberger's point of view. I would argue that newspapers are different from theory and political elites due to the nature of the media theoretically reacting to at least a perceived public sphere, and thus maybe not conducting, but at least staging a dialogue.

Of course when we speak of memories and memorialization here, we care talking about produced thoughts and not spontaneously thought ones. We are speaking less of memory than about commemoration, as Stephanie Sandler terms her general approach to Russian and Soviet society's work with Pushkin in her seminal book of 2003. But for the case of Pushkin of 1949 I would go even further an speak of memory staging. This is a technique which was practiced in the designing of the Stalin cult and its historiography with its complete ignoring of all actual facticity, resulting in things like the "kratkii kurs" but took on new qualities when its main purpose, as in the case of Pushkin, was to literally produce a mise en scene of the birth of a nation.

In looking at newspaper articles and particularly at a configuration of articles in *Trud*, I ask the following question: What does this material do for the analysis of the Pushkin-cult of the 40s, leading up the celebration of 1949 and to the role of Pushkin in Stalin's "Marxism and Questions of Linguistics" and the pedagogical and academic work which follows on its tails through the end of 1952 (represented by documentation of the first two "All-Union" conferences in the volume which came out in that year).

I will be looking at the multi-media configuration of one page of the edition of *Trud* on June 4, 1949, and in particular at an article by

Vsevolod Borisovich Azarov whose title is the title of my paper [*Azarov Vs*. "Zdes' zhil poet" // Trud. 1949, June 4. P. 3].

I derive my conclusions primarily from the material from this newspaper, from its actual arrangement and texture, indeed from the configuration you see in front of you as a surface phenomenon, so to speak, particularly this phrase "zdes' zhil poet" and the question not only of what "lived" means, but also and above all where this "zdes'", this "HERE" is.

The deixis of the "here" is programmatic. As we shall see when we look at the article more closely, the "here" refers primarily to a place where the poet Pushkin did actually have his domicile in his mid 20s and thus "live". It is the voice of a man who enters into this territory near Pskov in Western Russia and speaks these words. But the deixis of the "here" refers to a certain timelessness which has been noted by many as characteristic for Stalinist spatiotemporality, something which Michael Epstein described in the manner of the self-destruction of the chronotope as such: "chronos is consistently displaced and swallowed up by topos", Epstein writes, "Chronos tends towards zero" [*Epstein M*. Russo-Soviet-Topoi // Dobrenko Eu. and Naiman E. (eds.) The Landscape of Stalinism. The Art and Ideology of Soviet Space. University of Washington Press, 2003. P. 283].

One might note that the word "poet" in this case profits from the Russian lack of definite and indefinite articles, making the meaning "The poet", i.e. the only real poet possible. This would place Pushkin in a similar position to Stalin as the only fully potent and truly masculine man in the USSR and thus in the world, which can be derived [see: *Kaganovsky L*. How the Soviet Man Was Unmade. Cultural Fantasy and Male Subjectivity Under Stalin. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008]. The key feature of the article, describing a visit of the author to the Pushkin Hills in 1945 is the intense reference to the Great Patriotic War and its connection to Pushkin's times. Here I highlight the specificities of the Russian national turn in ideology and those of the Pushkin cult of the late 40s (as opposed to prewar celebrations like that of 1937), pointing their relation to the national consciousness which propaganda of that time after the war and above all after the Shoah tried to foster.

Аллан Мегилл (Allan Megill)
(Университет Вирджинии, США)

An Unresolving Dialectic: History as a Science of the Non-Synthesis of Opposites

Hayden White has suggested that "unless at least two versions of the same event can be imagined, there is no reason for the historian to

take upon himself the authority of giving the true account of what really happened" [White H. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // Critical Inquiry 7.1 Autumn 1980. P. 23]. Starting from and going beyond White's suggestion, this paper suggests that a duality permeates the historians' work of representing the past and of drawing insight from the past this represented. In the West, history emerged not from primal Oneness but from duality: before Herodotus and Thucydides had *both* written, there was no "history" in our sense at all – only ιστορίαν [*historein*], "inquiries."

Beyond the duality between one historical account and all other historical accounts, many other dualities are in play in history. Note history's dual task of knowing the past and representing the past. Note that we expect historical works to offer "true" accounts of what "really" happened, but history is also an "imaginative" and "performative" pursuit that involves a "looking" and an engagement that are more than simply "knowing." Note that looking at is metaphorical if the historical text is intended to be read, in which case we "see" only with the mind's eye, but it can also be sensual, since the historian can place images, and even real artifacts, before us. The notion that history is an account of the past in words expands to include possibilities opened up by the digital revolution, as well as by, one hopes, the thoughtful and creative display in museums and historical sites of artifacts and other historical remnants. Note also the duality between the historical representation ("the true account") and what the historical representation represents ("what really happened"). And one can add other dualities as well: for example, between the historical past and the practical past, between historical past and the remembered past, and between the historical past and the present perspective from which that past is constructed.

All forms of historical representation of the past are carried out under the sign of doubleness. Reduction to Oneness (for example, to a *single* "world history") means that *history* has evaporated. Rather, history is marked by what I have dubbed an *unresolving dialectic*. In contrast, modes of apprehending the past that are primarily oriented to being useful in the present and future, or to apprehending the past as a form of memory, or to using the past an empirical test-bed for social-evolutionary theory, are not historical. Historical investigation rejects these and other reductions.

Non-resolution, while present in all forms of investigation that we historians would recognize as historical, is especially evident in what has sometimes been called "modern" historiography. In "Futures Past: On the Semantics of Historical Time", Reinhart Koselleck described the emergence of a "modern" historical consciousness and of a "modern" philosophy of history, during the period that he called the *Sattelzeit* (time of transition), ca. 1750–ca. 1850 [*Koselleck R.* Futures Past: On the Se-

mantics of Historical Time / trans. Keith Tribe. Cambridge, Mass., 1985 (original German edn., 1979)]. Koselleck's strict localization of the invention of "modern" historiography to the 1750–1850 period is somewhat problematic. Other scholars have claimed to find the roots of "modern" historiography in earlier times [e.g., Mali Joseph (Mythistory: The Making of a Modern Historiography. Chicago: University of Chicago Press, 2003), Constantin Fasolt (The Limits of History. Chicago: University of Chicago Press, 2004), Zachary Sayre Schiffman (The Birth of the Past. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011), and Mark Salber Phillips (On Historical Difference. New Haven: Yale University Press, 2015)]. But on the central issue I find that Koselleck was right – that he identified a form of historiography that was (and is) "modern" in the sense that it came to see the past as *constructed* and not as *copied*. This historiography is of the same kind as the best work that is carried out in research-oriented history departments in the world's best knowledge-producing universities – and indeed that is carried out elsewhere, wherever the same procedures and conceptualizations are followed.

Koselleck identified a form of history that was committed both to the universal (the abstract collective singular that is History with a capital H) and to the particular (the specific entities under investigation). Here I take friendly issue with Frank Ankersmit's insistence [*Ankersmit F.* History as the Science of the Individual // Journal of the Philosophy of History. 7 (2013). P. 396-425] that history should be seen as "the science of the individual"). Rather, it is a science of the universal *and* the particular (or individual), of humanity *and* nationality, of freedom *and* determinism, of projects *and* thwartings, of events *and* meanings. It is a science adapted to any and all human realities that cannot be captured in a single, would-be all-embracing theory ("…theorems, left in the dust").

I argue that, with the help of White's distinction [*White H.* Op. cit.] between "chronicle" and "proper history," we can find a way around Koselleck's not very successful attempt to localize the emergence of "modern" historiography to the 1750–1850 period. "Modern" historiography appeared *before 1750*, and it can also, I contend, appear *after1850* in places where it does not exist or where it is struggling. "Chronicle," as White defines it, "breaks off *in medias res*, in the chronicler's own present," whereas "proper history," White insists, *concludes*, generating a narrative that is endowed "with the kind of meaning that both displays itself in its consummation and withholds itself by its displacement to another story 'waiting to be told' just beyond the confines of 'the end'" [Ibid. P. 9, 26]. "Proper history" is able to *conclude* because, White suggests, there is an authority *outside* the tale being told, an authority that allows the attribution to events of a meaning other than the meaning de-

sired by the chronicler's patron, namely, that the present reigning power is good, and true, and beautiful.

In "modern" historiography, the meaning-attributing authority is the historian (or rather, the community of historians, since no single historian holds a monopoly of truth, monopoly being antithetical to history). "Modern" historians do not *uncover* history but rather *construct* it. In the time of the French Revolution, Koselleck insists, "[t]he constructability of history dethroned the older *Historie*" – which, according to Koselleck, was assumed to be already present before the historian begins working [*Koselleck R.* Op. cit. P. 39]. The Koselleckian historian constructs history from the perspective of the historian's present, but in "modern" historiography (White's "proper history") the past is not reducible to present. In Arthur Danto's pregnant formulation, "narrative sentences" (a better term would be "historical sentences") contain two temporal "moments" that are irreducibly separate. These moments are (a) the *historical past* (which is constructed by a "retroactive realignment," just as certain events in August 1914 later became "the opening shots of World War I") and (b) a later moment or set of moments from which alone that past was and is brought to light and is *made into* in a *historical* past [*Danto A.* Narrative Sentences // History and Theory. Vol. 2. No. 2 (1962). P. 146-179; rpr. in: "Narration and Knowledge, including the integral text of Analytical Philosophy of History". New York: Columbia University Press, 2007 (1985, 1965). P. 148-165]. Here there is no Gadamerian "fusion of horizons" (*Horizontverschmelzung*). Nor is there a reduction to one alleged privileged, *particular* history (the German point of view; the Belgian point of view; the French point of view). Each of those points of view is chronicle, and not in any way history.

Various "opposites" are at work in "modern" historiography, but perhaps the most important of these opposites is the continuing tension between, on the one hand, all particular histories and, on the other, the "collective singular" of History. I have argued elsewhere that the "collective singular" is no longer "Universal History," as it was in the time of chronicle, but is rather the method and approaches of historians themselves [*Megill A.* Big History' Old and New: Presuppositions, Limits, Alternatives // Journal of the Philosophy of History. 9.2 (2015). P. 306–326; *Megill A.* 'Grand Narrative' and the Discipline of History // Ankersmit F, Kellner H. (eds.) A New Philosophy of History. Chicago: University of Chicago Press, 1995. P. 151-173, 263-271].

Л.В. Мининкова
(Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону)

Князь Василий Шемячич в исторической памяти русской знати

Трагическая гибель князя Василия Ивановича Шемячича, одного из самых видных представителей удельной Руси на последней стадии ее существования, осталась в памяти современников и стала частью исторического сознания последующих поколений русского дворянства не случайно. Шемячич был значимой личностью в последние годы княжения Ивана III и почти весь период княжения Василия III. Об этом свидетельствовали важнейшие вехи его жизненного пути во время пребывания в Московском государстве. Отъезд в 1500 г. на московскую службу в связи с обострением религиозного вопроса в Литве, роль его в войнах с Литвой и в обороне русского юга от крымских татар, его обширный новгород-северский удел, обстоятельства его гибели – все это не могло не привлекать пристального внимания. Вместе с тем в его личности выразилась целая эпоха – гибели последних уделов и установления самодержавия, утрата знатью своей вольности и самостоятельности, характерной для удельного времени.

Живая память об этом князе была в сознании высшей знати из числа его современников и представителей ближайших поколений. Выражение ей дал ее идеолог и выдающийся писатель, князь А.М. Курбский. Для него Шемячич был не просто личностью, которую очень хорошо знала русская знать. Его личность также хорошо вписывалась в концепцию Курбского о событиях в Московской Руси в «Истории о великом князе московском». Курбский создал исключительно яркий и трагический образ князя, направленный на обоснование идеи, содержавшейся в этом труде, – представлении Ивана Грозного как кровавого тирана. Основа этой концепции была вполне рационалистической, по существу не связанной объяснением с высшей волей. Она заключалась в том, что такими же тиранами, как он подчеркивал, были и его предки, другие великие князья московские, и качества тирана Грозный унаследовал от них. Среди них – прежде всего отец Ивана IV, Василий III, которого Курбский в повествовании о Шемячиче называл не иначе, как «мучитель».

Созданный Курбским образ Шемячича был подчинен общей цели всего произведения. Как мастер создания ярких литературных образов, беглый князь построил его на контрасте, который не мог быть не замечен читателем. С одной стороны, Курбский подчеркивал присущие Шемячичу качества храброго воина и защитника западного и

южного рубежа русских земель. Он описывал Шемячича как «мужа славного и зело храброго и искусного в богатырских вещах», «пагубу бусурманов», который «на дикое поле под самую орду Перекопскую ходящее многожды и тамо пресветлые одоления над ординскими цари поставляющи». Этому противоречило отношение к нему Василия III, не оценившего по достоинству верную службу князя. По его словам, «толь преславного мужа, воистину победоносца», великий князь «заточил в темницу и тяжкими оковами вскоре уморити повелел». Утверждение власти великого князя московского, как подчеркивал Курбский, опиралось на тиранию, в результате чего «мучитель» погубил славного своими подвигами и заслугами князя, защищавшего «отчину свою Северу» и русские земли.

Яркий образ Василия Шемячича создал Н.М. Карамзин. Выдающийся историограф был прежде всего монархистом, что предопределило совершенно иное отношение у него к Василию III, чем это было у князя Курбского. Вместе с тем он был выразителем позиции дворянства и считал необходимым, чтобы монархия ценила заслуги первенствующего сословия. Поэтому для Карамзина такие отношения между Василием III и Шемячичем, которые привели к гибели удельного князя, были явлением негативным. Вместе с тем в своем произведении, представлявшем собой образец национально-государственного историописания, Карамзин не воспринял созданный Курбским образ Василия III – «мучителя». Шемячич занимал свое место в исторической памяти Карамзина и современной ему образованной части дворянства. Однако это была уже не живая память Курбского, но иная, книжная память, основанная на знакомстве с источниками. И в рамках этой памяти расправа московской власти с Шемячичем занимала свое место и была для нее вполне органичной.

Книжная память Карамзина, однако, в отличие от живой памяти Курбского, не могла ограничиться выражением своих чувств и эмоций по отношению к великому князю и к погибшему удельному новгород-северскому князю. «История государства Российского» – это не только утверждение официозного монархического воззрения на историю страны, но и труд, стоявший на уровне исторической науки своего времени. Поэтому Карамзин свои оценки событий, связанные с гибелью Шемячича, и характеристики его самого, великого князя и причастных к этой гибели или к защите удельного князя лиц давал на основе сведений из источников. Кроме того, для него важно было объяснить трагедию удельного князя, не ограничиваясь указанием на личности великих князей московских, в том числе Василия III, как тиранов и мучителей. Такое указание не только противоречило монархической концепции труда Карамзина. Оно также не давало удовлетворительного объяснения для историографии того времени, и для карамзинских

современников не могло не показаться примитивным. На стадии развития русской и европейской историографии, когда история государства была в центре внимания как актуальная проблема культурной и политической жизни, необходимо было давать такое объяснение, которое могло учитывать процессы в становлении и развитии государства, а действия великих и удельных князей рассматривать в рамках этих процессов. Такое объяснение Карамзин и давал, основываясь на разных источниках. Сказывается при этом знакомство его с сочинением осведомленного современника, имперского посланника барона С. Герберштейна, «Записки о Московии». Во всяком случае, общая характеристика Шемячича Карамзиным очень напоминает то, что писал об этом удельном князе Герберштейн: «человек храбрый на войне и гроза татар». Определенное влияние Герберштейна проявлялось в характеристике Карамзиным причин острой борьбы Шемячича со своим ближайшим соседом, удельным князем стародубским Василием Семеновичем. Но если немецкий посланник возлагал главную вину на Шемячича, который «взымел столь сильное желание властвовать, что стал один домогаться княжества» Василия Стародубского, то Карамзин в равной степени обвинял в этом междоусобье обоих удельных князей. Карамзин при этом подчеркивал, что эта борьба была в интересах великого князя, стремившегося полностью подчинить оба удела, и Василий III «с тайным удовольствием видел непримиримую взаимную злобу Князей Северских, Шемякина и Василия Симеоновича Стародубского». Из сочинения барона историограф взял известие о том, как «один умный шут в Москве» ходил по улицам и после прибытия Шемячича в столицу «ходил тогда из улицы на улицу с метлою и кричал: *время очистить государство от последнего сора*, то есть, избавить оное от последнего князя удельного».

Влияние Герберштейна сказывалось на объяснении Карамзиным ареста Шемячича в 1523 г., после которого через несколько лет новгород-северский князь погиб. Герберштейн отмечал, что к тому времени в «державе московита» «из владевших крепостями и княжествами оставался один только Шемячич». В соответствии с этим сообщением барона Карамзин указывал, что с арестом и гибелью Шемячича «навсегда пресеклись уделы в России». Вместе с тем, в отличие от Герберштейна, Карамзин выражал явное сочувствие к погибшему удельному князю. Он не следовал за Герберштейном, обвинявшим новгород-северского князя в доносе на своего соседа с обвинением в стремлении отложиться от Москвы и, напротив, писал, что с подобным доносом на самого Шемячича выступал стародубский князь. Подчеркивая важность ликвидации уделов, он писал также, что это проходило «не без насилия, не без личных жертв и несправедливостей». Мысль о

том, что человек в ходе русской истории приносился в жертву государственным интересам была характерна для того времени.

В отношении к Шемячичу Курбского и Карамзина проявились две формы исторической памяти русской знати – живая и книжная. Образ удельного князя выступал в них как глубоко позитивный.

Н.А. Мининков
(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

Иван Грозный в исторической памяти донских казаков

«Грозный царь Иван Васильевич» занимал свое место в исторической памяти донских казаков. Еще в Смутное время одной из причин поддержки ими самозванцев и популярности среди них «царя Дмитрия Ивановича» как царского сына, имевшего в этой связи права на престол. Отчасти обращение к образу Ивана Грозного и поддержка его мнимых сыновей вызывалась отношением к царю Борису Годунову, о котором на Дону сохранилась недобрая память.

Отписка войска Донского в Москву 1632 г. также содержит следы исторической памяти донских казаков об Иване Грозном. Когда русское правительство потребовало от казаков принять присягу, они решительно отказались. Казаки, ссылаясь на то, что когда Иван Грозный стоял под Казанью, «отоманы казаки выходили з Дону, и с Волги, и с Яика, и с Терка, (и) отоман Сусар Федоров и многие отоманы козаки яму, государю, под Казанью служили не за крестным целованьям». Они приводили в пример знаменитого донского атамана Михаила Черкашенина и участника обороны Пскова 1581 г., когда он вместе с «отоманы козаки во Пскове сидели в осаде не за крестным целованьям». Наконец, по словам отписки, «при царе Иване выходили отоманы козаки. Ермак Тимофеев Сибирь взял и прислал к Москве государю с языки. И царь Иван и тех отоманов козаков, которые к Москве присланы, не велел к кресту приводити». Таким образом, в памяти казачества царь выступал как защитник права казаков служить без принятия присяги, что означало признание их самостоятельности, которую войско Донское и отстаивало своим отказом от присяги.

В труде первого историка донского казачества генерала А.И. Ригельмана «История или повествование о донских казаках» приводились сведения о том, как казачество смотрело на свое прошлое. Как он писал, при Иване Грозном донские казаки «добровольно поддалися России в 1549 году, почти с таким же договором, как Украинские Козаки потом поддались же Польше». Здесь соединилось зна-

ние об отношении казаков к Ивану Грозному со сведениями «книжными», известными Ригельману из литературы. Это – указание на 1549 г. и параллели с историей отношений украинского казачества с Польшей, когда по универсалу короля Сигизмунда II Августа в 1572 г. был установлен казачий реестр. Генерал также привел известное предание донских казаков, согласно которому Иван Грозный будто бы за участие казаков во взятии Казани им «Дон пожаловал, и грамотою утвердить изволил, с тем, что кто буде дерзнет сих Донских Козаков с мест их сбивать, да тот будет проклят во веки веков». Как писал Ригельман, на Дону власти утверждали в сознании казаков идею пожалования Дона казачеству Иваном Грозным. Как он писал, «с оной же грамоты во все станицы войска Донского даны, для сведения Козацкого, списки, которые читаются при собрании в день Покрова Святой Богородицы после обедни». Следовательно, он верил в существовании этой грамоты, но ее, конечно же, не видел, поскольку она является историческим мифом.

Идея пожалования Дона казакам Иваном Грозным за службу под Казанью нашла выражение в донском фольклоре. В песне, записанной выдающимся донским историком В.Д. Сухоруковым, рассказывалось о Ермаке, который был воровским атаманом и «гулял» «по синю морю по Хвалынскому». Но затем Ермак, завоевав Сибирь, принес царю «буйную головушку», а вместе с ней и «царство Сибирское». За это в песне царь сказал атаману: «за твою-то ли службу мне за верную, и я жалую тебе, Ермак, славной тихой Дон». В песне Ермак назван царем «войсковой донской атаманушка», что также было историческим мифом. В песне, записанной Е.А. Однобишиным в 1875 г. в Цимлянской станице, Ермак призывал казаков пойти и послужить «царю белому во Казань-город». За это, будто бы говорил атаман, «Авось нас царь и пожалует: И будем просить славный Тихий Дон с потоками и с белой Маночью». Свой вариант был записан в 1866 г. в станице Усть-Быстрянской. В этой песне Ермак с тремя сотнями казаков взял Казань и «избавил … войско царское от урона». За это «царь пожаловал Ермака князем», «наградил его медалью именною», но, главное, «подарил Ермаку славный тихий Дон со всеми его речками и проточками». Песни свидетельствуют, что идея пожалования Иваном Грозным казачества рекой Доном и ее притоками за казанскую службу прочно вошла в историческое сознание казачества и стала основой своеобразного культа царя.

Донской историк начала XX века Е.П. Савельев указывал на существование в сознании донского казачества предания, согласно которому Иван Грозный за «казанскую службу» «пожаловал» донским казакам Дон «со всеми его реками и подтеклинками». Он приводил сведения о еще одном казачьем предании, подкреплявшем версию о

грамоте Ивана Грозного с пожалованием казакам реки Дон. Сообщая о подавлении Булавинского восстания, он указывал, что казаки верили, будто бы Петр I отобрал у казаков эту историческую грамоту в наказание за восстание. В этом предании также утверждалось, писал Савельев, что Петр I обещал выдать войску Донскому другую, свою грамоту вместо этой, однако так и не выдал ее. Савельев не верил сам в существование грамоты Ивана Грозного, полагая, что самодержавие всегда только стремилось использовать казаков в своих интересах и, в конечном счете, подчинить Дон. Поэтому он и говорил об этой грамоте только как об исторической версии, существующей в сознании казачества, но не как о исторически реальном документе.

Между тем, позитивное отношение к Ивану Грозному проникало из преданий народа в донскую историографию. Выпускник Харьковского университета и ученик Д.И. Багалея донской историк П.П. Сахаров в работе 1910–1912 гг. относил ко времени царствования этого царя возникновение казачества на Дону и начало службы его русским монархам. Отмечая наличие в историческом сознании донских казаков культа Ивана Грозного, он сам носил в своем сознании элементы этого культа. Это сказывалось на оценках не только политики Ивана Грозного в отношении формировавшегося казачества на Дону, но и в отношении его политики начала царствования, которая подготовила взятие Казани и присоединение Поволжья. Сахаров писал о царе: «Сильный народной любовью, окруженный ореолом славы завоевателя двух царств, молодой, энергичный и несомненно талантливый Иван IV отлично пользовался в 1550-х годах и многочисленным кадром (так!) опытных воевод, создавшимся за две войны, и народным подъемом, и драгоценными для степной войны качествами своего частью набранного с Поля полуказацкого войска, превосходившего татар “огненным боем”». Как часть этой политики Сахаров рассматривал привлечение к войне с ханствами и ордами казаков, в том числе донских. Впрочем, такую характеристику Ивану Грозному Сахаров давал в своей студенческой работе о происхождении донского казачества. В дальнейшем он полностью отошел от подобной оценки тирана. В своей позднейшей статье о походе Ермака, написанной в пятидесятых годах, к оценке роли царя в завоевании Сибири, он уже подходил резко критически, подчеркивая вовсе не заслуги монарха, а решающую роль в этом завоевании самих казаков.

Своеобразный культ Ивана Грозного в сознании широких слоев донского казачества в начале XX века стал активно поддерживаться сверху, в связи со стремлением укрепить монархизм среди казаков. Поддержка его была косвенной, через почитание Ермака. Поэтому когда в начале века донским полкам присваивали имена

почетных шефов, то 3-й донской казачий полк получил имя Ермака Тимофеева. В 1904 г. в Новочеркасске был поставлен памятник Ермаку с надписью «Ермаку – донцы».

Таким образом, на Дону сложился культ Ивана Грозного. Он выразился в поддержке казаками самозванцев в годы Смуты, в отписке 1632 г., в преданиях. Историки приводили сведения об этих преданиях, но сами воздерживались от признания достоверности царского пожалования казакам реки Дон. В отдельных случаях донские историки, однако, выражали положительное отношение к Ивану Грозному. В начале XX века власти укрепляли культ Ивана Грозного с помощью культа Ермака. Культ Иван Грозного на Дону исчез после гражданской войны и упразднения казачьего сословия.

З.В. Мокрушина
(Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова)

Категория «свой-чужой-другой» в современной нигерийской англоязычной литературе

В стихотворении «Улисс» нигерийский поэт Воле Шойинка определил современное ему общество как мир слепцов, каждый из которых в одиночку борется с «океаном времени», пытаясь заново познать свою сущность и вновь стать частью некогда единого целого [*Soyinka W.* A shuttle in the crypt. Bristol, 1972. P. 27]. В этом образе запечатлена одна из ключевых проблем, к которой обращались нигерийские литераторы на протяжении второй половины XX века, – проблема поиска культурной, социальной и национальной идентичностей в условиях постколониального развития Нигерии.

Писатели и поэты 1950-х гг. – основоположники современной нигерийской литературы – отмечали, что к моменту обретения Нигерией независимости (1 октября 1960 г.) изменения в общественном сознании приняли необратимый характер. Усиление миграции населения из сельской местности в город и рост числа нигерийцев, получивших европейское образование в 40–50-е гг. XX века, привели к разрыву прежних межгрупповых взаимосвязей и обесцениванию привычного жизненного уклада общества. Частым сюжетом произведений нигерийских авторов этих лет (например, К. Эквенси, В. Шойинки, Ч. Ачебе) становится жизнь обитателей Большого города, который несет в себе все соблазны и блага индустриальной цивилизации, являясь в то же время сосредоточием нравственного упадка, психологической напряженности, беспрерывного столкно-

вения традиционного и современного укладов. Контрастом служили романы Э. Амади и Ф. Нвапы, в которых идеализировался патриархальный быт африканской деревни. Однако и в них мы можем встретить зарисовки, иллюстрирующие разрушение ранее замкнутого мира, деформацию традиционных представлений и идеалов.

Писатели акцентировали внимание на душевных переживаниях своих персонажей, помещая их в условия культурного надлома в общественном сознании – на грань цивилизаций и культур. Главную причину межпоколенного разлада, дезорганизации социальных структур, деления общества на социально-психологические общности «мы» / «они», большинство из них видели в политике культурной интервенции колонизаторов.

Насыщенность 1950-х гг. различными событиями политического и социально-экономического содержания создавала ситуацию, когда каждая новая действительность не обещала быть длительной. Отдельные индивиды, социальные группы и общество в целом, оказавшись на неком «культурном перекрестке», были вынуждены искать новые модели самоидентификации, что зачастую приводило к серьезным душевным кризисам. Наибольшую сложность и непрочность собственного положения ощущала интеллектуальная элита, которую остальная часть населения именовала не иначе как «черными европейцами». Получив традиционное воспитание, но европейское образование, они болезненно воспринимали свое положение – носителей чужого языка и культуры – и стремились преодолеть свою инакость. Так, ряд писателей и поэтов – йоруба Д. О. Фагунва, А. Фалети, игбо П. Нвана, А. Н. Ахара, идома С. Амалия и др. – стали создавать литературу на местных языках и на основе фольклорных сюжетов. Однако им так и не удалось полностью избавиться от воспринятой ранее европейской литературной традиции. Поэты Дж.П. Кларк, К. Окигбо и Г. Окара попытались синтезировать в своем творчестве каноны европейской поэзии с африканской мифологией и фольклором.

В литературе 1960-х гг. тема «возврата к истокам» «черных европейцев» получила особое развитие. Это объясняется тем, что после достижения страной независимости в элитарной субкультуре на первый план выдвигаются элементы традиционной культуры, что находит свое выражение в одежде, обычаях, верованиях, отказе от европейских имен и т.д. Более того, стало отрицаться все то, что было связано с Западом, с западной культурой. Это порождало новые социально-культурные конфликты, заставляя определенные группы населения ощущать себя чужаками. Целый ряд романов повествовали о судьбе молодых интеллектуалов, мечтавших служить во благо родины, но разочаровывавшихся в своих способностях что-

либо изменить в устоях современного им общества. Большинство из них ощущали себя посторонними в собственной стране. Особенно отчетливо это прослеживается в романах Ч. Ачебе «Покоя больше нет» (1960) и В. Шойинки «Интерпретаторы» (1965).

На протяжении 1970–1990-х гг., в связи с гражданской войной 1967–1970 гг., особую остроту приобрела тема межэтнического диалога и национальной консолидации, которой были посвящены произведения Розины Умело, Бен Окри, Бучи Эмечета, Олу Огуйбе и многих других писателей и поэтов.

Таким образом, категория «свой-чужой-другой» в современной нигерийской англоязычной литературе приобрела особое значение. Многоаспектный конфликт в обществе, включавший проблему межпоколенного, межэтнического, межкультурного, межцивилизационного диалога, на протяжении второй половины XX века приобретал разные очертания. В результате «чужими» становились не только европейцы – носители инокультуры, но и некоторые группы местного населения: христиане, интеллектуалы, те или иные этносы. Со временем категория «чужие» в отношении последних заменялась на «другие».

С.И. Муртузалиев
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Кавказ-Крым-Балканы: метаморфозы инонациональных стереотипов Нового и Новейшего времени в «дуге нестабильности»

Россия, Крым и Балканские страны уже несколько столетий входят в так называемую «дугу нестабильности», но сам термин появился только в XX веке. Однако именно в XVIII веке на рассматриваемой территории, как никогда ранее, возросла напряженность и надолго схлестнулись геостратегические, политические, экономические и этноконфессиональные интересы Российской, Османской и Австро-Венгерской империй, Крымского ханства, Кавказских государств и политических образований, Персии, европейских держав и подключившихся позже США.

В рамках краткого обзора очертим круг нескольких векторов, интегрирующих сопоставляемые территории в условиях межцивилизационного взаимодействия и межцивилизационного противостояния – последнее предельно национализировано и четко обозначает образ «врага».

XVIII век явился чрезвычайно важным временем в истории российско-крымских отношений. «К этому времени в черноморско-

восточно-средиземноморском регионе сложилось господство двух родственных тюркских гособразований – крымского ханства и оттоманской государственности…» (Харлампий Политидис). Турецкий вассал – Крымское ханство (с XV по XVIII век) – служило ударной силой османской агрессии против России и других славянских стран. В XVIII веке закончился долгий период почти непрерывного противостояния, и оба народа начали постепенно переходить к практике мирного сотрудничества. Крым в значительной мере можно сравнить с Кавказом, который с давних времен воспринимался и как пограничный регион, и как связующее звено между Западом и Востоком. Османская Порта и европейские соперники России сознавали, что любое усиление России на Кавказе (как и в Крыму) приведет рано или поздно к активизации ее политики на Балканском полуострове и Ближнем Востоке. В последней четверти XVIII века произошло идеологическое и военно-политическое оформление претензий России на регион Кавказа и Закавказья – определился еще один южный вектор (другим был балканский) российской внешней политики. Сегодня Кавказ представляет собой один из самых нестабильных регионов. Не случайно многими политологами и геополитиками он рассматривается как регион, которому суждено стать «русскими Балканами», выступив в качестве ключевого звена «евразийского пояса нестабильности», простирающегося от Балкан до Гималаев. В XVIII–XIX веках Россия все активнее начинает вмешиваться в балканские проблемы. В результате между так называемым «концертом государств» сформировались противоречия, вошедшие в историю под названием «Восточного вопроса», не имеющего аналогов в предшествующей истории Балкан, как и судьбоносная для народов полуострова русско-турецкая война 1877–1878 гг., а на южной границе России завершилась Кавказская война.

В геополитическом смысле Россия, Крым и Балканы – это буферные зоны, в которых помимо уже указанных интересов каждая из сторон стремилась утвердить свою ведущую роль в судьбах христианства или мусульманского мира. Итогом и последствием Первой мировой войны стала ликвидация Российской, Османской и Австро-Венгерской империй, возникновение на бывших имперских территориях новых национальных государств, у которых произошла частичная или кардинальная смена приоритетов и переформатирование образов «свой-чужой», «друг-враг». Вторая мировая война и ее последствия внесли новые коррективы в уже сложившиеся образы и характер взаимоотношений между странами и народами рассматриваемого нами региона. Мир разделился на два лагеря – мир капитализма и мир социализма, в последний вошли и балканские народные государственные образования. Наконец последовал новый виток переформатирования инонациональных образов, происте-

кающий из развала СССР (1991 г.), ликвидации Варшавского блока и СЭВ, иных коллизий и перемен. В результате сложилась новая геополитическая ситуация, сопровождающаяся трансформацией прежних взаимоотношений и сменой приоритетов образов «свой-чужой», «друг-враг».

На постсоветском пространстве развернулась настоящая война, в том числе за историю, имеющая, к сожалению, ярко выраженную антироссийскую направленность. Вхождение «украинских земель» в состав России расценивается ныне как уничтожение «Украинской казацкой державы», как одно из «тяжких преступлений царизма перед украинским народом» (Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко), а итог пребывания «Украины» в составе России – как отрыв от европейской цивилизации и деградация. Украина не одинока в своем стремлении конструирования истории, противоположной той, что ей «навязывалась прежде» (М. Ферро). Сказанное относится и к балканским постсоциалистическим странам, в которых с конца 80-х – начала 90-х гг. XX столетия наблюдается процесс изменения политических и исследовательских приоритетов и характера освещения поднимаемых проблем.

Таким образом, XIX и начало XX века, а также рубеж XX–XXI веков ознаменовались новыми кардинальными судьбоносными переменами для автохтонных и старожильских народов российской, балканской, крымской и кавказской территорий и народов других государств, сопредельных «дуге нестабильности». Распад империй и формирование национальных государств порождают новые конфликты. Сейчас, по сути, происходит возвращение к ситуации конца XIX – начала XX века с присущими тому времени взаимными территориальными и иными претензиями, этническим национализмом и т.д. Говоря о подобных образах, С.З. Копелев отмечал, что от предрассудков, связанных с образом врага, «человечество страдает с самого начала своего существования. И все еще не может исцелиться».

Отметим также, что сходство территорий Кавказ – Крым – Балканы нельзя сводить к идентичности рельефа. «Каждое из этих пространств находится на пересечении великих лимитрофных зон, т.е. между западным и восточным христианством; между христианством и исламом. Они являют собой периферию, великое пограничье, для которых характерно многовековое сохранение ряда национальных и локальных культур, никогда не объединявшихся воедино». Как отмечает Н.А. Ерофеев: «образы-представления занимают ключевое положение в ментальности: именно в образы отливаются важнейшие мысли и чувства, волнующие общество в данную эпоху, в них фиксируется картина мира, опосредованно отражаются общественные институты и устоявшиеся формы быта».

Раскрывая проблемы сугубо политических обстоятельств, сохраняющих актуальность до наших дней, исследователи, как и политики, использовали определенные мифы и стойкие стереотипы – представления о дихотомии «свой – чужой», «друг – враг», которые варьировались в зависимости от изменения ситуации, что затрудняло непредвзятое восприятие «чужого». Однако во времена больших перемен (к ним относится и наше время) «народы как бы заново познают друг друга, когда открывается возможность, опираясь на уроки истории, на личный жизненный опыт и новую реальность, пересмотреть, проверить, скорректировать, опровергнуть или поддержать бытующие в сознании и культуре представления о других народах» (Славомир Вольман). В современных условиях деконкструкция стереотипов национальных взаимопредставлений приобретает особое значение.

Наблюдающийся рост научного и практического интереса к изучению культурных образов «Другого» – представителей иной культуры, являющихся составной частью картины внешнего мира с позиций историко-имагологического подхода, важен и для России, и для ее международного имиджа. Возрастающее значение расширения диалога требует учета культурного многообразия и уникальности каждой цивилизации, необходимости познания своего соседа и себя. В этой связи возрастает интерес к сравнительному изучению различных стран и народов, исследованию системы представлений, восприятия друг друга, к оценке инаковости «другого/чужого» на основе собственной системы ценностей, что способствует самоидентификации и сплочению нации, столь необходимых современной России.

Г.А. Мухина
(Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского)

Культурно-национальная идентификация Ф.А. Степуна

Многие ощущали русско-немецкую двойственность Ф.А. Степуна: немцам он казался «типично русским», русским – несмотря на его православие – «совершенным немцем», что делало его «несравнимым посредником» между двумя культурами, – писал ученый-славист Д.И. Чижевский [*Чижевский Д.* Речь о Степуне // Степун Ф.А. Встречи. М.: «Аграф», 1998. С. 247-248]. По мнению Л. Зандера, тоже связанного с Ф. Степуном долгой дружбой, его «духовный генезис» определяли «европейская и, в частности, германская традиция»: он – «европеец в лучшем смысле этого слова», «предста-

витель западной культуры, западного трудолюбия, западной честности и ответственности» [*Зандер Л.* О Ф.А. Степуне и о некоторых его книгах // Степун Ф.А. Письма. М.: РОССПЭН, 2013. С. 615].

Он сам признавался в своей биполярности: «Две любви бессмертны в душе человека»: «любовь к своей земле», «к своей родине» и «любовь к чужому небу, к вольной дали». Обе слиты «в одну неделимую»: «мы чувствуем ее и как родину на чужбине и как чужбину на родине, любим ее потому новою, страстною, тоскующей любовью», отчего «идеи патриотизма приобретают новый, религиозный смысл».

В нем всегда была жива нераздельность русского и европейского. В последние годы пребывания на родине вместе «с печалью по России» часто вставала и «тоска по далекой Европе». Но в 1923 г., отъезжая из Москвы, почувствовал, как отодвигается «разумная Европа» и сильнее вырисовывается в памяти «безумная Россия». Эмиграция обострила чувство утраты: «изгнанием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы». – «Россия осталась в России, а не переехала в эмигрантских сердцах в Париж, Берлин и Прагу». Философу пришлось менять научную направленность, он писал Н. Бердяеву в 1928 г.: «У меня пропал интерес к объективной гносеологии и вкус к субъективной метафизике. Чисто научный интерес мой все больше склоняется к истории, а метафизический – к религии». Хотя понимал, что в сфере политики разрешаются «не политические, а религиозные и метафизические проблемы», и «в основе всякой практики всегда лежит философия».

Он был очень чуток к взаимоотношениям обеих культур. Первая мировая война ужаснула его беспамятством: враждующие стороны предавали «проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением» каждой из них. Вражда коснулась и его лично: в 1937 г. он был уволен с профессорской должности, поплатившись «за христианский антирасизм» и «за русскость». Но и в нацистской Германии, несмотря на свою «русскость», он переживал «что-то вроде духовного немецкого патриотизма». Когда мало различали «национал-социалистскую маску и национальное лицо», он обязывал себя разъяснять эту «подмену понятий». Ратовал за взаимопонимание наций, и если невозможно «говорить в полный голос» – оставаться «самим собой».

Ему хотелось понять близких людей и преломление идентичности в их творчестве. Так, В. Иванова считал «не только русским западником, но и человеком Запада», который всегда отводил «большое место народу, народности», но его народное искусство – это «искусство Данте, Достоевского, Гете или Клейста», «не имеющее ничего общего с психологическими изображениями народной жизни». Принимая культурную биполярность как норму, порицал

Блока «за измену и ненависть» к европейской цивилизации, за утрату возможности слышать «отзвук гуманизма», оставшийся в ней. Но Б. Зайцева он никогда не считал русским западником, как бы глубоко тот ни любил Данте и Италию, ибо в его патриотизме не было ничего, «кроме глубокой любви к России» и русской природе.

Революция же обогатила его «углубленным постижением России». Степуна она тоже встряхнула, довела патриотическое чувство до эстетического восторга: «Только теперь, после всего, что приключилось с Россией, поняли мы все, какая она у нас была красавица, сколько в ней было непередаваемого очарования, <…> нет для нас жизни, кроме как в ней». Она заставила глубже понять подлинность экзистенционального смысла и этических приоритетов: «В страшные первые годы большевицкого царствия мы не только поняли, *что* есть хлеб, кров, одежда, но также и то, *что* есть любовь, дружба и верность; родина, государство, семья. Поняли, кто поэт, кто ученый, кто герой, кто трус, кто настоящий русский человек, кто на Руси прохожий». Заставила заглянуть в бездну русской души и с ужасом отшатнуться от постижения типично русской широты, обнаружив в ней «близость идеала Мадонны и идеала Содомского», понять ее максимализм – «все бесконечные возможности религиозного восхождения русской души, так и страшные возможности ее срыва в преисподнюю небытия», открыть способность русских к адаптации – их невероятный артистизм, объясняющий, почему они «всюду дома». Из этого сочетания рождалось «жуткое перерождение» – «оборотничество России.

С отставкой в 1937 г. он взялся за мемуары и был «очень счастлив», живя «в своем прошлом». В «своеобразной автобиографии» хотел создать образ России. В этом образе жила широкая русская душа, в которой была «какая-то особая черта, своеобразная жажда больших событий – все равно, добрых ли, злых ли, лишь бы выводящих за пределы будничной скуки»; «искушение послать все к черту, уйти на дно, а там, быть может, и выплеснуться неизвестно как на светлый берег». Эта «смутная тоска по запредельности» сыграла, казалось ему, «громадную роль в нашей страшной революции».

Русских и европейцев различал по уровню общей культуры. У русских – «даль неизжитой мечты», а для Запада – немыслимо пребывать в «отлетно-романтическом настроении». Прежняя Россия изумляла его «по особому заказу скроенными и сшитыми людьми». «Что ни человек – то модель. Ни намека на стандартизованного человека западноевропейской цивилизации». «Всякий добрый европеец, не верующий в Бога, далеко еще не безбожный человек», ибо жива «вера в нравственность, в право, в культуру, в науку, во все ризы отрицаемого им Божества». Народная же Россия никогда не верила «ни в науку ни в право, а всегда только в Бога, в нагого, не облаченного Бога».

Однако он не подвергал сомнению, что «крепко веровавший, по старине живший», «всегда знавший, что пристойно и что непристойно», русский хлебороб-хозяин был «высококультурным человеком в самом подлинном и строгом смысле этого слова».

У мыслителя было свое – персонифицированное понимание народа: «Народ – это не множество мужиков, а народ – это Достоевский, это Толстой, это народ, собранный в какую-то творческую силу. Вот мне нужен только этот народ». Несмотря на отсталость, Россия – «в лице Достоевского, Толстого, Соловьева и их последователей» шла «почти впереди Европы» в религиозно-эстетическом сознании. Как носителя русской культуры выше всего ставил Пушкина, в его творчестве видел «образ исключительной гармонии, свойственной национальным и религиозным глубинам русского народа». Это «гений русского благообразия», связь которого с христианством и православием была «связью исторической памяти» – отсюда «дар перевоплощения в древних русских людей и дар раскрытия древних корней в современных ему людях».

После Второй мировой войны, думая о переезде в США, Ф. Степун понял: там надо быть молодым и американцем, а он – «стар и глубокий Европеец». Но корни свои всегда помнил и «с годами все крепче» чувствовал себя «связанным» с Россией. Он писал друзьям Г. и М. Кульманам в 1947 г.: «Не любить грешной России, к которой я сам принадлежу, я, конечно, не могу, но любить ее грехопадения я, конечно, не смею». Чувство родины проверялось отношением к Германии, где он долго жил, ощущал к ней родственную близость, но не мог назвать ее «второй матерью». Тем самым признавал только одну свою мать – Россию. Более того, говорил о себе: благодаря православию, русской жизни, лекционным разъездам по России, счастью дышать ее далями, армейской близости с русским солдатом, женитьбе на коренных русских женщинах, пятилетнему хозяйствованию на земле – из «близкокровного России полупруссака» превратился в «подлинно русского человека».

Политически идентифицировал себя с правым социализмом и не исключал для России встречи социализма с национально-религиозной культурой. Был убежден: «Спасение только в вере», надеялся: на родине «растет живая вера в Бога, тоска по личному творчеству и жажда новой справедливости». И на себе испытал: если бы не таинственная рука Провидения, он «никогда не вышел бы из войны и революции» «духовно окрепшим человеком». Так отразилась в творчестве Ф.А. Степуна – через подвижность и нераздельность – ощущение своей русскости и европейскости (но не широкого западничества).

В.Д. Назаров
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Историческая память и политические практики в России (конец XVI – начало XVII века)

Апелляция к исторической памяти при решении конкретных политических задач, личных или групповых, манипулирование разными сегментами общественного сознания фиксируется в событиях и текстах, как предшествовавших Смутному времени, так и самой эпохи первой гражданской войны в России. В зависимости от ситуаций и целей различались форматы и способы использования исторической памяти. В одних случаях речь идет о неявной, не проговоренной в текстах апелляции к реалиям, институтам, личностям недавнего прошлого. В других конституирующий характер события наоборот требовал текстов с развернутой мотивацией. В ней обращение к недалекому и весьма отдаленному прошлому российской и византийской государственности, к живой памяти одних людей и книжной мудрости других было едва ли не решающим аргументом. Обратимся к примерам.

В первом случае речь идет о 1584–1591 гг., времени острой борьбы в правящей элите Российского государства. В момент скоропостижной смерти Ивана IV в марте 1584 г. статус Б.Ф. Годунова определялся чином боярина в особом дворе царя, а реальные позиции – браком его сестры с царевичем Федором (ок. 1574 г.). Последний стал наследником престола после трагической смерти его старшего брата в 1581 г. Годунов к марту 1584 г. не имел никакого опыта в государственном управлении, в военном деле, в дипломатических отношениях, он не занимал ни одной сколь-нибудь значимой должности. Его предполагаемое включение в состав опекунского совета при Федоре не гарантировало ему главенствующей роли в окружении нового царя. Во-первых, в политической традиции России институт опекунского совета не сложился. Во-вторых, он сильно уступал остальным опекунам – кн. И.Ф. Мстиславскому, кн. И.П. Шуйскому, боярину Никите Романовичу Юрьеву.

Чиновное восхождение Годунова к позиции единоличного правителя при царе Федоре таково. Не позднее мая 1584 г. он стал «конюшим и боярином», с осени 1586 г. он – «дворовой воевода», с июля 1591 г. – «слуга, дворовой воевода, конюший и боярин царя и великого князя Федора Ивановича всеа Руси самодержца». Какие же управленческие реалии и полускрытые обращения к институтам и лицам недавнего прошлого обнаруживаются в этих назначениях? В общем виде совокупность должностей означала институциональное

закрепление за Годуновым позиции главы Думы (конюший боярин) командующего «гвардией» российской армии (дворовой воевода), фактически единоличного правителя при монархе (слуга). Помимо прочего, все посты гарантировали формальное и неформальное постоянное личное общение с царем. Какие же реалии и лица прошлого могли ассоциироваться с названными назначениями? Ответ очевиден. Это конюший и боярин Иван Петрович Федоров, один из руководителей земской Думы, справедливый судья и управитель (по оценкам современников), убитый Иваном IV в сентябре 1568 г. (Годунов реставрировал сам институт). Второе имя – выдающийся воевода кн. Михаил Иванович Воротынский, земский боярин, одержавший летом 1572 г. в битве при Молодях важнейшую победу над армией крымского хана Девлет-Гирея. Это также плеяда блестящих военачальников, дворовых воевод в годы «Избранной рады».

Итак, бывший опричный стряпчий и боярин особого двора Иван IV Борис Годунов своими назначениями (и, конечно, реальной политикой) актуализировал в памяти современников не учреждение опричнины, но эпоху 1550-х гг., а в опричном лихолетье – деяния и образы выдающихся лиц из земщины.

Принципиально иная ситуация сложилась во время избрания Годунова царем. Требовалось развернутое обоснование единственно верного выбора, соответствовавшего «Божьему произволению», текст с историческими примерами из далекого прошлого, недавних и близких времен. Наличного образа Годунова как мудрого благочестивого правителя, победоносного воителя и защитника православного государства при царствующем монархе было недостаточно. Сохранилось два памятника: так называемое Соборное определение об избрании Годунова царем и Утвержденная грамота (известна, по крайней мере, в двух редакциях). Они хронологически близки друг другу. Между ними есть различия и текстологические (в т.ч. по объему текстов), и композиционные, но система аргументов, набор доказательств, в принципе, близки. Тезисно краткое Соборное определение формулирует основные смыслы и аргументы. Годунов, оказывается, законный царь как наследник династии по праву («по сочтанию браку царьского корени сродичу») и по воле («благославению») двух последних царей. Иван IV «благословил на царство» сына своего Федора, одновременно поручив его Годунову, а заодно «благословив на царство» последнего после сына. Федор же просто благословляет своего шурина. Для аргументации целесообразности избрания Годунова царем используются уже знакомые нам его посты и звания. Он не только шурин царя, конюший боярин и слуга, но и «ближний приятель» самодержца (понятие подразумевает отнюдь не их бытовое общение), победитель «прегордых» ха-

нов и королей (отсылка на события 1589/90 г. и 1591 г.). Дан и перечень примеров из библейских времен (два случая) и из истории Византийской империи (пять примеров), когда «царями» становились не сыновья или родственники правителей. Особенно выразителен случай с Василием Македонянином: прежде чем стать императором, он был конюшим.

В Утвержденной грамоте приведенный набор аргументов расширен за счет детализации ряда событий (характерно изложение предсмертных действий Ивана IV, что отнюдь не меняет его оценки как мифа и фальсификата), новой сюжетной линии (обоснования прав Бориса Федоровича на престол как бы впаяны в последовательный рассказ о событиях в январе-феврале 1598 г.), за счет дополнительного исторического контекста (суперкраткий обзор истории российских самодержцев от Рюрика до Федора, своеобразная выжимка «Степенной книги»). Подобные отличия объясняются различием типов документальных текстов, а также разницей в целевой аудитории. Соборное определение широко рассылалось и было связано с принесением присяги новому царю и членам его семьи. Утвержденная грамота предназначалась прежде всего для подписания участниками соборных заседаний, а также лицами, не сумевшими по объективным причинам быть на соборе. То был документ конституирующего характера.

Третий случай – избрания российским царем в феврале 1613 г. 16-летнего Михаила Романова. Аналогии с событиями 1598 г. очевидны. В обоих случаях речь шла об отдаленном родстве или свойстве нетитулованных лиц с династией московских Рюриковичей. И в 1598 г., и в 1613 г. царь избирался на земском соборе, а для доказательства истинности («Божьего произволения») выбора кандидатов было необходимо пространное обоснование их прав на престол. Бесспорно, что сходство политической ситуации не было их тождеством. Страна в начале 1613 г. еще не вышла из «великой Смуты», а 16-летний отрок никак не мог равняться зрелому государственному мужу, чей опыт реального правления страной насчитывал почти 15 лет. Тем удивительнее совпадения в наборе аргументов, в последовательности их изложения. В историографии установлено, что главным источником Утвержденной грамоты 1613 г. была аналогичная грамота 1598 г. Бесспорно, были и существенные дополнения (в исторический контекст), и новые трактовки ключевых определений. Михаил Романов оказывается «ближним приятелем» царю Федору (кровному родственнику, что в понятиях того времени неверно) по «духовному сродству», по набору качеств, аналогичных идеальному образу православного царя, каковым в тексте предстает именно Федор Иванович.

Сотворение «романовского мифа» в феврале-мае 1613 г., благодаря разнообразию источников, прослеживается детальнее, чем в

1598 г., хотя годуновская мифология начиналась с политических практик и текстов еще в 1584 г. Но при этом аналогичны жанры ключевых памятников с разными целевыми аудиториями. В обоих случаях пространным Утвержденным грамотам предшествовали так или иначе рассчитанные на массового слушателя и зрителя (редко читателя) тексты грамот (окружных, соборных, указных, иных), наказов и другой документации, связанной с созывом и деятельностью соборов.

Е.Л. Назарова
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Единая память для подданных Российской империи: история «Смутного времени» в педагогических практиках для латышей в XIX – начале XX века

Процесс внутренней консолидации Российской империи, который активно начался в правление Екатерины II, предполагал и формирование единой исторической памяти у нерусских народов страны как у членов общероссийского государственно-политического единства. Сложность этой задачи состояла в том, что национальные окраины империи включались в состав России уже после ряда исторических событий, которые были эпохальными для русской истории. Если в памяти русского народа эти сведения закрепились в письменных источниках (летописях, былинах, сказаниях, житиях) или передавались в виде фольклора, местных и семейных преданий, то для других народов эти сведения никак не были связаны с родной историей. Кроме того, некоторые особо важные для истории Российского государства события в памяти жителей национальных окраин могли отложиться в ином виде, чем у жителей коренной России. Иначе говоря, историческая память в Российском государстве должна была быть единой для всех подданных империи в трактовке особо значимых событий, но детали этих событий могли быть разными при доведении их до разных народов.

Наиболее эффективные результаты в усвоении подданными империи истории Российского государства могли дать печатные издания для населения окраин, что было напрямую связано с уровнем грамотности народных масс. В качестве конкретного примера включения народа империи в общероссийское пространство исторической памяти в XIX – начале XX века рассмотрим, как события Смутного времени в России XVII века закреплялись в памяти латышей – одного из наиболее грамотных народов империи, но XVII веке еще не являвших подданными русских монархов.

История Смуты, предшествующая воцарению новой династии в России, стала обязательным сюжетом в курсе народных латышских школ со второй половины XIX века, когда в программу обучения начали включать сведения по истории и географии страны. Но при отборе фактов и акцентов в подаче материала надо было учитывать исторически сложившееся отношение латышей к их соседям-литовцам. А оно заметно отличалось от традиционного представления о литовцах в памяти русского народа. С XIV века и до войны 1812 г. пришедшие с запада иноземные войска отождествлялись жителями центральной России с литовцами. Интервенты начала XVII века воспринимались и как польские, и как литовские; и те, и другие были католиками, т.е. душителями православной веры.

Хотя в исторической памяти латышей литовцы и были связаны с зависимостью латышских земель от Речи Посполитой, представления о них не несли негативного оттенка. Литовцы были постоянными торговыми партнерами. В народных песнях-дайнах Литва воспринимается как чужбина, но сами литовцы – как «друзья». К тому же в годы восстания 1863–1864 гг. латышские крестьяне сочувственно относились к своим литовским собратьям. Всего этого не могли не учитывать авторы учебных и популярных изданий на латышском языке, заимствовавшие рассказы о событиях русской истории из русских изданий.

Первоначально краткие сведения по истории и географии Российской империи включались в общие книги для чтения. Упомянем в этой связи рассказ о Смутном времени в «Русской азбуке для латышей» (1870 г.) для православных школ И. Крауклиса. Содержание рассказа он, видимо, заимствовал из «Книги для Чтения» в народных училищах (Киев, 1864 г.), а также из «Учебной книги русской истории» С.М. Соловьева (1859 г.). Учитывая уровень знаний своих учеников, Крауклис лишь в общих чертах сообщает об иноземном нашествии и рассказывает о самопожертвовании русского народа в отражении врага: ополчение во главе с Козьмой Мининым спасло «царство Русское от всех бедствий» и освободило «от позорного ярма иноверцев». Для Крауклиса важно не назвать по имени конкретного врага, а показать, *ка́к* с этим врагом боролся русский народ.

С введением в латышских школах отдельного курса русской истории (с рубежа 1870/80 х гг.) Смутному времени в учебных пособиях уделялось больше внимания. Латышские авторы, как правило, брали за основу курс истории для народных училищ С.Е. Рождественского. Последний же использовал материалы из общедоступных изданий для широкой публики С.М. Соловьева. Правда, в латышских учебниках были некоторые отличия. Например, в «Русской истории для школ и домашнего чтения» М. Каудзите (1885 г.),

следуя за русскими авторами, начинает рассказ о Смуте с правления Бориса Годунова и борьбы за власть между боярскими родами и доводит до изгнания интервентов народным ополчением. Основными врагами он называет польских панов и католических священников. Но при этом говорит, что распри среди бояр были на руку самозванцам и полякам; к тому же предательскую роль сыграли казаки и некоторые представители русской знати. В центре рассказа – подвиг русского народа. Однако в отличие, например, от Соловьева в латышском учебнике литовцы в этих событиях вообще не упоминаются. Да и в целом этнический аспект в общем контексте рассказа занимает у Каудзите меньшее место, чем у Соловьева. Акценты в учебнике Каудзите расставлены таким образом, что понятие врага распространяется не на всех поляков, а только на тех, которые пришли войной в Россию.

Подобным же образом об истории Смутного времени рассказывает в очерке (1878 г.) о патриархе Никоне один из организаторов народного образования в Латвии Фрицис Бривземниекс. Очерк предназначен для дополнительного чтения «прилежных латышских юношей», уже овладевших грамотой. Жизнеописание Никона, которого Бривземниекс по идеологической значимости в русской истории сравнивал с Мартином Лютером, дается на широком фоне событий первой половины XVII века. Причина всех бедствий в стране – духовное разложение социальных верхов, в том числе части православного духовенства. Польское нашествие стало возможным из-за смуты в верхах русского общества и предательства самих бояр. Интервенты – «хитрые поляки», но литовцев среди них нет.

Наиболее полное представление об истории смутного времени давал большой очерк К. Межниекса «Великая смута в России» в журнале «Молодежные тропы». При отсутствии национальной средней школы журнал играл важную роль для дополнительного образования латышской молодежи, излагая в доступной форме сведения по разным наукам. Почву для успеха интервенции в начале и на следующих этапах, по мнению автора, подготовила борьба за власть разных групп боярства, а также предательская политика бояр и казаков. Страну разоряли польские войска, но в общем контексте событий поляки (как и шведы на севере России) были в значительной мере инструментом в руках боярских группировок в борьбе за власть. Поддержка Лжедмитрия I в народных массах была следствием произошедшего незадолго до того окончательного закрепощения крестьян. Но здоровые силы народа предотвратили гибель России. Воплощением этих сил стало народное ополчение. О литовцах в очерке не упоминается.

Таким образом, события иноземного нашествия в период Смутного времени закреплялись в исторической памяти молодых латышей,

ассоциируясь с мужеством и самопожертвованием русского и других народов империи, но при этом у них не складывался образ врага в виде другого народа как этно-политической общности в целом (не только литовцев, которые вообще исключены из контекста событий, но и поляков). Не создавалась частая в истории ситуация, когда на долгие времена один народ воспринимал другого как врага.

М.И. Нисковская
(Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН)

Идентичность И.П. Елагина в историческом познании

Исторические письмо в России XVIII века только начинало зарождаться, не были выработаны каноны исторических исследований. В этот период идентичность историка зависела от его личного опыта, его предпочтений. Некоторые историки стремились ввести ряд норм и правил для изучения и описания сохранившейся памяти о прошлом, сформировать принципы профессиональной идентичности. Но были и другие историописатели, которых не признавали ни современники, ни последующие исследователи. Эти авторы не считали важным описать достоверный ход исторического процесса, в своих историях они видели другие возможности исторического познания. Одним из таких историописателей был Иван Перфильевич Елагин (1725–1796), он описывал исторические события в зависимости от собственного восприятия и политических и социокультурных ориентаций современной ему эпохи. Изучением исторического процесса автор занимался под влиянием И.Н. Болтина в последние годы своей жизни (1780-е гг.). Историческое сочинение было доведено И.П. Елагиным до 1564 года. Его труд сохранился в рукописи, был опубликован А.И. Мусиным-Пушкиным после смерти И.П. Елагина в 1803 г. под названием «Опыт повествования о России» и то, только частично. Напечатана была лишь небольшая часть этого сочинения, относящаяся к древнейшему периоду истории. Его работа оказалась не востребована исследователями для постижения исторического процесса, т.к. в ней было много неточностей, но сочинение может стать полезным в изучении идентичности самого автора, выявить его мотивацию сознательного искажения исторических фактов.

Особое внимание стоит уделить оформлению «Опыта…» И.П. Елагина. Его работа делится на три книги: первая начинается с введения, которое состоит из шести отделений, две другие подразделяются на главы и отделения, а та, в свою очередь – на параграфы. Во

введении, которое автор назвал «Всеобщее в повествование вступление» говорится о причинах расселения народов до потопа, о появлении многобожия, об источнике многобожия, о расселении народов, о заселении северных территорий, о хронологии, которая у автора вызывает сомнения, о населении севера. Во введении идет анализ источников и историографии. В тексте работы основные источники и темы обозначены автором на полях. Помимо этого работа содержит постраничные комментарии, которые обозначены звездочками (*).

Изучая «Опыт повествования о России», можно заметить своеобразное восприятие исторического процесса И.П. Елагиным, который по-своему понимал смысл и задачи написания исторической работы. Во-первых, стоит отметить, что автор не ставил перед собой цель полно и подробно осветить ход исторических событий отечественной истории, в его понимании написание исторического сочинения – это лишь способ развлечь себя, скрасить свою старость, которая тяготила его болезнями. Во-вторых, И.П. Елагин воспринимал историю как некое художественное полотно, на нем яркими красками изображены все человеческие деяния, положительные и отрицательные поступки, справедливые и корыстные законы, благочестивые или порочные правители. Эти эмоционально окрашенные сюжеты должны были не столько реконструировать ход исторического процесса, сколько вызывать сочувствие к добродетели и ненависть к порокам.

Для поиска интересных читателю сюжетов, исторических фактов И.П. Елагин обращается к первоисточникам, текстам летописей. По его словам, летописи, на которые опирались известные ему историки, не имеют достаточного потенциала для привлечения внимания читателей к тем или иным проблемам. Они написаны неинтересным сухим языком, не вызывают ярких образов, не переливаются красками в воображении читающей публики. Собственные представления И.П. Елагина об историческом познании натолкнули его на мысль о необходимости корректировки канонов профессиональной идентичности историков. По его словам, автор исторического текста должен был перекраивать тексты исторических источников, чтобы они стали приятными для чтения, понятными не только историкам XVIII века, но и обычным людям. И.П. Елагин настаивал, чтобы историк уделял особое внимание художественному стилю изложения фактологического материала.

В «Опыте…» выделено несколько направлений, которые автор исторического сочинения должен продвигать в своей работе, одним из этих направлений было формирование положительного облика русского государства в глазах подданных. Следующим аспектом, удовлетворяющим представлению И.П. Елагина об идеальной истории русского государства, можно считать воспитание неразумного

народа, формирование устойчивого мнения об авторитете государственной власти, незыблемости законов и необходимости неукоснительно им следовать.

Немаловажную роль в историческом познании автора «Опыта…» играла демонстрация величия русского государства, равного западноевропейским странам. В XVIII веке значительное место отводилось античности, которая являлась фундаментом западноевропейской цивилизации, поэтому государства, которые связывали свое зарождение с историей античности, могли признаваться более авторитетными, чем остальные. Это оказало существенное влияние на историческое познание И.П. Елагина. Он с помощью вымышленных примеров, источников, также других способов попытался создать представление о близости русской истории с античностью. И.П. Елагин говорил, что историки многим народам приписывали красивое мифическое начало, основанное на недостоверных источниках. Этот факт, с его точки зрения, позволяет и начало отечественной истории сделать красивым, создающим образ русского государства как одного из древних, не уступающих другим государствам, в том числе своими корнями. «Повествователи, или неведение свое скрывая, или тщеславию порабощенные, каждый своему народу приписует мечтательное начало от причин чудесных, и роды свои часто от Божества производят. Если басни древних Греческих творцов, в недостатке истиннаго повествования, за некоторые приемлются основание, и самые Стихотворцы их от свидетельства поздними Писателями не отвергаются: то не знаю я, по чему бы не дозволено было и мне древних наших баснословий к развязке неизвестнаго начала наших Славяноруссов не употребить» (Елагин И.П. Опыт повествования о России. М., 1803. Кн. 1. С. 34). Стоит добавить, что красивое зарождение русского государства И.П. Елагин создавал сознательно, намеренно он жонглировал фактами из древней истории, это не было невежеством автора, он был образованным человеком, который хорошо разбирался в истории, в том числе античной.

Можно предположить, что идентичность автора «Опыта…» (который на момент написания работы был отвергнутым Екатериной II сановником, но при этом большую часть жизни был приближен к ней), а также состояние его здоровья отразились на его историческом познании. Его взаимоотношения с «просвещенной императрицей» позволили ему узнать о международных и внутренних проблемах русского государства, о сложностях написания отечественной истории, которую разрабатывали иностранные историки. Вероятно, особенности изложения истории в «Опыте…» – это способ вернуть расположение Екатерины II, а также это его собственное видение исторического сочинения, сложившееся под влиянием

жизненного опыта автора. Помимо этого, стоит отметит, что И.П. Елагин был связан с театральной деятельностью, это могло способствовать формированию особого мышления автора, стремящегося превратить историческое произведение в способ доводить определенные образы и заданные автором мысли до читателя с помощью увеселительной оболочки.

Таким образом, «Опыт…» И.П. Елагина можно рассматривать как особый вид исторического текста, направленный на формирование нужного государству мнения об истории, государственности, правителях с помощью «совершенствования» текста летописей, стремления вызвать у читателя сочувствия к добродетелям и ненависти к порокам, интересных сюжетов, описаний, яркого, художественного стиля. Данный текст позволяет изучить особое восприятие исторического процесса И.П. Елагиным, сформированное под влиянием его жизненного опыта и плохого самочувствия.

Ю.С. Обидина
(Марийский государственный университет, Йошкар-Ола)

Феномен эллинства: от идентификационных практик к осознанию идентичности

Проблема идентичности, как известно, имеет устойчивую исследовательскую традицию в социальных и антропологических исследованиях. С данной точки зрения, ключевым моментом, особенно в отношении традиционных обществ, являлось понятие этнической принадлежности. Практика определения себя, своей семьи и социальной группы в качестве оппозиции другим индивидам и группам рассматривалась как основной признак человеческого поведения. Составной частью этой социальной логики являлся этнос, несмотря на то, что выявление этнических групп и этнической принадлежности сопровождается определенными сложностями.

В отношении к древним обществам это усугубляется нехваткой либо фрагментарностью письменных источников. На помощь приходят археологические исследования, но здесь возникает закономерный вопрос – с каких позиций археологи должны подходить к определению этнической принадлежности? Безусловно, археологические комплексы могут быть объединены в «культуры», которые характеризуются повторяющимися особенностями, будь то керамическая посуда, украшения, типы жилищ и т.д. Каждая культура, определенная таким образом, может быть соотнесена (по крайней мере, гипотетически) с определенными группами людей. Этнографические

исследования, однако, уже давно показали, что эти соотнесения являются слишком упрощенными.

Попытка определить этническую группу и проследить, как она воспринимается и определяется своими собственными членами на археологическом материале, была предпринята Джонатаном Холлом [*Hall J.M.* Ethnic Identity in Greek Antiquity // Cambridge Archeological Journal. Vol. 8. Issue 2. P. 265-283]. Он считает, что этническая принадлежность зависит от того, что говорят люди, а не от того, что они делают; следовательно, одна материальная культура, без поддержки литературных свидетельств, является недостаточным основанием для исследования этнической идентичности в обществах прошлого.

Обращаясь к идентичности древних греков, следует отметить, что с позиции греки / не греки (варвары) проблема греческой идентичности имеет устойчивую историографическую традицию. В данном исследовательском поле всегда прослеживается позиция «свой-чужой» вне зависимости от взаимоотношений греков и варваров в ту или иную историческую эпоху. Проблема иного рода – осознание своей идентичности в рамках собственного социокультурного сообщества. Таким образом, перед нами стоит задача не только рассмотрения концепции идентичности в отношении древних греков, но и отношения древних к их мотивации к идентичности. С этой целью сегодня разрабатываются как теоретические, так и методологические подходы, выявляются эмпирические данные, демонстрирующие важность теории и научных исследований для эффективной практики.

Определение «этнической идентичности» древних греков – задача, сложная вдвойне, если не втройне. Исследователи считают, что самосознающее чувство эллинской идентичности первоначально возникает в результате колониальных экспедиций VIII в. до н.э. [Против давно уже бытующего в науке представления о сравнительно позднем (не ранее войны с персами) возникновении греко-варварского антагонизма выступил Ю.В. Андреев, который в качестве весьма показательного примера сослался на Х. Швабля. – См.: *Андреев Ю.В.* Греки и варвары в Северном Причерноморье (Основные методологические и теоретические аспекты проблемы межэтнических контактов) // Вестник древней истории. 1996. № 1. С. 8. Прим. 17].

Однако столкновение между греками и не греками не были новыми для VIII века до н.э. Кроме того, исследование колонизационных процессов не оставляет ощущения постоянной враждебности между греками и другими народами. Более того, вопросы аккультурации в данном процессе должны рассматриваться отдельно от исключительно этнической идентичности. В этой связи возникают лингвистический и информационный аспекты исследования про-

блемы, которые заключаются в нехватке литературных свидетельств об эпохе архаики, в отличие, например, от классической эпохи.

Другими словами, мы можем сформулировать вопрос следующим образом: сыграл ли процесс колонизации ключевую роль в формировании идентичности древних греков, либо мы вынуждены отправной точкой исследования считать эпоху Греко-персидских войн, как это представляется традиционно в отечественных и зарубежных исследованиях [*Diller H.* Die Hellenen-Barbaren-Antithese im Zeitalter der Perserkriege // Grecs et barbares... S. 39-68; *Bengtson H.* Hellenen und Barbaren: Gedanken zum Problem des griechischen Nationalbewusstseins // Kleine Schriften zur alten Geschichte. München, 1974. S. 158-173].

Поскольку этническая идентичность является социальным конструктом, то, рассматривая колонизационные процессы только в данной плоскости, мы не сможем обнаружить определенную роль колонизации в формировании греческой идентичности. Но если ракурс исследования перемещается в социокультурную плоскость, то вырисовываются интересные аспекты зарождения эллинской самости.

Безусловно, в ходе колонизации изменились отношения между греками и не греками, и эти изменения, возможно, способствовали пересмотру роли греков в процессе формирования новых политических объединений на колонизированных территориях. Здесь мы лишь отметим, что открытым остается вопрос об осознании своей идентичности в среде простых колонистов и элиты, которая была в большей степени включена в социальные и политические процессы.

Возникает также проблема аккультурации в рамках идентификационных процессов. Причем эти процессы имели двоякую направленность. С одной стороны, греки все больше включались в социокультурные процессы колоний, с другой стороны, и местное население могло предпринимать попытки по консолидации перед лицом не-греков.

Возможно, существовало некое двуязычие в греческой и негреческой среде, которое отделяло данные общности от тех, кто не говорил ни на том, ни на другом. Вполне возможно также, что в эпоху архаики эллинская идентичность еще не сложилась в полной мере, но, в любом случае, язык, особенности поведения, нравы и обычаи заложили основы этого процесса при контакте греков с другими народами.

Идентичность становится жизненно важным компонентом греческих диаспор и фактором взаимодействия колоний друг с другом. Это проявляется, в частности, в общности погребальных ритуалов, которые фиксируются в различных греческих колониях этого времени. Но и в рамках погребальной обрядности остро стоит вопрос о социальной стратификации.

Важность колонизационных процессов для формирования основ греческой идентичности подчеркивается и отсутствием упоминаний в литературных источниках о пренебрежении к туземцам, что разительно отличается от свидетельств эпохи классики. Безусловно, это гипотетическое предложение в связи со скудностью исторического материала. В частности, уже «Одиссея» Гомера демонстрирует нам ощущение инаковости по отношению к отдельным народам, в частности к финикийцам [*Гомер*. Одиссея. XVI, 288-289; XV, 415-416].

Скорее всего, мы можем говорить о нескольких уровнях идентичности. Зачатки общей идентичности, основанной на определенных социокультурных ценностях, формируются еще в эпоху архаики, и это не обязательно означает игнорирование других. В связи с усложнением социокультурных отношений «усложняется» и понятие идентичности, о чем свидетельствует уже греческая лирика. В ней мы видим более неприязненное отношение к «чужим». Примером тому может служить поэзия Архилоха [*Архилох*. Фрагменты. 43, 93а, 216].

Кроме того, к архаике относится и появление выражения «панэллины», которое мы встречаем не только у Архилоха [*Архилох*. Фрагм. 102], но и у Гомера [*Гомер*. Илиада. II, 530]. Если мы примем интерпретацию Страбона [*Страбон*. География. 8. 6.6.], то Гесиод и Архилох уже называют всех греков эллинами.

Безусловно, греческие аристократы могли быть ближе к негреческой элите, чем простое земледельческое население. Но когда аристократы осуществляют свое лидерство в городах и особенно в колониях, они ведут себя в соответствии с нормами, приемлемыми для членов своей общины, которые владеют полными правами, поскольку они обладают землей и принимают участие в политической и социальной жизни.

Вероятно, следует согласиться с Дж. Холлом, что использовать материальную культуру как доказательство общей идентичности не совсем справедливо. Скорее, можно предположить, что греки стремятся выразить свою идентичность не через материальные объекты, а через обряды, в которых эти объекты используются.

Безусловно, первоначально в колониях греки и не греки могли быть легко идентифицированы, но с ростом городской жизни процесс идентификации затронул и малоазийских, и балканских греков, и жителей колоний. Все они говорили на языке, который все понимали, поклонялись тем же богам, принимали общие ценности, что нашло отражение в эпосе и лирике, и которые также были выражены в развитии других типов отношений. В любом случае, без процесса колонизации эллинская идентичность приобрела бы другой ритм и, возможно, другие формы. По-иному сложились бы и понятия «центр» и «периферия» для греческого мира.

М.А. Оболонкова
(Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет)

Визуальные коды в британской культурной памяти о Первой мировой войне

Одним из показательных феноменов памяти о событии в режиме «долгого времени» стала в 2014 г. столетняя годовщина начала Великой войны. Сосредоточившись на особенностях визуальных способов репрезентации британской культурной памяти о Первой мировой войне, попытаемся проанализировать используемые в коммеморативных практиках визуальные образы, взяв за основу разработанный Э. Панофским иконологический метод. Э. Панофский выделял три уровня в процессе исследования произведений изобразительного искусства как смысловой структуры. Первый, эмпирический, уровень – доиконографическое описание, объектом которого являются первичные сюжетные и художественные мотивы произведения. Второй уровень – иконографический анализ, где объектом становится «значащий смысл», определяемый с учетом исследования сюжета изображения на основе знания традиций изображения, тем, образов, символов, аллегорий. Третий уровень – иконологическая интерпретация, где объектом является «внутреннее значение», или содержание произведения [*Панофский Э.* Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Азбука-Классика, 2009. С. 43].

Центральным коммеморативным объектом в Великобритании в год столетия Великой войны стала названная первой строчкой стихотворения безымянного солдата – «Кровь обагрила земли и моря» – арт-инсталляция П. Камминса и Т. Пайпера у лондонского Тауэра [Tower of London Remembers // Historic Royal Palaces. URL: http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/history-and-stories/tower-of-london-remembers/]. Это произведение современного искусства составили 888 246 керамических алых маков: таково количество солдат и офицеров Британской империи, погибших и умерших от ран с 1914 г. по 1921 г. Каждый цветок символизировал смерть одного человека. Алые маки, «выливаясь» из окна башни Тауэра и заполняя ров вокруг, создали впечатляющее зрелище гигантского кровавого потока, который увидели 5 миллионов посетителей.

Мак в мифологическом сознании традиционно связан с символикой сна и смерти. В британском историко-культурном дискурсе образ красного мака интересен с точки зрения теории прецедентности, в основе которой стоит концепт «прецедентного текста», рассматриваемого через хрестоматийность с использованием приемов

цитации, аллюзии и т.п. [*Петрова Н.В.* Эволюция понятия «прецедентный текст» // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Филология. Вып. № 2(10). 2010. С. 176-182]. Исследователями выделяются основные признаки прецедента как определенного образно-ассоциативного комплекса: общеизвестность; значимость в познавательном и эмоциональном отношениях; регулярная воспроизводимость; отсутствие необходимости семантизации для большинства членов лингвокультурного сообщества; культурная обусловленность [*Гудков Д.Б. и др*. Некоторые особенности функционирования прецедентных высказываний // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1997. № 4. С. 106-118]. Обращаясь к прецедентным визуальным образам, солидаризируемся с Л.А. Мардиевой, которая характеризует их как «хранящиеся в памяти представителей определенного социокультурного сообщества зрительные образы культурного пространства» [*Мардиева Л.А.* Коллективная культурная память общества (прецедентные визуальные образы и феномены) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. Вып. 3(15). 2011. С. 203].

Образ красного мака получил распространение в сознании британского общества после публикации в 1915 г. в журнале «Панч» стихотворения «На полях Фландрии», написанного канадским подполковником Дж. Маккреем после гибели в боях под Ипром его друга, которого автор похоронил в поле, где летом 1915 г. обильно цвели красные маки: «На Фландрии полях, где маки шелестят / Где мы, безмолвные, лежим за рядом ряд…» [Поэты Первой мировой войны. Уильям Ходжсон. Уилфред Оуэн. Геррит Энгельке. Джон Макрей / Пред. и пер. Е. Лукина. Нева. 2014. № 7. С. 169].

Примечательно, что никогда раньше такого количества маков в этих местах очевидцы не наблюдали. Интенсивное маковое цветение не было случайным. Одно растение мака-самосейки дает 20 000 – 50 000 семян, способных сохранять всхожесть в течение многих лет. В результате сильнейшего повреждения почвы снарядами в разрыхленной земле активизировались всходы давно лежавших семян, а большое количество образовавшегося щебня обогатило почву известью, следствием чего стало активное прорастание и бурное цветение многочисленных выросших маков. По окончании войны образовавшаяся известь быстро абсорбировалась, и маки с бельгийских полей начали снова исчезать [*Hadley F., Pegler M.* Posters of the Great War. South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2013. С. 145].

Благодаря получившему известность стихотворению Д. Маккрея, в англо-саксонской культуре XX века возникла связь образа красного мака с военными потерями в Великой войне. Массовое распространение этого образа как символа памяти о погибших свя-

зано с именем американки, университетского преподавателя Мойны Майкл. В 1918 г. ею было написано ответное стихотворение «Мы сохраним веру» с такими строками: «А теперь факел и красный мак / Мы носим в честь наших погибших» [*Michael M.* We Shall Keep the Faith // The Great War. 1914-1918. URL: http://www.greatwar.co.uk/ poems/ moina-michael-we-shall-keep-faith.htm]. Она же выступила с идеей прикреплять к одежде шелковый цветок красного мака в память о погибших, предложила продавать такие аксессуары, направляя вырученные средства на благотворительную поддержку инвалидов войны. Как справедливо отмечает Дж. Фокс, М. Майкл сыграла решающую роль в конструировании образа красного мака как памятного символа Первой мировой войны, после чего он устойчиво вошел в англо-саксонскую коммеморативную практику [*Fox J.* Poppy Politics: Remembrance of Things Present // Cultural Heritage Ethics: Between Theory and Practice / Sandis C. (ed). Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2014. С. 24].

К столетию начала Первой мировой войны производителями было выпущено множество разнообразных видов значков, брошей, футболок, шарфов и др. с символикой красного мака, о чем свидетельствуют интернет-сервисы, ориентированные на продажу товаров массового спроса. Потребители, раскупавшие эту продукцию в памятный год, воспроизводили эту символику как элемент социокультурной коммуникации.

Визуальный образ красного мака, являющийся в Великобритании общеизвестным, эмоционально значимым, регулярно воспроизводимым, культурно обусловленным, не требующим семантизации для большинства, можно уверенно отнести к прецедентным визуальным образам. В британской коллективной памяти он символизирует огромные человеческие потери в Первой мировой войне и напоминает о понесенных жертвах.

Иконографический анализ арт-инсталляции позволяет полагать, что в этом обращении к «цене войны» и заключается «значащий смысл» данного визуального объекта, который дал зрителям возможность не столько рационально осознать, сколько эмоционально прочувствовать масштаб и глубину исторической катастрофы. Р. Барт назвал эмоциональный смысл изображения термином «пунктум», используя это слово «для обозначения раны, укола, отметины». «Punctum, – писал Р. Барт, – это тот случай, который на меня нацеливается (но вместе с тем делает мне больно, ударяет меня)» [*Барт Р.* Camera lucida. Комментарий к фотографии / пер. с фр., послесл. и коммент. М. Рыклина. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. С. 54].

В 2014 г. приложение Instagram наполнилось огромным количеством снимков с места этой инсталляции. Среди них сильное впечат-

ление производит часто встречающийся сюжет: принесенные, очевидно, из семейных архивов потомками фотографии погибших на фронтах Первой мировой солдат и офицеров, сопровожденные вручную сделанными подписями, заботливо помещенные в обычные пластиковые файлы и попросту прикрепленные скотчем к элементам ограды, окружающей ров Тауэра. Рядом со многими такими самодеятельными экспонатами размещены символические красные маки – «пунктум», обозначивший, по Р. Барту, «рану, укол, отметину», которые оставлены в британской национальной памяти Великой войной.

На уровне иконологической интерпретации арт-проекта можно заключить, что его содержанием, или «внутренним значением» является глубокая историческая травма, полученная британским обществом вследствие столкновения с тотальным характером Первой мировой войны и небывалого до того количества и качества человеческих потерь. Выбранная обществом продолжительная стратегия, направленная не на избегание, а на работу с травмой через ритуализацию скорби при помощи консолидирующих коммеморативных практик, может рассматриваться как пример эффективного терапевтического обращения к трагической странице прошлого.

А.В. Овчинников
(Институт социальных и гуманитарных знаний, Казань)

Реципрокные аспекты этногенетического мифа[*]

Изучение феномена национальных историй, на мой взгляд, может осуществляться по двум магистральным направлениям. С одной стороны, это – декодировка мифа как текста (см. труды К. Леви-Стросса), с другой – рассмотрение мифа в контексте тех социально-политических отношений, которые изучают социально-культурная, политическая, историческая и экономическая антропологии. Отметим, что презентуемый этногенетическим мифом алгоритм «отношений между народами» воспроизводит законы взаимодействия между индивидами, семьями и общинами традиционного социума. В основе этих законов лежат не безличные постулаты рынка, а глубоко личностные механизмы дарообмена (реципрокности) и перераспределения (редистрибуции) (о т.н. «моральной экономике» см. работы Д. Скотта, М. Мосса, К. Поланьи и др.). Рассмотрение

[*] Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-33-01003 «Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности».

национальных историй в контексте экономантропологии, на мой взгляд, позволит глубже понять логику национализмов и сопутствующих им конфликтных ситуаций.

Обычно «свой народ» является по отношению к другим дарителем каких-либо достижений (изобретений, великих ученых и т.д.) или оказывает в прошлом судьбоносной важности услуги (ценой больших жертв спасает от сильного и беспощадного врага – см. представления о роли СССР в Великой Отечественной войне). Другие народы уже в настоящем должны оказать ответную услугу, т.е. в качестве «отдарка» уступить, например, в территориальных или экономических спорах. У «ответчиков» есть свои мифы, в которых, наоборот, их народ предстает дарителем и альтруистом (см. представления о роли ленд-лиза в «западном» политико-информационном пространстве). Запускается механизм бесконечной гонки воображаемых одариваний, сопровождаемый обидами за неблагодарность, что схоже с зафиксированным экономантропологами и является разорительным, с точки зрения рыночной экономики, соперничеством престижными подарками в традиционных социумах (известно, что во время потлача, праздника некоторых племен североамериканских индейцев, человек, раздавший и уничтоживший все свое имущество, до следующего праздника становился самым уважаемым внутри и вне группы, а, следовательно, имел моральное право на просьбы, в которых трудно было отказать).

Символическое соперничество может привести к реальному конфликту, что опять находит аналогии в особенностях моральной экономики (по мнению К. Леви-Стросса, «*существует связь, своего рода непрерывность между враждебными отношениями и поисками реципрокальных* (дарообменных – *А.О.*) *пересечений. Обменные операции – это мирно разрешенные военные конфликты, а войны – это результат неудачных сделок*» [*Салинз М.* Экономика каменного века. М.: ОГИ, 2000. С. 264]. Таким образом, распространенный сюжет о добрососедстве народов, веками живущих на определенной территории и обменивающихся культурными и хозяйственными достижениями, идентичен идеалам взаимоотношений между двумя соседними общинами.

Корректность приведенных суждений, на мой взгляд, подтверждается преобладанием в современной России и большей части постсоветского пространства внерыночных (дарительных и распределительно-раздаточных) экономических механизмов (см. исследования Барсуковой С.Ю., Бессоновой О.Э., Кирдиной С.Г. и др.). В самом образе «народа» нашло отражение характерное для т.н. «восточных обществ» слабое развитие частной собственности и преобладание собственности коллективной (семейной и общинной). «Народу» принадлежат «накопленные за века» богатства «его» земли. Индивид

имеет перед ним обязательства как благодарность за то, что «народ» его вырастил, накормил и защитил. Исходя из этого, складывается отношение человека к предлагаемым интеллектуалами историческим «друзьям своего народа» (в течение веков много сделавшим для предков последнего) и его, таким же «вековым», «обидчикам».

Видимо, присутствие подобных мировоззренческих стереотипов вызвано, в том числе, и особенностями советского урабанизационного процесса, по многим параметрам напоминавшего обычные крестьянские переселения. Можно предположить, что объясняющий «национальный» миф отражает реалии «посткрестьянских» и «постобщинных» социально-экономических отношений между людьми. Следовательно, анализируя национальные истории, в которых фигурируют порождающие конфликты сюжеты о забытых или недооцененных подвигах предков и их несоразмерно большом вкладе в сокровищницу мировой культуры (такие построения есть практически в каждом подобном нарративе), исследователь вполне может внести в свой методологический инструментарий концепт «моральной экономики исторических образов межэтнических и межгосударственных отношений».

В качестве примера использования предложенной гипотезы проанализируем один из вариантов т.н. «булгаристского» этногенетического мифа. В начале 1990-х гг. учитель из Татарстана Ф.Г.-Х. Нурутдинов предложил свое видение древнейших этапов истории волжских булгар – одного из предков современных казанских татар, которых автор предлагает и ныне именовать «булгарами». Согласно его построениям, предки булгар 15 тыс. лет назад создали в Волго-Уралье первое в мире государство и примерно в это же время стали лучшими металлургами, кожевниками, изобрели складной стул, кирпич, деньги, стремя, саблю, пушку и т.д. Затем «*свои обычаи, мифы и достижения булгары разнесли по всему миру, так как широко, с истинно эпическим масштабом, расселились по земле*» [*Нурутдинов Ф.Г.-Х.* Булгары и мировая цивилизация // Бахши Иман. Джагфар Тарихи (История Джагфара). Т. 1. Оренбург: КОПФ «Оренбург-пресс-контакт»; Редакция вестника «Булгария», 1993. С. 332]. Булгарам мир «обязан» следующим – китайскими пагодами, свастикой, многочисленными мифами (так, «булгарским» оказывается миф о спасении Моисея, даже имя Бога Яхве евреи, якобы, позаимствовали у булгар), названиями рек (напр., Хуанхэ), государств и географических районов (напр., Финикия, Крит, Анатолия, Армения, Албания, Эльбрус, Кавказ, Египет), основанием городов (Микены, Афины, Троя, Иерихон, Иерусалим, Урук, Ур, Киш, Вавилон, Рим, Равенна т.д.). У булгар древние греки «переняли» демократию и Олимпийские игры.

Таким образом, Ф.Г.-Х. Нурутдинов добросовестно воображает те «дары», которые предки современных татар (в его понимании, булгар) за тысячи лет преподнесли другим народам. Сегодня же, судя по логике его текстов, настало время отдарка, т.к. «булгары», якобы, испытывают незаслуженную дискриминацию со стороны тех, кто не хочет предоставить им соответствующие политические права: «*Что это – плата человечества за вклад булгар в мировую цивилизацию? Вряд ли это плата народов Земли… пусть они* (народы – *А.О.*) *выскажут свои чувства своим правительствам, не слышащим … булгарского народа*» [Там же. С. 347].

Отсутствие реакции на «реципрокные претензии» предоставляет Ф.Г.-Х. Нурутдинову возможность окрасить свою риторику в более эмоциональные морально-этические коннотации и получить соответствующие политические выгоды.

Можно констатировать, что анализ реципрокных аспектов этногенетического мифа позволит исследователям более полно рассмотреть компенсаторную функцию национальных историй.

О.В. Окунева
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Время события и память о событии в режиме «долгого времени»: первая французская колония в Бразилии (1555–1560) и история нескольких анахронизмов

Первая французская колония в Бразилии, так называемая «Антарктическая Франция» просуществовала всего пять лет – с 1555 по 1560 г. (в неофициальном качестве, уже после захвата ядра колонии, французское присутствие в районе бывшего поселения продолжалось до 1567 г.). Однако посмертная судьба «Антарктической Франции» оказалась не менее бурной, чем ее короткая «политическая история», отмеченная конфликтами католиков и протестантов (интересно, что в бразильской колонии они начались раньше, чем Религиозные войны в самой Франции).

Частично эффект «продленного присутствия» и представлений об «Антарктической Франции» как о действующей колонии после ее официального падения был связан с тем, что важные свидетельства очевидцев, побывавших в ней, были опубликованы спустя полтора-два десятилетия после захвата колонии португальцами. Речь идет о бразильских главах «Всемирной космографии» (1575) Андре Теве (прибыл в Бразилию вместе с основателем колонии Н. Дюраном де Вильганьоном в ноябре 1555, вернулся во Францию в начале 1556, в

этом же году опубликовал книгу «Особенности Антарктической Франции», повторно вышедшую в 1557) и об «Истории одного путешествия в Бразилию» (1578) Жана де Лери (прибыл в колонию в 1557 г. вместе с группой протестантов, приглашенных Вильганьоном, но затем рассорившихся с ним; вернулся в Европу в 1558 г., получив опыт как пребывания в колонии, так и жизни вне ее, в тесном контакте с индейцами).

Оба путешественника и писателя значительно расходились в оценках увиденного, в манере изложения фактов и во взглядах на причины падения колонии. Однако экзотичность предмета повествования и ярко выраженное авторское «я» в повествовании заставляли читателей забывать о том, что речь идет об уже прошедших событиях, и возвращали уже не существующую «Антарктическую Францию» в ранг действующих образований. Помимо этого, стремясь посрамить соперника и «задавить» его бóльшим личным опытом (и, следовательно, бóльшей авторитетностью суждений о Бразилии), Теве попытался ответить на «Историю *одного* путешествия...» Лери собственной «Историей *двух* путешествий, совершенных А. Теве, уроженцем Ангулема и картографом короля, в южные и западные Индии» (курсив мой – *О.О.*), однако это сочинение осталось неизданным при его жизни. Что же касается Лери, то «Истории одного путешествия в Бразилию» было суждено еще четыре переиздания (1580, 1584, 1599, 1611). Каждое из них обрастало дополнительными отсылками к книгам о Новом Свете, которые, по мнению Лери, подтверждали его собственные наблюдения (первое издание принципиально основывалось на личном опыте, без ссылок на авторитеты). Важно подчеркнуть, что все это время возобновлялся рассказ о событиях 1555–1560 гг. в настоящем времени (Лери не стремился специально утаивать тот факт, что колония уже пала, однако обилие диковинной информации о Бразилии и убедительность повествования естественным образом оттесняли его на задний план).

«Актуализация статуса» «Антарктической Франции» в первые десятилетия после падения происходила несколькими путями. Так, книга протестанта Жана де Лери со всеми ее переизданиями стала составной частью протестантского дискурса о жестокости католиков (составной частью которого было обличение Испании в Новом Свете). Лери мало писал об Испании, и выпады его относились не к католикам вообще, а к конкретным личностям (Теве и Вильганьону). Однако расширительное толкование места действия его книги (расположение колонии на островке в районе современного Рио-де-Жанейро – Бразилия – Америка в целом), частично подсказанное авторскими ремарками, а частично связанное с особенностями читательского восприятия конца XVI века, позволили включить его рассказ в обширную коллек-

цию текстов о Новом Свете голландца Теодора де Бри, снабженную выразительными иллюстрациями и получившую большое хождение как в Европе в целом, так и в отдельных ее частях.

В дальнейшем новый раунд «оживления» «Антарктической Франции» в религиозной полемике приходится на время отмены Нантского эдикта. В 1680-е гг., когда у протестантизма уже появилась собственная история, почерпнутые из нее сюжеты становились объектом рассмотрения с двух сторон: католические авторы видели в них свидетельство непримиримости и нетерпимости протестантов, склонных к расколам даже в собственной среде; протестантские же авторы опровергали тезис о насилии как врожденной черте Реформации и боролись с проведенной их противниками параллелью между религией и гражданскими войнами. В контексте подобных дискуссий стало возможно трактовать и некоторые обстоятельства из истории «Антарктической Франции» диаметрально противоположным образом, тем самым постоянно воскрешая «дела давно минувших дней». Еще раньше, в 1620-е гг., полемический запал побудил одного католического автора охарактеризовать не существующую уже много десятилетий колонию как «*новое* завоевание, совершенное в Бразилии, являющейся южной частью Америки» (курсив мой – *О.О.*). Подобное определение было характерно для середины XVI века, но автоматический воспроизведение его в новом столетии являлось анахронизмом.

Анахронизмом по отношению к «Антарктической Франции» может быть и противоположное по направленности действие: не называть давно прошедшее старое новым, а изобразить старое, осовременив его (возможно, даже не стремясь к этому специально). Так, в любопытной анонимной записке конца XVII века о первой бразильской колонии встречается не один, а несколько анахронизмов такого рода. Автор приписывает создателям колонии мотивацию, которой у них не было, но которая представлялась естественной с высоты XVII столетия.

Впрочем, подобное осовременивание реалий уступает по распространенности «анахронизмам первого типа» – воспроизведению уже давно утративших актуальность фактов в качестве существующих здесь и сейчас. Это характерно, в частности, для географических карт и атласов. В эпоху освоения европейцами Нового Света разница в несколько десятилетий уже являлась принципиально важной, однако это не мешало тому, что некоторые когда-то зафиксированные реалии так и кочевали из карты в карту. Иногда эти заимствования (никак не обозначенные в качестве таковых и по умолчанию считающиеся «доподлинной», «новой», «верной» информацией (подобные эпитеты часто использовались в названиях атласов и отдельных карт)) представляют собой настоящую цепочку, соотношение между звеньями которой еще предстоит выявить. Так, в 1595 г.

на карте Южной Америки голландского астронома и картографа Петера Планция внутри контуров Бразилии, но рядом с побережьем указаны племена тупиникинов, тупинамба, уэтака, маргажа и табажар. В 1606 г. на карте Виллема Блау фигурируют три из этих пяти племен. В 1613 г. они появляются на карте Америки из очередного переиздания атласа Герарда Меркатора; в 1626 г. – у Джона Спида. После этого их можно встретить на карте из французского издания атласа Виллема Блау 1643 г. и на анонимной карте мира, посвященной Жану Буассо (1645). Наконец, в 1669 г. все пять племен вновь возникают на карте Америки Алексиса Юбера Жайо. При чем здесь «Антарктическая Франция»? Дело в том, что все перечисленные племена не просто появлялись в описаниях французских путешественников, относящихся именно к «Антарктической Франции», но и имели непосредственное отношение к французам в Бразилии: были их многолетними союзниками / традиционными противниками, жили по соседству с колонией в заливе Гуанабара или, как в случае с уэтака, попали на страницы книги Жана де Лери просто «к слову», но при этом удостоились развернутых описаний. Однако ни в конце XVI века, ни в последующие десятилетия, а тем более в 1669 г., более века спустя после падения «Антарктической Франции», перечисление именно этих племен среди всех остальных ни в коей мере не отражало реального положения дел. При этом картографы продолжали добросовестно воспроизводить сведения, относящиеся к конкретно-исторической ситуации и имеющие четкую хронологическую и географическую привязку, в качестве общей и каждый раз современной характеристики региона. Важно отметить, что эти сведения никак не маркировались, и происхождение их никак не помечалось, что и позволяет сделать вывод, что память о событии отсоединилась от собственно события и зажила своей жизнью.

Приведенные примеры – лишь часть выявленных случаев скрытого цитирования авторов XVI века картографами следующего столетия, которые копировали еее уже без привязки к «Антарктической Франции». Подобный «информационный шлейф», тянущийся за недолго просуществовавшей французской колонией в Бразилии XVI века, как представляется, является интересной иллюстрацией соотношения времени события и памяти о нем в долгосрочной перспективе.

Т.А. Опарина
(Российская академия живописи, ваяния и зодчества)

Варианты самоидентификации иммигрантов из Османской империи и ее вассальных государств (конец XVI – первая половина XVII века)[*]

Восстановление контактов с Константинопольским патриархатом в середине XVI века положило начало массовой миграции из Османской империи и ее вассальных государств. Иммигранты в России получали наименования «греченя», «сербеня», «волошения» и крайне редко – «турченя». Термины носили, прежде всего, конфессиональный характер. Если три первых термина свидетельствовали о православном вероисповедании иммигранта, то последний – о мусульманском. Вероисповедание в Османской империи (и в России) фиксировало социальный статус. Представители главенствующей религии обладали правами, отличающимися от всех прочих. Занимать административные и военные должности могли только представители ислама. Экономические и социальные меры воздействия приводили активному обращению греков в мусульманство. Но для успешной адаптации иммигрантам из Османской империи и ее вассальных государства нужно было выбрать вариант самоидентификации. Он зависел от многих обстоятельств.

Одним из них был способ попадания в Россию: самостоятельный выбор в пользу России (добровольные иммигранты) и военная добыча (вынужденные иммигранты).

В России существовал особый вид пленников – «ясырь», появившийся в результате войн одной социальной группы – казачества. Военные корпорации Дона, находящиеся под протекторатом Москвы, организовывали (вопреки официальной воле властей) собственные боевые операции. Освоив строительство небольших, но крайне маневренных судов («чаек» или «стругов»), казаки превратились в значительную военную силу Черноморского и Азовского бассейнов, наводя террор на побережья Анатолии и Румелии. Набеги, систематически осуществляемые с конца XVI века по 50-е гг. XVII века, получили обозначение казацко-османской морской войны.

Прибрежные города Османской империи стали объектом постоянных нападений казаков, промышляющих работорговлей. Из морских походов казаки привозили множество пленников – «ясыря» в терминологии документов того времени. У подобных пленников в

[*] Работа подготовлена при поддержке РГНФ, международный проект КЕРИЕ, № 12-21-14001.

России был один путь – холопство (их последующая продажа и являлась целью казацких рейдов).

Но у холопов была возможность получить свободу. Согласно указам 1622, 1627 гг. и Уложению 1649 г., иностранцы (т.е. не православные) не могли принимать в услужение православных. Поэтому холопы татарских мурз, а также голландских, английских, немецких и т.д. купцов, офицеров и врачей могли быть мусульманами, протестантами, католиками, но никак не православными. Западноевропейцы в России активно покупали «ясырь».

Но холопы нередко затевали судебные процессы против своих хозяев-лютеран, объявив о своем православном вероисповедании. Примером многообразия идентификаций могут служить судьбы Авдотьи и Мануила Константиновых. Они происходили из Трапезунда. Казаки захватили их в плен в качестве «турчан». Цепочки последовательных перепродаж привели пленников в Москву. Авдотья Константинова попала в услужение к голландскому купцу Иеремею Фентцелю, а Мануил Константинов – к англичанину, ювелиру царских мастерских Якову Гасту. В определенное время оба холопа совершили побег, прихватив имущество хозяев. Но мотивировали они свои действия религиозными причинами. В изложении холопов господа насильно стремились обратить их в протестантизм. Свое же вероисповедание они декларировали как православное. Авдотья Константинова сообщила, что является «православной крестьянкой [христианкой – *Т.О.*]» [РГАДА, ф. 141 (Приказные дела старых лет), оп. 2, 1644, № 45, л. 4 – «И она де протопопу Артемью сказала, что она православная крестьянка»], и, соответственно, принадлежит к греческому этносу: «родом де она гречанка», «отец де у неи и мать были греченя» [Там же, л. 1]. Пребывание в доме протестанта девушка описывала как посягательство на православную веру. Патриарх Иосиф сразу принял сторону «мученицы» за веру. Страдающая от протестантского давления «гречанка» «вернулась» в православие, восприняв таинство крещения. Иеремия Фенцель лишился собственности. Мануил Константинов также заявил об изначальной приверженности восточному христианству. Холоп «сказался, что греченин, а не турченин, а зовут ево Мануйло [РГАДА, ф. 210, оп. 13 (Приказной стол), стб. 33, 1628, л. 94]». Побег и миропомазание дали холопу долгожданную свободу. «Грека» зачислили в Иноземский приказ.

Таким образом, эти выходцы из Трапезунда осознали в России преимущества православия перед исламом и протестантизмом. В Московском государстве быть греком-православным оказалось предпочтительнее, чем турком-мусульманином или турком-протестантом. Но судя по представленным ими же фактам, в Османской империи оба иммигранта были законопослушными последователями ислама, и,

соответственно, турками. В России же они предстали греками, т.е. православными. Только в этом случае невольники могли претендовать на прекращение зависимости. Принадлежность к православию означала для холопов получение свободы от инославного владельца.

Но в случае с добровольной миграцией все было значительно сложнее. В России практически все иммигранты идентифицировали себя с православной общиной (милетом) Османской империи (обозначавшейся для греков «румами» (ромеями). Они имели очевидные преимущества перед иммигрантами из Западной Европы и Речи Посполитой. Обладая возможностью получения рекомендательных грамот Восточных патриархов, иммигранты из Османской империи и ее вассальных государств активно принимались в русское привилегированное сословие. Они зачислялись в Государев двор, пополняя ряды группы московских дворян-«иноземцев». Многим подтверждали княжеский титул.

Но прецедент спора двух родов – Альбертусов-Далмацких и Алибеевых-Македонских показал реальные приоритеты правительства. Два рода из Османской империи достигли в России княжеского титула, но вступили между собой в длительный конфликт с этноконфессиональной подоплекой. Если Альбертусы-Далмацкие декларировали свою принадлежность к грекам, то Алибеевы-Македонские яростно отстаивали «турецкое» происхождение. Они даже объясняли трения с Альбертусами-Далмацкими ненавистью всех «гречен» к «турчанам».

Но спор о терминах оказался борьбой за место в русском обществе. Чтобы лишить оппонентов статуса, Альбертусы-Далмацкие дважды затевали следственные дела о подложности княжеского титула Алибеевых-Македонских. Для этого они называли оппонентов «греками». Мать Алибеевых-Македонской была христианкой, наиболее вероятно, являлась наложницей. Поэтому Альбертусы-Далмацкие заявляли, что Алибеевы-Македонские являются этническими «гречанами», принявшими ислам, а по роду деятельности относившиеся к самым низшим слоям общества. Старший брат, якобы, был сапожником, а младший – брадобреем.

В ходе судебных разбирательств Алибеевы-Македонские сумели доказать свою принадлежность к роду паши Румелии и уравнять, тем самым, свой статус с мурзами. Они отстояли свое право быть «турченами». Более того, Алибеевы-Македонские убедили русские власти не только в своем благородном происхождении, но и в превосходстве по знатности со всеми «греченами», приезжающими в Россию из Османской империи и ее вассальных государств.

Алибеевы-Македонские не просто противопоставляли «гречен» и «турчен». Они прекрасно были осведомлены о реалиях русского общества. Комплекс идей Москвы как III Рима, поддержка гонимых

единоверцев, спасение их от османской угрозы и расширение нобилитета за счет бывших аристократов Византийской империи являлись важнейшими мотивами поощрения «греческой» миграции. Но русские власти понимали, что эти иммигранты давно утеряли право владения собственными территориями. Источником пополнения русской титулованной знати, в действительности, были мурзы. Алибеевы-Македонские после спора покинули группу московских – дворян «иноземцев» и стали равноправными членами Государева двора.

Таким образом, если у холопов для успешной адаптации предпочтительнее было называть себя «греченя», то, как выяснилось после спора, для знати – «турченя». Но грань между терминами оставалась хрупкой.

П.А. Орлов
(Научно-исследовательский университет
«Южно-Уральский государственный университет», Челябинск)

Поприще «горной» эмеритуры в некрологах ее деятелей (по «Горному журналу» за вторую половину XIX – начало XX века)

Практики «накопительства» средств ради «воплощения благодетельных мер по устройству денежных прибавок к пенсионам казенным» в специализированных институциях – эмеритальных кассах (*от лат. emere; emeritus, emereo – отслуживший, старый; заслуженный, заслуживаю*) – с середины позапрошлого века получили в России достаточно широкое распространение.

«Укоренившись» поначалу в морском (1856 г.) и военно-сухопутном ведомствах (1859 г.), в последующие годы «проекты эмеритур» были «развернуты» сразу в нескольких «штатских» министерствах (таможенном, путей сообщения, детских приютов, судебном, почтово-телеграфном, удельном, и пр.), а еще позднее – и в земствах целого ряда губерний.

Как первая среди гражданских, «поставленная» с 1 июля 1860 г. для производства пенсий отставным горным инженерам и пособий их «семействам», «горная» эмеритальная касса представляется заслуживающей внимания не только в плане уяснения характерных нормативно-организационных и финансовых «своеобразий» учреждений, постоянное и точное равновесие средств и обязательств которых, как известно, не было безусловным (доходы и расходы касс – ключевые балансовые параметры «кассовой состоятельности», могли «опасно» меняться вне всякой зависимости одной величины от другой).

«Интересность» чисто «учрежденческой» истории «горной» эмеритуры связана, как мне кажется, с возможностью «персонифицировать» более чем пятидесятилетний опыт «рукотворных» новаций в кассовых делах и правилах «пенсионирования», «проводниками» которого были ее «деятели».

Чей круг отнюдь не ограничивался лишь собственно «начальствами» горного ведомства (т.е. директорами Горного департамента, заведующими кассой, управляющими Отделения касс горного ведомства, бухгалтерами, делопроизводителями и столоначальниками), работавшими со всей текучкой кассовых операций и регулярной отчетностью по ним.

С «выходом» эмеритальной проблематики за рамки сугубо бюрократического обращения «отношений и мнений инстанций и отделов» на публику – и этому немало способствовало ведомственное периодическое издание («Горный журнал» – первый и старейший, издаваемый с 1825 г. и до сих пор (!), образец отечественной журнальной периодики) – в «решения по кассе» оказались непосредственно и активно вовлечены и «ее будущие эмериты».

Вероятно, для некоторых горных инженеров (В.С. Тучемского, Н.А. Денисова, Н.М. Безобразова, К.В. Лонгинова, А.Н. Таскина, А.П. Кеппена, Г.Ф. Тигранова) смысл имели соображения сугубо меркантильные – ведь капитал кассы складывался из 6-ти процентных вычетов с их содержания «по чинам, должностям или по особым Высочайшим повелениям».

Другим, скорее, важен был «некий интеллектуальный азарт», испытываемый при «вычислительных упражнениях» с цифрами «совокупных расходов, наличности, сумм предполагаемых поступлений и рисков от ожидаемых кассовых трат» (А.А. Перетц, В.А. Рожков, Ф.Н. Савченков, А.П. Кондратьев, И.С. Яхонтов, Н.А. Иванов).

Для третьих (П.И. Де-Росси, А.П. Строльмана, П.И. Миклашевского, П.А. Олышева, И.А. Полетики, А.А. Иоссы, И.А. Тиме, Л.А. Карпинского, А.М. Лоранского), «издержки и целесообразности» в «устройстве горной эмеритальной системы» время от времени оказывалось значимыми по правилам Устава самой кассы – в порядке членства в ревизионных и так называемых «поверочных» комиссиях.

Наконец, «в видах обеспечения благополучия» эмеритуры горных инженеров ее материалами «крайне тщательно» занимались также известнейшие М.В. Остроградский, В.Я. Буняковский, К.С. Веселовский, И.П. де-Колонг, Б.Ф. Малешевский, А.П. Рудановский, А.Н. Крылов и В.М. Сухомель.

Вообще, за весь период, к числу принципиальных изменений в уставных «кассовых условиях» могут быть отнесены:

а) проведение в 1878 г. 50-процентного повышения эмеритальных пенсий и увеличение «предельных» возрастов детей горных инженеров («потому как долг (…) состоит в возможно большей помощи отставным (…) и их семействам, а не в скоплении крупной ценности»);

б) в 1885 г. – дезавуирование принятых в 1878 г. правил расчетов «возвышенных» окладных сумм с восстановлением «бывших» окладов;

в) введение в 1885 г. обложения процентами «в пользу кассы» так называемых «квартирных денег» горных инженеров; а с лиц, получающих «возвышенные» пенсии, – 6-процентного годового вычета «ради подкрепления ее средств»;

г) заимствование в 1891 г. 50 тыс. рублей из капитала (Общего фонда) горнозаводских товариществ казенных горных заводов;

д) значительное (двукратное), «усиление» штрафов за просрочку уплаты горными инженерами членских взносов в кассу с 1892 г.

И коль скоро все эти «меры стабилизации кассовых оборотов» каждому новому актуальному положению вещей в целом благоприятствовали, поиск и изучение данных о том, с чьим конкретно «авторством» их полагается связывать, еще более расширяет круг исследуемых источников.

Тогда и включение в их число именно некрологов, посвященных «деятелям» эмеритальной кассы горных инженеров, выглядит и оправданным, и результативным.

М.С. Петрова
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Элементы естественнонаучных концепций Аристотеля в изложении Гильома из Конша[*]

Цель настоящего доклада – ответить на вопросы, связанные с проблемой восприятия греческого знания в Средние века. А именно: насколько рано, в какой степени и в каком виде в текстах европейских средневековых авторов, применительно к их психологическим и физиологическим представлениям о сновидениях, видениях и наступлении сна, начинают проявляться элементы естественнонаучных концепций, восходящих к Аристотелю. При рассмотрении этой проблемы, учитывается, что какого-либо рационального учения о сновидениях /

[*] Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта (№ 15–18–30005) «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе».

видениях в средневековой Европе не существовало. Однако попытки объяснить их появление все же предпринимались уже в самый ранний период Средних веков. По сути, все авторы того времени основывали свои изложения на весьма влиятельном рассуждении Августина из «О книге Бытия», охватывающем не столько сновидения, сколько возникающие в различных состояниях видения, а также на описании Григория Великого причин наступления сновидений в «Диалогах» [*Alc.* Comm. in Ap. / PL 100, 1089AB; *Sed*. Collect. misc. diu. 40, 1].

Так, Августин выделял три вида видений [De Gen. XII, 2-12; 13; 18; 30; XII, 7; 10]: *телесное* (visio corporalis), *духовное* (visio spiritualis) и *разумное* (visio intellectualis), полагая последнее более авторитетным, а также указывал на то, что все видения могут быть приравнены к сновидениям, поскольку и те, и другие могут быть лживыми (falsa), правдивыми (vera), тревожными (perturbata) и спокойными (tranquilla). Что касается Григория, то он обозначал [Dial. II; IV; IV, 48] «правдивые сновидения», предвещающие будущее (или «божественные откровения»), и «иллюзии» (или «искушения»), насылаемые дьяволом (ab occulto hoste). Далее он указывал на шесть причин, по которым видятся сновидения, а именно: от пустого или переполненного желудка; от иллюзий (illusione); от размышления (cogitatione) и иллюзий вместе; от откровения (revelatione); от размышления и откровения вместе. В итоге он выделил три агента сновидений: самого человека (его тело или помыслы), Бога (в качестве откровения) и дьявола (как наваждение).

Позднее, в IX–XI веках средневековые авторы традиционно встраивали свои рассуждения не только в «схемы» Августина и Григория, но и в другие античные теории о снах и их классификации, в частности, воспринятые через Макробия (V век). И лишь в начале XII века опосредованное через арабов знакомство с учением Аристотеля и греческой медициной стимулировало развитие теории снов, что, как представляется, было связано с возникновением стойкого интереса к физиологии засыпания и причинам наступления собственно сна.

Одним из первых мыслителей, выдвинувших новую научную теорию, был Гильом из Конша (1080–1154), знавший работы Галена (III в.), Немесия Эмесского (кон. IV в.), Макробия, арабов в переводе Константина Африкана (XI в.). В работе «Философия мира» (XXI–XXII; ср. I, 21; I, 23; II, 11; II, 32; IV, 15], а также в глоссах к Макробиеву «Комментарию на ‘Сон Сципиона’» [*Gul.* Glos. sup. Plat. CXL–CXLI, ed. *Jeauneau.* 1965, 241-3], он синтезировал полученное знание, изложив иное «учение» о снах, которое сводилось к следующему. Сон — это засыпание «душевных сил», т.е. чувственного восприятия, рассудка и ума, при одновременном усилении «природных сил», например, таких как пищеварение. Холодный и

влажный пар (fumus = ἀτμίς, ίδος [=ἀτμός]. Ср. *Arist*. Met. I, 3 (340a 34-35, 340b 3, 340b 28); I, 9 (346b 29 и 32); I, 10 (347a 17, 19 и 24); I, 11 (347b 24) et passim; De gener. animal. 784b 15, 17-18 и 22; De gener. et corr. 330b 4; Probl. 906b 21, 907a 29, et cet.; De sensu 443a 26 и 30) поднимается по жилам, блокируя чувства, и доходит до головы, препятствуя способности рассуждать и мыслить [ср.: *Аристт*. О снов. 3]. Пар не может пройти далее и, обращаясь вспять, начинает рассеиваться и исчезать; тело становится суше и согревается; дух, который управляет душевными силами, вновь наполняет жилы, заставляя человека проснуться. Гильом утверждает, что сны могут быть вызваны внутренними телесными и психологическими факторами: качеством съеденной пищи, балансом жидкостей организма, положением тела во время сна, мыслями и заботами, которые занимали человека до засыпания и пр. Сны, обусловленные физиологией, ничего не означают, но сновидения, вызванные внешними причинами, например, ниспосланное от Бога откровение относительно будущего, конечно, имеют значение. Сам по себе сон есть состояние, во время которого душа, освободившаяся от служения телу, видит образы, запечатленные в мозге [De philos. mundi IV, XXI–XXII / PL 172, 94AC; ср.: *Аристт*. О снов. 461a, 462ab].

Заметим, что Гильом прилагает свою теорию паров, к отрывку из *Комментария* Макробия, в котором говорится о способности души предвидеть события (I, 3, 17-18). В этом месте Макробий цитирует Порфирия, который считал, что, хотя истина и сокрыта, душа может достичь ее, когда в состоянии сна освобождается от тела. Но и тогда душа видит истину как бы через завесу. Гильом поясняет, что эта завеса есть пар, который наполняет тело. Когда пар истончается, душа способна видеть истину более ясно, и это есть то, что означают «ворота из рога». Под «сокрытой истиной», как он полагает, имеется в виду неясные будущие события, о которых душа не может знать, будучи в теле. Здесь душа видит истину только через посредство образов [ср.: MS Gl. Kgl. S. 1910, f. 13^{rv} (Copenh.); MS R. 69, f. 15^{r} (Wroclaw, Bibl. Uniw.); MS 199, f. 27^{vb} (Cologne, Dombibl.)]. Некоторые глоссаторы повторяют мнение Гильома, говоря, что душа имела полное знание до того, как облачилась в телесную массу (molem corporis) [e.g.: MS Voss. Lat. Q.44, f. 4^{v} (Leid.); MS Clm. 407, f. 10^{r} (Mun.); MS Pal. Lat. 274, f. 40^{r} (Vat.)]; соответственно они трактуют густой пар как «слоновую кость», а более разреженный — как «рог» [MS Hamilt. 11, f, 4^{rb} (Glasg.); *Peden.* Macr. and Med. dream lit. / Medium Aevum 54/1. 1985, 72]. Термин “somnium”, под которым понималось загадочное сновидение, побуждал комментаторов понимать неясные видения, явленные во сне, как символы и образы. Сам Гильом приводит примеры видений, которые открывают истину через *подобные* образы

(например, сон фараона о семи тонких колосьях в преддверии семи лет голода) и через *неподобные* образы (например, сны о слезах, предвещающие смех). Глоссы повторяют эти примеры и добавляют другие: сон Помпея, которому накануне гибели приснилось собственное прославление.

Как очевидно, рассмотренная онейрокритическая теория Гильома из Конша сочетает в себе различные психологические и физиологические представления, восходящие к греческому знанию. С одной стороны, в ней просматривается влияние платонических и неоплатонических учений, усвоенных напрямую через латинскую позднеантичную интеллектуальную традицию (в частности, через Макробия). С другой стороны, в ней содержатся выраженные элементы аристотелевских естественнонаучных концепций, как очевидно, воспринятых через арабский мир. При этом у арабов аристотелизм претерпел свое влияние платонизма и неоплатонизма.

Таким образом, в тексте Гильома представлен синтез платонизма, неоплатонизма и аристотелизма, вошедших в христианскую религию и культуру. Создавая свою онейрокритическую концепцию, этот автор встроил аристотелевскую компоненту в уже известные ему платонические теории о снах и сновидениях. Возможно, именно это дало импульс поздним энциклопедистам (XVII в.) использовать в бо́льшей степени материалы Аристотеля, Галена (а также Авиценны), что отвечало требованиям эпохи Нового времени.

О.С. Поршнева
(Уральский государственный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)

Сквозь призму «английского взгляда»: русский народ в революции 1917 г. в восприятии военного атташе Альфреда Нокса*

Дневник военного атташе посольства Великобритании в России генерал-майора Альфреда Нокса «Вместе с русской армией. Дневник военного атташе. 1914–1917 гг.», опубликованный в 2014 г. на русском языке, является важным источником изучения образа русского народа в восприятии западного очевидца в пере-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).

ломную историческую эпоху. Интерпретация текста мемуарного произведения Нокса с использованием подходов исторической имагологии позволяет не только реконструировать ментальный мир автора, но и понять механизмы влияния культурных норм и этностереотипов, роль Революции 1917 г. в актуализации глубинных установок восприятия Другого.

Типичные черты русских людей обнаружились, по мнению А. Нокса, в действиях Временного правительства вскоре после Февральской революции. Нокс отмечает нежелание его представителей трезво оценить обстановку, неспособность отказаться от пустых речей, навести порядок. Со страниц дневника перед нами предстают официальные лица разных государственных структур – военных и гражданских, которых, в изображении А. Нокса, характеризуют и объединяют такие качества, как *неоправданный оптимизм, недальновидность, недооценка объективных трудностей* (курсив мой. – *О.П.*) управления Россией в условиях войны и революции.

Нокс опровергает типичные автостереотипы русских, давая им свое толкование. Так, он отмечает распространенность среди всех категорий русских людей представлений о широте русской души, что, на его взгляд, не вполне соответствует реалиям и, главное, – препятствует трезвой самооценке и рациональному поведению. Вера многих политиков и военачальников в особые свойства русского народа, как кажется Ноксу, была основой их неоправданного оптимизма в оценке состояния русской армии.

Помимо необоснованного оптимизма официальных лиц прекраснодушие и отсутствие рационального расчета проявлялось, по мнению Нокса, у русских во многих ситуациях. Эмоциональность, действия по велению чувств, а не рассудка, – характерная черта, в оценке Нокса, простого русского человека, крестьянина и солдата. Автор транслирует широко распространенные в британском обществе представления об импульсивности, наивности русских людей, разделявшиеся даже благожелательно настроенными к России современниками. Восприятие эмоциональности и бесхитростности как недостатков во многом было обусловлено «призмой» британского взгляда, в основе которого – ценности рациональности и прагматизма.

Другая отличительная черта русского народа, особенно крестьян и солдат, по мнению Нокса, – невежество, неграмотность, из-за которых они «глупы» и подобны детям, не понимающим последствий своих поступков. Примечательно, что стереотип представлений о том, что «русские – как дети» был весьма распространен, характерен и для других членов британской военной и дипломатической миссий. Он отражал широко распространенные в британском обществе того вре-

мени представления об отсталости, «варварстве» России, во многом совпадавшие с видением «нецивилизованных» народов вообще.

Колониальные стереотипы и позиция культурного превосходства проявляются у Нокса не только в олицетворении русских солдат-крестьян с детьми / дикарями, но и в утверждении о необходимости внешнего контроля над их поведением, в отсутствие которого они, по его мнению, повинуются примитивным инстинктам. Примечательно, что на рубеже XIX-XX веков в британском сознании также широко была распространена идея о необходимости внешнего контроля над поведением египтян, особенно актуальная для них после объявления в 1914 г. английского протектората над Египтом. Стереотип представлений о «наивности» русского народа проявляется в описаниях Ноксом «честных» и «бесхитростных» крестьянских лиц среди новобранцев, недавно прибывших из крестьянской глубинки, воспринимавших происходившие в Петрограде революционные события, по свидетельству автора, с ужасом, изумлением, а порой – разочарованием. А. Нокс, даже в записях дневника за 1914 г., говорил о русских солдатах как «простодушных детях», в период же революции 1917 г. образ русских как «простодушных детей»/дикарей стал доминировать в его восприятии. Характерной чертой образа русского народа в сознании Нокса является недисциплинированность, признаваемая, по его свидетельствам, также образованными русскими. Отсутствие уважения в низах к вышестоящим, «благородным» и образованным получило отображение на страницах дневника не только при описании разложения армии, солдатских расправ с офицерами, но и в других ярких эпизодах.

«Первобытные инстинкты» русского народа, как следует из записей Нокса, проявляются у него с наибольшей силой во время опьянения и в состоянии паники, когда он, как пишет Нокс, превращается в «дикого зверя». С невежеством, «примитивностью» русского простого народа Нокс связывает и отсутствие у него подлинного патриотизма и осознанного понимания долга. Автор дневника не учитывает, однако, разочарования солдат, обусловившего поворот от патриотических настроений начала войны к антиправительственным и антивоенным, подспудно зревшим в низах армии с середины 1915 г.

Главной темой дневника А. Нокса в той части, которая посвящена революционным событиям 1917 г., является описание и анализ состояния русской армии, которое автор рассматривает в тесной связи с оценками военных усилий России как союзницы. Нокс показывает неспособность Временного правительства к пресечению произвола и насилия в армии. Вкупе с политизацией армейского организма, несовместимой с его сущностными основаниями, это привело, как красноречиво свидетельствует военный атташе, к деморализации солдат, разложению армии и падению ее боеспособности. Нокс рисует массовое нежелание

русских солдат воевать, их равнодушие к территориальным потерям России и провозглашаемым правительством целям войны, высокую восприимчивость к антивоенной агитации, свободно проводимой в войсках «вредными элементами». Помимо усталости от войны и «отсутствия патриотизма», в большой степени невежеством русских солдат, по мнению Нокса, объяснялся успех германской пропаганды. Он приводит примеры неосведомленности большинства солдат о смысле «формулы мира без аннексий и контрибуций», что, кстати, подтверждается другим, более благожелательным автором – французским славистом, членом французской военной миссии Пьером Паскалем в его «Русском дневнике». Среди объяснений причин разложения армии Нокс называет и крестьянскую специфику восприятия «родины».

События от Февраля к Октябрю и впечатления, зафиксированные на страницах дневника, дают, наряду с другими многочисленными свидетельствами, картину эволюции отношения русских солдат к союзникам. Разочарование в союзниках, однако, было обоюдным. На страницах дневника находят отражение разнообразные проявления негативного восприятия Ноксом и другими представителями Антанты народа России, ее солдат как союзников, не выполняющих своего долга.

Таким образом, определяющей «призмой восприятия» А. Ноксом процессов, получивших импульс в ходе Революции 1917 г., была проблема сохранения потенциала России как союзницы, что обусловило общую направленность оценок и ощущений автора дневника. Записи дневника демонстрируют также ряд традиционных для общественного мнения Великобритании стереотипов в отношении России и русских, разделявшихся А. Ноксом и определявших истолкование им качеств, проявляемых русскими людьми в условиях революции. Непонимание и взаимные фобии усиливались в условиях развития военно-политической ситуации 1917 г. и были характерны для обеих сторон, что требует дальнейшего изучения данной проблемы в антропологическом ключе, в контексте истории взаимовосприятия двух народов.

С.И. Посохов
(Харьковский государственный университет, Украина)

Коммеморативные практики и проблемы актуализации исторического наследия (на материалах Харьковщины 1990-х – начала 2000-х гг.)

С момента обретения Украиной независимости возникла очевидная потребность в осуществлении такой гуманитарной политики, которая бы легитимировала новые общественно-политические реалии

и способствовала консолидации общества на основе иной идентичности. Важной ее составляющей стала политика памяти, которая воплотилась во всевозможных программах и акциях коммеморативного характера. Именно таким образом происходил пересмотр пантеона героев, списка памятных дат, «ценного исторического опыта». Впрочем, это было характерно для всего постсоветского пространства.

Центральным концептом, вокруг которого первоначально происходило конструирование новой идентичности, стала «историческая справедливость». Руководствуясь призывом «воздать должное» как «незаслуженно забытым», так и «преднамеренно оклеветанным», историки, но еще в больше степени журналисты и политики стали пересматривать роль многих личностей и значение исторических событий. В частности, благодаря государственной поддержке, был реализован грандиозный проект «Книга памяти Украины», который начался еще в 1989 г. и воплотился в 20 томов. Несколько позже, в 1992 г., началась работа над подготовкой к печати серии книг «Реабилитированные историей».

Впрочем, уже в первой половине 1990-х гг. системообразующим стал иной концепт, а именно – «национальное возрождение». Под таким лозунгом стал, по сути, создаваться новый национальный нарратив. Впрочем, «новым» его можно назвать лишь условно. В его основу была положена схема М.С. Грушевского, возникшая сто лет тому назад, и даже более ранние идеи. Свой существенный вклад в эту эволюцию внесли авторы школьных учебников, которые, работая на грани «научного» и «популярного», отдавали предпочтение второму и при этом, очевидно, стремились к однозначности оценок. Именно в таких текстах не только последовательно и настойчиво, но и в формате «нормативного знания» был предложен вариант этноцентрического видения истории Украины. Учитывая, что в данном случае доминировала политическая (прежде всего милитарная) история, это способствовало формированию типичных стереотипов бинарной культуры и распространению их среди молодых поколений. Со временем многие профессиональные историки молчаливо поддержали такой поворот, а некоторые из них со своей стороны приложили усилия к обоснованию такого рода построений.

Данный процесс сопровождался и соответствующей политикой памяти, которую осуществляли государственные структуры. Основной вектор такой политики можно охарактеризовать как «отталкивание от прошлого». В частности, это легко проследить на материале всевозможных коммеморативных практик. Некоторое время, а именно до конца 1990-х – начала 2000-х гг., как на Харьковщине, так и в Украине в целом, удивительным образом соединялись новые и старые праздники. К советским праздничным датам (1 мая, 9 мая, 7 ноября) добавили

религиозные праздники и День независимости Украины. Позже стали все чаще упоминать, а затем и отмечать годовщины различных трагических событий в Украине, которые долгое время замалчивались: бой под Крутами (1918), Голодомор (1932–1933). В 1998 г. официально был учрежден День памяти жертв Голодомора. Впервые в Харькове массово этот день отметили в 2002 г. Тема трагедии постепенно стала превалировать при проведении многих официальных мероприятий, связанных с историческими событиями и не только, не удивительно, что часто начало таких мероприятий связано с возложением венков. В том числе в трактовке войны 1941–1945 гг. определился сдвиг от темы «всенародного подвига» к теме «национальной трагедии». В Харькове этому способствовало наличие 3-х мемориалов (два из которых были созданы в начале 2000-х гг.). Тема репрессий, жертв и трагедий воплотилась в серии памятников, сооруженных в последние полтора – два десятилетия. С недавних пор началось активное замещение одних «мест памяти» другими и полное отрицание «советского наследия». Связано это с тем, что основные трудности нынешнего времени в различных идеологических конструкциях, имеющих официальную поддержку, связываются именно с историческим наследием. Соответственно, возникло стремление «исправить историческую память» (сформировать «правильную память»), а для этого посредством мемориальных комплексов и памятных знаков перемаркировать («завоевать») символическое пространство. Ярким примером тому являются факты не только разрушения, но и переделки советских памятников. В частности, в Харькове весной 2015 г. на памятнике «Борцам за власть советов», который был установлен в 1957 г., политические активисты поменяли надпись (теперь – «Героям, которые сложили голову за независимость и свободу Украины»).

Впрочем, в государственной политике памяти были заметны и колебания, когда история и коммеморативные практики играли роль орудия в отношениях власти и оппозиции, будучи достаточно дешевым способом обратить на себя внимание избирателей. Современные способы подачи информации создали широкую возможность для всевозможных манипуляций с памятью. Повсеместно распространилось использование исторического материала для провоцирования политических и культурных конфликтов (в том числе между регионами и центром, межрегиональных, межконфессиональных, субкультурных, между различными поколениями и т.д.). Появились специальные структуры, которые брали на себя функцию «агентов памяти» как в центре (Институт национальной памяти), так и на местах (гуманитарные советы и т.п.).

Профессиональные историки, в своем большинстве, старались избегать острых публичных дискуссий, которые возникали на такой

идейно-политической почве, и участия в такого рода структурах. Впрочем, та часть населения, которая принимала в них участие часто и не желала слышать их мнения. Еще на начальном этапе, когда профессиональные историки уступили первенство журналистам и краеведам в деле установления «исторической справедливости», произошла дискредитация исторической науки как системы знания. Хотя в последующем историки включились в процесс сформирования новой «памяти» (на основе концепта «национальное возрождение»), но уже вскоре эта «возрожденная» память, опираясь на фундамент бинарной культуры, стала угнетать «историю» как вариант критического осмысления прошлого. Провозглашенная в начале пути демифологизация истории обернулась новыми мифами и попытками закрепить их на государственном уровне. Наблюдалось также стремление построить унифицированную историю на основе ее «очищения» от всевозможных разночтений, что, по мнению ряда политиков, должно было объединить страну, устранив «локальную память» как основу формирования «локальной идентичности». В реальности этот принцип породил противоречие между «местной» и «общей» историей. В частности, осуждение и «имперского», и «советского» прошлого обусловило нивелирование роли Харькова в украинской истории, почти не оставляя в истории региона значимых событий и имен.

На наш взгляд, является очевидным, что в современных условиях особую важность приобретает вопрос о механизмах актуализации исторического наследия и роли в этом процессе профессиональных историков. Поскольку гармонизация общественных отношений возможна лишь на условиях консенсуса, то акцент в этом плане следует перенести на распространение принципов тернарной культуры и осуществление долгосрочных и взаимосвязанных региональных программ. Что же касается роли историков, то перспектива реализации таковой предполагает действия, направленные на консолидацию научного сообщества на основе профессиональной этики и создание негосударственных профессиональных организаций (в том числе региональных). Кроме того, учитывая вывод о том, что нарратив принципиально неверифицируем, можно видеть целью создание такого нарратива, который был бы построен на основе культурной истории, позволяющей представить мир прошлого разнообразным и одновременно целостным.

А.В. Прокофьев
(Московский государственный институт путей сообщения)

Самосознание русского приходского духовенства 3-й четверти XIX века

Замкнутость русского духовного сословия, вышедшего из крестьянства, зажатого между своими корнями и обществом, смотревшим на духовенство свысока, неблагоприятные бытовые условия, вечный когнитивный диссонанс от несоответствия образовательного уровня, юридического статуса бытовым условиям и жизненным коллизиям, породили своеобразную сословную философию. Сельских батюшек, сызмальства привыкших к тяжелому труду, выросших в архаико-инициационных условиях семинарий, живших, как правило, исходя из материальных возможностей семьи невесты, тянувших тяжкую лямку крестьянского труда, понукаемых пасомыми крестьянами и презираемых дворянством, отличала смесь фатализма и стоицизма. Их взгляд на мир был более чем пессимистичен, что дополнительно подтверждалось особенностями православного вероучения, отнюдь не благословляющего радости бытия. «Жизнь вообще есть подвиг, а не место услаждения», учили молодых священников, утверждая, что в жизни есть от чего отчаяться, но спасения нужно искать в благодушии и смирении, занимая ум трудом и не тратя время на пустые философствования: «будь же благодушен! Нет книг, изучай природу!». Привычка к почти спартанским условиям жизни, догматизм образования и, как следствие, мировоззрения, вели к убеждению в том, что свободомыслие пагубно для духовенства, а комфорт ведет к отчаянию.

Духовенство привыкло к тяжкому, постоянному труду, воспитываемому сызмальства, он отнимает время от основных обязанностей священника, но формирует характер и мировосприятие. Убеждая довольствоваться самым необходимым, тянуть лямку до конца своих дней, сословная философия ограждала священников от отчаяния. Другой крайностью было весьма и весьма широко распространенное пьянство, в которое, уставшие от постоянных волнений, сельское духовенство топило свое горе. Поэтому утверждалось, что пенять на быт и жаловаться на условия жизни недостойно священнического звания, требующего стойко переносить все тяготы, отвечая на них смирением, бывшем, поистине, важнейшей чертой русского сельского духовенства.

Несмотря на презрительное отношение общества к «попам», гордость духовного сословия ничуть не страдала от этого. Более того, приходское священство гордилось своим происхождением, своим со-

словием, династической историей, местом в государстве и осознанием своего предназначения и миссии. Сельские священники воспринимали себя как островок образованности и своеобразного христианского просвещения посреди темной массы невежественного народа. Балансируя на грани взгляда свысока на крестьянский мир, не всегда адекватно воспринимая его сигналы и чаяния, духовенство с обидой и непониманием реагировало на упреки образованных и привилегированных слоев русского общества, оказываясь как бы между двух огней. Отчасти признавая, что близость быта сельского духовенства крестьянскому укладу накладывает нецивилизованные черты на священников, последние все же считали это сугубо материальными трудностями, устранимыми при должной помощи и содействии, прежде всего государства, а затем уж и остальных сословий. По сути, сельские пастыри почитали все остальные сословия и государственные институции обязанными по отношении себе, проявляя здесь столь привычной западноевропейской традиции клерикализм, ранее встречавшийся лишь у патриарха Никона.

Все больше и больше усугублявшийся культурный и мировоззренческий разрыв со своими крестьянскими корнями, священники предпочитали игнорировать, считая свою связь с народом неразрывной и постоянной, что уже сразу после 1861 г. стало постепенно меняться, отдаляя священство от крестьянства. Источники чувства собственного достоинства черпались буквально отовсюду, равно как и поводы для гордости. Опираясь на свой вероучительный авторитет, духовенство утверждало, что не должно угодничать обществу, это недостойно его звания, оно должно черпать силы в служении церкви, а не пытаться соответствовать каким-либо светским нормам поведения и стандартам мировосприятия. Даже в вопросе обеспечения сирот духовного звания, обреченного буквально на нищенство мизерными пенсиями, духовенство было не готово идти на компромисс. Сочетание фатализма, стоицизма и смирения причудливо переплеталось с чувством гордости за свое сословие и ощущением морального и нравственного превосходства над остальными элементами общества, обеспеченного самим фактом своего рождения в духовной среде. Поэтому для батюшек сословность духовенства вовсе не упрек, а достоинство, дистанцированность от зол мира сего удаляет священника от общества, но не от народа, который, как думалось тогда, связан с духовенством вековыми узами. На упреки в замкнутости и сословности духовное сословие резко очерчивало свои границы, констатируя, что оно только для духовенства. Направленная исключительно внутрь своего мирка сословная рефлексия обращалась вовне исключительно по вопросам, так или иначе связанным со своими нуждами и чаяниями, воспринимая себя как основание и едва ли ни центр обще-

ственного устройства и ожидая такого же признания от других сословий. Рассчитывать на взаимность батюшки, увы, могли лишь в случае с крестьянством, общество же сомневалось в их нравственном, а следовательно, и мировоззренческом авторитете, что духовенство, в свою очередь, не замечало.

В.А. Райкова
(Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург*)*

Меморизация холодной войны в современном американском обществе*

Для современного российского общества тема холодной войны не находится в фокусе внимания. По данным социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2009 г., только 10% россиян знают хронологические рамки холодной войны, 49% наших сограждан возлагают ответственность за ее начало на США, а 44% респондентов затруднились ответить на вопрос о ее победителе. Для значительной части россиян холодная война представляется далеким событием, вызванным агрессивными устремлениями Запада и не имевшим явного победителя.

В США отношение к холодной войне несколько иное. Вопрос о победителе в этом конфликте для американского общества решен однозначно – представления о победе США довольно прочно укоренены в сознании рядовых американцев. Главным доказательством победы выступает распад Советского Союза и кардинальная трансформация модели общественного развития, знаменовавшие поражение марксистско-ленинских идей и торжество западных ценностей. Опросы, проводимые Институтом Гэллапа, свидетельствуют о том, что в октябре 1991 г. 60% американцев полагали, что холодная война окончательно и бесповоротно закончилась, 75% американцев верили в отказ СССР от государственной экономики в пользу рыночной, а 63% выражали надежду на смену советской политической системы.

Формированию представлений об американской победе в немалой степени способствовали заявления американских президентов. Так, например, президент У. Клинтон в инаугурационной речи 20 января 1997 г. говорил о победе Америки над тиранией в «двух последних мировых войнах и продолжительной холодной войне», а

* Исследование выполнено в РГПУ им. А.И. Герцена по гранту РНФ № 14-18-00390.

Дж. Буш-мл. во время предвыборной кампании 2000 г. называл Р. Рейгана и Дж. Буша-ст. главными творцами исторической победы. Большой вклад в становление победной концепции внесла американская пресса. На страницах крупнейших газет США – New York Times, Washington Post, Wall Street Journal и многих других, в 1989–2000 гг. регулярно публиковались статьи, посвященные итогам холодной войны и выдержанные в победном духе.

Подобное представление об итогах холодной войны привело к попыткам ее закрепления в исторической памяти американцев. Первые призывы к меморизации холодной войне стали раздаваться в 1997 г., когда в большой статье в Washington Post отмечалось, что холодная война, принесшая столько боли и страданий миллионам людей, заслуживает памяти. Американское общество не должно уклоняться от «моральных двусмысленностей холодной войны», – писал автор заметки, влиятельный политический колумнист Чарльз Краутхаммер, а должно помнить, что победа в холодной войне – это важная победа над бесчеловечной идеологией [*Krauthammer Ch.* Build a Cold War Memorial // The Washington Post. 28 March, 1997].

В апреле 1997 г. палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с выражением признательности военным лицам и гражданскому персоналу правительства, служивших стране верой и правдой во время холодной войны. В июле того же года в палате представителей обсуждался вопрос о создании мемориала в честь военного и гражданского персонала Министерства обороны, сотрудников разведывательных служб и дипломатов, служивших в годы холодной войны. Предполагалось, что это будет национальный мемориал, сооруженный неподалеку от Вашингтона, но финансовые затраты оказались столько значительны, что предложение депутатов было отклонено Сенатом. Однако в 2008 г. в Конгрессе было принято предложение о создании Национального музея холодной войны на базе музея в городке Фэйрфакс (штат Вирджиния), основанного еще в 1996 г. по инициативе Фрэнсиса Гэри Паэурса-мл., сына летчика Пауэрса, участника известного эпизода 1960 г. с самолетом У-2.

Музей был создан на базе бывшей радиолокационной станции, которую эксплуатировали в годы холодной войны военные, сотрудники ЦРУ и Управления национальной безопасности. Музей ставит перед собой различные научные, образовательные и просветительские цели – дать возможность молодому поколению американцев осмыслить эпоху холодной войны, сохранить память о погибших в годы войны американцах, создать серьезный научно-исследовательский центр по изучению войны. Музей активно сотрудничает с ФБР, ЦРУ, федеральными органами власти, организует публичные лекции и встреи с ветеранами холодной войны, интерактивные квесты для детей.

Меморизация холодной войны является задачей и других американских музеев. Например, в Национальном военно-морском музее США организована выставка моделей кораблей, находившихся на службе во время войны, а также галерея портретов моряков, отличившихся в различных конфликтах. Атомному оружию и его роли в годы холодной войны посвящена выставка в Американском музее науки и энергии.

8 июля 1997 г. Конгресс США утвердил финансовый отчет Министерства обороны, в котором содержался раздел № 1131 об учреждении медали за службу в годы холодной войны – Cold War Service Medal. Она предназначалась для тех, кто выполнял военные обязанности или находился в запасе вооруженных сил США во время холодной войны, а также для гражданских служащих американской армии. В законопроекте № 2067 от 28 апреля 2015 г. прописывалось, что медалью могут быть награждены те, кто в годы холодной войны нес военную службу не менее 24 месяцев подряд, находился не менее 30 дней в составе американского корпуса вне территории США, а также состоял в резерве и участвовал в военных учениях.

Медаль оформлена весьма необычно, а ее дизайн предложил Нэйдин Рассел, глава Отдела геральдических разработок в Институте геральдики армии США. На аверсе медали изображена аллегорическая фигура Свободы, сидящей на возвышении и обозревающей ландшафт городка Фульда в Восточной Германии. Именно это место в разгар холодной войны американскими планировщиками считалось наиболее вероятным направлением удара советских войск при вторжении в Европу. В руках Свобода держала меч в ножнах как символ того, что во время войны Америка терпеливо выжидала, готовая в любой момент отразить советскую агрессию.

Медаль не является официальной наградой США, а служит только памятным знаком. Ассоциация американских ветеранов холодной войны считает своей главной задачей придание медали официального статуса, пытаясь заручиться в этом поддержкой влиятельных политиков. Сенаторы-демократы Хилари Клинтон и Роберт Эндрюс, а также сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз неоднократно выносили на обсуждение вопрос о придании медали официального воинского статуса, но безрезультатно. Обсуждение этого вопроса продолжается и в настоящий момент. В ноябре 2012 г. в Wall Street Journal было опубликовано большое эссе Барри Ньюмана, проникнутое сочувствием к ветеранам холодной войны, не получившим никакого морального поощрения за одержанную победу [*Newman B.* A Cold Shoulder for Cold-War Vets // The Wall Street Journal. November 9, 2012].

В декабре 1997 г. в финансовом плане Министерства обороны на 1998 г. в статье № 1084 вводился официальный сертификат о службе в

годы холодной войны для военных и гражданского персонала Министерства обороны и других федеральных ведомств. По оценке New York Times, в 1997 г. около 22 млн. миллионов американцев имели право на его получение. Выдача сертификатов вызвала неоднозначную реакцию общественности. В апреле 1999 г. в New York Times была опубликована заметка с ироничным названием «Что вы делали во время холодной войны, папа и мама?», в которой подвергался сомнению сам факт необходимости сертификата как напоминания «о самой великой победе США». С другой стороны, Ассоциация американских ветеранов холодной войны считает введение сертификата недостаточным способом почтения памяти и признания заслуг участников войны.

Помимо учреждения сертификата и памятной медали стоит также отметить, что Конгресс США регулярно устанавливает памятные даты, посвященные холодной войне. Помимо традиционных Дня ветеранов (11 мая) и Дня Памяти, отмечаемого в последнее воскресенье мая, 30 октября 2009 г. был объявлен Днем памяти американцев, занятых во время войны в атомной отрасли, а 27 января 2012 г. – Днем памяти американцев, которые в годы войны жили в регионах, испытавших на себе радиационное воздействие от ядерных испытаний. Ассоциация ветеранов холодной войны, в свою очередь, ежегодно 1 мая устраивает День памяти забытых героев холодной войны.

Таким образом, в США в конце XX – начале XXI века делается многое для меморизации холодной войны и формирования у американского общества представлений о значимости этой победы. Важно отметить, что инициатива проведения различных памятных мероприятий в честь холодной войны идет не только сверху, со стороны американских властей, но и снизу, со стороны общества.

Л.П. Репина
(Институт всеобщей истории РАН, РГГУ, Москва)

Историческое событие и историческая наука XIX – начала XXI века*

Событие – одно из центральных понятий исторической науки, отправная точка исторического сочинения и категория исторического анализа. События составляют живую ткань исторического процесса, и историография на протяжении своей многовековой истории имела дело с событиями и была, по преимуществу, историей собы-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 14-01-00357а.

тийной. Шла ли речь о недавнем или весьма отдаленном прошлом, историческое повествование строилось как связный, хронологически последовательный рассказ о неповторимых, локализованных во времени и пространстве и значимых, с точки зрения историографа, событиях (как правило, политических).

Вместе с тем, отношения историка с событием претерпели целый ряд трансформаций. Геродот писал о Греко-персидских войнах, Фукидид – о Пелопоннесской войне, средневековые авторы – о событиях как трансцендентных (от «сотворения мира»), так и о деяниях «замечательных мужей». В гуманистической литературе историческое событие меняет свой облик в зависимости от того, в каком жанре оно излагается. В сочинениях постреформационной Европы поиск причинно-следственных связей опирался на реконструкцию событийного каркаса. В философской истории XVIII века «наставление примерами» требовало объяснения событий при относительном безразличии к их хронологии. В рассуждениях историков XIX – начала XX века понятие «событие», как правило, пересекается с понятием «факт». Под историческим фактами понимается все то, что было в прошлом, и о чем имелись «достоверные свидетельства». В XIX веке историки творили «великие нарративы национальной истории» вокруг «фактов», подтверждающих древность нации, а также территориальных завоеваний и событий государственной централизации. В пору профессионального самоопределения для исторического позитивизма, ориентирующегося на объективистские идеалы классической науки и понимающего историю как воспроизведение фактов, задача, естественно, состояла в определении достоверности информации источников о рассматриваемом событии, его правдивом описании и объяснении, в реконструкции события таким, каким оно было в действительности.

Тем не менее, взгляды выдающихся историков XIX – начала XX века не были столь однозначны, как это нередко представляется их критикам. Элемент сконструированности факта/события признавался, хотя и немногими. Так, например, в своих рассуждениях об «историческом факте» Н.И. Кареев подчеркивал: «один факт может быть частью другого факта, эпизодом события, эпизодом эпизода», но это всегда нечто, «обособляемое от всех других соседних фактов, отграничиваемое от них точными указаниями, где и когда это нечто было, и получающее *от нас* (курсив здесь и далее мой – *Л.Р.*) свое особое имя…» Исторический факт, каким бы он ни был – сложным или простым, «всегда является приуроченным к определенному месту и определенному моменту времени». К тому же, все, даже кажущиеся моментальными события отграничиваются друг от друга «моментами начала и конца, и каждое рассматривается, как некоторое отдельное целое, но, собственно говоря, *это мы сами объединяем отдельные*

моменты в общее представление некоторого события». Различаются две категории фактов: факты «прагматические», сводимые к человеческим действиям, т.е. события (то, что случилось, произошло, свершилось), и факты «бытовые», «культурные», т.е. составляющие ткань того, что мы сегодня называем историей повседневности [*Кареев Н.И.* Историка. Изд. 2. Петроград, 1916. С. 95-98, 103].

Примечательно, что даже после того как событийная история («история-рассказ») попала в XX веке под огонь уничтожающей критики со стороны представителей французской школы «Анналов» и их единомышленников в других странах, оказалось, что без событий в так называемой «новой научной истории» или «истории-проблеме» не обойтись, хотя их статус в оппозиции «структура – событие» был существенно снижен. Впрочем, в разделе о логике критического метода «Апологии истории» Марка Блока концепту «событие» было отведено достойное место при обсуждении одной из важнейших проблем – применения понятия вероятности в историческом исследовании: «Историк, спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу лишь пытается смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления». М. Блок считал, что этот «игровой» прием позволяет «рельефно показать роль случайного и непредвидимого в историческом движении человечества» [*Блок М.* Апология истории или ремесло историка. М., 1973. С. 68-69]. Случайность в этом «движении» может выступать в виде события особого рода – происшествия, которое не укладывается в первоначально заданную направленность повествования (интерпретации).

В 1980-е гг. маятник качнулся в другую сторону – произошло «возвращение», и даже «возрождение» события». Конечно, это явление не было повторением пройденного – для него характерно сочетание элементов обновления и преемственности, поскольку историческое событие рассматривалось уже не в поверхностно-фактологическом жанре, а в контексте совмещения глубинных процессов, порожденных структурами большой длительности, и тенденций, складывающихся под влиянием исторической конъюнктуры (в т.ч. как симптом такой тенденции). По сути, в новой, антропологической, по своему происхождению, перспективе развернутый анализ конкретных обстоятельств произошедшего, включая все реакции и эффекты, связывает историческое событие с процессом структурной трансформации, к тому же восстанавливая его в правах как одного из ее факторов. Это относится, прежде всего к событию экстраординарного характера, событию, которое нарушает сложившийся порядок в социуме, оказывая деструктивное воздействие практически на все его структуры, в т.ч. ментальные, и потому требует как образно-эмоциональной компенсации (мифологи-

зации события в коллективной памяти), так и рациональной интерпретации (придания смысла в определенной версии событий). Проблематизация такого типа события нашла развернутое выражение в теории кризисов исторического сознания Йорна Рюзена.

Представление о том, какое событие является историческим, существенно изменилось, в т.ч. и потому, что историки обратили внимание на феномен памяти, а также на вопрос о взаимоотношениях социальной памяти и историописания и месте коллективной памяти в субъективности историка. Маркировка события как исторического теперь определяется не только пространственно-временным масштабом исследования, но и принадлежностью автора к той или иной традиции или культуре памяти. Категория «событие» обрела новый статус в «мемориальных исследованиях» именно в форме культурного конструкта, «образа события» в сознании переживших его участников и современников (видевших, как данное событие развертывалось в его собственном времени), а затем – непосредственных и отдаленных потомков. Значение события как исторического проявляется в том, что оно стало основой, на которой коллективная память и воображение создали целый комплекс символов и нарративных конструкций. Особо значимые события и герои прошлого образуют в культурной памяти систему взаимосвязанных исторических символов, которая отражает доминирующие в социуме ценности и играет важную роль в воспроизводстве последних.

Научно-критическая интерпретация события опирается на соотнесение внутреннего содержания и структуры события с его «внешней стороной», или с широко понимаемым историческим контекстом, а точнее контекстами – как синхронными (на разных уровнях), так и развернутыми во времени, в чем находит отражение диалектика события и структуры. В этом плане эвристически ценными представляются такие категории анализа как исторический опыт и зависимость от исторического пути, используемые для концептуализации воздействия событий прошлого на действия в настоящем и ход будущего развития. В первую очередь, речь, конечно, идет о событиях, на основе которых выстраивается периодизация национальной истории и которые, благодаря учебникам, научно-популярной и художественной литературе, входят в багаж знаний и представлений широкого круга людей. Многие события такого уровня приобрели особый статус только в контексте последующего хода истории. И потому перед историком возникает вопрос: «Почему и когда это событие стало трактоваться как определенный исторический рубеж?» Ответить на него можно, только восстановив полномасштабную символическую биографию данного события в исторической перспективе длительной временной протяженности.

Н.В. Ростиславлева
(Российский государственный гуманитарный университет,
Москва)

Отто фон Бисмарк: трансформация культуры памяти

Забвение является принципом жизни. Как отмечает А. Ассман: «Память – это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим». Поэтому трансформация, обновление памяти является сутью ее бытования. По мнению Я. Ассмана, помнящая культура сознательно обращается к прошлому, ища в нем основания для своего настоящего и будущего, обретая и осознавая свой смысловой горизонт, реорганизуя прошлое под нужды настоящего.

Связь памяти с формированием национальной идентичности является также основой вектора ее трансформации, особенно если это касается героического прошлого, великих людей, славы нации. Культурная работа социума представляет собой ряд целенаправленных действий, чтобы прошлое не было забыто и продолжало быть основой национальной идентичности. Юбилеи великих личностей, например Отто фон Бисмарка, – наиболее репрезентативный пример, как происходит трансформация памяти.

Первый юбилей Отто фон Бисмарка, получивший широкое освещение в германском обществе – это 70-летие «железного канцлера». Бисмарк еще здравствует, он канцлер и он в центре коммуникативной памяти. Но еще при жизни этой личности практика коммеморации начала переходить из плоскости коммуникативной памяти в культурную. В 1885 г. была опубликована эпическая поэма Х. Хоффмейстера, которая обыгрывала биографию канцлера в контексте классического германского сюжета о Зигфриде, героя «Песни о Нибелунгах». Бисмарк уже позиционировался как легендарный герой, способный духовно возродить нацию.

После отставки Бисмарка, в 1895 г. с помпой был отпразднован его 80-летний юбилей. В ходе торжественных мероприятий мифологизация бывшего канцлера укрепилась. Кайзер Вильгельм II отправил Бисмарка в отставку и постарался предать его деятельность забвению, не желая публично и торжественно отметить его юбилей. Но германское общество, прежде всего националисты, решило иначе. Миф о Бисмарке обретает контрпрезентативную функцию, т.е. настоящее противопоставляется недавнему прошлому. Баронесса Шпитценберг записала в дневнике: «Весь Берлин стоит под знаком Бисмарка <…> Газеты говорят только о нем, в витринах окнах выставлены его портреты, бюсты, книги. На улицах торговцы в больших количествах предлагали мини-портреты Бисмарка, медали

с его изображением, звучали, сочиненные к его юбилею стихотворные здравицы». Уже тогда сформировался круг стойких бисмаркианцев. Именно они после смерти своего кумира стали инициаторами торжественного празднования дней рождения Бисмарка и создания сети ритуальных сооружений, связанных с его культом. Особо почитался «железный канцлер» среди представителей Пангерманского союза, под их влиянием происходит сакрализация кумира. С культом Бисмарка уже приходилось считаться правящим кругам.

Когда началась Первая мировая война германское общество конструировало свою коллективную идентичность в оппозиции идентичностям врагов Германии. Культивируется бисмарковская идея – разрешать кризисные ситуации «железом и кровью». Также Бисмарк выступал как вдохновитель великих дел нации. Все предпосылки для сакрализации и провозглашения Бисмарка основой германской идентичности сложились еще до празднования его столетнего юбилея, который стал апогеем мифологизции канцлера. Фигура Бисмарка была востребована в контексте определения места Германии в мире, в рамках будущего проекта Срединной Европы и, конечно, роли Бисмарка в мировой войне. «Наш Бисмарк», «Бисмарк и мы» – довольно репрезентативные названия юбилейных изданий. Воспоминая о Бисмарке попали в самые разные внешние накопители: в исторические труды, в отчеты о юбилейных торжествах, в сообщения о школьных праздниках, шествиях, возложениях венков. Социальный горизонт германского общества и воспоминания о Бисмарке совпали. Общество сознательно обращалось к этой фигуре, пытаясь обрести основания для настоящего и будущего. Бисмарк был для социума военной Германии сверхактуальным персонажем, с ним связывали, если использовать терминологию А. Ассман триумф нации, его причисляли к ее символам. «Железный канцлер» в полной мере являлся основой конструкции под названием национальная идентичность немцев.

Двухсотлетний юбилей Отто фон Бисмарка стал свидетельством смены приоритетов. Этот юбилей не стоит считать живой опорой культурной памяти. За сто лет Германия пережила несколько тяжелых травм – поражение в Первой мировой войне, период национал-социализма, поражение во Второй мировой войне, раскол Германии. В 1960–1970-е гг. на Бисмарка возложат определенную долю вины за произошедшее.

В 2015 г. вектор бисмарковской коммеморации был направлен уже в сторону истории, а не мифа. Историки не стремятся подвергнуть Бисмарка «публичной порке» или с воодушевлением культивировать его образ, они, признавая его величие как государственного деятеля, решительно отмечают все слабости созданного им рейха.

Память о «железном канцлере» стала историческим воспоминанием, а потенциал мифического обновления был утрачен. Бисмарк продолжает привлекать историков как бранденбургский джентльмен, образцовый помещик и предприниматель, виртуозный исполнитель дипломатических миссий, «белый революционер» (Генри Киссинджер), «истинный пруссак» (Эрнст Энгельберг), «пруссак» своего века» (К. Нонн). Упрочение памяти обычно связано с архивами, музеями. Руководитель фонда Бисмарка Лаппенкюпер подчеркивает, что «благодаря тесной связи выставки, музея, архива, «виртуальной версии Фридрихсру» на Интернет сайте фонда и мавзолея Отто фон Бисмарка в Европе нет лучше места памяти и познания европейской истории долгого XIX века и видит интерес современных поколений к Бисмарку прежде всего как части европейской истории долгого XIX века, а не в качестве основы конструирования национальной идентичности немцев.

Единственное, что в деятельности Бисмарка сохраняет особую актуальность – это его социальная политика. В настоящее время историками не оспаривается роль Бисмарка в формировании немецкого социального государства. Как считает Ю. Кокка, национальная сплоченность немцев «отразилась в системе трудовой деятельности больше, чем в идее государственно-гражданских прав. Это действует и сегодня». Став в общем и целом уже историческим воспоминанием, Бисмарк как политик, стоящий у истоков немецкого социального государства, сохранил определенные элементы в конструкции национальная идентичность, доказав, что успешная социальная политика способна эффективно консолидировать нацию. Но эта довольно рациональная линия коммеморации «железного канцлера» не ведет к превращению истории в миф.

М.Ф. Румянцева
(Научно-исследовательский университет
«Высшая школа экономики, Москва)

Репрезентация истории в неоклассической модели науки: источниковедческий подход

Рассматриваемая здесь неоклассическая модель исторической науки восходит в своих концептуальных основаниях к русской версии неокантианства, в эпистемологии которой, – в первую очередь в философии А.И. Введенского и в методологии истории А.С. Лаппо-Данилевского, – был постулирован исторический источник как эмпирический объект исторического познания. Развитие этого направ-

ления шло по преимуществу по линии усложнения представления об объекте: от исторического источника – через систему видов исторических источников – к «эмпирической реальности исторического мира» (понятие введено О.М. Медушевской в 2008 г).

Мои размышления по поводу репрезентации истории в неоклассической модели науки (с точки зрения источниковедческой концепции) исходят из двух предположений / утверждений.

Первое: развитие источниковедения сначала как структурной составляющей в системе методологии истории, затем его оформление в научную дисциплину (1950–1970-е гг.) со своим объектом исследования [Теория и методология исторической науки: терминол. слов. М., 2014. С. 96] и, наконец, – в научное направление (рубеж XX–XXI веков), т.е. особый ракурс рассмотрения исторической реальности [Там же. С. 319-320], коррелирует с ведущими направлениями европейской исторической науки XX века. Заметим, что аналогичные процессы – движение от субдисциплины исторической науки к научному направлению – переживает примерно в эти же годы или чуть раньше социальная история, о чем свидетельствует дискуссия в немецкой исторической науке [см., напр.: *Зидер Р.* Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении социального // THESIS: альманах. 1993. Зима. С. 163-178]. Этот пример тем более показателен, что как социальная история (в варианте Вернера Конце), так и источниковедение этого периода, при всем их колоссальном концептуальном различии, нацелены на выявление структур и дают свои варианты «структурной истории».

Второе: при несомненной соотнесенности процессов трансформации исторического познания и его методологического осмысления это все-таки разные процессы, хотя можно оптимистично предположить, что зазор между историографической практикой и методологической рефлексией сокращается.

В данном опусе представлена схема (естественно, гипотетическая) методологической рефлексии исторического знания, смыслом которой является соотнесение развития концепции источниковедения и смены «словарей» исторической науки, модель которой разработана Ф.Р. Анкерсмитом [*Анкерсмит Ф.Р.* История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 213-258]. Подход Анкерсмита выбран постольку, поскольку он, по моему мнению, позволяет наиболее строго сопоставить две линии методологической рефлексии и особенно – выявить различия в подходе к проблеме репрезентации. К тому же, этот подход вполне корреспондирует с проанализированной Баденской школой неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) оппозицией номотетики и идиографии в научном познании, что важно для рассматриваемой нами пробле-

мы, поскольку именно в разных версиях неокантианства обнаруживается исток расхождения неклассической и неоклассической моделей исторической науки.

Словарь описания и объяснения. В этой модели источниковедение, еще не обретшее дисциплинарной автономии, встроено в структуру методологии истории в качестве базовой процедуры научного исторического исследования.

Словарь интерпретации. При сопоставлении развития источниковедения с этой моделью науки мы обнаружим, что оно конституируется в качестве самостоятельной субдисциплины исторической науки со своим объектом исследования – системой видов исторических источников и начинает перерастать в научное направление, когда система видов исторических источников воспринимается не только как автономный объект исторического исследования, но и как особый способ репрезентации социокультурных образований. На этом этапе расхождение описанного Анкерсмитом «словаря интерпретации» и интерпретации как основной процедуры в структуре источниковедческого исследования обусловлено, в первую очередь, различием объекта интерпретации: исторический факт, встраиваемый в нарратив (или нарративная субстанция, если использовать терминологию Анкерсмита) vs исторический источник, интерпретируемый с точки зрения принципа «признания чужой одушевленности», но уже с учетом контекста культуры, фиксируемого системой видов исторических источников.

Словарь репрезентации. Модель репрезентации разработана Анкерсмитом с тем, чтобы найти выход из «тупика» исторического нарратива, нащупав проход между двумя логическими моделями – Сциллой «нарративной субстанции» и Харибдой «концепта реальности».

Проводя сравнительный анализ репрезентации в искусстве и в историописании, Ф.Р. Анкерсмит задает риторический вопрос: «…не обречены ли мы на идеалистическую интерпретацию историописания, т.к. среди *всех* дисциплин, включая даже искусство, объект историописания менее других обладает своей собственной сущностью и возникает только благодаря исторической репрезентации?» [С. 248].

Но источниковедение как научная дисциплина имеет объект, который «обладает своей собственной сущностью» (если воспроизвести формулировку Анкерсмита). Это – эмпирическая реальность исторического мира (оставим за рамками рассмотрения феноменологический аспект ее конструирования, равно как и конструирования исторического источника в сознании исследователя), структурированная как система видов исторических источников.

О.М. Медушевская, последовательно противопоставляя источниковедческую концепцию истории как строгой науки нарративной логике историописания, подчеркивает: «Новая альтернативная парадигма истории как науки эмпирической, имеющей собственный реальный макрообъект, имеет свои истоки там, где проходит осмысление этого реального макрообъекта» [*Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 237-238].

Сопоставляя источниковедческий подход со словарем репрезентации, мы должны сначала констатировать, что на этом этапе своего развития источниковедение представляет собой не только научную дисциплину (субдисциплину исторической науки), но и научное направление, что и позволяет, на мой взгляд, говорить об особом источниковедческом способе исторической репрезентации. О.М. Медушевская также указывает на возможность репрезентации истории на основе источниковедческого подхода: «Становится очевидной возможность точного знания: ведь история выступает как наука, имеющая свой реализованный и, следовательно, эмпирически данный продукт; возникает перспектива для логического анализа и последующего "исторического построения" – обоснованной картины изучаемой исторической эпохи» [Там же. С. 238].

Конечно, способы источниковедческой репрезентации истории нуждаются в дальнейшей разработке, но к настоящему времени этот подход апробирован, например, в компаративном источниковедении – методе сравнительно-исторического исследования, базирующимся на теоретическом осмыслении положения, что основная классификационная единица источниковедения – вид исторических источников – репрезентирует объединенные единством целеполагания определенные формы социальной активности человека, совокупность которых составляет историю общества [Теория и методология… С. 222]. Так, переход от Средних веков к новому времени фиксируется возникновением источников личного происхождения (мемуары, дневники, частная переписка), общественного происхождения (периодическая печать, публицистика), а также статистики как нового элемента в системе управления и пр. Изменение системы видов исторических источников позволяет репрезентировать новую социокультурную ситуацию, а выявление нюансов в механизме порождения одних и тех же видов исторических источников / форм человеческой деятельности (например, периодическая печать возникает в Европе из потребности в коммерческой информации или выражения интересов различных социальных групп, а в России – под эгидой государства для выражения его интересов) дает возможность зафиксировать различие европейской и российской социокультурных ситуаций.

И.И. Руцинская
(Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова)

Туристское пространство русской провинции как форма репрезентации исторической памяти (вторая половина XIX – начало XX века)

Формирование массовой культуры и ее важной составляющей – туризма – в российской провинции второй половины XIX – начала XX века привело к существенной актуализации историко-культурного наследия. Новая индустрия включала региональные памятники в туристское пространство, в маршруты, обязательные для посещения туристами-неофитами, создавала иные модели их восприятия.

Памятники обретали статус достопримечательностей, а это значит, происходило упрощение и редуцирование их смыслов, тиражирование их образов, осуществлялся их перевод из сферы эстетического восприятия в сферу престижного потребления.

Турист, в отличие от путешественника предшествовавшей эпохи, не искал информацию самостоятельно, он делегировал функцию декодировки кодово-знаковой системы культурного пространства [*Листвина Е.В., Гализдра А.С.* Современный туризм: проблемы пути и путешествия / Туризм и культурное наследие. Межвузовский сборник научных трудов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. С. 90-93] представителям туристской индустрии, а сам довольствовался (и, заметим, довольствуется до сих пор) ролью человека, усваивающего предложенные смыслы и значения.

Это касается и тех представлений о прошлом, которые неизбежно транслирует не столько сами памятники, сколько способы их интерпретации. По верному замечанию современных авторов, «мемориальные сооружения сами по себе не могут выполнять роль источника информации о прошлом – их «смысл» должен расшифровываться в рамках устной или письменной традиции. Проще говоря, для «понимания» любого мемориала вам нужен или экскурсовод, или табличка с надписью. Тем не менее, в сочетании с устными и письменными источниками мемориалы оказываются одним из действенных факторов формирования представлений о прошлом» [*Савельева И.М., Полетаев А.В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т.: Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2006. С. 429-430].

Роль этих своеобразных «табличек с надписью», доносящих информацию во всей полноте, выполняли и выполняют региональные путеводители. Под ними мы понимаем путеводители, не просто посвященные определенному региону, но в этом регионе написан-

ные и изданные. В этом случае они несут информацию об особенностях сохранения, восприятия, интерпретации и трансляции информации о прошлом, характерные для местного сообщества.

Бросается в глаза общая особенность новых источников массовых представлений второй половины XIX – начала XX века, а именно обилие вторичных текстов. Всевозможные компиляции, научно-популярные, справочные и «художественные» изложения исторических сюжетов серьезно потеснили характерную для предшествовавшего этапа практику обращения к мемуарам, перепискам, путевым заметкам, то есть к первоисточникам.

Путеводитель относился к этой группе вторичных текстов. Он представлял собой смесь научных и обыденных, достоверных и вымышленных фактов, своеобразную компиляцию письменных и устных источников, которая со временем превращалась в каноничную схему максимально сжатого рассказа, бытующего в территориальном (локальном) социуме и фиксирующего внимание на самых значимых сторонах того или иного артефакта.

В туристском пространстве историко-культурная достопримечательность очень часто подавалась как своеобразный свидетель и участник знаковых событий. Такая форма рассказа о памятнике наиболее востребована в массовом сознании, именно она превращала городские объекты в «места памяти». При этом отступала как несущественная первоначальная функция сооружения. Так, Софийский собор в Вологде интересовал авторов путеводителя как место, где выпавший из свода кирпич чуть не убил Ивана Грозного и тем самым заставил его отказаться от планов по переносу российской столицы в этот, столь «любимый царем город» [*Суворов Н.И.* Путеводитель по Вологде: с указанием на ее церковные древности, святыни и другие достопримечательности. Вологда: Тип. Губ. правл., 1874. С. 4]; а в Ипатьевском монастыре Костромы «укрывался со своей материю первый царь из рода Романовых, ныне благополучно царствующего. В этом же монастыре состоялось и призвание на царство Михаила Федоровича» [Вся Волга. Саратов: Тип. Подземского, 1910. С. 23]. Вместо монастыря мог быть кремль, дом, усадьба. Памятник как бы лишался функции, его многовековое существование становилось либо предисловием, либо послесловием к главному событию.

Захоронение Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, памятник Сусанину в Костроме, памятник воинам, погибшим при взятии Казани, Малахов Курган, вышеназванные Софийский собор в Вологде и Ипатьевский монастырь в Костроме – этот список можно продолжать. Объединяет все перечисленные «места памяти» их вписанность в общерусскую историю, общенациональный контекст. Казалось бы, в период целенаправленного формирования регио-

нальной идентичности должны были возникнуть сугубо региональные «хранители коллективной памяти», которые если не противопоставляли, то хотя бы выделяли собственные события, факты. Этот процесс, действительно, имел место, однако объекты регионального масштаба воспринимались все же как второстепенные по своей значимости. Тексты путеводителей демонстрировали подобную иерархию со всей наглядностью даже по чисто количественным показателям: число строк и страниц, отведенных для общенациональных по значимости объектов, несопоставимо больше.

И все же 1860–1910-е гг. внесли существенные изменения в состав региональных «мест памяти». Прежде всего, изменились герои, память о которых сохраняло пространство русской провинции: «совершился переход от увековечения величия и великих дел государя и олицетворяемого им государства к увековечению великих дел и подвигов народа и его представителей – народных героев и национальных гениев» [*Кириченко Е.И.* Запечатленная история России. В 2-х кн.: Кн. 1: Архитектурный памятник. М.: «Жираф» 2001. Т. 2. С. 195]. Чрезвычайно показательна в этом отношении история увековечивания памяти о Крымской войне в пространстве Севастополя и его окрестностей, отраженная на страницах бедекеров. Здесь и музей, и братское кладбище, панорама, храмы, «законсервированное» место битвы с остатками траншей и башен, обелиски, скульптурные памятники.

Казалось бы, значительно большей обособленностью от общенационального контекста должны были обладать региональные «места памяти» Сибири и Урала. Более короткая история в составе Российской империи, менее интенсивная культурная жизнь, тяжелые условия освоения, а также территориальная отдаленность должны были определять особое соотношение знаков памяти общероссийского и регионального значения. Однако это априорное предположение не подтверждается ни составом памятников, ни их трактовкой в местных путеводителях.

Главными историческими персонажами выступали Ермак для Сибири и Демидовы для Урала. Память о фигурах общероссийского масштаба увековечена в названиях населенных пунктов, в монументальных скульптурных сооружениях. Своим присутствием в региональном пространстве они декларировали и закрепляли мысль об исходящем из центра колониальном, цивилизующем импульсе, идею нерасторжимой связи региона с остальной частью империи.

Достаточно часто в регионах увековечивали память о людях, чья деятельность была особо востребована и почетна, проявляя в этом нарастающий демократизм. Уральские города увековечивали, например, память заводчиков и фабрикантов: на Тагильском заводе сооружен монумент в часть Карамзина, но не известного писателя и исто-

рика, а в честь его сына, который «был женат на одной из дочерей Н.Н. Демидова и управлял Тагилом» [*Весновский В.А.* Иллюстрированный путеводитель по Уралу. Екатеринбург: Тип. «Уральской жизни», 1904. С. 132]. В Ярославле воздвигнут памятник меценату – П.Г. Демидову, в «умственном центре Поволжья» Казани – выдающемуся ученому и университетскому преподавателю Лобачевскому.

Можно утверждать, что путеводитель с первых лет своего существования выступал самым полным, подробным и систематичным текстом, который не просто отбирал и называл данные объекты, но интерпретировал их, передавая значимые для каждой конкретной эпохи аспекты их восприятия. Они впрямую не участвовали в процессе конструирования исторической памяти регионов, не выступали «фактором влияния», так как были, в основном, предназначены для «внешнего пользования» – для приезжающих туристов. Но бедекеры фиксировали происходившие в обществе процессы, служили своеобразным зеркалом, отражавшим не только визуальные объекты, но и особенности их восприятия и интерпретации.

А.В. Савина
(Вологодский государственный университет)

Репрезентация образов М. Лютера и Ж. Кальвина в трилогии «Реформаторы» Д.С. Мережковского

Творчество российского писателя, поэта-символиста, философа Д.С. Мережковского (1865–1941) поистине многогранно. «Исторические романы» в форме трилогий были излюбленным литературным жанром писателя: персонажи, к которым обращался Мережковский, интересовали его как воплощение образа «деятельной практической христианской религиозности – единственного, что может противостоять надвигающемуся одичанию цивилизованного мира» [*Зобнин Ю.В.* Дмитрий Мережковский: жизнь и деяния. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 131].

Трилогия «Реформаторы» написана в 1937–1938 гг и состоит из очерков, посвященных М. Лютеру, Ж. Кальвину, Б. Паскалю. Для российского философа они были путевыми вехами, обозначающими «шествие Духа в веках и народах, от Иисуса к нам» [*Мережковский Д.С.* Кальвин // Мережковский Д.С. Реформаторы: Лютер, Кальвин, Паскаль. Брюссель: «Жизнь с Богом»; «La Presse Libre», 1990. С. 97]. Трилогия была опубликована на французском языке в 1941–1942 гг. в Париже. Первое русскоязычное издание вышло только в 1990 г. в

Брюсселе благодаря американской исследовательнице творчества Мережковского и его жены З.Н. Гиппиус Темире Пахмусс.

Проблема репрезентации образов ключевых религиозных деятелей Европы XVI века в художественном творчестве XX века представляет особый интерес в контексте изучения исторической памяти о Реформации, 500-летний юбилей которой будет отмечаться в 2017 году.

Очевидно, что в случае с очерками Мережковского мы имеем дело с исторической беллетристикой, авторской интерпретацией рассматриваемых исторических сюжетов, однако российский писатель изучал документальную основу своих сюжетов и научную литературу. Обширный перечень сносок показывает, что писатель был знаком с источниками, а также работами ведущих европейских исследователей Реформации XIX – начала XX века, таких как Ж. Мишле, Л. Ранке, Л. Февр, А. Строль, П. Кун, П. Анри, Э. Думерг и многих других.

История реформаторов, по мысли Мережковского, очень важна для его современников: перед лицом неизбежной «второй Великой войны» приходит понимание, что христианство «не так безнадежно кончено, как это казалось <…> отцам и дедам; что оно уже кое-что сделало и, вероятно, могло бы еще кое-что сделать для заблудившегося человечества» [*Мережковский Д.С.* Кальвин… С. 21].

Образ Мартина Лютера (1483–1546) у Мережковского очень человечен и далек от идеализации. Лютер мужественен и в то же время бежит из Аугсбурга как трус, он противоречив в суждениях (ереси как нечто духовное невозможно истребить до конца и в то же время нужно бороться с ними мечом государства), он – человек из народа и одновременно его предатель (в связи с позицией по поводу Крестьянской войны).

Вечно-детское виделось в Лютере писателю – благодаря реформатору мир снова «удивился Христу» и увидел Евангелие, повернулся от человеческой сложности к божественной простоте, а поистине «детский ужас» Лютер выразился в тезисе о Папе как об Антихристе. По мнению Мережковского, главные слабости реформатора состояли в том, что ему недоставало надежды (например, к концу жизни он разуверился в возможности «видимой церкви» и возложил обязанности земного устроения христиан на государство) и чувства меры (в подтверждение Мережковский приводит тезис о римской церкви как престоле Сатаны).

Интересно, что, говоря о Лютере, Мережковский часто цитирует Гете и утверждает, что Лютер был хорошо знаком с легендой о Фаусте. Мистические мотивы – видения, искушения, предзнаменования Лютера, как видно, занимали Мережковского. В Лютере он видел нечто бесовское – и беса этого назвал «тевтонская ярость» (лик его был виден всему миру во время Первой мировой войны и,

вероятно, как предрекал писатель, явится во время новой Великой войны: от Лютера к Гитлеру – от молитвы к кулаку).

«Одним из величайших «демонических» явлений всемирной истории» Мережковский считал Жана Кальвина (1509–1564). По свидетельству З. Гиппиус, писателю было трудно полюбить своего героя, потому что Кальвин – настоящее «чудовище», «нежное чудовище» [*Пахмусс Т.* Вступительная // Мережковский Д.С. Реформаторы… С. II].

Мережковский неоднократно повторяет в тексте: нельзя рассматривать Кальвина только с одной стороны, надо отмечать и обратную сторону «медали». «Теологический ум» Кальвина превосходен (по мнению писателя, сравнить его можно только с Аквинатом), непревзойденное трудолюбие, «нежное сердце» и явный «дар дружбы» присущи Кальвину, однако Мережковский оставляет открытым ответ на вопрос, что перевесит в последнем Божьем суде над реформатором – зло или добро.

Мережковскому претит ключевая кальвинистская идея – идея абсолютного предопределения. По мысли Мережковского, она отрицает свободу – величайший из всех даров Божьих людя. Из идеи предопределения и отрицания свободы исходит построенная Кальвином в Женеве теократия, совмещение церковной и политической власти. Нужно отметить, что теократию Мережковский считал «самым основным и глубочайшим религиозным опытом христианства» [*Мережковский Д.С.* Две Реформы // Вестник Русского христианского движения. 1984. № 143. С. 68-70]. Однако под теократией он подразумевал именно царство Божье, а не женевский вариант во главе с Кальвином. Такая «теократия» не от Бога, а от Сатаны, это «застенок», где «ценою свободы» покупается порядок. Женевская теократия отдаляет Кальвина от Лютера и изначальных идей Реформации и сближает с Лойолой, с католической церковью и инквизицией. Насилие, по мнению Мережковского, было неотделимо от самой идеи кальвиновской теократии: «…Насилье принято им как вечная правда Божия, как святость, не антиномично и трагично, а благополучно и безболезненно, как должное» [*Мережковский Д.С.* Кальвин… С. 10]. Однако на крови воздвигнуть царство Божие нельзя – эта мечта Кальвина никогда не осуществится.

Каин и Авель Реформации – так Мережковский называл Лютера и Кальвина. Как братья-близнецы, они противоположны и взаимно диаметральны, они враждуют и в то же время навеки «срослись». Кальвин пришел после Лютера на «все готовое», но зато создал «видимую церковь», «усмирил» буйство Лютера, освободил Реформацию от «духа германской народности», коим она была пропитана у первого реформатора. Спас или загубил дело Реформации Кальвин? Мережковский констатирует, что ответ неоднозначен, но сам склоняется ско-

рее ко второму. Лютер «открыл форточку», а Кальвин «выломал окно», приведя к обеднению человеческого духа, к религиозной пустоте современного мира. Кальвин и его последователи вытеснили из христианства божественный «экстаз», движущий душами народов, оставив «сатанинский», личный, эгоистичный. Кальвин – прообраз современных Мережковскому «умственников», «интеллигентов», которые все живое убивают «металлическим» и верят в безграничную силу разума.

Однако, по Мережковскому, Реформация не закончилась и пока неясно, чем закончится: «прорыв» всего человечества вслед за Лютером – это прорыв в пустоту и тьму кромешную или в новый свет и царство духа? Именно в XX веке решается судьба и церкви, и Реформации: кончается то, что началось в XV–XVI веках.

Несомненна для Мережковского положительная роль Реформации: Кальвин и Лютер расчистили «авгиевы конюшни римской церкви», дали католической церкви толчок к внутренней реформе и развитию, ведь Церковь, как «живое тело Христа», постоянно обновляется, поэтому всякая реформа – есть жизнь [*Мережковский Д.С.* Две Реформы. С. 69-71]. По мысли Мережковского, именно обновленная римская церковь должна стать основой для новой Реформации, которая объединит три христианские церкви с целью противостояния государственному тоталитаризму и подавлению свободы. Уже Лютер проложил между Западной и Восточной церквями путь к единой вселенской церкви («лютерова просека»). И только вселенская церковь, царство Третьего Завета (соединение первого царства Отчего и второго Сыновнего в Третьем царстве Духа Святого) сможет победить тоталитарное государство и спасти Личность.

А.М. Сафронова
(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)

О перспективах изучения культурных связей Урала и стран Западной Европы в первой половине XVIII века

Уже в первые годы XVIII века Урал стал самой крупной площадкой для развития модернизационных процессов в экономике страны, но модернизация промышленности была невозможна без перенимания передового опыта западноевропейских стран в области культуры, что прекрасно понимал начальник казенных заводов В.Н. Татищев (1734–1739 гг.) и сделал очень многое для его внедрения.

За четыре года управления заводами Татищев сформировал в Екатеринбурге библиотеку горного ведомства, ставшую крупней-

шим и уникальным собранием провинциальной России, в которой появилось более тысячи книг на иностранных языках. Они использовались специалистами горнозаводского дела, медиками, учителями и учащимися школ, был организован переводов книг с иностранных языков и отправка их в Академию наук. Но более углубленного изучения требует вопрос о том, какие знания могли почерпнуть специалисты из западноевропейских изданий о добыче руд, устройстве рудников, плавке и пробе металлов; какие методы могли использовать медики уральских госпиталей при проведении операций, лечении болезней на основе иностранных руководств.

Дальнейшего изучения требует история первых иноязычных школ Урала, немецкой и латинской, открытых Татищевым в 1735 г. в Екатеринбурге, и деятельность учителей-иностранцев, работавших в них: Б. Штермера, бывшего учителя гимназии Академии наук, Л. Сехтинга, рекомендованного Академией учителем латыни на Урал сразу же по прибытии из Марбурга. В Екатеринбурге они участвовали по заданию Татищева в составлении русско-латино-немецкого словаря, Сехтинг внес интересные предложения о методике обучения школьников, свидетельствовавшие о знании им передового опыта преподавания в немецких школах. Огромный вклад в обучение уральской молодежи немецкому языку внес А. Миссет, заключивший контракт с Татищевым в Самаре в 1738 г.; он переводил в Канцелярии Главного заводов правления документы, надзирал за всеми школами, за библиотекой горного ведомства. Проработав более 30 лет, он подготовил несколько сотен учащихся, внес основной вклад в распространение немецкого языка в Екатеринбурге, неслучайно Генерал-берг-директориум в 1739 г. затребовал 12 его учеников для отправки в Архангелогородскую берг-контору, для того чтобы учиться маркшейдерству у немецких мастеров.

Организация первой медицинской службы на Урале связывается в литературе с именем В.И. Геннина, сменившего в 1722 г. Татищева на посту начальника заводов, т.к. именно при нем был прислан на заводы первый лекарь-немец и основан госпиталь в Екатеринбурге. Между тем активным соучастником этого процесса был и Татищев. В 1734 г. он привез в Екатеринбург первого доктора, англичанина Д. Грифа, который наряду с медициной занимался химическими опытами в заводской лаборатории, делал пробы руд; лекаря Э. Сименса, до этого служившего подлекарем в Кадетском корпусе, в 1738 г. смененного И. Шнезе. Иностранцы по контракту работали и в госпитале Перми. Организация медицинского обслуживания населения на Урале в этот период еще ждет своего исследователя.

Открытая в 1734 г. в Екатеринбурге аптека во главе с голштинцем Г. Таммом стала единственной на Урале и в Сибири. Поскольку

Тамм оказался не искусным в составлении лекарств, в 1738 г. он был заменен саксонцем Х. Мейндерсом, организовавшим приготовление лекарств на самом высоком уровне. При нем аптека стала настоящим медицинским учреждением, обслуживавшим население, проживавшее не только при уральских заводах – готовые лекарства при необходимости высылались и в Сибирь. Аптеки в России первой половины XVIII века были большой редкостью, поэтому представляется важным изучение истории учреждения, действовавшего в нашем городе. Особого внимания заслуживает сюжет о подготовке иностранными специалистами первых лекарских и аптекарских учеников из учащихся иноязычных школ Екатеринбурга.

Иностранцы стояли и у истоков камнерезного искусства на Урале. В 1726 г. Татищев нанял в Швеции Рефа, оказавшегося единственным мастером, которому шведские власти разрешили выехать в Россию; в Екатеринбурге началась обработка поделочных камней. В связи с находкой большого месторождения мрамора и предложением Татищева организовать добычу и полировку мрамора для отправки в столицу, в 1738 г. в Екатеринбург был прислан «каменный мастер» Я. Рейнер, но он оказался не способным к созданию нужных машин. В то же время екатеринбургские школьники, знавшие немецкий язык, по указу директориума были отправлены на Санкт-Петербургскую гранильную фабрику для обучения к немецким мастерам. Эти сюжеты также требуют более детального изучения.

Татищев в 30-е гг. XVIII века развил активную деятельность по привлечению на Урал иностранных специалистов, в т.ч. в области культуры. Нами опубликован проект Татищева 1735 г. об отправке в Саксонию и Богемию гитенмейстера уральских заводов немца И. Улиха с целью найма заводских специалистов, химика, часового мастера, механика, способного преподавать в школе основы этой науки; трех учителей в немецкую и латинскую школы, один из которых обучал бы математике и рисованию. Но верховная власть, первоначально согласившаяся с инициативой Татищева, поездку отменила [Проект В. Н. Татищева 1735 г. об отправления гитенмейстера И. Улиха в Саксонию и Богемию для найма специалистов, обучении детей управителей уральских заводов в Европе и Академии наук (подгот. А.М. Сафронова) // Урал. археограф. альманах. 2005. Екатеринбург, 2005. С. 350-363]. Большой интерес представляют попытки Татищева заполучить на Урал иностранных специалистов через Улиха из Академии наук, затем – через директориум: архитектора, сведущего в каменном строительстве и способного преподавать ученикам основы архитектуры, часового мастера; химика, географа, его попытки оформить контракт со студентом Гервартом из Москвы, пожелавшим преподавать в екатеринбургских школах математику, музыку, танцы.

Необходимо раскрыть политику Генерал-берг-директориума во главе с А.К. Шембергом, отказывавшего Татищеву в присылке на Урал иностранных специалистов для поднятия уровня образования в екатеринбургских школах. В 1737 г. было отказано в выписывании знающего астрономию географа, который мог бы исправить карты Урала и Сибири, составленные геодезистами, и поучаствовать в составлении географического описания. Мотив отказа: это не относится к горным делам, об этом должна заботиться Академия наук. Директориум предписал: в поиске искусного химика и механика «обождать, пока о содержании школы особливое учреждение от Генерал-берг-директориум будет», а такового не последовало. Получив отказ в географе для составления карт, Татищев иначе сформулировал просьбу: «такой искусной в острономии и географии потребен здесь над школами ректор, которой бы мог механики и протчих мафематических частей с основания учасчимся показывать, а сверх того, ежели бы и географии, то б весьма изрядно, и для того наиболее он прежде посланными доношениями и требован…». Но Шемберг наложил на это доношение резолюцию, полную сарказма: «ежели Академия учреждена быть имеет, то, без сумнения, господин тайной советник Татищев е.и.в. из Кабинета о том указ получил, для чего от нево надлежит дожидать [этого] указа…».

Екатеринбург уже в первые десятилетия своего существования стал выполнять роль своеобразного центра культуры вслед за Санкт-Петербургом и Москвой. И изучение его связей с представителями культуры зарубежных стран позволит углубить наши представления о их значении в модернизации одного из крупнейших регионов России в первой половине XVIII века.

В.В. Сашанов
(Челябинский государственный университет)

Забытый эпизод забытого историка: к вопросу о диссертационной истории Б.Т. Горянова[*]

В ряду советских историков-византинистов имя Бориса Тимофеевича Горянова (1897–1977) занимает особое место в силу отсутствия адекватной историографической оценки его научной деятельности. В 1940–1950-е гг. он был одним из ведущих специалистов в советском византиноведении, являясь старшим научным сотрудни-

[*] Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 16-03-00264.

ком Института истории АН СССР и членом редакционной коллегии «Византийского временника», автором исследований по истории и культуре поздней Византийской империи. Но в последние пятнадцать лет своей жизни был вынужден отойти от активной научной работы, фактически завершив свою деятельность.

Ранний для такого известного историка-византиниста уход с научного поприща, вызванный не в последнюю очередь сложными взаимоотношениями со многими коллегами, и, прежде всего, с З.В. Удальцовой, фактическим руководителем советского византиноведения, сложный характер самого Б.Т. Горянова – все это самым негативным образом отразилось на репутации византиниста, который еще при жизни оказался «забытым» историком. После увольнения в 1963 г., в связи с сокращением штата института, Б.Т. Горянов более не привлекался к научной работе, фактически перестал печататься, не был включен, несмотря на несомненные заслуги в разработке ряда вопросов социально-политической истории поздней Византии, в коллектив авторов, работавших над созданием знакового для советского византиноведения обобщающего трехтомного труда «История Византии», вышедшего в 1967 году.

«Исчезновение» Б.Т. Горянова из официального пространства советской науки и фактическое забвение его памяти, сформировало негативный образ историка, который закрепился за ним в историографическом и мемуарном комплексе источников. Так, изучая немногочисленные историографические работы, посвященные советскому византиноведению и вышедшие из-под пера его коллег, можно встретить отрицательные характеристики отдельных направлений научной деятельности историка. Встречающиеся в незначительном количестве мемуарные свидетельства о Б.Т. Горянове лишь закрепляют этот негативный образ: к примеру, известный историк-византинист, его коллега и оппонент по ряду вопросов социально-экономической истории Византии А.П. Каждан, в своих воспоминаниях [см.: Одиссей. Человек в истории. М., 1994] крайне нелицеприятно отзывается о Горянове, считая того «воплощением посредственности», а по мнению С.О. Шмидта, вся деятельность Б.Т. Горянова и вовсе сводилась лишь к «подклеиванию цитат из основоположников марксизма к мыслям, переписанным у классиков русского византиноведения» [см.: Мир Александра Каждана. СПб., 2003].

На формирование такого образа повлиял, на наш взгляд, целый комплекс причин. Как уже отмечалось выше, Б.Т. Горянов обладал тяжелым характером и находился в конфликтных отношениях с рядом коллег-византинистов. Сохранившиеся документы позволяют нам говорить о том, что конфликтность характера Бориса Тимофеевича была обусловлена как объективными причинами – в молодости

им была перенесена острая неврастения, так и субъективными. Для пришедших в науку в середине 1940-х гг. З.В. Удальцовой, А.П. Каждана, М.М. Фрейденберга и др., по сути первого, марксистского поколения советских византинистов, Б.Т. Горянов в силу возраста и исследовательских интересов, особое место среди которых занимало дореволюционное византиноведение, был им чужд.

Личность Б.Т. Горянова являлась достаточно противоречивой и сложной, подобным же образом мы можем охарактеризовать и его научную карьеру. Пожалуй, самым непроясненным эпизодом биографии византиниста является незащищенная им докторская диссертация, что, по нашему мнению, выступило еще одной причиной неодобрительных мнений и памяти о нем.

На сегодняшний день мы не располагаем какими-либо документальными или иными свидетельствами, которые бы пролили свет на то, почему Борис Тимофеевич не вышел на защиту докторской диссертации, хотя она была подготовлена, обсуждена на заседаниях Сектора истории средних веков АН СССР и, в конце концов, рекомендована к защите. Однако в Научном архиве Института российской истории РАН сохранились отдельные материалы, связанные с обсуждением диссертации [Научный архив Институт всеобщей истории РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 840; 1125], которые позволяют нам реконструировать отдельные эпизоды диссертационной истории Б.Т. Горянова.

Нам известно, что первый вариант своей диссертации Борис Тимофеевич подготовил в 1947 г., исследование получило название «Поздневизантийский феодализм». Следует отметить, что выбранный хронологический диапазон темы диссертации соответствовал многолетним научным интересам автора, отдельные направления работы были затронуты еще в кандидатской диссертации «Восстание зилотов в Византии (1342–1349)», защищенной в 1943 г.. Проблема византийского феодализма на тот момент была фактически не изучена, в связи с чем выбранная автором тема представляла, по мнению всех рецензентов диссертации, несомненную актуальность и новизну.

Уже в 1948 г. Е.А. Косминский, заведующий сектором истории средних веков, ходатайствует в Дирекцию Института истории АН о допуске к защите докторской диссертации Б.Т. Горянова. Нам неизвестен ответ Дирекции, однако защита диссертации в указанные годы не состоялась. Выскажем предположение, что на такой итог могла повлиять развернувшаяся в эти годы антикосмополитическая кампания, в ходе которой Б.Т. Горянов был подвергнут суровой критике за «преклонение перед буржуазной наукой».

К концу 1951 г. Горяновым был подготовлен второй вариант диссертации, которая получила название «Развитие феодальных от-

ношений в аграрном строе Византии в XI–XV веках». Официальными рецензентами работы были назначены Е.Э. Липшиц и З.В. Удальцова.

13 июня 1952 г. на заседании сектора истории средних веков состоялось обсуждение докторской диссертации византиниста. Помимо официальных рецензентов с отзывами на работу выступили А.П. Каждан, М.А. Заборов, А.И. Неусыхин и др. Заседание сектора прошло для Горянова крайне неудачно, работа самым серьезным образом была раскритикована и не допущена к защите [Там же. Д. 840].

Изучая стенограмму заседания, можно отметить нетипичную для таких обсуждений пристрастность к автору диссертации, нетерпимость к малейшим недочетам в работе. Пожалуй, лишь половину замечаний можно отнести к конструктивной критике самого исследования, остальное же носит сугубо субъективные оценки, либо клишированные обвинения того времени.

С наибольшей критикой и жесткостью в оценках выступила З.В. Удальцова, в речи которой наиболее часто звучали обвинения, носящие идеологический характер – Б.Т. Горянов был обвинен в игнорировании «основополагающих высказываний» И.В. Сталина и В.И. Ленина, отсутствии ссылок на их труды, а также в выдвижении «порочного» тезиса о «мировом византиноведении». По существу поставленных в диссертации вопросов выступил А.П. Каждан, не соглашаясь, в частности, по вопросу о византийской пронии и методах работы автора с источниками. Однако выступление Каждана также изобиловало излишней придирчивостью и категоричностью суждений. Лишь выступление А.И. Неусыхина, медиевиста старой школы, содержало в себе не критические замечания, а пожелания к работе, и в целом было благожелательным Б.Т. Горянову.

Общий итог заседания сектора был неудовлетворительным – диссертация была признана недоработанной, содержащей ряд серьезнейших ошибок и не допущена к защите.

Спустя три года, 13 мая 1955 г. на заседании сектора был рассмотрен третий вариант докторской диссертации Б.Т. Горянова, исправленной в соответствии с замечаниями рецензентов и получившей итоговое название «Поздневизантийский феодализм (Очерки внутренней истории Византии XIII–XV вв.)». Работа не встретила особых замечаний и после недолгого обсуждения утверждена к защите [Там же. Д. 1125].

Несмотря на неудачные попытки защитить докторскую диссертацию, Б.Т. Горянову удалось опубликовать в 1962 г. свое исследование в виде монографии «Поздневизантийский феодализм».

Незащищенная докторская диссертация является одной из лакун в научной биографии такого несомненно крупного советского историка-византиниста, как Б.Т. Горянов. Однако, рассматривая этот неис-

следованный эпизод в контексте проблем историографической памяти, мы можем предположить, что он способствовал закреплению того негативного образа, который имел место уже при жизни ученого.

Н.А. Селунская
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Событие, которое не кончилось никогда: Римские юбилеи, городская идентичность и историческая память

Событие – неоднозначное понятие, не одномоментное действие, а, скорее, образ длительного действия. Отношение науки к прошлому, так или иначе, может и должно быть понято как диалог разных культур – прошлого и настоящего [данная постановка вопроса дана в работе: *Вжосек В.* Культура и историческая истина. М., 2012. С. 24]. Самым неожиданным образом этот диалог проявляется на фоне такого события, такого стечения обстоятельств, которое имеет повторяющийся характер, а также приобретает характер символический. Такое событие соединяет эпохи и отражает их культурные различия. Одним из примечательных, повторяющихся событий, традиция которого не утрачена (точнее даже будет назвать это не прекратившимся событием), стал Христианский Юбилей в Риме.

Год Милосердия (il Giubileo **della Misericordia)**, который отмечает сейчас Римская церковь, известен с века Данте, в начале Треченто, но берет начало в еще более отдаленных пластах культуры. На первый взгляд, это было именно нововведение, которое обязано своим существованием лишь активности незаурядного понтифика, всеми силами способствовавшего укреплению могущества Римской Церкви и утверждению превосходства папской власти над всякой другой. Случившееся затем ослабление папства и многолетнее отсутствие понтифика в Риме (т.н. «авиньонское пленение пап») как будто должно было перечеркнуть возможность превращения новшества в последовательный ряд юбилеев в Вечном городе. Тем не менее, юбилей 1300 г. не стал единичным, но положил начало традиции т.н. юбилейных «святых лет» (так юбилеи стали называть с 1475 г.). Невиданное и необычное превратилось в повторяющееся, а со временем – в обычай, очевидцем и участником которого может и должен стать любой верный, каждое поколение христиан (именно этим мотивировалась необходимость проводить юбилеи чаще). Таким образом, «святые» юбилейные годы стали провозглашать сначала раз в 50, затем в 33 (земная жизнь Иисуса и средний срок жизни в средневековой Европе) и даже в 25 лет. Римский дух, в который был погружен хри-

стианский юбилей, актуализовал, реализовал представление о юбилее в традицию и особый институт западного мира.

Возникает вопрос о том, что обусловило становление этой традиции, как произошла встреча двух разнородных историй – представления о святых годах (юбилеях) и о римской истории – с преданием о Вечном Городе? И, наконец, как взаимно сказались, отразились друг в друге образы восприятия сакрального времени и пространства, став нераздельным целым – встречей юбилея в Городе Св. Петра? Таким образом, мы должны объяснить не столько смысл новой традиции христианского Запада – прошения паствой полного отпущения грехов в определенные годовщины Рождества Христова, но и роль города с многовековой историей в рождении этой традиции, причем города, с которым никак не могла быть связана земная жизнь Христа.

Христианский культ, однако, всегда был связан с городской культурой, будь то начало христианской эры или время возникновения нищенствующих орденов на латинском Западе [см., напр.: *Baldovin J.F.* The Urban Character of Christian Worship: The Orgins, Development, and Meaning of Stational Liturgy // Pont. Institutum Studiorum Orientalium: Rome, 1987]. Но Рим – это особый случай социальной и архитектурной среды, особый Город с большой буквы, архетип города. Многое наводит на мысль о том, что решающее значение в укоренении традиции стал сам Вечный Город, некий культ Рима, проявившийся в самосознании христианского мира в целом, и образы Рима, созданные в той или иной среде – как возникшие в сознании средневековых горожан, так и поддерживаемые имперскими или папскими притязаниями.

Важной является задача анализа самоидентификации средневековых римлян, той цивитас, которой продолжала именовать и видеть себя римская община. Необходима также интерпретация момента встречи, взаимодействия римских исторических реалий с восприятием средневекового человека, странника, впервые столкнувшегося со спрессованными веками римской истории как квинтэссенции истории романизированного мира. Прежде всего, нас интересует, что предоставили со своей стороны Рим и римляне для того, чтобы встреча юбилейного года неразрывно связалась с римской традицией в глазах всего латинского христианского мира.

Но не менее сложной и привлекательной является тема воздействия Римского юбилея на формирование городской идентичности и гражданского самосознания в других, далеких от Рима центрах итальянских земель. Парадоксальным образом римские паломничества и празднования юбилеев играли одновременно и централизующую роль, и совсем другую, с противоположным вектором и значением. Именно после встречи юбилейного года в Риме сыны Тосканы заду-

мались о прославлении родного города и его традиции, самобытной, берущей те же высоты, что и традиция римская. Это отразила и бессмертная Комедия Данте, позже названная Божественной, и не менее смелая и самобытная Хроника Виллани [*Neri F.* Dante e il primo Villani // Il Giornale Dantesco. 1912. Vol. XX. P. 1-31]. Юбилей подводит некоторую черту эпохи, содержанием которой была борьба гвельфов и гибеллинов, империи и папства, возникновение эсхатологических чаяний и ожиданий порога 1300 г., эпохи сложного сосуществования старинного нобилитета и новой городской элиты [что также получило отражение в дантовом наследии: см., напр., Cagpi U. *La nobiltà di Dante*, Polistampa, 2004; он же *L'inferno dei guelfi e i principi del Purgatorio*, Franco Angeli, Milano 2013]. Время юбилеев, таким образом, стало и осью формирования ренессансной городской идентичности, самосознания и самовыражения особого местного патриотизма, новой политической культуры. Весьма любопытной представляется также задача определить, насколько сближаются образы эпохи, образы Рима и Италии рубежа веков, созданные современниками юбилеев, среди которых был великий Данте, и тот образ Города и центра христианского мира, который лелеяли творцы идеи Юбилея – римские понтифики, политическим антагонистом которых был мятежный поэт.

Данте не был историком-летописцем, но в его мыслях и творениях достаточно большую роль занимали деятели современной ему истории: по их делам и суждениям Данте, не сомневаясь, предрекал посмертную судьбу тех, кто были для творца Комедии современниками, а для нас являются примечательными историческими персонажами. Сам великий понтифик Бонифаций, ключевая фигура первого римского юбилея, обсуждался Данте, причем с крайне негативной оценкой. Понтифика Данте помещает в Ад; есть в Божественной комедии (Ад,18 песнь) и строки, детально описывающие то, как было организовано движение паломников по мосту через Тибр у замка Сан-Анджело на пути к базилике Сан Пьетро. Собственно, с отсылкой на эту картину движения пилигримов описывается положение грешников в адском круге. Именно это место из 18 песни заставляет думать, что Данте видел юбилей лично, настолько подробно описана техника обеспечения движения большой толпы порядка 200 тыс. человек по единственному прочному мосту через Тибр (ряды, следовавшие в противоположных направлениях, были отделены большим помостом из дерева, что должно было предотвратить столкновения и давку). Идея оказалась весьма успешной, (однако позже, в другой юбилей, трагедии избежать не удалось).

Насколько справедливо утверждение о том, что первый христианский «юбилей» был учрежден Папой Бонифацием VIII? Витала ли эта идея, что называется, в воздухе или явилась смелой нова-

цией? Не менее любопытен для историка исторический контекст первого юбилея: атмосфера средневекового Рима накануне прихода эры юбилеев и психологический настрой тех, кто стремился в апостольскую столицу в предвкушении юбилея. Важно поэтому поставить не только некоторые вопросы, относящиеся к истории идей и интеллектуальной истории, но также вопросы истории социума. Не менее интересен процесс трансформации библейской, ветхозаветной идеи искупительного юбилейного года и тех образов и представлений о милосердии, которые готовит современная риторика, исходя из формирующихся сейчас представлений, понятия актуального для настоящего момента истории.

В современном мире были актуализированы, некоторые черты, которые не могли и не должны были раскрыться в средневековой христианской западной культуре. Современное представление о годе Милосердия так, как его представляют масс-медиа, на мой взгляд, ближе самому первому и даже примитивному ветхозаветному образу – временного облегчения человеческих трудов и страданий благодаря милосердию. Недаром и периодичность юбилеев резко участилась, и сместились те акценты послания миру, которые делаются в преддверии юбилея. В этой связи вспомним, что нынешний юбилей – Год милосердия – особо призван обратить внимание христиан на судьбу странников и мигрантов. В любом случае, мы имеем дело с особым событием, которое имеет условное знаковое начало, но символическое значение которого шире рамок одной культуры и эпохи. Мы рассматриваем событие, которое еще не закончилось, несмотря на прошедшие века, но, тем не менее, оно уже имеет результат: данное событие неоднократно меняло мир.

Н.Б. Селунская
(Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова)

Память как основа регидности и подвижности идентичности национальных диаспор

Доклад посвящен методологическим проблемам изучения механизма воздействия и роли памяти на процесс сохранения и изменений идентичности на групповом и индивидуальном уровне в катастрофические для человека моменты, когда он насильственно, по воле обстоятельств «перемещается» из «своей» в «чужую» культурную среду, отличающуюся от привычной иными социально-политическими, экономическими, этническими, религиозными и

другими характеристиками. Речь пойдет об исследовании роли памяти в процессе сохранения идентичности российской интеллигенции в эмиграции, так называемой эмиграции первой волны, определяемой понятием «русские европейцы». Это понятие бытует в отечественной традиции интеллектуальной мысли не одно столетие и может рассматриваться как определение «составной» идентичности. Так, Владимир Соловьев причислял себя к «русским европейцам», которые существовали, по его мнению, наряду с европейцами английскими, французскими, немецкими. Он также утверждал, что «европеец» – это понятие с определенным содержанием и расширяющимся объемом [*Соловьев В.С.* Собр. соч. 2-ое изд. Т. 10. С. 149]. Раскрыть смысл этого понятия как индикатора групповой культурной идентичности, а также выявить осознание и сохранение национальной специфики «русского европейца» возможно на основе опыта исследовательских практик изучения, например, русской диаспоры в Финляндии между двумя мировыми войнами.

Именно поэтому представляется важным уточнение содержания предмета исследования внутри поставленной темы, включение его в исторический контекст. Это необходимое условие исторического объяснения механизмов взаимодействия феноменов «памяти» и «идентичности». Так, идентичность национальных диаспор рассматривается на примере русской эмиграции, в структуре которой выделяется такая значимая социальная группа как интеллигенция. Такое ограничение контуров предмета исследования обусловлено соображениями методологического характера, состоящими в том, что социальная принадлежность играет важную роль в процессе изменений идентичности вообще и представителей русской эмиграции в частности. Именно в процессе «самоосмысления», который для интеллигенции был своеобразным способом ее существования и «саморазвития», можно наблюдать и сохранение русской эмиграцией культурно-исторической памяти, определяющей устойчивость ментальных и поведенческих традиций «своей» среды русскими эмигрантами, и их адаптацию к новой культурной среде, то есть восприятие присущей этой «иной» среде системы ценностей.

Исторический контекст во многом определяет раскрытие смыслов опорных понятий, отражающих контуры исследуемого объекта на групповом уровне. Такими, в частности, являются понятия «русская эмиграция» и «русская диаспора», в содержании которых считывается специфика осознания своей групповой национальной идентичности эмигрантами из России. Нельзя, например, не учитывать тот факт, что за пределами России все выходцы из России именовались «русские». Вместе с тем, несмотря на общеизвестную устойчивость русских к ассимиляции за рубежом, она, конечно, не

была абсолютной, чему способствовали, в том числе, смешанные браки. В историографии справедливо предлагается пользоваться уточняющими определениями, указывающими, например, на место рождения, а не на этническую принадлежность при использовании «российской эмиграции» в качестве базового понятия. То есть говорить о «выходцах из России», «уроженцах России», общность идентичности которых еще требует доказательства.

Спорным является и использование понятия «эмиграция» применительно к покинувшим Россию в послереволюционный период, что также осложняет исследование идентичности эмигрантов на групповом уровне. Интересен тот факт, что многие эмигранты сами себя таковыми не считали. Особенно это относится к эмигрантам так называемой «первый волны», в состав которой входили представители интеллигенции и российской аристократии. Они называли себя «беженцами». Такое определение связано с самосознанием самих представителей эмиграции и является предметом дискуссии в историографии. Так, в докладе представителя Московской патриархии игумена Иннокентия Павлова на международной конференции «Культурное наследие русской эмиграции 1917–1940» доказывалось, что применительно к уехавшим из России в период с 1917 до 1940 г. более корректно применять термин «беженцы», который точнее передает объединяющие характеристики представителей этой общности, так как их выезд происходил не в добровольном порядке. Спецификация понятия эмиграция предполагает и рассмотрение взаимосвязи его с термином «диаспора» в контексте поставленной проблемы. В 2001 г. был издан сборник научных статей «Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв.» под редакцией академика Ю.А. Полякова и доктора исторических наук Г.Я. Тарле (М., ИРИ РАН, 2001). Во введении Ю.А. Поляков дал определение понятию «диаспора» как этнической общности, находящейся в иноэтничной среде, и как «населению той или иной страны, принадлежащему этнически и культурно к другому государству». В статье В.А. Тишкова, опубликованной в том же сборнике, особо отмечено автором, что история и культурная отличительность – это основа, на которой формируется феномен диаспоры, включающий как системообразующие характеристики представления об общей родине, выстраиваемой на этой основе коллективной связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Представляется, что речь может идти о проявлении групповой идентичности, на формирование которой влияет *история* рождения диаспоры, *общая память* о родине представителей этой диаспоры. Однако для понимания исследуемого предмета – механизма сохранения и изменения идентичности русской эмиграции, русских диаспор за рубежом – следует анализировать и процессы их со-

циальной адаптации, приводящей к денационализации, абсорбации эмигрантов на индивидуальном и групповом уровнях.

Изучение сохранения и изменений идентичности представителей национальных диаспор, русских диаспор за рубежом в контексте «memory studies» актуализирует источниковедческие аспекты исследования, методологию анализа мемуарных источников и источников, хранящих «устную историю» коллективной памяти как основания групповой идентичности. Проблемы, связанные с особенностями мемуарных источников, источников «устной истории» в контексте исследования истории русской эмиграции были предметом специального обсуждения на международной конференции «Русские в Финляндии», которая проводилась в 2003 г. в Петербурге. В ходе обсуждений историки отмечали, что *воспоминания и даже рассказы самих эмигрантов* (т.е. так называемая «устная история») являются особенно востребованными при изучении истории российского зарубежья или истории русской эмиграции в отдельных странах как источники изучения исторической памяти. На основе мемуарных источников была сделана попытка прочтения «составной» идентичности представителей русской диаспоры, сформулированной в определении «русские европейцы» и объясненной как следствие их способности и к сохранению общей памяти об их родине – России, и к адаптации исторгнутых из «своей» культурной среды эмигрантов к окружению «иного» (но нечуждого им) культурного пространства.

А.М. Скворцов, А.А. Мировщикова
(Челябинский государственный университет)

Борьба с космополитизмом в советском антиковедении: дело С.Я. Лурье (опыт использования методов формализованного анализа документов)*

Конец 1940-х гг. в СССР ознаменовался очередной волной идеологических кампаний. Одной из наиболее масштабных в области науки стала широко известная борьба сначала с «низкопоклонством перед Западом», а затем – с «безродным космополитизмом». В ходе этой кампании пострадали ученые различных областей. Отечественное антиковедение не стало исключением.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проекты № 16-33-01035, №16-03-00264п.

Одним из тех, кто был обвинен космополитизме, стал крупнейший историк середины XX века С.Я. Лурье. «Проработочная» кампания ученого началась в октябре 1948 г. с расширенного заседания Сектора истории древнего мира Ленинградского отделения Института истории АН СССР, главной целью которого провозглашалось обсуждение вышедшей в 1947 г. книги профессора С.Я. Лурье «Геродот». Сохранилась стенограмма данного заседания [ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 1. Д. 11. Л. 2, 38], которая позволяет подробно представить организацию и ход этого мероприятия.

Для изучения документа был выбран метод интент-анализа. Он позволяет более точно определить темы, волновавшие говорящих, отношение говорящих к вопросам, вынесенным на обсуждение, дает возможность представить атмосферу заседания, восприятие его участниками. Метод интент-анализа разработан в психологии, но в настоящее время широко используется при анализе политических текстов. Его применение подразумевает выполнение следующих процедур: 1) разделение текста на фрагменты, содержащие интенции; 2) квалификация интенций, определение их направленности (положительные, нейтральные, отрицательные); 3) определение объектов, которым посвящены высказывания, и интенций, к ним относящихся; 4) обработка и интерпретация полученных данных.

В ходе заседания Сектора истории древнего мира 20 октября 1948 г. выступили 9 человек. Все находились в разных взаимоотношениях с С.Я. Лурье, имели различные статусы в науке: здесь были и коллеги, с которыми не сложились отношения, и учителя, и ученики; ученые, только начинающие свой путь в науке и академики. Соответственно, и характер их выступлений варьировался. В качестве общих черт всех произнесенных речей можно отметить: а) обращение к состоянию науки, б) рассмотрение книги «Геродот», в) обращение к С.Я. Лурье и его деятельности, г) призывы к развитию критики и самокритики, д) пожелания в адрес «прорабатываемого» исправления «ошибок» и отказа от «неправильных» взглядов.

Открыл заседание С.И. Аввакумов – заведующий Ленинградским институтом истории АН СССР, заведующий отделом агитации и пропаганды Ленинградского горкома партии. Он провозгласил цель собрания – обсуждение книги С.Я. Лурье «Геродот». Как партийного деятеля С.И. Аввакумова больше интересовала общая ситуация в науке (55% интенций). «Геродоту» посвящена треть выступления и треть всех интенций (36%). Личность автора монографии председателя интересует мало, лишь только в контексте выхода книги (9%). С.И. Аввакумов постарался всесторонне рассмотреть ситуацию, выделить «положительные» и «отрицательные» стороны. В речи доминируют отрицательные и нейтральные интенции. В от-

ношении книги преобладает критика, в отношении автора – обвинения («критика» – 24% , «анализ» – 19%, «информирование» – 14%).

Вторым слово имел Д.П. Каллистов, который выполнял функции основного обвинителя. Стоит отметить, что выступавший не был специалистом по истории древней Греции, которой было посвящено заседание заседание, но более 50% интенций в его речи относилось к «Геродоту», при этом в основу своего выступления он положил текст рецензии И.С. Кацнельсона. Историк часто употреблял фразы «по мнению критиков», «уважаемые рецензенты указали», неоднократно подчеркивал, что не намерен останавливаться на подробностях. Д.П. Каллистов, несмотря на то, что являлся главным обвинителем, самостоятельно не смог дать оценки труду С.Я. Лурье с научной точки зрения. Преобладают такие интенции, как «критика», «анализ» и «иллюстрация», кроме того, большая доля самокритики и обвинений в адрес С.Я. Лурье.

Следующим выступил один из учеников С.Я. Лурье – И.Д. Амусин. Он заступился за учителя: его речь была построена по принципу «критика критиков». Более 50% речи – критика выступления Д.П. Каллистова. Книге посвящено 40% интенций, в большей части – «презентация» и «отвод обвинений». Характерным для данного оратора является отсутствие интенций, относящихся к учителю и его деятельности, что должно было подчеркивать непредвзятость. И.Д. Амусин обращался непосредственно к труду и комментировал некоторые спорные положения «Геродота», что придавало речи выступавшего научный характер.

Далее последовали выступления академиков В.В. Струве и И.И. Толстого – учителей и коллег профессора. В выступлении В.В. Струве просматривается тенденция к самосохранению – стремление показать осознание своих «ошибок» и указать на отличие своих взглядов от идей С.Я. Лурье: в речи значительное число интенции (20%) – «самокритика», «самооправдание» и «размежевание». Академик пытался подчеркнуть, что ошибки он совершал, но готов исправиться. В то же время В.В. Струве некоторым образом попытался вступиться за С.Я. Лурье: в отношении профессора преобладают положительные оценки его профессионализма и презентация деятельности. Всего к С.Я. Лурье и его деятельности относится 40% интенций. В отношении «Геродота» В.В. Струве полностью согласился с высказанными ранее замечаниями.

Интересным является выступление учителя и старшего коллеги С.Я. Лурье – академика И.И. Толстого. Стоит отметить своеобразную линию защиты, которую выстроил академик: отметив положительные качества С.Я. Лурье как ученого, И.И. Толстой перешел к анализу «Геродота». Чтобы не вторить критикам и не делать акцента на недостат-

ках книги, он перевел разговор в литературоведческое русло и, с этой точки зрения презентовал труд, указав на множество его достоинств.

Выступление А.И. Болтуновой характеризуется строгой пропорциональностью: распределение интенций по основным темам практически равное – к характеристике общей ситуации относится 37% интенций, «Геродота» и его автора касаются по 31% интенций. В речи преобладает критика и негативное оценивание.

Византинист М.В. Левченко свое выступление построил вокруг книги «Геродот» (56% интенций), при этом все интенции отрицательные, преобладает критика и отмежевание. Личность и деятельность С.Я. Лурье выступавшему были неинтересны (лишь 3% интенций): наблюдаются только призывы к исправлению ошибок. Свое отношение к происходящему оратор выразил, используя в большей степени нейтральные интенции, что свидетельствует о позиции безразличности.

Выступление Б.Б. Моргулес посвящено было главным образом «Геродоту» (64% интенций). Б.Б. Моргулес – единственная из выступавших, занимавшаяся изучением схожих вопросов. Указав на недостатки труда, она постаралась показать и положительные стороны. В отношении С.Я. Лурье интенций немного – 17%, но только отрицательные: «критика» и «обвинение».

В заключение выступил заведующий сектором истории Древнего мира С.И. Ковалев, коллега С.Я. Лурье по Ленинградскому университету. Отношение к фигуре «прорабатываемого», к которому относится 37% интенций, С.И. Ковалев выразил двояко: доля «критики» и «признания достижений» ученого примерно одинаковы (11 и 8 интенций соответственно). К «Геродоту» относится 40% интенций, преобладает «критика» (9 интенций из 35). В то же время С.И. Ковалев обратил внимание на закоренелость «неправильной» позиции С.Я. Лурье, приведя примеры научных споров еще 1930-х гг., когда впервые якобы были выявлены «ошибки» ученого. Таким образом, создавалось впечатление, что «исправить» взгляды С.Я. Лурье невозможно.

По итогам заседания каких-либо оргвыводов сделано не было, что оставляло возможность продолжить кампанию против С.Я. Лурье.

Анализ стенограммы позволил выявить несколько различных моделей поведения участников «проработки». Руководителей (С.И. Аввакумова и С.И. Ковалева) в значительной степени интересовала общая обстановка в науке, заседание для них было скорее воспитательным моментом. Но относительно С.И. Ковалева можно добавить и то, что «проработка» С.Я. Лурье стала для него возможностью свести личные счеты с профессором, с которым часто возникали споры. Для «старых» профессоров заседание стало возможностью проявить свою лояльность по отношению к государственной

политике, продемонстрировать готовность исправить собственные «ошибки» и таким образом обезопасить себя от похожих обвинений. Для молодых ученых подобного рода мероприятия могли стать своеобразным «социальным лифтом», способствующим приобретению более престижного положения. Выступления учеников с критикой учителя объясняются опасением быть обвиненными вместе с учителем, порождавшим общепринятые оценки «неправильности» взглядов ученого. Таким образом, метод интент-анализа усиливает возможности понимания мотивов поведения участников «проработок» и истинные цели их выступлений.

О.А. Смирнова
(Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. и М. Ростроповичей)

Родовая память как основа родословных и семейных родовых хроник

В системе генеалогического источникового комплекса важное место принадлежит родословным, или семейным родовым хроникам. Как правило, эти документы составлялись одним из представителей рода, который брал на себя труд записать рассказы старших о прошлом, являвшиеся не чем иным, как изустной родовой памятью. Наиболее распространенным явлением было оформление такого рода документов в семьях, имевших крестьянские корни. В XIX в. их представители, в отличие от выходцев из дворянского сословия, как правило, не вели специальных родовых записей. Это было связано, с одной стороны, с отсутствием должного уровня образования, а с другой – с полной повседневной занятостью тяжелым земледельческим трудом. Однако память о предках всегда сохранялась в этих семьях и передавалась младшим поколениям в качестве примера и назидания.

Об этом, в частности, свидетельствовал один из потомков древнего крестьянского рода Владимирской губернии, Аркадий Михайлович Пашенин. В послесловии к родословной, составленной его отцом, он отмечал, что в каждой крепкой крестьянской семье «существовала Родовая Память, которая изустно передавалась из поколения в поколение», позволяя каждому ощущать себя необходимым звеном «Цепи Родства» [*Пашенин М.Г.* Хроника жизни крестьянского рода Пашениных: в 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 142].

В нашем распоряжении имеется родословная, составленная в 1996 г. Николаем Александровичем Смирновым (1921–1998) – представителем рода, имеющего глубокие крестьянские корни. На-

писанный им текст отпечатан типографским способом на пяти страницах формата А-8 старославянским шрифтом (ижица), подчеркивающим ретроспективный характер передаваемой информации. Сообщаемые сведения вполне подтверждаются материалами, которые хранятся в семейном собрании документов. В их числе: выписки из метрических книг о рождении, свидетельства о браке, о смерти, трудовые книжки, служебные удостоверения, автобиографические записи, награды и фотографии.

Текст родословной, несмотря на более чем скромный объем, чрезвычайно содержателен. Он дает представление не только о жизни трех поколений одной из семей, но и в целом о специфике социального мира пореформенной России, в частности, в рамках культурно-исторического пространства Оренбуржья.

Так, в родословной повествуется, что основателем рода был Павел Смирнов, пришедший в Оренбургский край с верховьев Волги, предположительно – из Владимирской губернии. После отмены крепостного права, будучи выходцем из большой крестьянской семьи с малым количеством земли, он решил искать лучшей доли. Стремясь заработать необходимые для самостоятельной жизни материальные средства, он ушел в ватагу бурлаков, с которой несколько раз «поднял» баржи из Астрахани на «верх» Волги. На заработанные тяжелым трудом деньги Павел, «прослышав, что где-то за Самарой есть плодородные и недорогие земли», купил участок земли в селе Полимовка Бузулукского уезда Самарской губернии и начал крестьянствовать [*Смирнов Н.А.* Родословная // Коллекция семейных документов Алексея Александровича Смирнова (г. Оренбург). С. 1]. Через некоторое время он создал семью, женившись на девице этого села. В семье Павла родилось пятеро детей – четыре сына и дочь: Александр, Андрей, Василий, Татьяна и Александр. Младший, Александр Павлович, или Саня, как звали его в семье, впоследствии стал отцом составителя родословной, передавшим своим детям память о становлении рода Павла Смирнова в Оренбуржье.

В 1888 г. Павел овдовел. Вторично он не женился, а поселился вместе с Саней в семье сына Андрея. Умер Павел в начале XX века, когда младший сын с 1900 по 1905 г. был на срочной службе.

Большую часть родословной автор посвятил описанию жизни семьи своих родителей – Смирновых Александра Павловича (1878–1947) и Александры Ивановны (1886–1976) (в девичестве Мясниковой), или Сани и Шуры. Венчались они в Бузулуке 6 июля 1905 г. Жениху было 26 лет, а невесте – 18.

Ко времени женитьбы Александр Павлович уже освоил профессию машиниста паровоза. Путь в профессию был долгим и непростым. В 1890 г., то есть в 12-летнем возрасте, окончив церков-

неприходскую школу, он пошел работать на железную дорогу нагревальщиком заклепок при изготовлении больших баков для хранения нефти, которая применялась на паровозах в качестве топлива. Автор родословной подчеркивал: «Обладая большим трудолюбием и любознательностью, отец быстро прошел путь подмастерья, слесаря, кочегара, и, самостоятельно изучив паровоз, сдал экзамен на помощника машиниста» [Там же. С. 2]. Свои трудовые навыки он совершенствовал, находясь на армейской службе в специальном железнодорожном подразделении, что в итоге позволило ему успешно сдать экзамен квалификационной комиссии и в 1904 г. стать машинистом. Так крестьянский сын стал квалифицированным рабочим, который всю жизнь ревностно относился к своей с большим трудом приобретенной специальности.

Жену Александр Павлович выбрал себе под стать. Вышла она из многодетной ремесленной семьи (отец занимался шорным промыслом) Ивана Петровича и Анастасии Петровны Мясниковых. Еще в детстве оставшись без отца, Александра, как и ее четыре сестры, была приучена к домашнему труду. После окончания начальной школы ее отправили в Самару для обучения к портнихе, а затем определили белошвейкой в дом бузулукского купца Киселева, из которого она и была выдана замуж. К свадьбе Киселев подарил ей швейную машину, на которой впоследствии она обшивала свою многочисленную семью. В семье Александра Павловича и Александры Ивановны родилось пятеро детей – одна дочь и четыре сына: Зоя (1906–1993), Владимир (1909–1929), Евгений (1913–1981), Николай (1921–1998), Алексей (1928–2007).

Автор родословной подчеркивал, что семья жила трудовой жизнью, благодаря чему в 1912 г., т.е. семь лет спустя после заключения брака, Александру Павловичу и Александре Ивановне удалось построить в Бузулуке «большой и хороший дом, где всем хватало места и тепла» [Там же. С. 4.]. Всем детям было дано образование, каждый овладел профессией. В 1929 г. семье было суждено пережить трагическую утрату – гибель сына Владимира, получившего ожоги, несовместимые с жизнью, во время непредвиденной ситуации, возникшей в его рабочую смену на паровозе.

Дочь и три сына, каждый в свое время, создали семьи, в которых родились дети, внуки и правнуки. Несмотря на то, что все оказались в разных городах, чувство родства всегда бережно хранится. Главной семейной реликвией является памятный жетон «Лучшему ездоку», которым в 1928 г. был награжден Александр Павлович в знак присвоения ему звания лучшего машиниста Советского Союза. На треугольной серебряной пластинке написано «1928 год. Т.Ж.Д. (Ташкентская железная дорога. – *О.С.*) Лучшему ездоку машинисту

депо Бузулук тов. Смирнову». Автор родословной пишет: «Серебряный жетон сейчас хранится в нашей семье и будет храниться вечно, его ни один из потомков не имеет право утратить» [Там же. С. 3]. Этот знак является не только свидетельством профессиональных заслуг Александра Павловича, но и памятью о том, что своим трудом он спас свою семью от вполне вероятной гибели в голодном 1933 г.: вместе с жетоном ему были вручены золотые именные часы, которые в тяжелую годину сдали в Торгсин и на вырученные деньги приобрели воз муки, что и помогло пережить тяжелые времена без потерь.

Текст родословной как хранитель родовой памяти содержит колоссальную по объему информацию. Он позволяет:

– установить особенности миграционных процессов в пореформенной России;

– увидеть источники и характер притока населения в Оренбургский край в конце 60-х – начале 70-х гг. XIX в.;

– составить представление о новых «социальных лифтах», образующихся на рубеже XIX–XX веков под влиянием индустриальных преобразований, когда крестьянские дети стали пополнять ряды рабочего сословия;

– проследить путь профессионального становления молодого человека, связанный с освоением специальных трудовых навыков, требующих высокой квалификации;

– раскрыть специфику женского провинциального образования на рубеже XIX–XX веков;

– проследить специфику патриархальных отношений по линии хозяин – работник, принятых в традиционной предпринимательской среде;

– рассмотреть жизнь российского человека и отдельной семьи в условиях до- и послереволюционной России как онтологическую целостность;

– постичь социально-психологическую атмосферу трудовой рабоче-крестьянской семьи;

– увидеть личностную позицию составителя родословной и на этой основе выявить индивидуальные жизненные установки конкретного человека.

В родословной четко сформулированы основополагающие жизненные ценности, сохранявшиеся Родовой Памятью и передававшиеся из поколения в поколение: трудолюбие, добропорядочность, настойчивость, целеустремленность, профессионализм. При этом особо выделено семейное родство как метафизическая сила, дающая крепость и устойчивость каждому члену Рода.

К.А. Созинова
(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

Дворянское поместье как пространство частной жизни в романах и переписке Дж. Остен

История организации домашнего пространства неотделима от истории частной жизни и семейных взаимоотношений. В романах английской писательницы Джейн Остен (1775–1817), повествующих о повседневной жизни сельских джентри в эпоху Регентства, нашла свое отражение «усадебная» идеология английской нации. Дворянское поместье в романе становится символом частной жизни, отсюда пристальное внимание писательницы к его размерам и формам, а также внутренней организации домашнего пространства.

Стиль Дж. Остен, как правило, узнаваем благодаря совокупности художественных приемов, относящихся к восприятию пространства. Опыт Дж. Остен в описании дома часто странен – ненатурален или ироничен: так, Элизабет увидела Пемберли в отсутствие его хозяина, неправильным было для Уиллоби показывать Марианне Алленхэм, пока он еще не вступил в его владение; присутствует некая пустота, когда Бертрамы и Крофорды осматривают Созертон.

«Защита личного пространства, чьи границы являются невидимыми, – пишет психолог Р. Соммер, – осуществляется через жесты, осанку и выбор своего месторасположения, которое передает особую значимость для других» [*Sommer R.* Personal space: the behavioral basis of design. Englewood Cliffs, N.J., 1969. P. 45]. «Каждое общество, – говорит Рейнс, – разрабатывает тщательно продуманные ритуалы для регулирования презентации себя и защиты пространства собственного я» – правила поведения на соответствующей дистанции, положение близости; «все это должно быть точно скоординировано, если общество хочет избежать ошибок» [*Raines J. C.* Attack on Privacy. Valley Forge, 1974. P. 57]. У Остен можно встретить много подобных мотивов – действий и жестов включения и исключения, вторжения в частную жизнь: визиты, небольшие вечера, балы (большая часть из которых домашние, прославляющие дом как главное социальное пространство), игра, приглашение на чай, обед или пикник. Церемонии, предполагающие длительную интимность, требуют большей приватности. Тет-а-тет для Остен является определяющей ситуацией, которая не может быть достигнута с легкостью или по опрометчивости. Частная переписка несет в себе исключительность, в отличие от интимных разговоров в больших группах, что служит причиной социального непонимания.

Временные курорты, такие как Бат или Брайтон, рассматриваются как ложное место, где такие ритуалы ожидаемы и весьма обманчивы, неискренни, хоть и весьма правдоподобны. Если функцией дома является создание места действительной интимности, он должен защищать человеческий порядок, который требует от дома вместительности, верных пропорций, комфорта, культурных возможностей и целостности. Это доминирующие культурные ценности, требования, предъявляющиеся к месту в социальном мире Дж. Остен.

Интересно применить к пространственному опыту и поведению героев Дж. Остен категории личного пространства, развитые антропологами и социологами. Например, простое утверждение психолога Р. Соммера о том, что «только при ограниченном личном контакте с ограниченным количеством людей возможна нормальная жизнь» [*Sommer R.* Personal space: the behavioral basis of design. Englewood Cliffs, N.J., 1969. P. 23]. Этот тезис лежит в основе всех романов писательницы.

Переписка Дж. Остен открывает перед нами структурные коды, которые мы можем найти в романах: дома, комнаты, квартиры, домашняя обстановка. Важными являются ссылки на размер, комфортность и прямое назначение помещений. Некоторые из писем представляют собой подробный отчет из Бата (17 мая, 1799 г.), следующий абзац включает в себя подробные характеристики:

«Мы полностью удовлетворены домом; комнаты такие большие, как мы и ожидали. Миссис Брумли – полная грустная женщина, и маленькие черные котята бегают у лестницы. У Элизабет комната во внутренней части гостиной; она хотела поменяться с моей мамой, но так как не было еще одной кровати и подъем по ступенькам был достаточно легким, все было урегулировано, чтобы мы жили выше, где нам были отведены две очень хороших по размеру комнаты, с грязными лоскутными одеялами, а в остальном достаточно комфортные. Меня поселили в отдельную и просторную комнату, такую, к какой я и привыкла, она такая же большая, как моя спальня дома, и у мамы не меньше. Обе кровати такие же большие, как в Стивентоне, и кроме того у меня стоит прекрасный комод и гардеробная, в которой имеется неимоверное количество полок, так что она больше походит на буфет» [Letters of Jane Austen / ed. by E.H. Knatchbull-Hugessen Lord Brabourne. Vol. I. Cambridge. 2009. P. 208-209].

Размер и комфортность всегда подчеркиваются, удобство и расстановка – все это относится к дому. Но наиболее постоянной является привычка писательницы размещать или представлять людей в различных комнатах и ситуациях: «Наконец-то я уже разместилась в своей спальне, распаковала коробку для шляпок, послала два письма мисс П. двухпенсовой почтой, меня посетил мистер

М.Б., и сейчас я наконец-то пишу для себя за новым столом в приемной (2 марта, 1814 г.)» [Henrietta Street, Wednesday, March 2 (1814): http://www.pemberley.com/janeinfo/auslet22.html#letter128].

Социальные события также имеют месторасположение, и их последовательное движение имеет свой план: «В конце вечера гостиная представляла собой следующую картину: с одной стороны на софе сидели две леди, Генри и я, на противоположной стороне на двух стульях (по крайней мере их было два) сидели Фани и мистер Хеден, непрерывно болтая между собой, представь себе эту сцену! (26 ноября, 1815 г.)» [Letters of Jane Austen / ed. by E.H. Knatchbull-Hugessen Lord Brabourne. Vol. II. Cambridge. 2009. P. 255].

Модель комфортного общества у Дж. Остен всегда выстраивается через возможность измерить правильное соотношение количества людей с размером комнаты. Давление интимности в маленькой группе важно для ее искусства. Оглядывая комнаты в Парагоне, она замечает: «Одна комната разительно отличается от другой, и чудовищно мала. Лучшие гостиные не такие большие, как небольшая гостиная в Стивентоне. Вторая комната достаточно вместительна, чтобы позволить хотя бы одну односпальную кровать. Сегодня мы приглашены сюда вечером на небольшой прием. Я ненавижу небольшие приемы, они заставляют тебя находиться в постоянном напряжении (21 мая, 1801 г.)» [Letters of Jane Austen. Vol. I. P. 293].

Балы и приемы всегда оцениваются по количеству танцующих пар и по их возможности заполнить те комнаты, в которых они проводятся: «Бал во вторник был очень скромным, жалкий намек на Оксфордский бал. Было всего семь пар, и двадцать семь человек в самой комнате (25 ноября 1798 г.)» [Letters of Jane Austen. Vol. I. Cambridge. 2009. P. 169]. Комнаты должны быть заполнены, даже большие собрания должны быть точно под них рассчитаны. Пространства и сами компании, на них собирающиеся, должны сочетаться друг с другом, не оставляя никакой печальной пустоты или чувства незаполненности.

В этом отношении в романах подчеркиваются особенности Бата: он выступает как полностью публичное место, где компании искались весьма опрометчиво, быстро устанавливались ложные интимные связи, а общество больше походило на толпу. Так. в романе «Эмма» Фрэнк Черчилл замечает по поводу неожиданного брака мистера Элтона, состоявшегося после непродолжительного знакомства молодых людей в Бате: «Повезло им жениться, зная друг друга лишь по нескольким встречам в общественных местах! Знакомство, когда не ошибаюсь, продолжалось считанные недели, там же, где и началось, – в Бате!.. Что можно, в сущности, узнать о человеке, о том, каков он, в Бате или ином общественном месте? Ровно ничего.

Только тогда можно составить верное сужденье о женщине, когда вы видите ее в домашней обстановке, в ее привычном окружении – такой, какова она всегда» [*Остен Дж.* Чувство и чувствительность. Эмма. М., 2014. С. 750-751]. Кроме того, романы Дж. Остен указывают и на другую проблему, связанную с общественными местами – в последовательности публичных сцен пространственная проблема заключается в том, чтобы сохранять рядом тех, кого вы считаете друзьями, и чтобы избежать общения с другими.

Дж. Остен описывала дома, в которых ей не суждено было стать хозяйкой – Киллинч-холл, Мэнсфилд-Парк, Созертон, Пемберли, Донуэлл, – и создала героинь, которые смогли обрести посредством замужества комфортную домашнюю жизнь. Трое из ее героинь поселились в пасторате (Кэтрин Морланд, Элинор Дэшвуд и Фанни Прайс) – судьба, которую Дж. Остен сама бы сочла благоприятной. Другие три – Марианна Дэшвуд, Эмма Вудхаус и Элизабет Беннет – стали хозяйками поместий, начиная от достаточно скромных и заканчивая просто великолепными.

Таким образом, дом в романах и переписке Дж. Остен выступает как особое социальное пространство, которое визуализируется посредством определенных социальных действий и ритуалов. Дом представлял собой микрокосм и много говорил о его обитателях, истории их семьи, их социальной и профессиональной принадлежности. Романы Дж. Остен показывают, как жили семьи на рубеже веков в этих домах, где центральное место занимали отнюдь не личные покои, а общественные комнаты или гостиные. Внимание к организации как внешнего, так и внутреннего пространства указывает на важность установления комфортного психологического состояния как для членов семьи, так и их гостей, не только дома, но и на балах и различных светских приемах.

И.Л. Сокина
(Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского)

Историко-антропологический подход в историческом познании в контексте разработок отечественных мыслителей рубежа XIX-XX веков и в условиях современной глобализации

Задолго до «антропологического» и «культурологического» поворотов в исторической науке русские эмигрантские авторы рубежа XIX–XX веков, в числе которых, безусловно, находятся Н.А. Бердяев

и И.А. Ильин, разрабатывали методы познания социальной реальности, базировавшиеся на идее «антропоцентричности» истории. В постсоветский период внимание к этой проблеме в числе первых проявили представители томской историографической школы, возглавляемой проф. Б.Г. Могильницким, по-своему – В.Б. Шепелева.

Русская религиозно-философская мысль рубежа веков развивалась в период всеобщего кризиса историзма. Она предложила альтернативу исторического познания, которую не заметили на Западе, придя к ней десятилетия спустя через преодоление кантовского «критицизма» и гегелевского «рационализма». Русская религиозно- философская мысль шла иным путем. Она провозгласила идею человека – микрокосма, через познание которого можно познать мир. Искать истину, по Бердяеву, необходимо также соборно. В.Б. Шепелева в своей работе делает вывод: «Видимо, можно сказать, что русская религиозно-философская мысль со второй половины XIX века как бы задает тот самый очеловечивающий, возвышающе-диалоговый, изнутри-диалектический метод препарирования реальности, частные варианты которого (см. историко-антропологический подход) ныне рассматриваются как едва ли не самые продуктивные и безусловно необходимые в исторических исследованиях»…

Как пишет авторитетнейшая среди отечественных философов П.П. Гайденко, «ясно, что основным предметом интереса Бердяева всегда оставался человек», подчеркивая, что «в этом плане Бердяев – глубоко русский мыслитель, в этом родство его с русской литературой и русским искусством». Образ и подобие Божье для Бердяева – вот конститутивный принцип человека, его сверхприродное начало. Идея творчества – идея взаимосвязи человека с Богом, обожения человека, и лишь в этом оправдание его: человек может и должен быть силен стать Личностью. Бердяев традиционному христианскому принципу теодицеи противопоставляет, таким образом, антроподицею – оправдание человека посредством творческой одаренности через взаимодействие с Богом. Антропологическая философия открывает, наконец, тайну человека как существа, в котором пересекаются два мира: высший мир – мир Божественный и низший мир – органической природы. Бердяев считал, что нераскрытость антропологической проблемы в христианстве послужила причиной того, что оформилась антропология гуманистическая, созданная по произвольному почину самого человека, в предшествующие века «утерявшего свою микрокосмичность и свою царственность». Возник гуманизм, который не знал и не знает Бога. Это и был гуманизм, зародившийся в эпоху Возрождения и развивший идею о природном человеке. «Гуманизм и есть идеология природного, зависимого человека… гуманизм не знает человека как образа и подобия Божьего,

ибо не хочет знать Бога, не знает человека как свободного духа, ибо он во власти природной необходимости»…

Очевидно, что И.А. Ильин стремился учитывать «двусоставность» человеческой природы, представлявшей в его интерпретации синтез природно-исторических и религиозно-духовных начал, одновременно признавая и то, что человек – это тело, душа и дух. В частной собственности мыслитель видит залог творческой свободной реализации человека; для него это не эксплуатация человека человеком, а способность религиозного восприятия мира, так как сам Господь предписал человеку трудиться. Вообще у Ильина можно встретить немало высказываний, перекликающихся с Бердяевым, относительно менталитета и характера русских: жертвенность, самоотвержение, доброта и доблесть, духовная сила – устремление к правде, праведности и красоте: «надо жить по-Божьи», «не в силе Бог, а в правде», «Россия прежде всего – живой сонм правдолюбцев», «живая совесть», искренность, чувство долга и сила служения, чувство собственного духовного достоинства, отрицание слепого подчинения чужому авторитету, «благодушная гибкость и миролюбивая уживчивость», открытость, дар вчувствования и перевоплощения и т.д.

Таким образом, несмотря на существенные различия в историко-антропологических воззрениях обоих философов, они едины в восприятии Человека как образа и подобия Божьего, они верят в русскую ментальность и в духовное преображение русского человека.

Есть ли подобные представления в среде современных ученых России? Приведем высказывания нескольких современных авторов – Н.А. Нарочницкой, А.А. Проханова и А.С. Панарина.

Наталья Алексеевна Нарочницкая (историк, общественный деятель, политик): «Россия, наконец, восстанавливает свою многостороннюю историческую стратегию, как и подобает великой евразийской державе, политику, соответствующую ее естественной геополитической миссии, – быть держателем равновесия между цивилизациями, между Западом и Востоком… Русский проект Евразийского пространства – это идея иного, справедливого мира – мира гармонии многообразия»… И еще: «Центральная новая идеологема – “права человека” и земная жизнь как высшая ценность – этот либеральный новый “коммунистический манифест” апостасии XXI века… становится логическим завершением идеи автономности человека от Бога, итогом антихристианского Просвещения, который к рубежу Третьего Тысячелетия ведет через безверие к полной дегуманизации человека и подрыву не только двухтысячелетней христианской культуры, но и самого человеческого общежития, ибо человек только там, где дух выше плоти».

Александр Андреевич Проханов (писатель, редактор газеты «Завтра»): «Русский народ, погруженный в кромешные труды, войны и свершения, никогда не забывал смотреть в небо. Мы – один из самых мечтательных, наивных, поэтичных и верующих народов. Неся на плечах непосильную глыбу трудов и тягот, мы продолжали мечтать. Русская мечта наполнена представлениями о справедливости, о возможности устроить земную жизнь на принципах абсолютного блага, евангельской божественной истины».

Александр Сергеевич Панарин (философ и политолог): «Русские – нация особая, у нас статус национальной идеи более высок, чем в других странах… У России есть одно загадочное свойство: сплачивать слабых против сильных. Русское призвание в мире – унизить сильного за его наглость. Россия всегда была сильна, когда выступала в союзе со слабыми против сильных. Внутри страны велик был тот государь, кто стоял за простой люд против боярства. На международной арене Россия была мировой державой, когда выступала в союзе с угнетенными народами против завоевателей и колонизаторов… Я верю в возрождение русской идеи».

Таким образом, можно отметить, что в среде русской интеллигенции идут мучительные поиски современной русской идеи, идеологемы, скрепившей нацию в сложной политической обстановке тех вызовов, которые нам предъявляет XXI век.

В заключение приведем слова президента Российской Федерации В.В. Путина, которые он произнес в 2013 году на Валдайском форуме: «Мир становится все более жестким, порой отвергается не просто международное право, но даже элементарные приличия.

Нужно быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении, но все-таки главное, что будет определять успех, – это качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь, в конце концов, и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный характер».

А.Б. Соколов
(Ярославский государственный
педагогический университет)

Методология истории и практика исторического образования

При всем многообразии теорий, авторы и сторонники которых претендуют на объяснение исторического процесса, их можно свести к трем основным подходам. *Первый*, объективистский подход, включает все теории, основывающиеся на утверждении, что прошлое познаваемо, и историк, избравший правильную методологию исследования, описывает его таким, каким оно было в реальности. Конечно, между приверженцами объективистского подхода нет согласия в том, какая теория является «единственно верной». Сюда можно отнести продолжателей марксистского формационного учения, сторонников теории цивилизаций, поборников миросистемного или любого из вариантов модернизационного подхода, иными словами, разного рода глобалистских теорий, а также эмпириков, занятых поиском исторической истины на базе позитивизма конца XIX – начала XX века или пытающихся использовать методы точных наук. *Второй*, субъективистский или релятивистский подход, развивавшийся параллельно с объективизмом с древности, получил новый импульс в начале XX века в трудах философов, подчеркивавших принципиальное различие номотетических и идиографических наук (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), роль интуиции в историческом познании (В. Дильтей), его этико-политические предпосылки (Б. Кроче). Р. Коллингвуд исходил из того, что существуют как бы две истории: та, которая имела место, и та, которую мы знаем. История для него наука в том смысле, что историк видит цель в приближении к исторической истине, но достигнуть ее в полной мере он никогда не сможет. Этому препятствуют два вида субъективности: субъективность источников, которые не являются прямым отражением прошлой реальности и лишь позволяют понять мысль тех, кто их написал, нарисовал или изготовил; субъективность самого историка, который как «человек своего времени» интерпретирует прошлое в современном ему контексте. *Третий*, постмодернистский подход, отвергает представление о том, что историк способен дать картину прошлого на сциентистской основе, а также идею научности истории в том ее виде, которую предлагал Коллингвуд. Историки, осознанно или неосознанно, конструируют прошлое в интересах власти и элит, являясь участниками современных им дискурсов. Исследователь имеет дело не с реальным прошлым, а с его образами, сфор-

мировавшимися в разных дискурсах, следовательно, объектом изучения становятся обстоятельства, повлекшие возникновение и эволюцию этих образов. Например, Х. Уайт подчеркивал, что главным способом конструирования прошлого является язык историка, и принципиального различия между так называемой научной историографией и художественным произведением не существует. Некоторые представители постмодернистской философии истории называют историографию контрпамятью, противопоставляя ее устной традиции.

Если прибегнуть к метафоре восстановления утраченного здания, то объективисты отстраивают его точную копию, субъективисты реконструируют его по сохранившимся планам, допуская, что воспроизведенный облик не во всем соответствует оригиналу, а постмодернисты конструируют его заново. В этой схеме нет ничего нового, но вопрос о том, как данные методологические парадигмы соотносятся с практикой школьного исторического образования, насколько мне известно, не ставился. В российском образовании с 1990-х гг. происходил переход от марксистского формационного принципа (как одного из вариантов теории модернизации) к цивилизационной теории. Если в марксизме России приписывался догоняющий характер развития, а классовая борьба и революции расценивались как инструмент исторического прогресса, то в рамках цивилизационной теории делается акцент на самобытности российского общества и государственности, что позволяет избежать болезненного для национального самосознания тезиса о «догоняющем развитии». Однако при всем различии этих подходов (другие фактически не артикулированы как конструкт-образующие) их основная идея состоит в том, что история познаваема, и при обучении истории можно раскрыть действие объективных, то есть независимых от воли людей закономерностей. Если это так, то дидактический смысл изучения истории, по крайней мере, в школе, заключается в постижении «урока», который она дает. Соответственно, обучение основано на изложении «правильной» истории, если допускается самостоятельность в интерпретации, то только в «разумных пределах», а критерием оценивания является уровень способности учащегося повторить рассказанный учителем или прочитанный в учебнике материал. Методология объективизма обеспечивает господство знаниевой парадигмы, при которой важнейшее значение придается знанию фактов, являющихся базовыми для конструирования господствующего национального, или патриотического, нарратива. В учебниках, написанных в рамках методологии объективизма, большую часть места занимает авторский текст, вопросы носят преимущественно репродуктивный характер, методический аппарат довольно примитивен, документов для обсуждения мало, а

изображения почти всегда присутствуют только как иллюстрации, а не полновесные исторические источники.

Мировая практика показывает: в преподавании истории можно обойтись без глобальных теорий. В ряде западных стран школьное историческое образование построено на концепции субъективизма. Поскольку при допущении разных интерпретаций извлечь из прошлого единственно «правильный» урок нельзя, то обучению истории придается прежде всего ценностный смысл. «Самопознанием духа» называл историю Коллингвуд. Не давая готовых «уроков», история формирует у школьников умения и навыки критического мышления: задавать вопросы, видеть «подтекст» документа, создавать собственные интерпретации. Не случайно такие системы носят название «Делать историю», «Думая над историей» и т.д. Школьник выступает как «маленький историк», развивающий собственное представление о прошлом на основе работы с источником, письменным или визуальным. Переход к данной парадигме школьного исторического образования начался в 1970-х гг., с тех пор в ряде стран возник новый тип школьного учебника, ориентированный на то, чтобы школьники получали не «готовые» знания, а добывали их самостоятельно в работе с источниками, представленными в доступном их возрасту виде. В таких учебниках авторский текст занимает минимальное место, иногда вовсе отсутствует. В них можно встретить сюжет из жизни выдуманного героя, который школьнику предстоит дописать самому, или изложение в форме ролевой игры. В них воплощается деятельностный подход в обучении.

В то время как в России господствует настороженно-скептическое отношение к постмодернизму, специалисты на Западе задумались, что он вносит в систему образования. Знания рассматриваются в социальном, управляемом правилами контексте; отмечается, что практики обучения носят контекстно-временной и условный характер. Поэтому приобретение знания должно носить коллективный характер и осуществляться путем группового взаимодействия. Рискну предположить, что широкое распространение в практике обучения, в том числе истории, коллективных проектов отчасти проистекает из такого рода идей. Я не назову систему школьного исторического образования, целиком построенную на постмодернизме, но некоторые тенденции просматриваются, в частности, в плане содержания обучения. Английский историк П. Берк выделил следующие черты «новой исторической науки»: история больше не ограничена политическими вопросами, перед ней открыта вся сфера человеческой деятельности; описание империй и институтов власти сменил социальный и культурный анализ времени и места; произошел переход от биографий «великих» к народной культуре, вере и ритуалам простых людей; но-

вые источники позволили услышать голоса и понять менталитет тех, кто раньше не имел письменной истории; историки не ищут окончательных решений, а стремятся синтезировать и интерпретировать разные точки зрения; объективность и научная детерминированность больше не приемлемы для тех историков, которые понимают, что зависят от культуры, пола, класса, к которым принадлежат, как и те, о ком пишут. Акцент на простых людей, культурные представления и повседневность, стремление отойти от взгляда на прошлое «сверху вниз», применение средств, способствующих эмпатическому восприятию истории, – все это обнаруживается в современных учебниках, например, британских. В обучении истории широко используется драматизация как способ погружения в прошлое. Во многих случаях учебники предлагают «перенестись» в другую эпоху, поставить себя на место людей, живших тогда. Разумеется, такого рода приемы не являются абсолютно новыми: еще советские школьники могли столкнуться с заданием вроде составления рассказа от имени крепостного мальчика. Однако практика таких заданий была чрезвычайно ограниченной и преследовала иные дидактические цели. Участие школьников в проектах по исторической памяти, в том числе по проведению устно-исторических исследований, действительно имеет целью сохранение «альтернативных» историй, выходящих за рамки национального нарратива, преподносимого в качестве правильной, идеологически выверенной версии.

А.В. Стогова
(Институт всеобщей истории РАН,
Российский государственный гуманитарный
университет, Москва)
Л. Капрон
(Университет Париж Декарт)

Публикация наследия в пространстве сети Интернет: между частной инициативой и профессиональным знанием (на примере проекта “*La correspondance française de Guy Patin*”)

Спецификой информационного пространства сети Интернет является не только доступность информации, но также проницаемость границ между различными типами знания и возможность взаимодействия, соучастия пользователей в формировании знания, что ставит массу новых вопросов в связи с функционированием исторической памяти. Изменения, безусловно, касаются даже самых консервативных и профессиональных форм ее сохранения, таких как онлайн-

публикация источников. На данный момент это одна из важнейших форм деятельности различных профессиональных институций, прежде всего архивов и библиотек, которая, как правило, реализуется не в рамках единого процесса публикации фондов, а как множество проектов, которые связываются со значимыми именами, событиями, явлениями, текстами и формируют историческую память о них.

В этой связи очень интересным примером интернет-публикации является проект издания писем известного французского медика XVII века, декана факультета медицины Парижского университета Ги Патена («*La correspondance française de Guy Patin*») [Режим доступа: http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/ (26.05.2016)]. Это один из новых проектов, он был запущен в марте 2015 года, и на данный момент в сеть выложено более тысячи документов. Проект имеет ряд интересных специфических особенностей. Он инкорпорирован в сайт профессиональной структуры – межуниверситетской библиотеки Santé, которая, помимо того, что принято называть «электронной библиотекой», ведет еще ряд проектов, так или иначе связанных со сферой медицины. Библиотека относится к университету Пари Декарт (Paris V), специализирующемуся на медицине, – преемнику факультета медицины, которым в свое время руководил Патен. Таким образом, в отношении данного проекта можно говорить о поддержании исторической памяти как с точки зрения профессии – медицины, так и с позиции корпорации – Парижского университета, не говоря уже о том, что Патен известен прежде всего своим эпистолярным наследием.

Однако, в отличие от большинства онлайн-публикаций, которые осуществляются библиотеками и данной библиотекой в том числе, этот проект, прежде всего, представлен как личная частная инициатива человека, не имеющего прямого отношения к профессиональной библиотечной структуре (чем и является по сути). Еще одно отличие заключается в том, что публикуемые тексты не связаны исключительно с фондами самой библиотеки; напротив, подавляющая часть опубликованных документов хранится в Национальной библиотеке Франции. Эти обстоятельства определяют восприятие проекта как его создателями, так и пользователями, коими по преимуществу являются историки, филологи и историки медицины. Он обладает необходимым статусом для профессиональных исследователей, определяемым не только той платформой, на которой он расположен, но и связанными с ней критериями публикации. При этом комментарии к письмам и сопровождающие статьи принципиально вводят частные характеристики конструируемого знания – желания, эмоции, частные мотивы и т.п. их создателя, профессора Капрона. Давно легитимированные в гуманитарных исследованиях,

они, тем не менее, до сих пор редко находили себе место в более консервативном жанре публикации источников, тем более, когда речь идет о публикации наследия человека, связанного с публикатором профессиональными отношениями, а не теми, которые принято определять как «частные» (родственные, дружеские и т.п.). Введение такой проблематики имеет тем большее значение, что речь идет не о традиционной бумажной публикации, а об онлайн-версии, предназначенной не только профессионалам, но любым пользователям. «Частная» проблематика выводит публикацию за сферу профессионального знания, помещая ее в более широкий контекст исторической памяти и одновременно обозначая эмоцию, переживание, интерес как важнейшие механизмы ее поддержания.

Более того, эта составляющая стала важнейшим элементом существования самого проекта, в конечном счете существенно его трансформировав. И эти изменения наглядно демонстрируют, что одним из важнейших отличий интернет-публикации от традиционной бумажной является ее принципиальная незавершенность, возможность в любой момент дополнить и изменить уже сделанное. Изначально проект задумывался как продолжение работы двух основных публикаторов писем Патена в XX–XXI веках. – Поля Триера и Лоры Жестаз [*Patin G.* Lettres de Gui Patin, 1630–1672 / Ed. par P. Triaire. P.: Honoré Champion, 1907; *Patin G.* Les Lettres de Guy Patin a Charles Spon / Ed. par. Laure Jestaz. P.: Honoré Champion, 2006. Vol. 1-2]. (П. Триер успел опубликовать лишь один том, хотя планировалось сделать больше, на титульном листе стоит маркировка «*Tome premier*»; Л. Жестаз позиционировала свою работу как продолжение издания П. Триера). Речь шла о том, чтобы объединить в рамках одной публикации все известные на тот момент письма, хранящиеся в библиотеке Santé и Национальной библиотеке Франции, и издать их в соответствии с современными требованиями, если сохранились манускрипты. Задача более чем масштабная для коллектива, состоящего всего из нескольких человек. Упомянутые изменения связаны с тем, что открытость и незавершенность интернет-публикации дают пользователям / потребителям возможность соучастия в проекте. Причем своеобразная «приватизация» памяти, наделение ее личностными свойствами, характерная для данного проекта, в гораздо большей степени способствуют вовлечению пользователей/читателей во взаимодействие, нежели структурная обезличенность большинства библиотечных интернет-проектов. Это взаимодействие, как известно, трансформирует традиционные роли создателей и читателей. Читатель перестает быть только потребителем предоставляемой информации, но вовлекается в сам процесс конструирования знания/памяти. В данном случае речь

идет не об обычной интернет-практике комментирования, а о предоставлении профессиональной информации, используемой для аннотирования и комментирования публикуемых писем, а также новых текстов для публикации, в силу чего сам проект оказывается междисциплинарным, ибо в его создании участвуют представители самых разных профессиональных дисциплин – медики, историки, филологи и т.д. Такое вовлечение возможных читателей из самых разных стран, основанное на личной профессиональной заинтересованности, и, безусловно, технические возможности современной коммуникации в конечном счете привели к существенной трансформации проекта. Международное взаимодействие позволило существенно расширить возможности, привлечь ресурсы библиотек и архивов других стран. На данный момент выявлено уже более 40 манускриптов, большинство из которых никогда не публиковались, а многие и вовсе оставались неизвестны для исследователей; часть из них уже опубликована на странице проекта. И можно предположить, что теперь это взаимодействие с читателями только усилится и приведет к новым открытиям. Своеобразную историческую элегантность проекту придают аналогии подобных стратегий взаимодействия с «Республикой словесности» раннего Нового времени, представлявшей собой сетевое сообщество, в котором профессиональные связи и интересы были переплетены с «частными». Ги Патен был активным участником такого общения, и письма, которые являются объектом нынешнего проекта, есть результат и средство этого взаимодействия.

Л.Б. Сукина
(Институт программных систем
«Университет города Переславля имени А.К. Айламазяна»,
Переславль-Залесский)

Мемориальные практики допетровской Руси как исследовательская проблема

В отечественной и зарубежной историографии и исторически ориентированной публицистике не стихают дискуссии о легитимности места того или иного персонажа или события в исторической памяти российского общества. Борьба за восстановление «исторической справедливости» оттесняет на второй план другую важную задачу профессионального сообщества – изучать, когда, кем, как, почему и зачем создавались устойчивые мифы и образы массовых представлений о прошлом, многие из которых достались нам в наследство еще от допетровской Руси.

В XVI–XVII веках Русским государством и церковью предпринимались серьезные шаги и прикладывались большие усилия по мемориализации событий различной давности, конструированию устойчивых смысловых связей между героическим прошлым и славным настоящим. Так, Александр Невский, Сергий Радонежский и другие национальные святые выступают покровителями военных побед и политических достижений новой эпохи, а Куликовская битва становится прообразом взятия Казани, освобождения Москвы от поляков и окончания Смуты. Важные события новой эпохи также мемориализуются и включаются в контекст памяти об уже свершившейся истории.

В настоящей работе предпринимается попытка осмысления выбора исторических источников и исследовательских подходов, позволяющих реконструировать процесс формирования мемориальных практик допетровской Руси, имевших продолжение в дальнейшем и сохраняющих актуальность для адекватного понимания нюансов современной социокультурной ситуации.

Очевидно, что мемориальные практики данной эпохи следует рассматривать в контексте решения политических задач легитимации власти русских государей, их деятельности по расширению границ государства и укреплению собственного владычества. Такой подход позволяет выделить несколько исторических пиков мемориализации прошлого: середина XVI века (установление режима царской власти и походы на Казань и Астрахань), второе-третье десятилетия XVII века (завершение Смуты и появление новой царской династии), пятидесятые-семидесятые годы XVII столетия (время реформ и необходимость легитимации права на них).

Второе важное обстоятельство, которое следует постоянно иметь в виду – теснейшая связь мемориальных практик с религиозной православной традицией. Русская церковь в эту эпоху, несомненно, обладала монопольным правом на конструирование коллективной памяти, и главным инструментом этого конструирования было включение событий земной истории в канву истории мира от его сотворения до последних времен.

Эти два обстоятельства во многом определяют круг источников исследования проблемы. По видовым признакам среди них мы выделим группы письменных и визуальных источников.

Задачи мемориализации событий прошлого в политических целях требовали создания корпуса письменных текстов соответствующего содержания. В XVI веке этот процесс начался с составления «Сказания о князьях Владимирских» при Василии III и продолжился «Лицевым летописным сводом» и «Степенной книгой царского родословия» при Иване IV. Во всех этих текстах прошлое под-

верглось сознательному редактированию. Составителями отбирались только те события и персонажи, которые «работали» на объяснение особой политической роли московских князей и законности присвоения ими царского титула (от приятия Мономашьего венца до успешной борьбы с татарами, когда предки Ивана Грозного предстают как героические спасители и устроители Русской земли). Следует отметить, что эта конструкция оказалась прочной и эффективной, и именно она до сих пор в основном определяет представления о национальном прошлом в массовом историческом сознании.

В эту конструкцию вписываются также тексты, связанные с прославлением национальных святых, мыслящихся в качестве духовной опоры новой русской государственности (в первую очередь, Велики Четьи Минеи митрополита Макария). Агиографические рассказы о святых «сродниках» и «сподвижниках» московских князей вплетены также в текст повествования «Лицевого летописного свода» и «Степенной книги» (источниками которых послужили не только летописи, но и жития). Как памятник русской исторической мысли «Степенная книга» исследована уже достаточно основательно (Васенко П.Г., Покровский Н.Н., Серенов А.В., Усачев А.С. и др.). Указанными авторами затрагивался и вопрос влияния «исторической концепции» «Степенной книги» на современную ей и последующую агиографию и идеологически ориентированную публицистику, однако эта проблема все еще требует более тщательного специального изучения.

А.В. Серенов в своем исследовании «Степенной книги» уделил особое внимание ее использованию в идеологических концепциях XVII в. Но новая царская династия нуждалась и в собственной, принадлежавшей только ей истории, зафиксированной в памяти современников и потомков. В связи с этим происходит мемориализация событий Смуты, которые вывели на политическую авансцену род Романовых. В мемориальных конструкциях XVII века Смута выглядит неким продолжением борьбы России за национальную самостоятельность, в которой даже участвуют легендарные персонажи прошлого. В этом отношении примечательна новая редакция «Жития Сергия Радонежского», составленная Симоном Азарьиным.

Несомненно, ярче всего процесс мемориализации прошлого проявляется в создаваемых определенной эпохой визуальных образах. Именно они формировали желательную власти концепцию исторической памяти в массовом сознании населения страны.

Согласно исследованиям по истории архитектуры, именно в XVI веке формируется особый тип храма-памятника, посвященного определенному историческому событию. По количеству и художественным качествам специально возведенных мемориальных хра-

мов в этом столетии выделяется взятие Казани. Это событие было мемориализовано буквально по горячим следам. В XVII веке то же самое произойдет с освобождением Москвы от поляков. И в том, и в другом случае в этом процессе принимали участие как государство, так и сами участники мемориализуемых событий. Специфика и детали этих примечательных актов мемориализации недавнего прошлого требуют специального и пристального исследования.

Внедрению в массовое сознание памяти о национальном прошлом способствовало включение в монументальные росписи храмов образов русских святых и элементов родословных «древ» царских династий, ассоциативно мыслимых как некая параллель родословию Христа.

Особая сакральность иконных образов несколько препятствовала их широкому использованию для решения задач мемориализации реальных исторических событий. В иконописи XVI века особняком стоят иконы «Благословенно воинство небесного царя», чья иконография, по мнению исследователей, сочетает сакральный и исторический планы в изображении одного события – похода Ивана Грозного на Казань. Однако дальнейшего развития этот прием не получил.

В XVII веке, после Смутного времени, составителями программ икон и иконописцами был найден способ соединять священную и историческую реальность. Исторические сцены включаются в композицию житийных икон русских святых и чтимых икон Богородицы (так называемый тип Богородицы с «историей образа») как изображения чудес, совершившихся во время сражений или обороны крепостей. Это позволило представить современникам ключевые события эпохи борьбы с татарами или Смутного времени совершающимися не только в государственной, но и в церковной истории, придать им сакральный характер и подчеркнуть участие в них национальных святых и самой Богородицы, активно покровительствующей созидательной государственной деятельности московской царской династии.

Как показывают письменные и визуальные источники, в русском государстве XVI–XVII веков процесс мемориализации прошлого был неразрывно связан с его сакрализацией, что не оставляло современникам никакой возможности для критического переосмысления исторических событий независимо от степени их отдаленности. Эта специфическая, отличная от европейской модель мемориализации прошлого нуждается во внимательном анализе, так как она заложила основы национального массового восприятия прошлого в его мемориальном аспекте.

К.К. Султанов
(Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова)

Дискурс идентичности и национальный нарратив: коммуникативный аспект

1. В постсоветский период «ностальгия по идентичности» приобрела исключительно диахроническое измерение, существенно изменившее тональность разговора о национальной литературе. Парадигмальную роль приобрели словосочетания «этноментальные основы», «этнодуховные основания», «этническая мобилизация» – вплоть до «этнолитературоведения», адептов которого привлекало не столько адекватное восприятие текста как определенной структурно-семантической системы, сколько его этнологически ориентированная реконструкция.

С одной стороны, это был плодотворный период филологической самоактуализации, оппонирования доктрине монолитного «единства», но с другой – экспансия этнокультурного подхода инициировала угасание интереса к проблематике межкультурной коммуникации, которая воспринималась как рецидив «дружбы народов».

Стали превалировать статическая модель описания национальной литературы, адаптированная преимущественно к поиску и обнаружению этнокультурных детерминаций, и отношение к литературе как форме манифестации этносвоеобразия, к тексту – как транслятору и «заложнику» этнокультурной самобытности. При таком подходе проблематичным становилось восприятие возможных смысловых интенций, никак не связанных с этнокультурной отличительностью.

Кризис национально-культурной идентичности в советскую эпоху трансформировался в кризис межкультурной коммуникации в эпоху постсоветскую, в методологическом плане – в разъединенность этнокультурного и коммуникативного дискурсов.

Вопрос не в том, чтобы поставить под сомнение научный статус этнокультурного дискурса как такового. Речь идет о другом – о его эпистемологической функции в рамках литературоведческого анализа, призванной обогащать и расширять его возможности, не упраздняя принцип эстетической избирательности, следовательно, понятия «художественная ценность».

Литературоведческая мера актуализации этнокультурного контекста отсылает к тому, что описание воплощенных в произведении этнокультурных реалий не может и не должно превалировать над

осмыслением их функциональной роли в многомерной художественной структуре.

2. Сегодня охотно оперируют словосочетанием «конструирование национальной идентичности», но устойчивой матрицей остается представление об идентичности как преимущественно проекции автаркической самобытности и культурных архетипов.

Формируется ли она в координатах ментальной и этнической детерминированности? Безусловно, но и в точках пересечения разнонациональных традиций. Напомним и о надэтнической интегрирующей идентичности – российской, например, или европейской. Современная трактовка идентичности акцентирует не только безусловную значимость этнокультурного контекста, но и такие константы неэтнического происхождения, как открытость, динамичность, процессуальность, культурная взаимопроницаемость.

Идентичность в современном мире концептуально связана и с тем, что называют культурным пограничьем, когда ментально-культурная самоидентификация небезразлична к присутствию и неоднозначности Другого. Вопрос об идентичности – это и вопрос о мостах, соединяющих национально-культурные миры, о расширяющемся горизонте миропонимания, вопрос не только выживания в эпоху глобализации, но и изживания комплекса культурного аутсайдерства.

3. Национальная культура не может оставаться наедине со своей идентичностью, с тем, что отличает ее от других культур. Самобытность, чтобы остаться таковой в потоке истории, требует коммуникативного пространства и соотнесенности с резонантным**,** как говорил акад. В.Н. Топоров, полем культуры.

В современных дискурсивных практиках «диалог» часто предстает как культурный трюизм и риторическая фигура. Куда более привлекательной и содержательной выглядит характеристика диалога в «Новой философской энциклопедии»: «не спор самомнений..., а беседа разных культур в сомнении относительно собственных возможностей мыслить и быть» [Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 2000. С. 660]. Через продуктивное сомнение, возникающее в межкультурном собеседовании, «развертывается и преобразуется неисчерпаемый смысл каждой культуры».

Диалог воспринят как генератор творческих смыслов и, следовательно, как ресурс идентичности и самоопределения национальной культуры. В этом контексте «…диалог должен быть понят как определение гуманитарного мышления, взятого в его всеобщности» [*Библер В.С.* От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М.: Издательство политической литературы, 1991. С. 300]. Актуализация такого отношения к диалогу далека от двух популярных крайностей: от декларации диалога,

которая на поверку оказывается всего лишь признаком хорошего тона и политкорректности, и от постмодернистского оспаривания любого интегрирующего смысла как заведомо тоталитарного.

4. В отечественном дискурсе популярна метафора «цивилизационного бульона» применительно к постсоветскому пространству. Одна из возможных расшифровок его кипения: мы все еще в транзите между девальвированной «дружбой народов» и возможным новым качеством диалогизма, между этноцентристской риторикой, фактически исчерпавшей свой ресурс, и переоткрытием онтологического принципа межкультурного взаимодействия как обязательного условия взаимопонимания.

На разных историко-культурных этапах возникала задача преодоления репродуктивной и инерционной эксплуатации как бы заведомой несомненности и застывшей безусловности диалогического принципа – достаточно вспомнить, как Г. Гадамер в докладе о речевом жанре утопии в «Государстве» Платона назвал Ф. Шлегеля и Ф. Шлейермахера переоткрывателями (не перво-, а именно «переоткрывателями») диалога как модуса познания истины.

Устойчиво присутствовавшие в мировом гуманитарном дискурсе – от античности до В. Гумбольдта – понятия «concordia discors» (единство несходного), «e pluribus unum» (единое из многого) не содержали в себе недооценки или отказа от национальной самобытности: суть была в том, что несходное, оставаясь таковым, тяготеет в силу внутренне мотивированного развития к «сходству несходного» или «единому» – назовите его надэтническим уровнем, сферой культурных универсалий или пространством «мировой литературы».

В последние годы мы отдали щедрую дань этнокультурным, национальным, конфессиональным различиям. Однако опыт современной самоидентификации в ее национально-культурных модификациях подтверждает, что дело не в культивировании «особости», не в демонстрации самобытности как таковой. С позиции каждой национальной культуры, озабоченной самосохранением в усложняющемся мире, резонно отстаивать специфику и индивидуальность как исходную предпосылку диалога, непохожесть как условие сближения и межлитературной коммуникации.

«…В высшей степени ценным и необходимым достоянием филолога, – писал Э. Ауэрбах в работе «Филология мировой литературы» (1952), – еще являются язык и культура его народа; однако они становятся действенными только тогда, когда удается изъять их из обособленности и преодолеть их самодовление». Акцентируя мысль о «взаимном обогащении за счет разнообразия», он выделил насущную необходимость «…удержать и укрепить сознание судьбоносной взаимосвязи между отдельными народами» [*Ауэрбах Э.* Филология мировой ли-

тературы // Вопросы литературы. 2004. № 5. С. 128]. Удержать и укрепить… При таком подходе коммуникативная функция предстает как имманентное свойство национально-литературного самоопределения, а переживание встречи с другой культурой/литературой есть не менее значимый ресурс самобытности, чем этнокультурная характерность.

5. Во «Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии» говорится не только о современных вызовах для культурного разнообразия, но и об «условиях для нового диалога между культурами и цивилизациями». В другом международном интеллектуальном проекте под эгидой ООН, «Преодолевая барьеры», во главу угла поставлена та же мысль об активизации нового диалогизма: «пространство между анонимным универсализмом и этноцентричным шовинизмом огромно и открыто. Оно стало той областью, на которой может и должен происходить межцивилизационный диалог».

Стоит помнить и о том, что диалог – не только форма признания ценности разнообразия, права быть другим и одновременно снятия абсолютизации различия как такового. Он остается единственной альтернативой, способной минимизировать насилие, нередко сопровождающее нынешние «войны идентичностей», о чем убедительно сказано в книге нобелевского лауреата А. Сена «Вопросы идентичности и насилие» (2006).

«Меж нами нет родства», – сказал поэт и тут же добавил: «Меж нами есть родство»...

В.Н. Сыров
(Томский государственный университет)

Тождественны ли нарративная и историческая идентичность?*

Обращение к анализу современных вариантов идентичности неизбежно ставит вопрос о приемлемом формате идентичности. В современной культуре принято связывать его с нарративной формой. Считается, что нарративная модель обеспечивает хорошую рамку для понимания бытия индивида, чье существование носит по преимуществу практический, темпоральный и рефлективный характер. Описание преимуществ нарративной идентичности уже стало

* Работа подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 15-33-01003: «Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности».

общим местом в исследовательской литературе (К. Аткинс, К. Джерджен, Д. Карр, А. Макинтайр). Понятно, что ее основные черты представляют собой хорошую корреляцию с характером человеческого бытия. Если же трактовать нарратив как формат для организации самого человеческого бытия, то нарративизация не просто становится способом подведения жизненных итогов задним числом, а приобретает статус проекта по отношению к самому этому бытию. Ведь сама структура человеческой активности будущностно-центрирована или фокусирована. Причем речь идет о направленности не только внимания, но самого действия.

В анализе характера темпоральности и нарративности нашего опыта можно опереться на рассуждения Дэвида Карра в его работе «Время, нарратив, история». Ход его мысли находится в русле направления нарратологов, трактующих нарративы как формы организации самой жизни, а не только ее репрезентации. Определяющим положением здесь следует считать заимствованный из гуссерлевской феноменологии тезис о различии первичной памяти или ретенции и памяти в обычном смысле или воспоминания. Специфика заключается в их месте в структуре опыта. Ретенция, как известно, в отличие от воспоминания, считается неотъемлемым компонентом любого опыта. То же самое касается первичных ожиданий или протенции. В таком контексте настоящее следует мыслить не как некий миг, а как темпоральную растянутость, края которой захватывают части того, что уже темпорально прошло и еще не наступило. Эту мысль можно рассматривать как общий методологический ориентир в истолковании всех ключевых аспектов, связанных с темпоральностью и нарративностью.

Данная структура проецируется, в терминологии Карра, не только на пассивный, но и на активный опыт. Это означает, что темпоральность действия также должна трактоваться не как серия отдельных актов, а как разворачивание взаимосвязанных фаз. Вполне резонным в таком контексте становится проведение параллелей между темпоральной и нарративной структурой, поскольку они конституируются таким фундаментальным конфигурационным отношением, как начало-середина-финал. Важный момент заключается в трактовке сложного и темпорально расширенного действия, элементы которого могут требовать специального внимания и рефлексии. Данное обстоятельство предполагает, помимо прочего, смену языка описания. На смену «протенциям» и «ретенциям» приходят «воспоминания» и «ожидания». Но и их правомерно трактовать не как изолированные элементы, а как взаимосвязанные части целого. Иначе говоря, настоящее может толковаться как более темпорально протяженное, растягиваясь на годы или десятилетия. Его отдельные части могут требовать периодической рефлексии в виде

периодических пролепсисов и аналепсисов. Но пока они трактуются как непрерывные части некоторого длящегося целого, то будут идентифицироваться с настоящим.

Эта же структура может быть спроецирована на интерпретацию характера персональной идентичности. Пусть и в разных формах (в виде автора истории, одного из ее участников), она будет трактоваться как целостное и согласованное повествование. Понятно, что такая согласованность может выступать в качестве жизненного, зачастую не артикулированного, проекта, периодически переписываться. Более того, нарративный подход позволяет осуществить темпоральное расширение таких нарративов, поскольку свое бытие можно трактовать как часть более темпорально растянутой истории. Но это же дает право перейти от персональной к групповой идентичности или от «Я» к «Мы». Ведь зачастую интерпретация своей жизни как части в контексте целого предполагает реализацию целей, превышающих приватные ценности. Важный момент заключается в возможности проведения параллелей между структурой персональной и групповой идентичности. Хотя в последнем случае можно говорить о возможности и даже необходимости периодической артикуляции или рефлексии над теми или иными частями нарратива.

В итоге можно утверждать тождество темпоральной и нарративной структуры всех форм пассивного и активного опыта, персональной и групповой идентичности. Такая структура предполагает взаимосвязь и взаимную согласованность всех ее частей. Даже если они становятся объектом рефлексии и превращаются в микронарративы, то все равно остаются лишь частями пусть более протяженного, но целого. Элементы, не вписывающиеся в эту структуру, не мыслимы как компоненты нарратива. Так, если мы идентифицируем себя с победителями, то трактовка событий как провалов не может стать частью нарратива о нашей идентичности, только если в их описании не будут смещены акценты, и они будут поданы как формы испытания мужества, героизма и т.д. Тогда переоценка смысла событий, составляющих идентичность, должна приводить либо к исключению их из нарратива, либо к его переписыванию.

Далее. Если нарративы конституируют нашу идентичность, то не могут повествовать о прошлом как о чем-то таком, что уже завершено. Возможно, что наиболее релевантной для них структурой следует считать конструкцию типа «Мы те, кто произошли тогда-то и от того-то (или чего-то), и движемся в направлении осуществления такой-то цели». При этом сколь бы темпорально ни отодвигались этапы происхождения и цели, они должны мыслиться как части осуществляющегося настоящего. Следовательно, та их часть, что относится к уже прошедшему, не может мыслиться как собственно прошлое или история.

Вот здесь возникает ловушка, в которую, как нам кажется, попадает сам Карр и сторонники данного подхода, когда пытаются подать связь истории и идентичности как простое механическое расширение нарративов. В итоге история предстает чем-то подобным метанарративу, сколь бы сами исследователи ни открещивались от такой интерпретации. Тем самым она будет трактоваться в виде некоторого учреждающего события как начала рождения идентичности и описываться как линейная последовательность событий, в которых она укрепляется и одновременно испытывается на прочность. Эта же серия событий обеспечивает непрерывность истории и ее плавное перетекание в современность. Более того, данный подход будет пронизывать все уровни исторической работы вплоть до формата описания конкретных исторических объектов. Говоря конкретнее, такая история может повествовать лишь об успехах или поражениях, предполагая соответствующие способы конфигурации эмпирического материала.

Оппоненты правомерно замечают, что интерпретация событий далекого прошлого как источника, конституирующего его современное состояние, стирает грань между написанием истории и производством мифа. Очевидно, что такой подход к интерпретации связи истории и идентичности, усиленный их отождествлением с реальностью и убежденностью в реальности только такой связи, оказывает дурную услугу как той, так и другой. Он разрушает барьеры, препятствующие мифологизации прошлого, и либо усиливает конфликтогенность идентичностей, опирающихся на него, либо не обеспечивает продуктивных стратегий преодоления травматического опыта. Рискнем утверждать, что этим чревата любая версия идентичности, пытающаяся использовать прошлое в качестве своего обоснования. Это не означает отказа от использования прошлого в идентификационном процессе. Скорее речь может идти о формах его инструментализации, помещенных в контекст не строительства, а функционирования идентичности. Тогда следует искать форматы исторического описания, более благоприятные для реализации данной задачи.

О.И. Тогоева
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Долгое торжество: праздник 8 мая в Орлеане (XV–XXI века)

Данный доклад будет посвящен истории зарождения и развития одного, весьма специфического, французского праздника – дня снятия английской осады с Орлеана, состоявшейся 8 мая 1429 г., в ходе Столетней войны.

Доклад состоит из трех больших разделов, которые соответствуют основным этапам становления рассматриваемых торжеств. В первом из них будут кратко охарактеризованы особенности возникновения в Орлеане самой идеи отмечать каждый год победу над англичанами. Имеющиеся в нашем распоряжении источники свидетельствуют, что уже в мае 1429 г., то есть сразу же после ухода английских войск из-под стен города, его жители устроили торжественную церковную процессию с вознесением благодарностей Господу за помощь в военном противостоянии, молебнами и поминальными службами по погибшим защитникам Орлеана. К сожалению, теперь уже невозможно установить точно, кому именно принадлежала данная идея: самим горожанам, представителям светской власти или местному клиру. Ряд текстов XV века, созданных в самом Орлеане, указывает также, что в роли зачинателя данной традиции выступала французская национальная героиня Жанна д'Арк, чье прибытие в осажденный город с королевским войском многими авторами расценивалось как единственная причина одержанной над англичанами победы.

С именем Жанны д'Арк праздник продолжал ассоциироваться и позднее – во второй половине XV века и в XVI веке. Именно в этот период торжества приобрели некий вполне законченный образ и сугубо религиозный характер: они заключались в церковных процессиях, поминовении павших, торжественном панегирике в честь Орлеанской Девы, произносившемся каждый год в соборе св. Креста, а также в театральном представлении (постановке религиозных мистерий, посвященных событиям 1429 г.). Название праздника – до того времени неустойчивое и скорее описательное – с конца XI века также стало прежде всего напоминать жителям об исключительной роли, которую сыграла в судьбе их города Жанна д'Арк. Авторы этого времени считали необходимым уточнить, что «процессия 8 мая» посвящена не только Господу, но и Деве, которую Он послал им на помощь. В это же время торжества начали включать в себя обязательный военный парад, во главе которого двигался человек, изображавший Жанну д'Арк.

Уже в начале XVII века праздник, проводимый в Орлеане и имевший до того, очевидно, локальный характер, получил некоторую известность во всем Французском королевстве. Он попрежнему увязывался с именем Жанны д'Арк и – впервые в истории своего существования – с идеей возможной канонизации французской героини. В конце XVII века данная мысль впервые была высказана открыто, причем представителем католической церкви, и произошло это именно на торжествах 8 мая.

Вторая часть доклада будет посвящена изменениям, происходившим в характере праздника в XVIII–XIX веках. Этот период в

истории Франции отличался исключительной насыщенностью масштабными политическими событиями, которые оказали весьма своеобразное влияние как на культ Жанны д'Арк в Орлеане, так и собственно на посвященные ей торжества. На протяжении практически всего XVIII века между католическими поклонниками Девы и французскими «философами» (прежде всего Вольтером) шла непрекращающаяся полемика о характере ее подвига и о ее личности. Как следствие, в конце столетия – в результате этих споров, а также под прямым воздействием событий Французской революции – характер торжеств в Орлеане радикально изменился. Они приобрели сугубо светский характер, а затем и вовсе оказались запрещены. Возобновление празднования дня снятия осады с города произошло лишь в 1803 г. по прямому указанию Наполеона, первого консула Франции.

Весь XIX век оказался, таким образом, посвящен попыткам католических кругов Орлеана (и – шире – всей страны) вернуть празднику его религиозный смысл. Им противостояли местные республиканцы и либералы, полагавшие, что торжества должны носить светский характер. В большой степени эти дебаты были связаны с особенно активизировавшимися в первой половине и середине столетия спорами о личности Орлеанской Девы, которую оппоненты предлагали считать либо боговдохновленной святой, либо народной героиней. Особое место в этих битвах заняли революционные события 1830 г. (Июльская революция во Франции) и 1848 г.

Вторая половина XIX века в истории дня 8 мая в Орлеане оказалась связана с исключительно энергичной деятельностью местного епископата (во главе с монсеньором Феликсом Дюпанлу), использовавшего данные торжества для продвижения идеи канонизации Жанны д'Арк. Таким образом, в этот период и вплоть до начала Первой мировой войны городской праздник приобрел строго религиозный характер и, кроме того, получил широкую известность во всей Франции.

Заключительная часть доклада будет посвящена истории праздника 8 мая уже в Новейшее время. Здесь будет проанализировано отношение к Жанне д'Арк во французском обществе в межвоенный и военный период, обращено внимание на ее образ в выступлениях Шарля де Голля и на его отношение к орлеанским торжествам после окончания Второй мировой войны. Будут здесь также затронуты вопросы спора вокруг праздника между французскими католиками и коммунистами в 1950-е гг., а также между политиками левого крыла и ультраправым «Национальным фронтом» во второй половине XX – начале XXI века.

Таким образом, в целом праздник 8 мая в Орлеане в настоящем докладе будет рассмотрен как составная часть сначала религиозной

и политической, а затем сугубо политической пропаганды, как феномен национальной памяти французов, которая в каждый конкретный исторический момент наделяла это торжество совершенно особым смыслом.

С.В. Токмянина
(Институт философии и права
Уральского отделения РАН, Екатеринбург)

Школа как институт социально-исторической памяти

Коллективную социально-историческую память можно определить, во-первых, как систему представлений о прошлом, доминирующую в данном обществе в данный исторический момент; во-вторых, как процесс восприятия исторического наследия в новом контексте. Функционирование социально-исторической памяти подчиняется совокупности целей, стремление к достижению которых оформляет социум в единое целое. К ним относится в первую очередь стремление помнить наиболее значимые события национальной истории. Общепринятая трактовка ключевых событий прошлого цементирует общество и способствует формированию национальной идентичности.

Социально-историческая память является обязательным условием существования общества, целостность и стабильность которого обеспечивается сохранением и передачей социально значимой информации. Но память о событии не сводится к объективации прошлого как такового, представляя собой смысловую конструкцию, отягощенную когнитивным и эмоциональным измерениями. Ее задача – трансляция ценностей и помощь в решении проблем, выдвигаемых современностью.

К институтам социально-исторической памяти относятся архивы, библиотеки, музеи, система образования и т.д. Особую роль в деле сохранения, передачи, формирования исторической памяти играет общеобразовательная школа. Школьное историческое образование выполняет не только познавательные, но и воспитательные функции: формирование ценностно-смысловых ориентиров и установок подрастающего поколения, воспитание гражданственности и патриотизма как основополагающих качеств личности.

Содержание школьного курса истории определяется двумя формами социально-исторической памяти: во-первых, научным историческим знанием, во-вторых, системой культурно-исторических образов. Научное историческое знание предлагает концептуальное

обоснование исторических событий (процессов / явлений), базируясь на данных исторических источников. Его сущностными характеристиками являются фундаментальность, системность, доказательность, открытость новому, отсутствие догматизма. Дискуссии, полемика, споры – необходимый элемент научного исторического знания, предлагающего нам альтернативные, противоречивые трактовки исторических событий.

Базовыми элементами системы культурно-исторических образов как формы социально-исторической памяти являются образы прошлого (образы исторических деятелей, исторических событий), память о которых сохраняется благодаря созданию архивов, музеев, библиотек, сооружению монументов, организации государственных праздников. В систему культурно-исторических образов включаются значимые с точки зрения преобладающих в обществе ценностей и идеалов исторические события, имеющие значительный потенциал для реализации задачи консолидации социума. По мере отдаления того или иного исторического события от современности заметна тенденция упрощения, схематизации образа.

Отбор данных, подлежащих сохранению, может осуществляться как сознательно, целенаправленно, так и стихийно. Избирательность социально-исторической памяти обусловлена рядом внешних ограничений, обеспечивающих приемлемость символической репрезентации прошлого в настоящем. Из необозримого множества событий и образов прошлого память берет то, что кажется необходимым помнить, то, что полезно и помогает справляться с актуальными жизненными проблемами, и отбрасывает то, что представляется лишним или неприятным.

На современном этапе содержание и структура школьного курса отечественной истории определяется Историко-культурным стандартом, являющимся частью Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, принятой в 2013 г. Этот программный документ представляет собой единую концепцию истории России, которая легла в основу содержания трех «линеек» учебников по отечественной истории для 6-х – 10-х классов общеобразовательной школы.

Принципиальные изменения в школьном историческом образовании свидетельствуют о том, что образ прошлого не является константой. Происходящие в современном российском обществе политические, экономические, социальные, культурные процессы обусловливают формирование нового взгляда на отечественную историю. Создание Историко-культурного стандарта свидетельствует об очередной реструктуризации исторического прошлого нашей страны. При этом приоритетной оказывается не последователь-

ность реально произошедших исторических событий, а возможность трактовки смысла своего прошлого и, следовательно, конструирование своей самобытности.

Формирование единой концепции истории России призвано способствовать решению ряда проблем, существование которых ставит под угрозу целостность российского общества. Речь идет об укреплении российской национальной и гражданской идентичности, патриотическом воспитании молодежи. Особое значение приобретает формирование представления о национальной истории как о целостном, неразрывном процессе, в котором современный человек может найти обоснование и своему существованию как в качестве личности, так и в качестве гражданина.

В деле социализации и воспитания школьников важную роль играет и научное историческое знание, и система культурно-исторических образов. В процессе обучения истории учащиеся должны не только познакомиться с достижениями исторической науки, но и воспринять систему идеалов и ценностей современного общества. Таким образом, перед учителями истории стоят противоречивые цели: с одной стороны, необходимо знакомство с «трудными» вопросами российской истории, не имеющими однозначной, непротиворечивой оценки; с другой – нужно преподнести детям целостное представление о прошлом нашей страны, избегая альтернативных концепций.

Рассмотрим, как трактуется в отечественной историографии и, соответственно, в Историко-культурном стандарте исторический выбор Александра Невского. В отечественной исторической литературе преобладает точка зрения, что в XIII веке Русь не могла противостоять одновременно натиску немцев с Запада и монголов с Востока. В сложных условиях, в которых оказалось Русское государство после ордынского завоевания, Александр Невский сделал единственно правильный выбор, приняв твердый политический курс на ханское покровительство. В зарубежной историографии существует альтернативная концепция, в рамках которой отрицается наличие планируемого крестового похода на Русь с Запада в 1240–1242 гг., а Невская битва и Ледовое побоище рассматриваются как обычные пограничные бои между Новгородом и его соседями.

Наличие противоречивых мнений о политике Александра Невского убедительно доказывает, что вопрос о реальности и достоверности произошедших в XIII веке событий оказывается менее важным, чем их значимость для настоящего времени. Образ Александра Невского – героя, патриота, защитника Русской земли – имеет колоссальное значение для современного российского общества. Изучение Невской битвы и Ледового побоища на уроках истории обла-

дает мощным воспитательным потенциалом, способствует формированию патриотического мировосприятия подрастающего поколения. Поэтому, независимо от характера дискуссий в исторической науке, в Историко-культурном стандарте, и, соответственно, во всех новых учебниках по истории России деятельность Александра Невского оценивается положительно.

Появление единой концепции отечественной истории свидетельствует о начале выстраивания единого пространства социально-исторической памяти, основной функцией которой является консолидация и идентификация современного российского общества. Обретение общего прошлого сигнализирует о попытках построения и общего будущего с особой системой идеалов, ценностей, символов и ритуалов. В этих условиях возрастает значимость школьного исторического образования не только в деле сохранения и передачи, но также формирования и развития социально-исторической памяти.

Н.М. Топал
(Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева)

Полиэкранное воздействие как средство сохранения исторической городской среды: постановка проблемы

Тенденция роста исследовательского интереса к проблемам сохранения объектов историко-архитектурного наследия в современном обществе свидетельствует о том, что тема изучения давно вышла за дисциплинарные рамки одной науки. Вопросами сохранения памятников, как неотъемлемой части исторической городской среды, занимаются архитекторы, правоведы, социологи, культурологи, философы и историки, интерес которых не ограничивается изучением объекта, как такового, с точки зрения конкретной исторической судьбы или ценности визуального восприятия.

Период, начиная с зарождения института сохранения памятников в нашей стране и заканчивая серединой прошлого столетия, можно охарактеризовать как борьбу прогрессивно мыслящих и патриотично настроенных одиночек. Одним из тех, кто внес неоценимый вклад в популяризацию и защиту историко-культурного наследия, был русский художник, философ, путешественник, археолог и общественный деятель Николай Константинович Рерих, который в 1903 г. писал: «Верю: скоро к нашей старине придут многие настоящие люди. Кроме археологических учреждений будут задуманы

общества друзей старины» [*Рерих Н.К.* Берегите старину Москва: Международный Центр Рерихов, 1993. С. 6].

Масштабная деятельность в этом направлении развернулась с 1965 г., когда появилось Всероссийское добровольное общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), сыгравшее огромную роль в деле изучения и пропаганды историко-культурного наследия. Доходы общества формировались за счет членских взносов и благотворительных пожертвований. Пик расцвета деятельности Общества наблюдался приходится на 70-е гг. годах XX века. Так, например, в 1978 г. сумма членских взносов и иных доходов составила более 10 млн рублей, из которых 5 млн было выделено на консервацию и реставрацию памятников.

В 1966 г. появилась Государственная инспекция по охране памятников при Министерстве культуры РСФСР, введены должности инспекторов местных отделов культуры. С 1980 г. в Конституции СССР, РСФСР и Татарской АССР введены статьи о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей. Началось формирование целого направления в культурном строительстве страны. К 1980 г. ВООПИиК насчитывало в своих рядах 13 млн человек. Одной из форм культурно-просветительной деятельности того периода являлись всенародные смотры памятников.

С 90-х гг. ряды градозащитников заметно поубавились. Это было связано с изменениями в государственной, политической и экономической жизни страны, когда общество вступило в фазу социокультурного шока, в результате которого появились разногласия внутри Общества, и многие региональные отделения закрылись. Памятникоохранительная работа приняла вялотекущий характер и оставалась таковой до начала 2000-х.

Рассматривая историю памятнико-охранительного движения, можно отметить, что в течение всего периода сохранения историко-культурного наследия темпы их разрушения заметно опережали темпы восстановления; охранные меры применялись лишь к тем категориям памятников, которые соответствовали идеологической направленности политического строя. Представляется, что сохранность исторического наследия всецело зависит от степени культурной зрелости общества и целенаправленного конструирования общественного сознания. Для осознания исторической ценности культурного наследия необходима система многоуровневого влияния, которую можно назвать *механизмом полиэкранного воздействия*. От его четкой и слаженной работы зависит формирование нового представления о культурной памяти.

Полиэкранный механизм включает в себя три основных сегмента:

- *средовой экран* воздействует на общественное сознание путем наблюдения широкими слоями социума за изменяющейся общей культурной характеристикой окружающей среды;
- *инфо экран* оказывает влияние с помощью средств массовой информации – печатных, телевизионных, интернет-изданий;
- *целевой образовательный экран* способен повлиять на изменение общественного сознания путем внедрения профильных просветительских и инновационных программ в системы обязательного и дополнительного образования;

Средовой экран в большей степени оказывает косвенное влияние, в результате которого рефлексия любого характера дает качественный результат в изменении общественного сознания. Рассмотрим действие данного механизма на примере Татарстана.

В 1990-е гг. определяющим фактором градостроительной политики стала реализация «Программы ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья в г. Казани», рассмотренная Президентским Советом 23 октября 1995 г. За 8 лет ее реализации 33 тыс. 306 семей переселились из ветхого жилья в новые квартиры. К сожалению, этот период в рамках новейшей истории республики положил начало тенденции стихийной утраты исторической городской среды. Согласно справке ежегодного городского статистического бюллетеня за 2005 г. на территории Казани официально зарегистрировано 759 памятников истории федерального, республиканского и местного значения. В Перечне объектов культурного наследия 2015 года по данным сайта Министерства культуры Республики Татарстан их осталось уже 457. Почти 40 процентов памятников исчезло из списка. Некоторые из памятников были разрушены (например, Дом Потехина, Номера Банарцева), а другие выведены из Перечня объектов культурного наследия. За позитивными тенденциями по отношению к населению последовали негативные, повлекшие разрушения и утраты ценных объектов исторической городской среды, что впоследствии оказало деструктивное влияние на общественное сознание. Исторические кварталы с развалинами старинных домов вызывали негодование местных жителей. Это отразилось в мероприятиях протестного характера местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, гражданских активистов и патриотично настроенной молодежи.

Сложившаяся обстановка привела в движение другой сегмент полиэкранного механизма – *инфо* экран. Поворотным моментом в работе инфо сегмента послужил снос сразу трех памятников культурного наследия в 2011 г. Однако эти исторические здания до сих пор числятся в реестре охраняемых государством. Представители Татар-

станского отделения ВООПиК и общественных организаций вступили в открытый диалог с министром культуры РТ, мэром города, главным архитектором Казани. Так было остановлено поглощение исторического центра города новоделами под коммерческое использование. Прогулки президента с главами профильных министерств освещались средствами массовой информации. Общественно-государственное партнерство вышло на новый уровень и из формата противодействия перешло в формат конструктивного диалога.

Целевой образовательный экран имеет первостепенное значение по степени влияния на общественное сознание. Изучение памятников в рамках школьного краеведения рассматривается в виде компонента исторического образования. От профессиональной подготовки учителя зависит уровень и эффективность изучения вопроса сохранения историко-культурного наследия. Важная роль в изучении данной проблематики в современных условиях отводится международному опыту.

На современном этапе богатый опыт по изучению историко-культурного наследия необходимо адаптировать к условиям модернизирующегося общества, создать «новое лицо» просветительской работы с использованием телекоммуникационных средств. Такая работа ведется на кафедре истории и связей с общественностью в Казанском научно-исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева. Изучение объектов истории и культуры, создание видео и социальной рекламы с целью популяризации памятников и градозащитной деятельности поднимают качественной уровень просветительской работы. В результате такого подхода реципиенты сами становятся коммуникаторами, что в итоге усиливает познавательный эффект. Формат новой просветительской работы предполагает транстехнологичность. Коллективное слаженное взаимодействие обучающих структур на разных уровнях при таком подходе образует единое ядро целевого направления полиэкранного механизма.

Вместе с тем, историческая среда нуждается не только в сохранении объектов, но и в защите городского пространства от проникновения в нее дисгармоничных новоделов, нарушающих стилистику местности старинных городов. Только в условиях полноценного функционирования полиэкранного механизма можно ожидать синергетического эффекта и изменения общественного сознания.

Рольф Торстендаль (Rolf Torstendahl)
(Уппсальский университет, Швеция)

Evidencing in history-writing

My paper will develop four main points. 1) The link between the sources used by the historian and the statements advanced by the same historian by reference to these sources is never logically undisputable. 2) It is therefore important to make the link as plausible as possible. 3) In order to make the new knowledge that the historian wants to develop from the sources important for other researchers it is important that the new knowledge is not only plausible or, with another terminology, likely, but it should also be fruitful (for the solution of other problems of historical research). 4) I will connect the plausibility and fruitfulness (or with another terminology used by Peter Lipton: likeliness and loveliness) with the revolution in historiography that has occurred from the 1960s at least up to the turn of the century.

Regarding the first point a suitable starting point is the British philosopher and historian R.G. Collingwood's example of the murder of John Doe. He makes out of this a small crime mystery, which he connects with the historian's way of working with historical material. Though this example is well-known I will discard it in favour of Stieg Larsson's well-known Millennium trilogy, more closely with the mysterious disappearance of Harriet Vanger thirty years earlier, in its first part, and the solution of the mystery step by step by the heroes of the novel. The point is that the history of the disappearance seemed to be solved as well as possible by the police at the time, but slowly new pieces of evidence are brought forth by the main persons. Their task is to find a theory that explains both the old evidence and the new.

The second point may be hinged on the same example. When new evidence is found new possibilities turn up. The heroes of the novel are trying to find suitable explanations, and they discard a lot of them. The reason is that they are not plausible enough. A sheer possibility is not enough, if the possibility requires a lot of complex preconditions, which cannot be checked but are difficult to believe to have been true without specific evidence. Thus they work their way through old and new materials, uncovering (as it is a thrilling crime novel) deaths and murders in the past, and the fact that the disappearance was no disappearance. Plausibility is a crucial condition both for history and well-written crime fiction.

The third point leads beyond crime fiction. A good historical investigation makes the historian explain what is found through an examination of written and other materials in a way that is as far beyond doubt as is possible through the elimination of alternatives. Then it is plausible (as is

Behan McCullagh's term) or likely (Peter Lipton's term). McCullagh has investigated historians' practices, and he finds several conditions that have to be fulfilled to make the explanation as wide and fruitful as possible. Thus he is seeking fruitfulness in the given problem. Lipton, who is not dealing with history-writing or historical evidencing, talks about loveliness as the criterion of a favourable explaining theory, which he finds in its usefulness for the solution of other problems (talking about the natural sciences). I rather accept Lipton's reasoning and transfer it to history.

The fourth point, then, is an application to historiography of Lipton's distinction between likeliness (plausibility) and loveliness (fruitfulness). What happened in the writing of history within academia from the 1960s and onwards was a break with historiographical tradition. Fruitfulness had led a very obscure existence in historiography in the West, where it was taken for granted that political actions and institutions was what history was about. In the Soviet Union fruitfulness was more directly proclaimed to be attached to a materialist conception based on class and exploitation. In both cases there was no alternative conceptions of fruitfulness, and the core attention was directed to source-criticism and plausibility. The alternatives that rapidly grew in number and qualities from the 1960s and onwards (world systems history, gender history, micro history, global history etc.) were based on what I have called optimum norms. They gave rise to criteria for problem-setting and thus also for what was fruitful in historical research.

В.С. Трофимова
(независимый исследователь, Санкт-Петербург)

Образы англичанок-драматургов в «Театре английских женщин» из «Дамского Парнаса» Луи Эдма Бийардона де Совиньи (1773)

Литературные переводы являются ценнейшим источником для изучения межкультурных коммуникаций, образа «других» и чужой культуры. Десятитомная антология «Дамский Парнас» (Parnasse des dames) 1773 г. под редакцией французского литератора и журналиста Луи Эдма Бийардона де Совиньи относится к числу забытых проектов по продвижению женских литературных произведений, созданных не только на французском, но и на других европейских языках с древнейших времен до эпохи Просвещения. Два тома под названием «Театр английских женщин» содержали произведения виднейших английских женщин-драматургов второй половины XVII – начала XVIII века: Афры Бен, Анны Финч и Сьюзен Сентливр.

«Театр английских женщин» был напечатан известным издателем Никола Рюо (1742–1828), который известен тем, что в 1785 г. издал знаменитую комедию Бомарше «Женитьба Фигаро». Он был другом философов и автором «Похвалы Вольтеру» (1788). С 1773 по 1785 г. он выпустил в свет несколько периодических изданий.

Первый том «Театра английских женщин» содержал три трагедии Афры Бен – ее первую пьесу «Брак по принуждению» 1670 г. (французское название – «Эрминия и Филандр»), «Абделазар» (1677) и «Молодой король» (1679). Кроме того, в сборник была включена трагедия Анны Финч, графини Уинчелси, «Аристомен» (1713). Первый том также содержал «Жизнеописание мадам Бен», на котором мы остановимся подробнее. Во второй том были включены две трагедии Сьюзен Сентливр – «Муж-клятвопреступник» (1700) и «Жестокий дар» (1716) – и ее комедия «Марпло, или Вторая часть “Хлопотуна”» (1710). Кроме того, второй том содержал фарс Афры Бен (во французском переводе он был определен как комедия) «Император Луны» (1687). Во втором томе также присутствовало «Жизнеописание мадам Сентливр», представляющее большой интерес.

Неудивительно, что французские составители «Театра английских женщин» выбрали в качестве авторов двух виднейших женщин-драматургов Англии рубежа XVII–XVIII веков – Афру Бен и Сьюзен Сентливр. Афра Бен (1640–1689) была одним из самых плодовитых драматургов периода Реставрации. При жизни Бен ее пьесы шли на сценах английских театров с большим успехом. Некоторые из ее комедий оставались в театральном репертуаре весь восемнадцатый век. Сьюзен Сентливр (1667–1723) получила известность как вторая дама на английской сцене после Афры Бен. Она была автором девятнадцати пьес, большую часть которых составляли комедии. В комедии «Чудо» блистал величайший английский актер XVIII века Давид Гаррик. То, что к Бен и Сентливр французские составители «Театра» прибавили Анну Финч, графиню Уинчелси, может вызвать удивление, так как Финч получила куда большую известность как поэтесса, а среди преемниц Афры Бен в английской драматургии можно найти не только Сентливр, но и Деларивьер Менли, Кетрин Троттер, Мери Пикс и Пенелопу Обин – плодовитых и довольно успешных драматургов. Однако еще большее удивление, чем включение в двухтомник пьесы Анны Финч, вызывает выбор пьес Афры Бен и Сьюзен Сентливр. Странным образом французские составители сборника игнорируют самую знаменитую пьесу Бен – комедию «Странник» (1677) и ее продолжение 1681 года. Пьеса «Странник» имела важного покровителя в лице Иакова, герцога Йоркского – будущего короля Иакова II. Интересно, что эту же пьесу выбрали в 1690 г. для празднования дня рождения короля Виль-

гельма III, который был противником Иакова и супругом его дочери Марии. Королеве Марии пьеса не понравилась, хотя исполнитель роли Уилмора Уильям Маунтфорт заслужил ее похвалу. Не включили французские составители в двухтомник и самые известные комедии Сьюзен Сентливр – «Игрок» и «Игровой стол» (обе 1705 г.) и «Хлопотун» (1709), выбрав продолжение «Хлопотуна» и трагедии. Не вызывает сомнений выбор фарса Афры Бен «Император Луны» – наряду со «Странником» эта пьеса держалась в репертуарах английских театров на протяжении всего XVIII века.

Особое внимание следует уделить образам Афры Бен и Сьюзен Сентливр, которые созданы в двух развернутых биографических очерках, включенных в двухтомник. В обоих жизнеописаниях прославлялись таланты писательниц, их стремление к знаниям и разносторонность их интересов. Афру Бен автор жизнеописания называет одной из женщин XVII века, которая сделала честь своему полу. Ее отцом он называет некоего Джонсона – негоцианта из Кентербери, который по поручению королевского двора отправился в Суринам. Автор жизнеописания утверждает, что Афра Бен потратила шесть или семь лет на то, чтобы овладеть латынью, французским, немецким и другими языками. По возвращении в Англию Бен была представлена королю Карлу II, который отправил ее с особым поручением во Фландрию. Однако ее деятельность вызвала зависть со стороны министров, и ей пришлось оставить политику. Она вышла замуж за богатого негоцианта из Голландии господина Бена и обратилась к литературе. По мнению автора жизнеописания, Афра Бен равным образом преуспела в трагедии и комедии.

Особый интерес представляет последняя часть жизнеописания Афры Бен. Автор отмечает, что в конце жизни она заинтересовалась серьезными науками – философией, математикой, хронологией и даже теологией. Он упоминает ее перевод на английский язык «Бесед о множественности миров» Бернара Бовье де Фонтенеля. Вместо образа распущенной дамы-драматурга, чьи пьесы полны непристойностей – образа, распространенного в английской литературной критике, – на страницах жизнеописания Бен из «Театра английских женщин» вырастает образ серьезного литератора с превосходным образованием, интересующегося наукой и философией. По мнению автора жизнеописания, примечания Бен к переводу «Бесед» делают честь ее гению и ее эрудиции.

Жизнеописание Сьюзен Сентливр читается как приключенческая повесть. Сравнивая Сентливр с Бен, автор очерка отмечает, что ее литературные дарования еще более поразительны в силу сложностей, с которыми ей пришлось столкнуться. За свои тридцать семь лет жизни (в силу неясных причин автор жизнеописания относит год рождения

Сентливр к 1680-м годам) ей удалось преодолеть бедность и пробелы в образовании. Имя ее родителей автору очерка неизвестно; возможно, ее отец был выходцем из Франции. Первые годы жизни Сьюзен провела в Ирландии. В возрасте тринадцати лет она встретила молодого студента из Кембриджа Энтони Хаммонда, который стал ее покровителем. Переодевшись в мужское платье, Сьюзен поступила в университет и выказала недюжинные способности к обучению. Однако ей пришлось отказаться от получения степени из-за слухов. Хаммонд расстался с ней, и в возрасте шестнадцати лет Сьюзен вышла замуж за сэра Стивена Фокса, с которым разошлась через год. Она вновь вышла замуж спустя непродолжительное время за офицера Кэррола, но его вскоре убили на дуэли, и Сьюзен осталась вдовой. Она обратилась к литературе и представила свою первую пьесу – трагедию «Муж-клятвопреступник». Автор недоумевает, почему Сьюзен взяла такую тему. Тем не менее, пьеса имела успех. Всего она написала две трагедии и затем обратилась к жанру комедии, который ей подходил больше.

Автор жизнеописания Сентливр отмечает, что она была также и актером, и актрисой, выступая на сцене в мужских и женских ролях. В частности, она играла Александра в «Королевах-соперницах» Натаниэля Ли. Именно в этой роли ее увидел ее будущий – третий по счету – муж Джозеф Сентливр. Их брак был долгим и счастливым. Сьюзен продолжала писать комедии и наслаждалась славой, которую принесли ей ее литературные дарования. В конце жизнеописания Сентливр автор отмечает, что те из ее пьес, которые наиболее популярны в Англии, меньше всего нравятся французскому зрителю. Поэтому из всех ее комедий он выбрал «Марпло», руководствуясь собственным вкусом и хорошей репутацией пьесы. Таким образом, можно сделать вывод, что выбор пьес и Сьюзен Сентливр, и Афры Бен основывался на театральных предпочтениях французского зрителя второй половины XVIII века, а не на популярности той или иной пьесы на родине.

А.С. Усачев
(Московский государственный институт
международных отношений)

О возможных путях и перспективах изучения «массового сознания» в России XVI века*

В специальных работах (по преимуществу историко-филологического профиля) применительно к России XVI века порой

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 15-01-00089а).

используются термины «мировосприятие», «менталитет», «общественное сознание», «политическая мысль», «картина мира» и т.д. При этом конкретные исследования, как правило, ограничиваются сочинениями сравнительно узкого круга писателей (Иосифа Волоцкого, митрополитов Даниила, Макария и Афанасия, Максима Грека, Филофея, Федора Карпова, Ивана Пересветова и др.). Они, как правило, принадлежали к церковно-политической элите России этого времени. Как правило, речь шла о лицах, связанных с очень ограниченным кругом книжных центров (московский Чудов монастырь, митрополичья кафедра, Иосифо-Волоколамский монастырь и др.). Иными словами, речь идет о весьма немногочисленной группе интеллектуалов, с сочинениями которых, судя по состоянию их рукописной традиции, основная масса населения не была знакома. А как воспринимало окружающую действительность подавляющее большинство населения? Поиски ответа на этот вопрос требуют привлечения новых («неофициальных», «массовых») источников.

К числу таких источников можно отнести записи на книгах, происхождение и бытование которых не было связано с церковно-политической элитой. Среди нескольких типов записей на книгах особый интерес для исследователя представляют так называемые выходные записи, сообщающие о переписке той или иной книги. Во-первых, они, как правило, содержат дату. Во-вторых, выходные записи нередко сообщают о месте переписки той или иной книги, а также о круге лиц, причастных к ее созданию (писцах, заказчиках и т.д.). Таким образом, сведения выходных записей привязаны к той или иной дате, а также очень часто к месту и социальной среде. По самым скромным и предварительным подсчетам, речь может идти по крайней мере о 600 датированных выходных записях. Хотя по количеству выходные записи уступают актам (от XVI века их сохранилось не менее 4 тыс.), тем не менее, их можно рассматривать как массовый источник. Какие же сведения можно почерпнуть их этих источников по истории массового сознания?

К числу важных массовых представлений об окружающих людей XVI века реалиях можно отнести представления о власти – как светской, так и духовной. Важной составляющей этих представлений был титул носителя верховной светской и духовной власти. Очевидно, что в титуле отражались представления о статусе того или иного государя или митрополита. Изучение употребления титула «государя всея Руси» в средневековой Руси неоднократно проводилось в историографии – в работах М.А. Дьяконова, В.Е. Вальденберга, В.И. Саввы, В. Водова, А.А. Горского, А.И. Филюшкина и других исследователей. Они, однако, основывались либо на источниках официального происхождения (актах, посольских материалах и т.д.), либо

на сравнительно узком круге литературных памятников. Примерно на той же источниковой базе работали и исследователи, изучавшие особенности употребления титула русского митрополита в рассматриваемый период (В.А. Кучкин, А.И. Плигузов, А.В. Назаренко, Б.А. Успенский и др.). Выходные записи содержат сведения, которые позволяют зафиксировать ряд любопытных казусов, проливающих свет на особенности восприятия смены церковных и политических реалий за пределами узкого круга представителей элиты.

В ходе просмотра текстов примерно 600 выходных записей 1500–1600 гг. удалось выявить целый ряд записей, в которых фиксируются случаи «искажения» официального титула.

Удалось выявить три записи 1503–1551/52 гг., в которых русский митрополит фигурирует как «киевский и всея Руси». Известно, что начиная с 1460-х гг. он уже утратил этот титул и в источниках именуется «всея Руси» или «московский и всея Руси». Важно отметить, что на официальном уровне русские церковные и светские власти в рассматриваемый период (т.е. после окончательного раздела единой русской митрополии) претензий на этот титул и, соответственно, территорию западнорусской митрополии, насколько нам известно, не выдвигали.

С рядом любопытных казусов мы сталкиваемся и в употреблении в выходных записях титула русского государя. В 12 записях 1547–1597 гг. (т.е. уже после венчания Ивана IV на царство в январе 1547 г.) он фигурирует как «великий князь всея Руси» без царского титула. Закономерен вопрос: идет ли речь о случайных описках или данные казусы могут быть связаны с некоторыми другими обстоятельствами?

Отвечая на него, обратим внимание на некоторые общие особенности записей (и содержащих их книг), в которых используется устаревший титул носителей светской и духовной власти.

1. Прежде всего отметим, что, исходя из имеющихся данных, можно предполагать, что в большинстве случаев употребление «устаревшего» титула было характерно для записей книг, происхождение которых не было связано с представителями церковно-политической элиты.

2. По-видимому, длительное бытование старого титула осуществлялось преимущественно на окраинах Русского государства. Так, соответствующие рукописи переписывались в Езжинской волости Ржевского уезда, в Каргополе, а также на территории новгородской и ростовской епархий. Вероятно, в центральной части страны (особенно в крупнейших книгописных центрах) процесс усвоения нового титула шел несколько быстрее. Так, например, нам не удалось зафиксировать случаев подобных нарушений в записях многочисленных книг, переписанных в Троице-Сергиевом и Иосифо-Волоколамском монастырях.

Сказанное выше дает основания полагать, что адаптация какой-то части населения к новым церковным и политическим реалиям происходила со значительной задержкой. Для этой части населения даже через несколько десятилетий после раздела единой митрополии проживающий в Москве владыка продолжал оставаться митрополитом «киевским и всея Руси», а русский государь и спустя многие годы после венчания на царство оставался «великим князем». Вряд ли здесь стоит искать следы каких-либо «оппозиционных настроений» по отношению к московским властям. По всей видимости, речь шла о присущей эпохе средневековья приверженности привычке и традиции. Судя по приведенному выше материалу, их трансформация требовала смены двух-трех поколений.

Л.А. Фадеева
(Пермский государственный национальный
исследовательский университет)

О критике идентитарного подхода

По мере того, как концепт идентичности приобретал популярность в научной среде и становился предметом общественного дискурса, разворачивалась полемика по поводу кризиса самого этого концепта. Сохраняют актуальность критические замечания Р. Брубейкера и Ф. Купера, высказанные в начале 2000-х гг.: «Идентичность может означать слишком много…, слишком мало… или вообще ничего»; исследователи, на их взгляд, капитулировали перед чрезмерно многозначным понятием идентичности как по интеллектуальным, так и по политическим основаниям. За прошедшее после этой публикации время, пожалуй, нет ни одного исследователя идентичности, который бы не попытался предложить свои варианты решения поставленных проблем. Это связано как с тем, что Брубейкер и Купер выделили ключевые сложности идентитарного подхода, так и с их собственными попытками преодолеть методологические трудности анализа идентичности. Они предлагали существенно продвинуть концепт идентичности за счет разработки таких понятий, как идентификация и категоризация; самосознание и место в обществе; общность, связанность и групповая принадлежность; однако им не удалось преодолеть многозначность данной цепочки понятий.

Развитие концепта идентичности продвигалось прежде всего в направлении разработки категорий, характеризующих разные ее измерения – национальная, гражданская, политическая, цивилизационная, варианты социальных идентичностей. Каждая из них вы-

зывала острые дискуссии, связанные с политической релевантностью разрабатываемых категорий, а также вал эмпирических исследований групповых идентичностей.

Упреки в адрес идентитарного подхода звучали и в отечественной научной среде. В конце 1990-х гг. В.С. Малахов замечал, что «идентичность делается составной частью своего рода жаргона, бессознательное употребление которого превращается в норму и научной публицистики, и политической журналистики». Такая практика сделала популярными шутки, что, если не знаешь, как объяснить какое-то явление, надо использовать понятие идентичности.

Это аналогично тому, как лет двадцать назад подшучивали над категорией политической культуры – понятием, которое также относится к субъективному измерению политики. Г. Вьярда рассматривает взлет, падение и последующий ренессанс концепта политической культуры в контексте совокупности факторов научного и вненаучного характера. По его мнению, данный концепт разделил судьбу телеологического оптимизма рубежа 1960–1970-х гг. в отношении демократии и роли США. По мере того, как этот оптимизм уменьшался, а критика американской системы нарастала, снижалась и популярность концепта политической культуры. Ученый фиксирует наличие моды не только в политике (на понятия и стили), но и в политической науке (на подходы и концепты). Вышедший из моды и подвергшийся критике политико-культурный подход, по его мнению, заменила собой политика идентичности – «поздняя реинкарнация политической культуры».

По наблюдению И.С. Семененко, обе категории разрабатываются в качестве инструментария, который позволил бы «выявить механизмы влияния ценностных ориентаций на эволюцию социальных и, в частности, политических институтов». Исследователи идентичности в значительной мере учли критику, которой был подвергнут концепт идентичности – за слабую верификацию, неразработанность методов исследования, недостаточное внимание к эмпирике. Применительно к идентичности апробируются разные варианты операционализации теоретических конструктов, используются разные методы исследований (контент-анализ, социологические опросы, дискурс-анализ и др.).

Многозначность категории идентичности объясняется сложностью ее генезиса. Ученые, которые внесли свой вклад в проблематизацию идентичности – З. Бауман, П. Бергер, П. Бурдье, Э. Гидденс, М. Кастельс, Э. Лакло, А. Мелуччи, Ч. Тилли, Ч. Тэйлор, А. Турен – выходят на этот процесс из разных сфер научных знаний. Для одних идентичность позволяет рассматривать многие черты современности, определяемой как текучая (Бауман), эпоха постмодернити

(Гидденс, Холл). Для других обращение к ней важно в плане определения соотношения универсального и партикулярного (Лаклау, Муфф). Третьи идут к концептуализации идентичности через анализ коллективных действий (Мелуччи, Тилли). Выбор смыслов, борьба за признание – главное, что делает «борьбу за идентичность» политической проблемой для Тэйлора и Кастельса.

Идентичность остается, по выражению З. Баумана, состязательным термином; где бы он ни употреблялся, можно быть уверенным, что речь идет о борьбе: «Идентичность приходит в жизнь в грохоте битвы, и она задремывает и становится безмолвной, когда битва стихает». Это объясняет высокий накал критики разных интерпретаций идентичности.

Справедливо замечание О.В. Поповой, что на современные версии теории идентичности оказали влияние исследователи, стоящие на принципиально разных методологических (и идеологических) позициях. По мере изменения политической ситуации разница в идеологических позициях может оказывать усиливающееся влияние на результаты исследовательской деятельности.

«Поиски идентичности стали императивом. С окончанием холодной войны идентичность становится новым способом делать политику», – замечает Н. Эванс. В ситуации «новой холодной войны» острота проблемы усилилась. Выстраивание политического курса с опорой на конструируемую политическую или макрополитическую идентичность требует от исследователей разработки новых подходов и отказа от устоявшихся стереотипов.

Подходы к политике идентичности в отечественной науке существенно отличаются от западных. В западной науке сохраняется сложившаяся в 1960-е гг. на волне новых социальных движений традиция рассматривать политику идентичности применительно к меньшинствам, ущемленным в правах и претендующим на признание их специфики.

Американский публицист Т. Джитлин в книге «Сумерки общей мечты» совершает нападки на трактовку политики идентичности в интерпретации левых. На его взгляд, надуманная озабоченность идентичностью уводит политику от действительно важных проблем. Он описывает становление идентичности как навязчивой идеи с эпохи Просвещения, распространяет ее на историю американского общества, которое из нации, смотрящей вперед с целью достижения равенства, превратилось, по его выражению, в общество «культурных страусов». Помимо идеологических оснований идентичности, Джитлин ставит вопрос о соответствии идентификации и реальных действий людей. Джитлин оценивает политику

идентичности (в традиционной для американской политической науки трактовке) как гигантскую ошибку в разных ее измерениях.

Нередко политика идентичности оказывается связанной с гендерной проблематикой. Взаимозависимость между оценкой гендера и оценкой концепта и политики идентичности зависит не только от научных факторов. Один из классиков гендерной теории, Дж. Батлер, в 2011 г. была награждена Премией им. Теодора Адорно, наиболее престижной германской наградой за достижения в области философии, искусствоведения и других гуманитарных наук. Это вызвало волну возмущения в еврейском сообществе ФРГ и в Израиле в связи с тем, что Батлер неоднократно высказывалась против политики Израиля, призывала рассматривать Хамас и Хезболлу как элементы глобального левого движения. Ее политические взгляды, трактованные оппонентами весьма ограниченно, были перенесены и на ее научную деятельность. Г. Кернс считает возможным рассматривать эту дискуссию в контексте геополитической идентичности.

В российской науке, как отмечает И.С. Семененко, политика идентичности рассматривается более широко – как целенаправленная деятельность, актором которой выступают как государство, властная элита, так и другие субъекты: публичные интеллектуалы, гражданские активисты, политические партии и др. Разработан исследовательский инструментарий и обоснована значимость отхода от партикуляристского понимания политики идентичности, связанного с конкретным периодом и определенными акторами.

Г. Вьярда, придерживаясь традиционного для американской науки взгляда на политику идентичности, выходит за рамки узкой трактовки, когда рассматривает выстраивание идентичности разными странами. Рассуждая о различиях в понимании политики идентичности и политической культуры, он говорит, что политическая культура больше сосредоточена на анализе национального уровня или разнице между нациями и странами, в то время как политика идентичности сфокусирована на субгруппах. Он закономерно ставит вопрос, почему бы в рамках политико-культурного подхода не исследовать субгруппы, а применительно к политике идентичности не подняться на уровень национальный и международный.

Проблематизация концепта идентичности наталкивается на разнообразные препятствия: научные, идеологические, идейные, политические и др. Нередко, а в последнее время все чаще, выработка концепта идентичности выходит за пределы академического поля в сферу публичной политики, которая тоже переживает серьезную трансформацию.

М.А. Филимонова
(Курская академия государственной и
муниципальной службы)

Историческая мифология перед Войной за независимость США (на примере представлений об Английской революции середины XVII века)

1763–1775 гг. в североамериканских колониях были годами кризиса. Естественным образом в это время актуализировалась историческая мифология. По своему самосознанию колонисты были еще британцами. Историю Великобритании они воспринимали как «свою». Ключевые события английской истории в их воображении мифологизировались, становились частью мировой борьбы между Свободой и Тиранией. Разумеется, одним из ключевых эпизодов исторической мифологии Американской революции стала Английская революция середины XVII в. Восприятие американцами событий английской истории XVII в. в большой мере определялось уже устоявшейся в метрополии историографической традицией. В наибольшей степени прослеживается влияние таких авторов, как Д. Юм и К. Маколей.

В Америке юмовское противопоставление Английской революции середины XVII века (Великого мятежа) и Славной революции (мирной и конституционной) взяли на вооружение тори. Например, нью-йоркский тори С. Сибери пытается развести Славную революцию с начинающейся революцией в Америке. Первая была необходимым эпизодом английской истории, вторая является чередой бессмысленных насилий, вызванных эгоизмом спекулянтов или интригами республиканцев.

Американские виги, в свою очередь, чаще вспоминали героев «Великого мятежа». Революция середины XVII века обрастала в вигских текстах положительными коннотациями. Были в их восприятии своеобразные черты.

Современные историки обычно сосредоточивают внимание на достижениях Английской революции, уничтожившей феодальные пережитки и королевский абсолютизм. Американцы же рассматривали Английскую революцию однозначно – как потерпевшую полное поражение. В этом была своя логика. Политики XVIII века рассматривали главным образом политическую сторону революционного процесса. Нестабильность английской республики была для них свидетельством провала.

Американские вигские трактовки – определенно антироялистские, торийские оценки Юма они полностью отвергают и следуют скорее за К. Маколей. Так, Карл I упоминается в знаменитой репли-

ке Патрика Генри в числе тиранов, поплатившихся за свой деспотизм. Огромной популярностью пользовались лидеры пресвитерианского крыла революционеров: Дж. Гэмпден, Дж. Пим. Их имена часто использовались в качестве авторских псевдонимов в американской прессе. Возможно, выбор именно Пима и Гэмпдена (а не, допустим, графа Эссекса или графа Манчестера) был обусловлен тем, что оба они умерли в 1643 г. и не дожили ни до суда над королем, ни до установления республики. Пим был сторонником парламентской монархии, именно того режима, против которого и боролись американские виги, но воспринимался как борец за абстрактную «свободу», практически республиканец. Из биографии Гэмпдена вычленялись героические эпизоды, связанные с его отказом платить «корабельный налог» и с его гибелью на поле боя. Большое значение имела его оппозиция Карлу I в начале революции, борьба за свободу слова и права парламента. То, что Гэмпден не был республиканцем, игнорировалось. Зато республиканизм индепендентов вовсе не фигурировал в американских текстах; вопрос о характере Английской республики (а она была индепендентской) не ставился. Как обычно и бывает в мифологии, сложный реальный образ упрощался, терял многозначность. Американские виги брали из биографий английских «круглоголовых» лишь то, что отвечало их собственным представлениям, превращали их в своем воображении в несгибаемых борцов с деспотизмом.

Характерно противопоставление позитивно окрашенного образа Английской республики (и шире – Гражданских войн) и негативного образа протектората. В протекторате американские виги видели не переходную форму от республики к монархии, а монархию в чистом виде. Дж. Куинси весьма характерным образом сравнивал Гражданские войны и протекторат: «Англичане, которые с божественным энтузиазмом поднялись против Карла I, постыдно покорились узурпации Кромвеля». Период протектората, сам титул «лорда-протектора» порождали у американцев лишь негативные ассоциации. Зато Оливер Кромвель оказывался фигурой неоднозначной. А. Гамильтон упоминает Кромвеля наряду с Цезарем как узурпатора, уничтожившего свободу своей страны. Мерси Уоррен противопоставляла «добродетельного Гэмпдена» «лицемерному и деспотичному Кромвелю» и рассматривала протекторат как шаг к реставрации Карла II.

Подобные примеры можно было бы умножить. Но в то же время Кромвель не считался (в отличие от Юлия Цезаря или Суллы) просто честолюбцем, опьяненным жаждой власти. Кромвель казался деспотом, но он же оставался республиканским генералом, победителем при Вустере и Данбаре, создателем армии «новой модели».

Есть свидетельства вполне позитивного восприятия Кромвеля в просвещенческой Америке. Например, в Бостоне существовала популярная гостиница под названием «Голова Кромвеля». Над входом висела вывеска с изображением самого Кромвеля, причем так низко, что входящие вынуждены были кланяться лорду-протектору, чтобы войти в гостиницу. Владелец гостиницы состоял в числе «Сынов свободы». Псевдоним «Кромвель» в 1770-х гг. несколько раз появлялся в новоанглийских газетах. Например, в 1773 г., во времена Чайного акта, автор, скрывшийся под этой подписью, на страницах «Boston Gazette» призывал американцев отстаивать свои права. Один из первых приватирских кораблей Массачусетса носил имя Кромвеля.

Итак, пресвитериане и индепенденты получали у американцев своеобразную и неожиданную трактовку. Более умеренные пресвитериане парадоксальным образом считались твердыми республиканцами. Индепенденты и их вождь Оливер Кромвель, напротив, воспринимались прежде всего как лицемерные губители свободы, хотя за Кромвелем признавались и некоторые положительные качества.

Более радикальные партии Английской революции, как ни странно, вообще выпали из американского революционного дискурса. В американских текстах второй половины XVIII века не удалось обнаружить ни одного (!) упоминания о Дж. Лильберне или, скажем, о Дж. Уинстенли. Диггеры оставались «белым пятном». Остается сделать вывод, что об этом движении американцы попросту ничего не знали. Ситуация с левеллерами сложнее. Популярная в Америке К. Маколей высоко оценивала «Народное соглашение» и левеллеров вообще. Но американцы не соглашались с английской республиканкой. Сам термин «левеллеры» был им прекрасно известен и применялся к эгалитаристским движениям – причем в негативном ключе. Так, нью-йоркские «Сыны свободы» называли левеллерами бунтующих фермеров, желая высмеять их. В то же время легко заметить, что «Народное соглашение» и американская революционная идеология имели между собой немало общего. Республиканизм левеллеров, их борьба за политическую свободу, требование расширения избирательного права откликаются эхом в американских конституциях революционного периода. Популярный в просвещенческой Америке лозунг: «Ежегодные выборы – единственная защита от тирании», – определенно восходит к Лильберну и его критике Долгого парламента. Но о связи лозунга с левеллерами американцы, похоже, ничего не знали.

В целом можно сделать вывод о том, что восприятие ключевых событий английской истории в Америке было избирательным и мифологизированным. Исторические мифы о событиях, начиная с англосаксонского периода и заканчивая революциями XVII века, вы-

страивались в целостную и непротиворечивую, хотя и далекую от исторических реалий картину. Так же, как американцы вчитывали нужное им содержание в Великую хартию вольностей, они рисовали нужные им образы Гэмпдена, Пима, Кромвеля и других лидеров Английской революции середины XVII века.

В американских политических текстах совершенно не фигурируют диггеры. Левеллеры упоминаются только в негативном ключе. О Кромвеле американцы помнили главным образом то, что он уничтожил республику и стал лордом-протектором, но наряду с этим встречался и позитивный образ революционного генерала, победителя роялистов. Символами борьбы за свободу были Гемпден и Сидней. Образ Кромвеля оставался амбивалентным.

С. Филиппов
(Будапештский университет им. Лоранда Этвеша)

Венгерская политика памяти и образ России (2010−2015)

Доклад посвящен образу России в венгерской политике памяти 2010−2015 гг., в период пребывания у власти правящей коалиции во главе с партией «Фидес». Коалиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия (ХДНП), объявившие себя сторонниками национально-христианского курса, отводят особо важную роль политике памяти, которая должна укрепить идентичность поддерживающего их электората и наметить однозначные исторические ориентиры, отличные от исторических приоритетов левых и либералов. Принципиальные и правовые основы этой политики определены в Основном законе Венгрии, принятом квалифицированным парламентским большинством правящей коалиции 25 апреля 2015 г. События и ценности, выделенные в Основном законе: принадлежность к христианской Европе, национальная независимость и суверенитет, а также радикальный разрыв с коммунистическим прошлым, – логически приводят к тому, что Россия и СССР появляются в венгерской политике памяти прежде всего как воплощение негативных явлений, препятствующих стремлению венгров к национальной независимости. Этот мотив подчеркнуто появляется в двух из трех национальных венгерских праздников: годовщине революции и национально-освободительной войны 1848–1849 гг. (15 марта) и годовщине революции 1956 г. (23 октября).

В то же время, если, находясь в оппозиции, партия «Фидес» охотно прибегала к антироссийской (антисоветской) риторике, то придя к власти, она под давлением политической и экономической

необходимости, из-за особого отношения к Евросоюзу и т.д. вынуждена вести себя гораздо более осмотрительно, иногда непоследовательно и противоречиво. В результате наблюдается парадоксальная двойственность: в символической политике образ России (СССР) на основании исторического опыта подается как олицетворение угнетения, может даже использоваться для критики Евросоюза как организации-диктатора, ограничивающей национальный суверенитет своих членов («Брюссель ведет себя как Москва»), но, с другой стороны, в настоящее время Россия может подчеркнуто подаваться и как залог независимости Венгрии от ЕС, как реальный политический противовес зависимости от Запада и даже в качестве идеологического образца (см. высказанную В. Орбаном концепцию «нелиберального государства»). Интересно, что параллельно с этим «улучшением» образа России у правых наблюдается обратное явление (явное усиление критики России) у сил оппозиции (левых и либералов).

Эта противоречивая ситуация освещается в докладе в свете таких мер политики памяти, как изменение названий улиц, установка памятников, отношение к определенным историческим событиям и внутриполитические дискуссии.

А.И. Филюшкин
(Санкт-Петербургский государственный университет)

«Мобилизация тирана»: образ Ивана Грозного в «войнах памяти» на постсоветском пространстве[*]

В идеологической и политической практике Нового и Новейшего времени нередки случаи обращения к образам и конструктам Средневековья с целью применения их к новым условиям и достижения результатов в деле государственного и национального строительства. Очевидно, что обращение к мифологемам о своем происхождении и «началах», первых шагах истории, которые определяют все остальное будущее, является общим и важным, системообразующим элементом как государственной идеологии, так и общественных и национальных идеологических конструктов. Этот феномен особо актуализируется в XXI веке, в эпоху возникновения но-

[*] Тезисы подготовлены при поддержке РНФ, грант «“Мобилизованное средневековье”: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в новое и новейшее время», проект № 16-18-10080.

вых национальных государств, которые тут же начали «войны памяти» и борьбу за историческое наследство.

Здесь особое место занимает образ Ивана Грозного (1533–1584). Если не принимать во внимание эпохальных деятелей советского периода, таких как В.И. Ленин и И.В. Сталин, то из правителей России в соседних государствах, бывших союзных республиках, а также в регионах России больше, чем Ивана Грозного, помнят только Петра I. Фигура первого русского царя стала символической и прочно связывается в исторической памяти с ролью России в судьбах народов постсоветского пространства. После распада СССР образ Ивана Васильевича стал привлекаться в учебной и научно-популярной литературе на постсоветском пространстве как образ русского правителя вообще, исторический типаж, средство обличения «русского империализма» и «московского деспотизма».

Белоруссия. В конце XX века стал доминировать дискурс исторической преемственности Великого княжества Литовского и Белоруссии. С конца XV века нарастает военное противостояние России и Великого княжества Литовского, достигающее апогея в годы Ливонской войны Ивана Грозного. Образ «Ивана Жахливого» оказался созвучным сразу нескольким дискурсам исторической памяти белорусов. Это «дискурс перманентной жертвы» – белорусская нация как жертва исторических обстоятельств, чужеземной агрессии (взятие Иваном Грозным Полоцка в 1563 г.); «дискурс героического прошлого» (победы Стефана Батория над московитами в 1579–1581 гг.), «дискурс европейских ценностей» (белорусско-литовская шляхта Великого княжества Литовского «выбрала» на престол демократических королей (Генриха Валуа и Стефана Батория) и «провалила» кандидатуру «тирана Васильевича» в 1573–1575 гг.). Белорусские интеллектуалы создали в XVI веке целый ряд сочинений, разоблачающих «московскую тиранию», и их произведения, разоблачающие «Жахливого», – свидетельства принадлежности средневековой Белоруссии к культуре европейского Ренессанса.

Тем самым Иван Грозный – востребованный негативный персонаж, антигерой, занимающий важное место в исторической памяти, лежащей в основе национальной истории белорусов. Здесь особый резонанс имели дискуссии вокруг монографии Д.М. Володихина о взятии Полоцка в 1563 г. Книга была подвергнута резкой критике со стороны белорусских историков и публицистов за архаичную «промосковскую» позицию, вышел целый ряд как научных работ (например, Г. Сагановича), так и сочинений писателей и журналистов (например, В. Орлова, С. Тараса), разоблачавших преступления Ивана Грозного под Полоцком. Особенно педалировалась тема убийств царем европейцев (монахов-бернадинов)

и полоцких евреев (хотя сведения в источниках об этих казнях носят легендарный характер, но здесь мы видим явную апелляцию к европейским историческим фобиям). С немецкого был переведен на белорусский немецкий «летучий листок» «Жалобный плач города Полоцка» 1563 г.; в переводе подчеркивается, что Полоцк изображен развитым европейским городом, а Иван Грозный – восточным тираном.

Прибалтика. В Литве во многом повторяются белорусские дискурсы, с той разницей, что литовцы считают легитимными наследниками Великого княжества Литовского себя, а не белорусов. То есть лавры жертв и победителей «московского тирана» в Ливонской войне, с этой точки зрения, принадлежат литовцам, а не белорусам. Прибалтийская специфика проявляется в большом количестве материальных памятников (развалин замков), которые иной раз моделируются под «памятники агрессии Ивана Грозного» (в таллиннской башне Кин-инде-Кек в стену были позже вделаны каменные и железные ядра, которые показывают туристам как следы нападения «армии царя Ивана», «варварского обстрела Ревеля»). Причем Иван Грозный, как рассказывают экскурсантам, виноват в разрушении большинства демонстрируемых сооружений, хотя эти замки и храмы были разрушены польскими, шведскими, русскими армиями в XVI–XVIII веках. Знаменитый флюгер таллиннской ратуши Старый Томас – это солдат Ревеля, воевавший с Иваном Грозным. Несколькими изданиями вышли детские книжки про Старого Томаса, который, еще будучи мальчиком-героем, побеждал захватчиков-московитов. Борцы с тираном стали знаковыми фигурами местной культуры – так, немец Бальтазар Рюссов, автор хроники о Ливонской войне, представлен как «первый эстонский просветитель», деятель национальной эстонской культуры на том основании, что в приходе церкви, где он служил пастором, были горожане-эстонцы.

Украина. Образ Ивана Грозного мало востребован в сюжетах собственно украинской национальной истории (общий символический образ «московского тирана» мы здесь не рассматриваем, он достаточно банален). Русский царь выступает как антипод польского короля Стефана Батория, с легендарных жалованных грамот и привилегий которого в 1570-е гг. началась официальная история запорожского реестрового казачества. То есть он востребован как фигура противопоставления, причем, прежде всего, в области политической культуры (по-европейски демократичный польский король, покровитель украинского казачества, и московский деспот, от которого бегут лучшие воеводы, например, князь Дмитрий Вишневецкий-Байда, герой казацкого фольклора).

Россия. В русской исторической памяти образ Ивана Грозного наиболее неоднозначен, что связано, прежде всего, с региональной

спецификой. На Северном Кавказе женитьба царя Ивана на Марии Темрюковне и служба черкасских князей при московском дворе воспринимается как знак почестей, которые в XVI веке Москва оказывала горцам. В Татарстане события 1552 г. воспринимаются как русская агрессия, приведшая к гибели татарской государственности. Памятник воинам Ивана Грозного в Казани проделал эволюцию в памяти, с одной стороны, от знака имперского владычества до символа казанской антипамяти, с другой – для русского населения Татарстана он стал символом благополучного советского прошлого. Интересно крайне противоречивое (от попыток канонизации до проклятий и превращения в эталон тиранства) отношение к памяти об Иване Грозном в различных политических кругах современной России. В этом проявляется давняя традиция неоднозначной оценки Грозного, восходящая к XIX веку: как известно, фигуру Ивана Грозного отказались размещать на знаменитом памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, хотя соратники царя – положительные реформаторы (Сильвестр, А.Ф. Адашев) и полководцы (М.И. Воротынский) там есть.

Причины выбора позитивных и негативных оценок образа Ивана Грозного лежат в области презентизма. Они не столько отражают реальную историческую память (хотя и опираются, как правило, на реально случившиеся события), сколько моделируют прошлое в соответствии с современными политическими, национальными и культурными запросами. Для придания им убедительности востребованы яркие образы прошлого; чем они древнее и узнаваемее, тем лучше. Такие неоднозначные фигуры, как Иван Грозный, для этого подходят идеально. Обращение к ним создает иллюзию постоянства тех или иных культурных явлений («вековечная тирания», «постоянная агрессия» и т.д., без учета конкретно-исторических обстоятельств, которые кажутся несущественными). На первом месте присвоенное, назначенное символическое значение памяти, отвечающее презентистским запросам.

О.В. Хаванова
(Институт славяноведения РАН, Москва)

Принять нельзя отвергнуть: национальная традиция и рецепция зарубежных теорий Просвещения в венгерской историографии XX века

Одним из наиболее распространенных и многозначных синонимов австрийского просвещенного абсолютизма можно считать «йозе-

финизм». Термин образован в начале XIX века от имени императора Священной Римской империи Иосифа II (1765–1790), который также в 1765–1780 гг. в качестве соправителя своей матери Марии Терезии (1740–1780), а с 1780 г. – единолично управлял владениями Австрийского дома. Изначально под йозефинизмом понималась исключительно церковная политика императора, включавшая комплекс мер, направленных на устранение наиболее одиозных форм неравноправия некатолических христианских конфессий и создание государственной (административно не подчиненной Святому Престолу) церкви. К концу XIX века историки все чаще рассматривали йозефинизм как весь комплекс социально-экономических, политико-административных и культурных реформ императора. В этой связи вполне логично, что его сторонников, а также «продукт» просвещенного абсолютизма – австрийскую либеральную бюрократию XIX века, – начинают именовать йозефинистами. В XX веке широкое распространение получили концепции, согласно которым истоки йозефинизма обнаруживались в конце XVII века, самим же термином стали обозначать стремление австрийских Габсбургов на протяжении всего XVIII в. под влиянием янсенизма ограничить вмешательство Святого Престола в дела католической церкви в подвластных им землях.

Изучение эпохи Иосифа II в Венгрии велось с конца XIX века и протекало в форме развития национальной историографической традиции в постоянном диалоге с зарубежными теориями и концепциями. Одни из них принимались, другие после критического осмысления отвергались.

Первым масштабную картину правления Иосифа II в Венгрии создал Хенрик Марцали (1856–1940), который под йозефинизмом в духе времени понимал церковную политику императора, комплекс же его реформ называл «йозефинистская система». Преимущественное внимание ученый уделял национальному контексту – конфликту между стремившимся реформировать свои владения на унитарных началах императором и венгерской политической нацией (дворянством). Государственно-правовой статус Венгрии отстаивали в первую очередь сословия, и они же выступали оппонентами программы реформ, предполагавших ослабление дворянства и католической церкви. Поскольку прогрессивные преобразования неминуемо ущемляли политическую автономию королевства, дворянство оказалось в роли защитника интересов всей нации.

Марцали писал свои труды, когда венгерский национализм буржуазной эпохи (1867–1918) объединял все немадьярские народы под эгидой государственно-политической венгерской нации и гарантировал им равные гражданские права независимо от родного языка и религии. После вступления в силу Трианонского мирного

договора 1920 г. (подводившего итоги Первой мировой войны) население страны, лишившейся обширных территорий и пережившей волны красного и белого террора, превратилось в культурно-историческую нацию, которая осознавала свое единство через язык, материальную культуру, коллективную память, символы и мифы.

Диаметрально противоположных взглядов на Просвещение и йозефинизм придерживались ученики Марцали – приверженец немецкой истории духа (*Geistesgeschichte*) Дюла Секфю (1883–1955) и основоположник венгерской исторической демографии Элемер Маюс (1898–1989). Первый (католик по вероисповеданию) в главах многотомной «Венгерской истории» высказывал убеждение, что страна пережила свой золотой век в эпоху позднего барокко. Распространение идей европейского Просвещения не только проложило путь индивидуализму и либерализму, но и уничтожило саму домодерную венгерскую нацию. Лютеранин Маюс, напротив, утверждал, что Иосиф II своей политикой веротерпимости высвободил созидательный потенциал нации. В отличие от Секфю, он отрицал какое-либо влияние идей янсенизма на императора, указывая, что в основе церковной политики императора лежали государственный интерес и принципы естественного права.

В период между двумя мировыми войнами в венгерской исторической науке развернулись дискуссии о последствиях восприятия идеи «французской» нации с ее совмещенными национальными и политическими границами. Наиболее радикальные авторы, такие как Тибор Йоо (1901–1945), видели прямую зависимость между распространением в стране просвещенческих учений и распадом – под давлением разнонаправленных векторов национальных устремлений отдельных народов – полиэтничной Венгрии в границах до 1918 г.

В период после Второй мировой войны венгерским историкам предстояло определить свое отношение к теориям немецких историков Эдуарда Винтера (1896–1982) и Фрица Вальявеца (1909–1960). Первый понимал под йозефинизмом церковно-реформаторские устремления венского двора на протяжении всего XVIII в. Второй, привычно называя йозефинизмом весь комплекс реформ императора, интерпретировал распространение Просвещения на юго-востоке Европы как исключительно продукт немецкого культурного влияния.

Книга Винтера «Йозефинизм и его история» (1943) была известна относительно широкому кругу специалистов. (После 1945 г. Винтер из буржуазного ученого превратился в историка-марксиста из дружественной ГДР). Однако авторская концепция, согласно которой в истории Австрийской монархии существовал абстрактный, не привязанный ко времени и пространству йозефинизм, который непонятным образом соотносился с йозефинизмом в пространственных и

временных рамках правления Иосифа II, осталась для венгерских историков чуждой. Как писал Домокош Кошари (1913–2007), главный идейный оппонент Винтера в Венгрии, «Просвещение в Австрии не было вызвано к жизни церковью, не являлось продуктом ее внутреннего развития <…> Напротив, общество и государство вступили в новую фазу, которая и стала называться йозефинизмом» [*Kosáry D.* Felvilágosult abszolutizmus – felvilágosult rendiség // Történelmi szemle. Budapest, 1976. 29. évf. 4. sz. 698. old.]. О согласии с выводами немецкого ученого писала в своих работах Эва Балаж (1915–2006), однако это заявление не получило дальнейшего развития.

Вальявец был уроженцем Венгрии, покинувшим страну после Первой мировой войны. Своим германоцентричным подходом (в книге «Немецкое культурное влияние на ближнем юго-востоке» и др.) к интерпретации событий и явлений истории раннего Нового времени он вызывал отторжение в среде бывших соотечественников. По их мнению, за стремлением приписать все достижения на ниве науки и культуры этническим немцам стояло непонимание автором сути Hungarus-идентичности. Этим термином принято обозначать самосознание всех подданных венгерского короля вне зависимости от этнической принадлежности. Немцы и румыны, сербы и хорваты в равной мере считали себя частью как своего народа, так и большой надэтничной общности в рамках королевства. Справедливым было и то замечание, что за выискиванием немцев, поднимавших Просвещение в Венгрии на новые высоты, Вальявец упускал из виду сам характер межкультурных взаимодействий и силу их влияния.

В конце XX в. в венгерской исторической науке закрепилось понимание йозефинизма как многосторонней реформаторской деятельности Иосифа II. Ранее Кальман Бенда (1913–1994) писал: «Преимущественное внимание к церковно-политическим аспектам, их акцентирование в ущерб иной активности императора создает, вольно или невольно, впечатление, что ответы на все вопросы нужно искать именно там» [*Benda K.* A jozefinizmus és jakobinusság kérdései a Habsburg Monarchiában (Eredmények és feladatok a legújabb kutatások türkében) // Történelmi Szemle. Budapest, 1965. 8. évf. 4. sz. 389. old.]. Книги Винтера и Вальявеца прочно вошли в справочный аппарат многих общих и специальных работ по истории Просвещения и раннего либерализма, однако о подлинной рецепции их трудов говорить не приходится. Как и сто лет назад, для венгерских ученых первостепенное значение имело осмысление тех или иных эпизодов исторического процесса сквозь призму и в контексте реалий национальной истории.

Йенс Херльт (Jens Herlth)
(Фрибургский университет, Швейцария)

Хронотоп катастрофы и роман воспитания

В своей работе «История романа воспитания и его значение в истории реализма» М.М. Бахтин подчеркивал, что «реальная ломка фона мировых устоев в эпоху Возрождения и в эпоху великой французской Революции <…> – необходимая предпосылка развития романа воспитания» [*Бахтин М.М.* Роман воспитания и его значение в истории реализма // Собрание сочинений. Т. 3: Теория романа (1930–1961). М.: Языки славянских культур, 2012. С. 196]. При этом понятие романа воспитания толковалось им достаточно широко, с учетом традиции немецкого «Bildungsroman» – романа о развитии и становлении человека, а под «ломкой мировых устоев» подразумевался процесс социальной трансформации и делегитимации унаследованных авторитетов (политических и религиозных).

Связь между романом воспитания и Французской революцией была отмечена еще Фридрихом Шлегелем, для которого Французская революция, «Наукоучение» Фихте и гетевский «Вильгельм Мейстер» были «величайшими тенденциями эпохи» [*Шлегель Ф.* Эстетика, философия, критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 300]. Некоторые исследователи описывали немецкую, гармоническую, форму романа воспитания, где все общественные и политические конфликты переводятся на уровень внутреннего развития индивидуума, – как своего рода «ответ» на политические коллизии эпохи, как попытку их художественно-символического преодоления: личностное развитие *образно* примиряет внешние социально-политические и ценностные столкновения.

Подобные попытки идеалистического примирения общественных конфликтов предпринимались и в России. Достаточно вспомнить о нашумевшей в свое время статье Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», главная идея которой состояла в перенесении несовместимых противоречий между преобладающими в тогдашнем обществе экономическими и социальными процессами и христианской этикой на уровень *личности* [*Пирогов Н.И.* Вопросы жизни // Морской сборник. 1856. Т. XXIII. № 9. С. 559-597].

Особым случаем в этом контексте является роман, в котором «ломка фона мировых устоев» становится сюжетом личностного развития, то есть роман, в котором проблема нравственного развития индивидуума предполагает развертывание «хронотопа катастрофы». Такой хронотоп характеризуется развалом социальных структур, гармоническое (или конфликтное) вхождение в которые

является сюжетным стержнем конвенционального романа воспитания. Развивая Бахтина, можно сказать, что роман воспитания становится возможным только на фоне сознания неустойчивости этих структур. Впрочем, роман воспитания достаточно редко подразумевает изображение разрушений, насилия и террора, то есть в нем не так часто непосредственно фигурируют те знаковые элементы, которые со времен Французской революции обозначают крушение социально-политического порядка.

В истории русского романа воспитания можно выделить два таких текста. Это – «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и «Бесы» Ф.М. Достоевского. Близость повествовательной структуры этих произведений ранее отмечалась Н.Д. Тамарченко [*Тамарченко Н.Д.* Русский бунт у Пушкина и Достоевского («Капитанская дочка» и «Бесы») // Новый филологический вестник. 2009. № 4. Т. 11]. Он рассматривает аналогии между Гриневым и Ставрогиным, двумя главными героями, убедительно доказывая, что концепцию «русского бунта» Достоевский унаследовал от Пушкина. Но проблема хронотопа катастрофы в первую очередь касается не романного действия, а повествовательного дискурса. Исходя из этого, нам кажется продуктивным сравнить с Гриневым как повествователем не какое-либо из действующих лиц «Бесов», а носителя и производителя наррации – «хроникера», Антона Лаврентьевича Г-ва.

В связи с этим возникает два вопроса. *Во-первых*, в каком смысле жанровая установка романа воспитания способствует нарративной репрезентации, а также философскому осмыслению катастрофы? *Во-вторых*, в чем состоит, так сказать, «воспитательная ценность» катастрофического хронотопа? Способствуют ли развитию личности героя те катастрофические события, свидетелем которых он становится, или, наоборот, осложняют его?

Существенным в данном контексте является структурный элемент совпадения повествователя и субъекта «воспитательного» процесса. В «Капитанской дочке» это совершенно очевидно: рассказ ведется от лица Гринева, который, будучи шестнадцатилетним подростком, попадает в центр событий исторического масштаба. На фоне этого опыта – вопреки этому опыту и благодаря ему – он достигает нравственной зрелости (хотя Пушкин, как метко отметила М.И. Цветаева, «забывает» его «постарить»: Гринев так и остается шестнадцатилетним «ребенком» до конца описываемых им же событий) [*Цветаева М.И.* Пушкин и Пугачев // Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 1994. С. 507). Роман «Бесы», казалось бы, не соответствует жанровой модели романа воспитания, уже хотя бы потому, что главный герой в конце романа совершает самоубийство. В предыстории романного действия есть целый ряд воспитательных

проектов, которые тем или иным образом связаны с одним и тем же персонажем – Степаном Трофимовичем Верховенским. Однако в актуальном действии романа вниманию читателя представлен лишь один такой проект, а именно «воспитание» повествователя, загадочного Антона Лаврентьевича Г-ва. Хотя сам процесс «воспитания» происходит в значительной мере в тени рассказываемых событий, в тексте произведения все же есть достаточное количество намеков, позволяющих нам его реконструировать. Мы узнаем, что Г-в – «классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек» и что он состоит на службе [*Достоевский Ф.М.* Бесы // Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 10. Л.: Наука, 1974. С. 95, 101]. В начале истории он полон уважения к своему «другу» Степану Трофимовичу, сам себя представляет как «ближайшего <…> конфидента» последнего [Там же. С. 66]. Но по ходу рассказа заметно учащаются иронические инвективы в адрес «учителя» и наблюдается внутреннее взросление хроникера в той мере, в какой он дистанцируется от своего бывшего кумира. Интеллектуальному и духовному росту, как всегда в романе воспитания, способствует также любовная история: «Г-в» влюбляется в Лизу Тушину и глубоко страдает от интриг и махинаций, окружающих ее особу. Ее смерть для него – настоящий удар, но в то же время она обозначает решающий этап его духовного развития.

Важным элементом художественной структуры романов Пушкина и Достоевского является наивность повествователя [ср. *Тамарченко Н.Д.* Русский бунт у Пушкина и Достоевского] и его символическое взросление, которое происходит не столько по ходу описываемых событий, сколько по ходу их нарративного воспроизведения. В обоих случаях главное «действие» романа воспитания, то есть духовное развитие героя, происходит *вне* сюжетных событий, даже вне повествовательного дискурса, хотя заметно отражается на нем. В оценках, в подборе слов, в тонких иронических намеках и т.д. дает о себе знать дистанция (интеллектуальная, нравственная, возрастная) между «я» героя повествования и «я» повествователя. С этой точки зрения два романа обнаруживают удивительное сходство, хотя в первом случае между событиями и временем рассказа о них прошло около трех десятилетий [*Пушкин А.С.* Капитанская дочка // Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 8, кн. 1: Романы и повести. Путешествия. М./Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 318), а во втором – всего лишь «три месяца» [*Достоевский Ф.М.* Указ. соч. С. 512].

Оба повествователя «дают показания» об увиденной катастрофе и посредством наррации восстанавливают порядок. Но этот порядок мнимый: от внимательного читателя не может ускользнуть то, что оба повествователя даже в момент рассказа о событиях не вполь-

не охватывают значение и масштаб происходящего. В романе Пушкина скрыта сложная аллегорическая структура, связанная с мотивами инверсии и двойничества. Восстановленная стабильность социально-политического порядка латентно несет в себе возможность внезапной инверсии, а слова повзрослевшего Гринева о благотворном воздействии «улучшения нравов» [*Пушкин А.С.* Указ. соч. С. 319] явно свидетельствуют о непонимании им эсхатологического смысла проблемы «русского бунта». «Хроникер» Достоевского тоже не в состоянии воспринять апокалипсического размаха описываемых им событий. Под тонким слоем хронологического порядка бродит хаос катастрофы, какой в этом романе предстает русская история. С другой стороны следует отметить, что в обоих произведениях цель романа воспитания достигается: Гринев благополучно женился на своей невесте и прожил жизнь провинциального помещика, Антон Лаврентьевич утратил свои иллюзии и духовно повзрослел. Но наличию гармонической развязки и *post factum* восстановленного порядка противостоит фундаментальная дестабилизация политического и нравственного фона. Наивность героя является едва ли не естественной предпосылкой романа воспитания. Здесь, в силу совпадения героя и повествователя, она оборачивается философской наивностью самой жанровой модели романа воспитания по отношению к эсхатологической концептуализации истории, с которой мы сталкиваемся у Пушкина и Достоевского.

Н.Е. Хохолькова
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Мемориально-историческая стратегия афроцентризма: от травматической памяти побежденных к «славной истории» победителей

«Апелляции к прошлому – одна из самых распространенных стратегий интерпретации настоящего. Подобные апелляции вдохновляет не только неприятие случившегося в прошлом и того, чем это прошлое было, но и неуверенность в том, что прошлое действительно прошло, закончено и закрыто», – писал Э.В. Саид, американский интеллектуал палестинского происхождения, чья концепция ориентализма стала платформой для развития альтернативных версий истории [*Саид Э.В.* Культура и империализм: пер с англ. А.В. Говорунова. СПб., 2012. С. 39].

Эпоха постколониализма и постмодернизма актуализировала появление оригинальных концепций истории и конструктов мемори-

альной культуры. Их авторами становились участники того или иного исторического процесса, до середины XX века лишенные возможности «писать свою историю». Система знаний западного мира перестала отвечать требованиям стремительно меняющихся обществ. Начался процесс «деколонизации» исторического пространства.

Выводы Э.В. Саида относительно ограниченных возможностей европоцентристских установок при анализе событий прошлого и необходимости изучения истории и культуры Востока (и Африки) «изнутри» спровоцировали возникновение весьма радикальных идей, теорий, концепций и парадигм. Одной из них стал афроцентризм.

Афроцентризм – многоаспектное понятие, объединяющее в себе парадигму, альтернативную евроцентризму, общественное движение, эпистемологию, комплекс теорий и концепций, основанных на идее о серединном положении Африки и людей африканского происхождения в мировой истории и культуре.

Идеи, которые в настоящее время принято относить к разряду афроцентричных, высказывались аболиционистами и общественно-политическими деятелями, такими как Фредерик Дуглас, Маркус Гарви, Уильям Дюбуа, еще в конце XIX – начале XX века. В середине XX столетия возникло академическое направление афроцентризма – сенегальский историк Шейх Анта Диоп сформулировал и обосновал тезис об «африканской колыбели цивилизации». Однако датой «рождения» теории афроцентризма считается 1980 г., а ее «отцом» и основным теоретиком – специалист в области массовых коммуникаций, профессор Темплского университета (Филадельфия) Молефи Кете Асанте (Артур Ли Смит Младший, род. в 1942 г.).

Афроцентризм М.К. Асанте представляет собой трансконтинентальную метатеорию, мировоззренческую систему, призванную регламентировать каждую из сфер жизни чернокожего населения мира в целом и США в частности в соответствии с идеей о центральном положении Африки и африканцев в мировой истории и культуре. По мнению приверженцев этой теории, все гуманитарные науки, включая историю, антропологию, социологию, психологию, гендерные исследования, должны быть пересмотрены и переориентированы.

Целью создания и тиражирования парадигмы афроцентризма стала реабилитация чернокожего населения в США и за их пределами. Изжить комплекс неполноценности, сформированный усилиями белого большинства, заново привить чернокожим утраченное за годы рабства и сегрегации чувство достоинства – таковы были первостепенные задачи М.К. Асанте, его коллег и сторонников. Их реализация требовала разработки и применения разнообразных методов и подходов, в том числе формирования особой мемориально-исторической стратегии. В ее рамках М.К. Асанте и его коллеги

вели активную деятельность в двух направлениях: они начали формировать особую мемориальную культуру, предназначенную для распространения в среде африкано-американцев, и вместе с тем стали создавать собственный историографический корпус.

Французский исследователь, медиевист Мишель Пастуро писал: «…Прошлое – это не только то, что было, но и то, что с былым сделала память» [*Пастуро М.* Цвета нашей памяти. СПб.: Александрия, 2016. С. 12]. Прошлое африкано-американцев и африканцев было в значительной мере трансформировано в исторической памяти, формируемой афроцентристами. В основе созданной и распространяемой ими мемориальной культуры лежит негативная память – эмоционально окрашенные воспоминания о несправедливостях и страданиях, причиненных белыми работорговцами, рабовладельцами и колонизаторами представителям черной расы. Мемориальная традиция афроцентризма является в значительной мере конфликтогенной, так как способна поддерживать противостояние, порождать весьма радикальные идеи восстановления справедливости, «отмщения». Создатель теории афроцентризма и его сторонники неоднократно заявляли о необходимости преодоления прошлого, однако именно оно стало осью развития концепции.

Афроцентристы полагали, что белые, а под их давлением и черные, веками фальсифицировали историю, и теперь их задача – восстановить справедливость, написать «подлинную» историю, отличающуюся от традиционной версии Запада. Результатом стремления самостоятельно конструировать прошлое, формировать новый исторический нарратив стало появление весьма провокационной версии истории. М.К. Асанте опровергал «историю, написанную европейцами и для европейцев» [*Asante M.K.* The history of Africa: the quest for eternal harmony. N.Y.: Routledge, 2007. P. XII]. Одной из важнейших задач для него было написание не столько позитивной истории, сколько истории, прославляющей континент. На протяжении многих лет он был занят поиском гармонии – в прошлом. Образец для подражания он синтезировал, соединив лучшее в своей книге «История Африки: в поисках вечной гармонии» [*Asante M.K.* The History of Africa]. Как «историк» М.К. Асанте не объективен. Его история «позитивна». Это основа его идеологемы. Он не упоминает об ошибках и неудачах африканцев, если они не «спровоцированы белыми», предпочитая фокусировать внимание на их успехах и достоинствах: долгое существование африканских цивилизаций – 3000-летняя история Кемета (Древнего Египта), уникальные предметы материальной культуры, военные успехи Тутмоса III и зулусского правителя Чаки, высокий уровень духовной культуры.

По мнению М.К. Асанте, положительный опыт прошлых поколений можно использовать в качестве мотивации представителей современного мирового чернокожего сообщества к объединению и раз-

витию. Руководствуясь идеей интеллектуального превосходства чернокожих, он был занят поиском фактов, свидетельствующих в пользу его правоты, а если таковых не находилось – прибегал к фальсификации.

По мнению французского историка Пьера Нора, «память» и «история» имеют мало общего: «История же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, многоплановыми, глобальными и текучими, частичными или символическими воспоминаниями, она чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или проекциям. История как интеллектуальная и светская операция взывает к анализу и критическому дискурсу. Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим» [*Нора П.* Проблематика мест памяти // Франция – память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999]. Для афроцентристов память и история неделимы, но наделены разными функциями. Травматическая, виктимизированная память призвана поддерживать «абсолютный моральный авторитет» [*Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 83] побежденных в прошлом чернокожих; их позитивная история, прославляющая величие предков, должна способствовать преодолению кризиса идентичности, давать надежду на светлое будущее победителей.

Л.Р. Хут
(Адыгейский государственный университет, Майкоп)

Образы Кавказской войны в практиках коммеморациий цифровой эпохи: сетевой контент

Весьма многообразные механизмы сохранения и воспроизводства исторической памяти включают устную традицию, широкий круг нарративных источников (например, учебники истории), коммеморации (праздники, посвященные историческим событиям, юбилеи, дни памяти и т.п.), монументальную традицию и многое другое. Особое значение для формирования исторической памяти в XX веке приобретают аудиовизуальные источники разных типов (кино-, фото-, фонодокументы), а в цифровую эпоху, то есть в наши дни – сетевой контент.

Цель данного доклада – проанализировать образы Кавказской войны XIX века в практиках коммеморациий, так или иначе связанных с сохранением и воспроизводством исторической памяти народов Север-

ного Кавказа об этой войне, в условиях дигитализации исторического знания и рождения феномена «цифровой истории» («digital history»). В основу предпринятого анализа положен фото- и видеоконтент таких популярных Интернет-ресурсов, как социальные сети LiveJournal (Живой Журнал), Facebook, ВКонтакте, видеохостинг YouTube и др.

Кавказская война – самое болезненное место исторической памяти черкесов, по поводу которого ведутся многолетние непрекращающиеся дискуссии, острота которых даже способствовала появлению понятия «Кавказская война историографий». Крайне политизированная на рубеже XX-XXI веков. «Кавказская война историографий» и ее логические следствия – «война конференций» и «война памятников» – породили многочисленные метаморфозы самого понятия «Кавказская война», которую, в зависимости от занимаемых позиций, стали именовать либо «Большой Кавказской», «Великой Кавказской», либо «Русско-Кавказской», «Горско-Кавказской», «Русско-Черкесской (Адыгской)», либо «так называемой Кавказской войной».

Наполнение сетевых ресурсов контентом, связанным с исторической памятью о Кавказской войне, как правило, активизируется в преддверии различного рода коммемораций, так или иначе с этой войной связанных. В частности, в последние годы в трех республиках Северного Кавказа – Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – широко отмечаются День черкесского флага (25 апреля) и День памяти жертв Кавказской войны (21 мая). Кроме того, в Республике Адыгея (РА) отмечаются День репатрианта (1 августа) и День черкесского национального костюма (28 сентября).

Акторы сетевых ресурсов, прежде всего блогеры, в силу различных причин ориентированные на освещение коммемораций, связанных с Кавказской войной (профессиональный историк Наима Нефлящева, ведущая блог об истории, быте и культуре народов Северного Кавказа на платформе популярного регионального сетевого ресурса, госслужащий Нальбий Схабо, не только «по зову сердца», но и «по долгу службы» транслирующий официальную позицию местных властей по поводу того или иного мемориального события), все чаще предлагают своим подписчикам «картинку», прекрасно понимая, что предпочтет Интернет-аудитория при выборе между ней и текстом. Визуализация способна породить самые сильные ответные эмоции. Достаточно вспомнить, какое впечатление производит на нас всех, независимо от политических взглядов и идеологических предпочтений, акция «Бессмертный полк» благодаря многократно растиражированным в Сети визуальным образам этого безбрежного людского моря с портретами родных и близких над головами, ежегодно разливающегося 9 мая от Владивостока до Калининграда.

Выстраиваемый в сетевых ресурсах видеоряд, связанный с сохранением памяти о Кавказской войне, содержит самый разнообразный контент. Это и охваченная языками пламени («пламенеющая») дата окончания Кавказской войны 21 мая 1864 г., и искаженное страданием лицо старого черкеса-махаджира, в зрачках которого застыла боль об утраченной родине, и мемориалы в память о черкесской трагедии XIX века на территории северокавказских республик – «Древо Жизни» в Нальчике и «Единение и согласие» («Очаг памяти») в Майкопе в дни траурных мероприятий. Нельзя не обратить внимания на то, что чаще всего скорбь народа символизируют черкесский флаг (полотнище зеленого цвета с изображением 12 звезд и трех перекрещенных стрел), зеленая ленточка, национальный костюм, особенно мужской (черкеска), образ мужчины-наездника в черкеске.

В профессионально-исторической среде давно подмечено, что пережитый исторической наукой «визуальный поворот» («pictorial turn») коренным образом изменил стратегию работы историка с визуальными источниками. По справедливому утверждению А.Б. Соколова, «как любой письменный текст может быть “расшифрован” только в контексте дискурса, в котором он возник, так и изображение не может более рассматриваться как “слепок реального”, оно также становится понятным только в соответствующем дискурсе, и задача историка в том, чтобы “разгадать”, “расшифровать” содержащееся в изображении послание».

Как уже отмечалось Н.А. Нефляшевой, обилие черкесского флага в качестве официального геральдического символа Республики Адыгея в практиках коммемораций, на повседневных и бытовых предметах (футболки, чашки) порождает ситуацию, когда «флаг, не теряя своего символического смысла, теряет свое значение официального флага РА, но приобретает значение всечеркесского символа, каким он был в момент своего создания в XIX веке».

Некоторое время назад одним из символов исторической памяти о Кавказской войне стала зеленая ленточка. Семантически она может быть «прочитана» и как отсылка к георгиевской ленточке – вполне официальному символу Великой Отечественной войны, и как аналог белой ленточки – символа протестного движения в России 2011–2012 гг.

В отличие от зеленой ленточки, воспринимаемой прежде всего как символ черкесского активизма, не всегда приветствуемый официальными властями, черкеска – востребованный атрибут Дня памяти не только в среде черкесских активистов и рядовых граждан разного возраста, но и в политическом истеблишменте северокавказских республик, лидеры которых с удовольствием участвуют в коммеморациях в национальном мужском костюме адыгов. Что ка-

сается образа мужчины-наездника в черкеске, то эта символика отсылает нас к традициям коневодства адыгов, знаменитым адыгским скакунам, всаднической культуре и военным навыкам и традициям в адыгском обществе, столь востребованным в период Кавказской войны. Конечно, не могут не впечатлять конные всадники – участники мемориальных шествий, эта своего рода романтизированная архаика, воссоздаваемая в контекстах урбанистической культуры.

Отдельно следует сказать о большом количестве детей в национальных костюмах в составе траурных шествий (иногда – во главе их), которыми изобилует визуализация Кавказской войны в Сети. Очевидно, семантический код этого послания состоит в том, что, несмотря на национальную трагедию XIX века, черкесы с надеждой смотрят в будущее, олицетворением которого в символической памяти народа выступает молодое поколение, «те, кто будут после нас».

Коммеморации, являющиеся одним из источников формирования исторической памяти, способствуют переводу исторического знания с академического языка на язык публичных репрезентаций; коммеморации используются также в наборе практик исторической политики с целью утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие. Контроль над коммеморативным дискурсом пытаются и будут пытаться взять в свои руки самые разнородные политические силы. Их успех или неуспех в продвижении собственной интерпретации самой трагической страницы черкесской истории в цифровую эпоху во многом будет зависеть от качества «картинки». Иными словами, в стратегиях борьбы различных политических сил за «присвоение прошлого» на Кавказе в обозримом будущем визуализированный образ Кавказской войны XIX века займет одно из ключевых мест.

З.А. Чеканцева
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Историческая память и национальная идентичность во Франции*

Во Франции рождение истории как научной дисциплины прочно связано со становлением государства-нации. Возможно, это

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 15-18-00135 «Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский и мировой опыт формирования общегражданской идентичности».

обстоятельство объясняет традиционно высокий статус исторического знания в этой стране. Однако в XXI веке престиж истории как науки явно снижается. Историческая наука «становится бедной родственницей когнитивных наук», считает П. Нора. Ее вытесняет «прошлое», которое сегодня ассоциируется не с дисциплинарным историческим знанием, а с памятью. Сегодня «больше говорят об использовании прошлого, чем об использовании истории, скорее о памяти, чем об истории, и оба эти понятия – история и память – идут рука об руку», – уточняет Ф. Артог.

Коллективная память все чаще используется для интерпретации реальности. Она стала моделью, с помощью которой можно понять событие, политику, социум и характер гражданского сосуществования в нем. Такие понятия, как *родина, нация, идентичность, наследие*, пропускаются сквозь фильтры памяти. Созданные с помощью памяти сетки анализа помогают во много раз увеличить понимание социальной и политической реальности, видоизменяя способы размышления или описания. Историческая память активно участвует в социальном конструировании исторической преемственности или разрывов. Это хорошо показано в трудах историков, посвященных важнейшим событиям в истории Франции. Приоритетной темой исторических исследований являются различные аспекты «использования прошлого», а историческая память изучается преимущественно в связи с «политикой памяти» или «исторической политикой», с анализом значения политического заказа в формировании исторических знаний при решении конкретных политических задач. Не удивительно, что память вовлечена в политическую борьбу. Коллективная память и идентичность – концептуальные инструменты в «войнах памяти», охвативших Францию в конце 90-х годов прошлого века. В таких случаях исторический дискурс о памяти смешивается с дискурсом политическим, философским, этическим, юридическим, медиальным. Конфликты памяти в этих войнах нуждаются не только в прошлом, но и в настоящем.

Тема «самости» или идентичности родилась вместе с человеческой мыслью. Однако то, что наряду с историей «именно сила памяти определяет черты идентичности и делает прошлое проекцией будущего» (Й. Рюзен), исследуется в междисциплинарном пространстве гуманитарного знания лишь в последние десятилетия. Ж. Нуарьель пишет о «гипнотическом воздействии» на французских историков от Мишле до Броделя размышлений о национальной идентичности. Однако использование понятия *идентичность* в научном дискурсе было и остается проблематичным. Если К. Леви-Стросс видел в идентичности «виртуальную страну», обращение к которой помогает понять некоторые вещи, то Ф. Бродель в незавершенной книге

о Франции предложил, по мнению критиков, чрезмерно эссенциалистский образ французской идентичности. Для многих историков и социологов смысл слова идентичность представляется слишком «туманным» для того, чтобы его использовать в качестве операционального понятия в научном анализе, и от него предлагают отказаться.

Однако, начиная с 1980-х гг., тема национальной идентичности в политическом дискурсе французов, тесно переплетающаяся с проблематикой иммиграции, оказалась в эпицентре общественной жизни. Особую значимость она приобрела в период президентства Н. Саркози, который уже на следующий день после своего избрания принял решение о создании Министерства иммиграции и поставил вопрос о необходимости укрепления национальной идентичности. В течение двух лет шла дискуссия на эту тему, в которую включились многие французские интеллектуалы, в том числе историки. Однако, по мнению экспертов, дискуссия оказалась бесплодной. Ученые, в том числе историки, еще увереннее заговорили о том, что национальная идентичность – понятие политическое и в научной работе его следует использовать осторожно. «Каждый индивид, – пишет, например, Ж. Нуарьель, – имеет множество идентичностей, поскольку он принадлежит к определенной социальной группе, имеет конкретную профессию, может быть членом партии и профсоюза. В то же время у такой индивидуальной идентичности всегда есть гендерные, семейные, лингвистические, региональные, религиозные аспекты. Спектр таких аспектов бесконечно разнообразен. В разные моменты жизни какой-то из этих аспектов или какая-то из этих идентичностей играет доминирующую роль, отодвигая другие на второй план». Иными словами, идентичность это всегда подвижное процессуальное, многозначное явление, включенное в конкретный социокультурный и политический контекст. Однако значение его в современной жизни столь велико, что ученые, в том числе историки, настойчиво продолжают искать ответы на вопрос, каким образом и почему этот процесс совершается. Изучение этой символической конструкции продолжается, в том числе в связи с исследованием национальных аспектов исторических явлений.

В современном дискурсе о нации сохраняет свое значение самая общая ее характеристика: нация – это исторически складывающаяся общность людей. Иными словами, анализ нации предполагает изучение ее истории. Тема «национального» всегда насыщена идеологическими и политическими смыслами, предполагающими использование исторического знания носителями исторического действия (государством, региональным сообществом, политической партией, другими группами, личностью). Даже в тех случаях, когда историки отказываются от идеологизированного подхода, их работы могут использоваться различными националистическими идеологиями. В этой связи идентифи-

кация с нацией, по мнению французских историков, требует релятивизации. Фундаментальный вопрос, по словам Нуарьеля, «заключается не в том, чтобы знать, "существует" ли "чувство принадлежности" к нации (по сути, недоказуемое). Важно понять, как и почему среди всех латентных идентичностей одна или несколько становятся видимыми в общественном пространстве». Иными словами, не стоит искать в идентичности некую онтологическую целостность, которую можно реконструировать как общенациональную «самость», сформировавшуюся в процессе длительного исторического развития. Например, «персону» (Ж. Мишле) по имени Франция. «Нация – это не сущность, возникшая в глубине веков. Рассказ о ней в республиканской школе не является священным текстом, неприкасаемым табу. Нация – это конструкция, становление, динамика, результат взаимодействий. Для того, чтобы оставаться живой, она требует постоянного переосмысления своего нарратива и актуализации (aggiornamento) его преподавания», – пишет современный французский историк.

В последние десятилетия во французской историографии появились конкретно-исторические исследования, в которых историки предлагают новые приемы изучения проблематики идентичности. Они имеют междисциплинарный комбинаторный характер. Авторы таких работ стремятся совместить детальное изучение дискурсов и практик их присвоения, и на основании различных источников проследить бытование идей-образов и их роль в конституировании социальной идентичности на разных уровнях. Такие сложные насыщенные рефлексией исторические исследования позволяют уйти от привычной эссенциализации различных идентичностей. Созданы также десятки конкретно-исторических и историографических исследований о нации и регионах, в которых, не без помощи этого концепта, удалось денатурализовать все, что раньше воспринималось как аисторическая, то есть находящаяся вне времени реальность (нация, народ, традиция, культурное наследие). При этом в историографии присутствует проблематика «нарративной идентичности», предполагающая рефлексивное отношение к теме нарратива и аналитическому инструментарию историка. Кроме того, французские историки в поисках ответа на вопросы «что значит быть французом?» и «что такое Франция?» сумели предложить убедительный ответ мемориальной лихорадке, охватившей многие страны.

«Места памяти» (1984–1993) – главный проект, позволивший французским историкам объективировать память. Этот семитомный труд стал важным шагом в открытии новой эпистемологической перспективы для рефлексивной историографии, учитывающей мемориальную слоистость объекта изучения. Определение этого объекта оказалось сложной методологической задачей, поскольку надо было выйти из замкнутого круга предшествующей историографической традиции,

пытавшейся «объяснять нацию нацией» (П. Нора). По мысли Нора, стержнем всех базовых моделей истории страны была идея о том, что в основе целостности Франции лежит совокупность реальностей, которую историк должен реконструировать, проанализировать, связать воедино в телеологической перспективе. Цель проекта заключалась в том, чтобы вернуть памяти ее место, показав, что «прошлое постоянно участвует в решении проблем настоящего». Заголовок последнего тома стал маркером нового типа истории Франции. Том называется "Les France". Использование существительного в единственном числе и артикля во множественном – это вербальное выражение кризисов и разломов, пережитых французами в отношениях с прошлым. Этот демарш направлен против характерной для классической науки иллюзии целостности. Кроме того, «Места памяти» пронизаны «историографической заботой». В этом смысле они внесли свой вклад в становление «истории истории», которая учитывает присутствие коллективной памяти.

А.Ю. Шадже
(Адыгейский государственный университет, Майкоп)

Историческая память в условиях межэтнической напряженности на Северном Кавказе*

В центре современной науки находятся некоторые дискуссионные проблемы, требующие своего осмысления и переосмысления в новой парадигме. Одной из них является проблема исторической памяти, которая значима онтологически, гносеологически и аксиологически. Особенно активизируется исследовательский интерес к разным видам памяти. Обращает на себя внимание то, что во многих публикациях, по выражению американского историка А. Мегилла, «память становится коммеморацией». Но существует и другое понимание памяти, согласно которому память представляется как сложный механизм, являющийся источником формирования новых смыслов в пространстве традиций и инноваций.

Научное рассмотрение исторической памяти может базироваться, прежде всего, на двух методологических положениях. *Во-первых,* актуализация междисциплинарного и полипарадигмального подходов. *Во-вторых,* необходимость применения новых методов

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность на Юге России: совершенствование аналитического инструментария и способов регулирования».

постнеклассической науки для понимания смысла исторической памяти в новых условиях. С конца XX века методологическая стратегия конструктивистской парадигмы позволяет исследовать сознание и поведение человека, его отношение к другим не просто как отдельного индивида, но и как члена определенной социальной и этнической группы, определенной социокультурной среды. Данное положение направлено на поиск идентичности «кто я?» или «кто мы?» в определенном обществе и в современном социальном мире. В этом контексте память можно рассматривать как некоторое отношение к Другому, которое обладает специфическими формами существования и определенными способами постижения своего содержания.

Идентичность имеет социальную основу. Поэтому в рамках идентичности наблюдается тесная взаимосвязь между идентичностью и памятью. Исследования по идентичности северокавказских этносов показывают, что поиск идентичности идет постоянно в исторической памяти. Взаимосвязь исторической памяти и идентичности активно проявляется в культуре. Пространство культуры представляет собой некоторое пространство памяти. Личность, идентифицируя себя со своим этносом/народом, может реализовать историческую память.

В последние десятилетия социальная функция памяти актуализируется, и связана она с тем, что историческая память может оказать влияние на гражданскую солидарность и национальное единство современной России. Понимание этого феномена может повлиять на самоорганизацию сложной системы «российское общество», конструктивно направляя его, непонимание или манипуляция ею могут негативно сказаться на развитии общества. Поэтому столь важно теоретическое и практическое «направление» сложных процессов, связанных с исторической памятью.

Историческая память ценна тем, что она соединяет человека с прошлым, формирует представление родины и чувство самосознания. Пренебрежение к прошлому, этнокультурным ценностям нарушает естественный процесс саморазвития этноса. И он был нарушен национальной политикой, которая проводилась на Кавказе. Насильственное выселение народов со своих исконных земель, замалчивание и искажение истории народов, преследование традиционных обычаев, ограничение и сведение на нет преподавания на местных языках – все это и многое другое не способствовало самосохранению и саморазвитию кавказских этносов.

Обратившись к периоду «Великого черкесского изгнания» (1859–1866 гг.), заметим, что прошлое – насильственное изгнание адыгов – значимо. Именно это и фиксируется исторической памятью адыга и адыгского этноса. Именно это дискутируется учеными в контексте современных социокультурных рисков.

В поисках адекватных ответов на вызовы современности, связанные с будущей судьбой не только адыгского этноса, но и всех народов, следует отметить важную роль исторической памяти. Говоря словами крупнейшего социолога Европы З. Баумана, *«мы должны помнить – но что?»* И для чего помнить?

Для созидания! Чтобы понять, какое общество возникло на основе крупнейших исторических событий и процессов из истории, и каковы мы, составляющие это общество. Научили ли нас уроки истории сохранять человеческое в себе в условиях кардинальной переоценки отношения ко многим вопросам человеческого бытия? Каков наш ценностный мир? Каким мы видим свое будущее? Какова связь будущего с памятью? Что может стать основой будущего общества? Это не праздные вопросы, а судьбоносные. Не случайно они актуализированы в контексте этнической и национальной самоидентификации в условиях формирования и укрепления российской идентичности, в условиях определения будущего цивилизации.

Трагические события и страницы запечатлены остро в памяти. Это наше прошлое, из которого мы вышли. Однако, памятуя о прошлом, исторических корнях своего этноса, проявляя уважение к исторической памяти, важно соотносить прошлое с современностью, преодолевая крайности, вызванные либо «злоупотреблением историей», либо чрезмерной идеологизацией по отношению к памяти. Время сведения счетов друг с другом и со временем прошло. Необходимо вступить с прошлым в диалог, в новый диалог, подчинив историческую память формированию гражданина-патриота, знающего историю своей страны, своей земли, своего народа.

Между тем сконструированный в информационном пространстве образ кавказских этносов, к сожалению, имеет негативный смысл. Укоренившийся в массовом сознании провокационный стереотип «кавказца», нацеленный на усиление межэтнической напряженности, вызван незнанием Кавказа и кавказских этносов, несет в себе отрицательный заряд и конфликтогенность.

Рассматривая сложившийся образ «кавказцев», важно формировать иное представление о них, основываясь на реалиях. Ведь реальность намного богаче, нежели сложившиеся образы и стереотипы. Современная наука позволяет понять сложные противоречивые процессы, происходящие в социокультурном пространстве региона, разглядеть новые качества и смыслы этнокультурных ценностей северокавказских этносов, познать их историю, менталитет, увидеть и понять «черкесский мир».

Известно, что каждый этнос воспринимает и оценивает себя через противопоставление с другими. Формирование представления о себе и другом основаны на знании и/или незнании. Только познав,

можно понять другого. Можно сказать: понимание того или иного этноса связано с познанием самоорганизационных процессов, а также идентификационного пространства региона, которому присуще нелинейное взаимодействие этнокультурной, религиозной и национальной форм идентичности. В связи с этим важно учесть имеющиеся проблемы в условиях современных социокультурных рисков, в частности «размывание ядра этнических культур». Возможные модели «синтетических» форм этнокультурной идентичности в условиях активизирующейся сетевой культуры могут способствовать становлению нового типа идентичности – сетевой идентичности. Все это ослабляет «историческую память» народов.

Память связывает прошлое, настоящее и будущее. Прошлое зафиксировано в разных формах памяти. Безусловно, прошлое в современной жизни приобретает новое содержание. При оценке прошлого из настоящего мы соотносим его с современностью, а это позволяет выявить новые смыслы прошлого, что изменяет контекст существования прошлого. Поэтому мы находим в прошлом новое содержание, новый смысл и новое понимание.

Прошлое, настоящее и будущее не исключают друг друга, а взаимно дополняют. Такое понимание представляется важным и необходимым, поскольку память обязывает нас жить по-человечески, достойно. Не сохранив человеческое и национальное в себе, мы не вправе называть себя «российской нацией». В связи с этим востребованным является формирование представлений о консолидирующем ресурсе российской национальной идентичности, которая является духовным единением граждан страны и механизмом преодоления напряженности в российских регионах.

В.Б. Шепелева
(Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского)

История и память в русской историософской мысли и вызов времени XX – начала XXI века

Эпоха осознанной необходимости – острейший вызов Времени для XX–XXI века. Это просчитывалось в Европе (марксизм), по-своему в России: религиозно-философская мысль, проблема выбора пути исторического развития, теория ноосферы – качественно возросшая ставка на личностный способ бытия, причем чем далее, тем более под угрозой гибели, расчеловечения человека или реальности Апокалипсиса. Но почему таков историософский алгоритм?

Смысл, логос в истории, если принимать христианскую, марксистскую, естественнонаучно-христианскую историософию, исходят из видения человека. Случайно ли (см. и Н.А. Бердяева и К.М. Кантора) фиксируются пласты перекличек между марксизмом и христианством? Действительно, марксистские историософские схемы означают диалектику возвращения человеку его человеческой сущности. Цель: человек, постигающий истину, творящий прекрасное, утверждающий благо, с одной стороны, и «человек по образу и подобию Божьему», прорывающийся к эпохе Творчества, Духа, с другой, – совпадения несомненны. Только по степени глубины и цельности антропологии христианской сравнить ее не с чем.

Оценки представителей русской революционной интеллигенции как людей *веры*, людей *духа*, *идеалистов* достаточно известны. Видимо, есть объективное обнаружение изнутри себя истинного (по христианству) человеческого родословия и вне субъективного осознания того. Но неосознание чревато негативными последствиями для последующих поколений, может срабатывать на понижение духовности общества, как и показал отечественный исторический опыт. Во всяком случае идеократичность – национальная идея – непременное условие жизнеспособности страны, народа, как настаивали евразийцы, как демонстрировала в тяжелейших условиях 1917–1950-х гг., а в определенной степени и далее *идея советская*. Заметим, что и в «безбожных условиях» советская художественная культура, советская система воспитания были в немалой степени (если не в основном) носителями цивилизационного кода России.

Тенденции качественно иного толка в культуре советского периода были связаны не только с безудержным левачеством, национальным нигилизмом «пролеткультовщины», «рапповствавапповства» и т.д., но и с позднейшими явлениями. Не в последнюю очередь – с так называемой (с легкой руки Н.М. Зоркой) «аэропортовщиной»: столичным сообществом творческой интеллигенции, определяемым сосредоточением в элитарных жилищах у метро «Аэропорт» и сочетанием огромного самомнения с «сознанием протестанта и гонимого». Но почему так? Оказывается, «по причине, прежде всего, его искренней ненависти к строю… к власти» (его лелеющей). Удивительное «химерическое» (по Л.Н. Гумилеву) явление. Более широко можно говорить о противостоянии *условно городской прозы – точнее, «трифоновцев»* (см. суждения А.А. Проханова, Ю.М. Нагибина, С. Экштута), противостоянии предтеч позднейших либералов и *«литературы деревенской» – почвенников*, что находило преломление и во властных партийно-советских структурах (см. изыскания В.В. Кожинова, Ст. Куняева и др.).

Роль разных генераций в формировании системы ценностных ориентиров в советскую эпоху – отдельная многослойная тема. Немало «своего другого», комплементарного было упущено в советское время: удивительно, как вне поля зрения диалектика Ленина оказалась традиция глубоко диалектичной русской религиозно-философской мысли от Н.Ф. Федорова до П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева и др. Полноценный историзм, диалектика, как условие для русской религиозно-философской мысли *всенепременное*, в советской духовной практике были упущены.

Вернемся к нынешнему историческому вызову: речь идет об объективном требовании выхода на «личностный способ бытования» не просто применительно к индивидууму, но к социуму как коллективной личности. Без самоидентификации проблема неразрешима, тем более в условиях процессов глобализации, идущих через атомизацию народов, цивилизационных миров.

В современной реальности имеет место столкновение обозначенного нами Вызова времени и политики глобализации поатлантистски. Категорическое востребование личности – индивидуальной и коллективной, с одной стороны, и аннигиляция ее во всех проявлениях (за псевдо-исключением «мира избранных») – с другой. Продолжающийся антропогенез и миротворение в проекции соборной духовности, где есть потребность во всех народах и каждом человеке – это актуализация русской ментальности, «русской идеи», сущностно не противостоящей марксистской историософии и «советскому проекту». А иное, противостоящее – это постмодерн как бытийственная реальность, мир симулякров, виртуальностей, постсоциальности и постчеловека – ситуативного кочевника с осколочным сознанием, вне социальных и человеческих связей. Сегодня степени падения, отчуждения и самоотчуждения кажутся беспредельными… И случайно ли из недр самого западного мира исторгаются время от времени призывы к «человеческой революции» – смене доминанты «иметь» на доминанту «быть» (см. Ж. Аттали, А. Печчеи, Э. Фромм)?

Налицо острейший Вызов, где не-ответ – глобальная катастрофа. Один из фундаментальных законов объективной реальности, извлеченный постнеклассической наукой и обеспечивающий жизнеспособность систем-элементов – умение последних отвечать на требования своей мегасистемы. Другой ее закон обнаруживает «внутренние тенденции развития» как сущностный атрибут сложноорганизованных нелинейных систем, при том что человек и социум – сложнейшие среди них. Управляющие воздействия по отношению к таким системам должны учитывать эти внутренние тенденции развития. В противном случае – либо напрасное «проедание» жизнен-

ных ресурсов системы, либо серьезное «заболевание» системы, где не исключен и «летальный исход».

Для этнических сообществ внутренние тенденции развития оправданно соотносить с «культурным кодом» или кодом цивилизационным, этнической ментальностью. Напомним о сущности историко-этноментального подхода сквозь призму синергетической интерпретации. «Правила порядка» для социума должны быть соотнесены с «ядром» «культурного кода» этноса, этнической ментальности; это духовные начала, ценностные ориентиры народа, нации, которые определяют их лик, «призвание», выступают регулятивами исторического бытия. «Правила запрета» должны сопрягаться со всем пространством, перекрываемым этническим «культурным кодом», предупреждая об опасности взламывания пределов его «ядра». Человека вне этнически-ментального поля не бывает. Если вынести за скобки вопрос: что было в начале – смысл, «логос» или духовно-интеллектуальная потенциальность человека, – можно сказать, что *этническая социальность* продуцирует, развивает и транслирует этническую ментальность. Речь идет о диалектической взаимосвязи: этническая ментальность, в свою очередь, определяет характер этнической социальности, саму возможность «быть» для этноса/цивилизации. Если синергетика видит развитие сложноорганизованных нелинейных динамических систем как самоорганизацию, то применительно к гуманитарной сфере оправданно говорить о «самодеятельности», «саморазвитии» народа, нации, суперэтноса – «личности коллективной».

Таким образом, *главное* – «внутренняя информация», «код», «сущностная память» для характеризуемого класса систем. Ядро культурного кода – идеалы и ценности народа, нации, суперэтноса – и есть «код саморазвития» последних. Управляющие воздействия, соответствующие ядру культурного кода, благоприятны для развития этнического сообщества. Более того, «попадание в точку» закладывает основы для быстрого восходящего развития системы.

Задача задач для народов, наций сегодня – «прийти в себя», самоидентифицироваться. Именно историческая память – та духовная субстанция, что возводит атомы населения в личность народа. Историческое знание и наука обретают экзистенциальное звучание, выступают средством национальной безопасности, особенно в связи с атомизирующими процессами глобализации. Отсюда актуальность проблемы соотношения внутренних тенденций развития социумов как сложноорганизованных нелинейных динамических систем и исторической памяти, исторической науки.

Отечественная историософская мысль, прежде всего в религиозно-философской, но вместе с тем и в научной ипостаси, еще во

второй половине XIX – начале XX века уловила глобальный исторический Вызов человеческому сообществу, резко обострившийся в начале XXI века. Русские мыслители обозначили проблему «сущностной памяти», культурного кода через феномен «русской идеи», заложив основы этнически-ментального или цивилизационного подхода к исторической реальности. И, предупреждая постнеклассику, синтезировали историософский и цивилизационный подходы, при том что проблема «сущностной памяти», только в предельно универсальном всечеловеческом ее аспекте, лежит и в основании отечественной религиозно-философской историософии.

Та или иная общественная сила тем более может претендовать на уровень исторического субъекта, чем полнее способна объять многоуровневую реальность с проникновением в существо определяющей – отвечающей «вызову Времени» – тенденции мирового исторического развития и с глубоким уяснением специфики конкретного культурного кода и норм взаимодействия с последним.

Ю.С. Шипицына
(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)

Утрата чувства истории

Ясно выразить это относительно новое ощущение беспокойства по поводу растущей «исторической нечувствительности», охватившее гуманитарное сообщество, одним из первых смог Фредерик Джеймисон [*Джеймисон Ф.* Постмодернизм и общество потребления // Логос. 2000. № 4 (25). С. 3-77]. Что такое чувство истории? Возможно, это разновидность осадка исторических знаний, полученных в школе; или необъяснимый трепет, охватывающий нас в музее; или узнавание эпохи по фотографиям и документальным кадрам – того времени, в котором мы никогда не жили, *которого буквально – не видели*, а только слышали о нем. Давно вошли в лексикон и обзавелись собственными словарными статьями такие понятия, как «историзм» [Историзм // Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Под редакцией В.С. Степина. М.: Мысль, 2001] и «конец истории» [Конец истории // Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики. 2004]. С *чувством истории* каждое из них связано разными смысловыми нитями, и стоит остерегаться смешения, ведь в данном случае речь идет *об особом восприятии – восприятии прошлого*. Это *отношение к прошлому*, которое, впрочем, как и память, может быть индивидуальным и коллективным.

Сегодня мир все чаще описывается посредством метафор господства видимых образов, агрессивности медиа, пресыщения визуального восприятия. Удивительным образом проблемы изучения современного искусства, фотографии, теории кино и других медиасфер оказались сопряжены в одной точке – в вопросе о чувстве истории. В научном сообществе местом локализации этой точки стали визуальные исследования. С трудностями институционализации нового направления все интересующиеся могут ознакомиться, обратившись к дискуссии между видными представителями зарубежной «визуальной мысли» Мике Баль и Джеймсом Элкинсом [*Баль М.* Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований / пер. с англ. Яна Левченко // Логос. 2012. № 1 (85). С. 212-249; *Элкинс Дж.* Девять типов междисциплинарности для визуальных исследований / пер. с англ. Ильи Инишева // Логос. 2012. № 1 (85). С. 250-259].

Вопрос о причинах утраты чувства истории с необходимостью требует, по нашему мнению, обращения к *механизму воздействия медиа*. В основание теории медиа положено понятие «образ». Современная теория образа не дает исчерпывающего определения, но выделяет ряд аспектов, позволяющих сформировать понимание образа. Так, во-первых, его постижение напрямую связано с десемиотизацией изображения, ибо образ оторван от него, он словно подвешен между изображением и зрителем, рождается только в пространстве межу ними [*Петровская Е.В.* Теория образа. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2010. С. 8]. Во-вторых, образ аффективен по своей природе, то есть взывает к чувству, к эмоции воспринимающего [Там же]. В-третьих, образ обладает собственной логикой, своеобразной «смысловой автономией», поскольку не только «потребляет семантические ресурсы», но также «производит их специфическим для него способом» [*Бергер Дж.* Искусство видеть. СПб.: Клаудберри, 2012. С. 186].

Принимая во внимание перечисленные «суперспособности» образа, раскроем *специфику его поведения в контексте «уничтожения чувства истории»* на примере четырех сфер: живописи, фотографии, кинематографа и рекламы. Сегодня эту тему актуализируют в своих трудах Олег Аронсон [*Аронсон О.* Медиа-образ: логика неуникального // Синий диван. 2010. № 14. С. 89-106], Елена Петровская [Указ. соч.; *Петровская Е.В.* Документ: факт и вымысел / Безымянные сообщества. М.: ООО «Фаланстер», 2012. С. 187-201], Валерий Подорога [*Подорога В.* Событие и масс-медиа. Некоторые подходы к проблеме // Синий диван. 2010. № 14. С. 35-62], Михаил Ямпольский [*Ямпольский М.* Живописный гнозис. М.: Ш.П. Бреус, 2015]. Опираясь на их разработки и собственные наблюдения, по-

пытаемся детализировать действие механизма «исторической атрофии», выявить его причины и указать на последствия.

В рекламе агрессивность образа проявляется наиболее очевидно. Олег Аронсон в своей статье отмечает принципиальный массовый характер современных медиа, имея в виду «массовое производство образов». Аронсон говорит о медиа в целом, однако массовое производство образов становится очевидным, когда речь заходит о рекламе – в любом ее воплощении, будь то (рекламная) заставка в телеэфире, (рекламная) картинка в журнале или (рекламный) щит на шоссе, поэтому мы считаем возможным, говоря о рекламе, опираться на данную статью. Аронсон убежден в том, что «любой разговор о медиа влечет за собой вопросы, касающиеся политики и идеологии». С неизбежностью речь заходит и об «экономике образов». Опасности рекламы с данной позиции в одном из своих эссе описывает Джон Бергер [*Бергер Дж.* Искусство видеть. СПб.: Клаудберри, 2012. С.158-160]. Согласно его выводам, главная опасность рекламы: *превращение истории в мифологию посредством навязываемых ею образов.*

Превращение истории в мифологию подразумевает фатальную цикличность, предопределенность, пресловутое «повторяющееся настоящее», о чем писал еще В. Беньямин*:* «Актуальное настоящее, <…> резюмирующее <…> сокращением историю всего человечества, до точки совпадает с той фигурой, которую выписывает в универсуме история человечества» [*Беньямин В.* О понятии истории // НЛО. 2000. № 66. С. 8]. Невозможность опыта – это тотальная остановка, это заморозка истории в смысле человеческой жизни, а не только науки о прошлом. Именно повторяющееся настоящее нивелирует разницу опыта поколений, обесценивает как традиции, так и инновации, в конечном итоге делает бессмысленным научение как таковое. Мысль о неизбежности порождает надежду на то, что подобные трансформации – это не обязательно плохо, это еще не деградация и конец мира. На первый взгляд, пожалуй. Не случайно Михаил Ямпольский, раскрывая феномен «утраты чувства истории» на примере кинематографа, говорит о мире господства медиа как о рае – пространстве, в котором нет места не только сомнениям и страхам, но и мысли. В человеческом сознании, даже в сознании, лишенном и налета религиозности, рай вызывает положительные ассоциации. Но вот хотим ли мы «райского», безбедного, по сути бездумного, существования – вот в чем вопрос.

В статье «Андрей Тарковский: память и след» Ямпольский исследует названые категории в приложении к кинематографическому образу [*Ямпольский М.* Андрей Тарковский: память и след // Сеанс. 2013. № 57-58. С. 56]. По его мнению, след – признак «вещности» фильма, того, что он может заставить работать нашу память, но сам

должен стать ее частью рано или поздно. Почему из оставленных на пленке следов исчезает субъективность? Все просто: эти следы относятся уже не к запечатлеваемому опыту, а к самому фильму. Кинематографические образы, руководствуясь собственной «смысловой автономией», начинают жить другой жизнью, говорить о другом. Получается, что образы *блокируют и сужают наше восприятие прошлого. Они стандартизируют его и лишают нас возможности помыслить историческую альтернативу* (что также сближается с проблемой медиа и идеологии). Отсюда вывод: чувство истории – вовсе не ностальгия. И не просто память, как уже было сказано. Это возможность критической мысли.

До сих пор мы говорили о медиа в режиме дискурса опасности и угрозы. На самом деле «всемогущие» образы снисходительно посылают нам «подсказки»… И Михаил Ямпольский – один из немногих, кому эти подсказки удается обнаружить. В своей книге «Живописный гнозис», целиком посвященной творчеству современного художника и скульптора Гриши Брускина, он указывает на различие в понимании истории в христианстве, иудаизме и гностицизме – различие, связанное со статусом изображения и порождаемого (или «провоцируемого») им образа [*Ямпольский М.* Живописный гнозис. С. 56]. Учение гностиков позволяет Ямпольскому продемонстрировать эту *потрясающую взаимосвязь времени, или чувства времени, чувства истории, с живописью.* Ямпольскому удалось обнаружить и актуализировать эту взаимосвязь, изучая непосредственно живописные работы. Сами картины содержат в себе знание. Они сами проявляют и выражают эту обеспокоенность утратой чувства истории.

Обратимся к определению специфического понятия, данному Еленой Петровской: «[Подразумеваемый референт] – сплетение аффективных и исторических обстоятельств, при котором преходящий коллектив “узнает” себя в фотографии, одновременно позволяя ей прорваться в область видимого. <…> Ибо передаваемое ею – не столько набор видимых, легко атрибутируемых знаков, сколько аффективный опыт преходящего, поколенчески определяемого коллектива» [*Петровская Е.В.* Документ: факт и вымысел. С. 197]. В связи с фотографией вновь всплывает понятие опыта. В данном случае Петровская настроена весьма позитивно в отношении способности фотографии передавать этот, пусть аффективный, но оттого не менее важный опыт: «В самом деле, есть что-то в современном опыте как таковом, что требует ревизии нашего образа мыслей. В двойном обличье материального следа и теоретического объекта фотография как раз и позволяет ухватить правду того периода истории, в который мы живем» [Там же. С. 201.].

Специальный подход к прочтению образа дает все основания говорить о совершенно особых возможностях фотографии как исторического источника. Медиа не маскируются и вовсе не строят коварных планов, но говорят с нами на присущем им специфическом языке. Допустим, что мы сами говорим о себе на языке медиа. Мы сами, увлекаясь новыми возможностями медиа-сферы, рискуем разрушить историю, если сделаем выбор в пользу «окаменелостей» и «райских кущ». Может ли вообще история быть/именоваться «видимой» или «невидимой»? И какой ей все-таки *следует* быть? Эти вопросы остаются открытыми. Ясно одно: когнитивные возможности медиа-сферы не просто огромны. Они удивительны в том плане, что подталкивают к поиску оригинального постижения как истории, так и современности.

А.М. Шпирт
(Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова)

Еврейские погромы 1648–1649 гг. между религиозным, национальным и транснациональным

Массовые погромы 1648 г. на Украине во время восстания Богдана Хмельницкого стали большим ударом для польского еврейства. Еврейские общины в Польше и в Европе предоставили пострадавшим общинам финансовую помощь на выкуп пленных и содержание беженцев. В 1650 г. Ваад четырех земель постановил 20 сивана считать постом в честь погибших евреев. Наконец, уже в 1648 г. были сочинены или составлены читаемые в синагогах траурные элегии (кинот, слихот и др.), в которых оплакивались разрушенные казаками еврейские общины, гибель их духовных лидеров, а также звучали призывы к покаянию.

Цель еврейских хроник (первая из них – Меира из Щебжешина была опубликована 1649 г.) была подобной. Запечатленная в этих текстах память оказывалась чрезвычайно избирательной. Под ее сохранением часто подразумевалось лишь запоминание уникального акта мученичества и жертвенности святых еврейских общин перед внешней угрозой крещения. Таким образом, граница между жанром элегий и исторической хроникой часто становится неразличимой. Хронисты пытались объяснить произошедшие события и передавали чувство прошлого, которое они отличали от настоящего. В этом отношении их подход разительно не схож со взглядом Й.Т. Липмана-Геллера, для которого казнь евреев в Блуа в 1171 г.

стала аналогом событий из недавнего прошлого, так как это «одно и то же». Кроме того, хроники не читались в синагогах и их функциональная значимость была иной.

Таким образом, в центре исследовательского внимания находятся вопросы о соотношении религиозной и секуляризованной памяти и жанровый переход от мартирологической элегии к исторической хронике, когда события прошлого автономизируются от цепи традиций.

Кроме того, отдельный интерес представляет проблема перехода источника в историографию, феноменологический разрыв между сознанием хронистов XVII века и историков, представителей национальной историографии XIX – начала XX века.

В оствиссеншафтной школе – Дубнову, Балабану, Шиперу, Шору и др., – казацкие погромы времен Хмельницкого и преследования евреев в годы русско-польской и польско-шведской войн казались очередной цепочкой в череде страданий еврейского народа, лишенного на протяжении многих столетий своей государственности. С. Дубнов в своей «Всеобщей истории евреев» (1906), а также в англоязычной «Истории евреев в России и Польше» (1916) приводит пространные ссылки из хроники Натана Ганновера, полностью доверяя его описаниям убийств и погромов. «*Yaven Metsula*» обладала настолько убедительной силой, что, по мнению С. Дубнова, сам Меир из Щебжешина, издавший свою хронику на 3 года раньше Ганновера, тем не менее, пользовался его хроникой, которая якобы уже тогда была известна еврейским читателям и распространялась в рукописи. Национально-романтические представления об инспирированных Хмельницким и православной церковью погромах укоренились в коллективной памяти и характерны для некоторых современных историков, например, Йоэля Рабы. Его монография «Между памятью и забвением» (1996) – классический пример национальной историографии с характерным для нее противопоставлением, а не сравнением национальных вариантов прошлого. Представления еврейских историков XIX века (lernen und leinen) вряд ли можно проецировать на историческое сознание польского еврейства XVII века. Деконструкция национальных нарративов недавно была предпринята Адамом Теллером, который показал, что в хронике Ганновера образ Хмельницкого представлен весьма амбивалентно, в то время как в коллективной памяти украинский гетман фигурирует исключительно как организатор и инициатор еврейских погромов.

В современной историографии еврейских хроник и погромов 1648 г. можно выделить два направления:

1. *Историко-сравнительный подход* с критикой источников и привлечением дополнительных, часто внешних (христианских), источников идет от Якова Шацкого, Исраэля Гальперина, затем разви-

вается Яковом Кацем, Мордехаем Надавом, Моше Росманом и Тедом Фрамом. Историки показывают не только общее коммуникационное поле (евреи жили вместе с христианами и участвовали в процессах передачи информации), но и использование еврейскими хронистами письменных христианских источников – летучих листков, газет, окказиональной поэзии, панегириков; сообщения еврейских хронистов находят точки пересечения с «Гражданской войной» Самуила Твардовского (К. Нотариус), с латинскими хрониками Самуила Гронского и Иоахима Пастория (А. Теллер). Еврейские авторы могут использовать польскую историографическую традицию для создания собственных легенд – например, самоубийство девушек из Немирова и легенда о Ванде (А. Теллер).

2. По мнению сторонников *нарратологического направления,* еврейские хроники не передают реальный опыт, но имеют символическое значение. Большинство хроник и похоронных элегий начинают свой рассказ о событиях на Украине с разорения еврейской общины Немирова, хотя Немиров не был первым городом, подвергшимся разрушению. Погром в Немирове произошел 20 сивана и поэтому должен был выступать как связующее звено между событиями на Украине и преследованиями евреев в Блуа, в честь которых уже существовал пост 20 сивана (Г. Бэкон, М. Росман). Кары, которыми были наказаны евреи, соответствовали талмудическому принципу «мера за меру». В Баре казаки живьем сварили в медном котле местных евреев-арендаторов. Котел в этой истории – символ пропинационной аренды, евреи-арендаторы не соблюдали законов субботы. За грехи евреев казаки теперь оскверняли свитки Торы и другие предметы культа. Изнасилования женщин свидетельствовали не столько об унижении жертв, сколько о степени осквернения всей общины.

Рассказ Ганновера о том, как еврей Захарий Собиленко выдал Хмельницкого властям, но друг Хмельницкого, еврей Яков Собиленко, помог ему освободиться из тюрьмы, крайне любопытен с точки зрения сравнения двух подходов. Это может быть свидетельством тесных и дружеских отношений с казаками и даже сочувствия православным. С другой стороны, рассказ хрониста о двух евреях, чье поведение невольно привело к восстанию и разрушению еврейской жизни в Польше, в чем-то близок к характерным для многих этнических меньшинств фантазиям о собственной значимости и силе. Евреи были лишены возможности участвовать в политических процессах, вместе с тем легенды о Шауле Вале, Аврааме Проховнике и др. демонстрируют представление о том, что евреи оказывают решительное воздействие на политические институты страны, а их действительная слабость иллюзорна.

Не все еврейки были изнасилованы, не все евреи убиты. Самым оптимальным и распространенным вариантом было бегство. Для историка наиболее ценна та часть хроники, где Гановер описывает личные впечатления о бегстве евреев из Заслава: «И мы оставили свои дома, полные всякого добра – товаров, книг и разных других ценностей; и мы не жалели о нашем достоянии, желая *спасти только себя и своих детей*… Мы переходили с места на место, бродили по городам и деревням, по перекресткам дорог, но нигде не находили душевного спокойствия – то грабят, то топчут, то презирают, то позорят нас... каждую ночь мы проводили в домах у православных, и мы были убеждены, что они убьют нас ночью, ведь все православные взбунтовались, а когда мы просыпались живыми, мы говорили: "Да будет благословен воскрешающий мертвых"».

Жалоба черняховского кагала, оставленная в луцком гродском суде 21 августа 1648 г., в деталях согласуется с личным опытом Гановера. «Экзулес» бежали от казацкой угрозы *з душою и детками*, «домовым спратом», золотом и серебром, погруженным на 28 возов. Ночь застала беглецов в Клешове, где они поселились в крестьянских домах («по господах своих кождый у хлопа в халупе станули»). В полночь клешовские жители вместе с крестьянами из соседнего села Чехова с палками, косами и другим оружием напали на евреев, избили, ограбили и некоторых даже убили. Во главе крестьянской ватаги стоял рабочий Кузьма, войт Петр, пивовар Иван и некий попович из Чехова (ср. с характерным описанием черни в польских источниках: «броварники, винники, будники, наймиты, пастухи»). В жалобе отмечаются не только имена и социальный статус разбойников, но и имена владельцев деревень: Чехова – Стефана и Вацлава Святополка-Четвертинского и Клесова – Генриха Кашевского. Помещики должны были помочь в поиске и наказании преступников и, возможно, компенсировать убытки.

Жалоба была принесена Юдой Мошковичем и Фроимом Самсоновичем через 10-11 дней после описанных событий. Ее начало составляет перечисление украденного наиболее состоятельного члена черняховского кагала Юды Мошковича. Он потерял полторы тысячи и товара на три тысячи злотых: полотна, скрыни с серебром и золотом, «заставные шаты», а также еврейские книги на 100 злотых. Фроим Самсонович лишился 200 готовых пенезей серебра, 400 злотых личного имущества (ложки и пояса), а также одежды на 1000 злотых. Кроме кражи, евреи пожаловались на то, что крестьяне «жидовок четыцрнадцет утопили»; после них остались 19 сирот, которых «блукаючих се нашедши привезли и возным передо мною, урядом осведчили».

Наконец, выделяется третья группа евреев: «жыдов инъных помордовали, которых до тых час не ведают, кондыс и оборочают, а других в поворозы повезавши; иншые, которые с боронили, погинули, а част их ушла заледве в кошулях».

Таким образом, судьба черняховских евреев была различной. Одни смогли откупиться, другие, особенно те, кто сопротивлялся, были убиты, третьи – женщины (чаще всего именно женщины во время погромов могли потерять свои жизни) утоплены (возможно, речь могла идти о насильственном крещении).

Таким образом, значение еврейских хроник нельзя недооценивать; большой интерес продолжает представлять сравнение еврейских и христианских источников.

М.А. Щегольков
(Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва)

Роль масс-медиа в формировании региональной идентичности Ростовской области в 1985–1993 гг.

Исследование охватывает период с 1985 по 1993 гг.: его начало ознаменовано провозглашением политики ускорения, которая предваряла принятый в 1987 г. курс на гласность. Продолжившиеся реформы к 1993 г. в определенном смысле завершились с ликвидацией в России привычной административной системы советов и установлением стабильной Конституции. Региональные сообщества были вынуждены переосмысливать свою идентичность и место в новой политической системе, в связи с чем произошло де-табуирование ряда исторических тем и отдельных позиций по ключевым вопросам региональной истории. Важную роль сыграли также изменения в отношениях центра и периферии, включая так называемый «парад суверенитетов», не затронувший Ростовскую область, но создавший ряд прецедентов, демонстрирующих рост самостоятельности регионов.

Доклад анализирует интерпретацию исторических событий (и реалий широкого временно́го диапазона) в перестроечных печатных медиа. В их числе рассматриваются федеральные издания («Правда»), городские («Таганрогская правда»), корпоративные («Речник Дона»), казачьи («Зеленый Дон»), партийные («Демократический Новочеркасск») и др. Для анализа используется несколько критериев, среди которых частотность «отсылок к истории», а также отношение авторов к упоминаемым событиям и отдельным знаковым

персоналиям, от их возвеличивания до принижения. В ходе анализа обнаруживается переоценка отдельных исторических событий и новая трактовка фактов. В каждом из такого рода случаев необходимо понимать речевую прагматику автора и исходить из того, что автор не мог быть беспристрастен.

Помимо репрезентации собственно исторических событий, выделяются точки «кристаллизации идентичности» в таких сферах, как топонимика, язык, символика и др. Все они в значительной степени опираются на прошлое, но нацелены уже на оправдание актуальных культурных и политических процессов, включая и процесс самообособления регионального сообщества. Что касается непосредственно отсылок к истории, то здесь представляет особый интерес проведение в массмедиа аналогий между историческими и современными событиями.

В результате анализа можно сделать предположение, что формировавшаяся идентичность Ростовской области в переходный период не имела монолитного, законченного, характера. Нельзя однозначно ответить, завершился ли этот процесс к 1993 г. С одной стороны, общество так и не достигло консенсуса относительно интерпретации ключевых событий в истории региона, роли казачества в обществе, сути феномена казачества. С другой стороны, оформились основные точки зрения по ряду важнейших вопросов, круг их сторонников, применяемая аргументация.

Можно сказать, что казаки, во многом благодаря именно массмедиа, стали воспринимать себя как единую общность. При этом острым оставался вопрос о том, следует ли относить казаков к этносу или к сословию. Ответы на него давались на историческом материале. Если существование современных казаков на Дону тем или иным автором в принципе признавалось, то признавалась и их связь с дореволюционными казачьими объединениями. Возрождение казаков как этноса основывалось на фольклоре, традициях и коммеморативных ритуалах. Считались ценными семейные связи, но скорее речь шла не о «праве крови» в чистом виде, а о том, чтобы снизить некоторую искусственность воссоздаваемых элементов этнической идентичности. Мы должны отметить мягкость и обтекаемость многих суждений о казаках как об этносе. В казачьих изданиях говорится, что казаки – это народ, но не утверждается прямо, что они не относятся к русским. То же самое и с противоположной точкой зрения: казакам не отказывают в том, чтобы называть их народом, а скорее просто их игнорируют.

Отнесение казаков к сословию закономерно, так как только таким образом можно было оправдать привилегии, за которые они боролись. К этим привилегиям относятся общинная собственность на землю, широкое местное самоуправление и др. Все же заметно, что самоидентификация в качестве этноса происходит более актив-

но и находит больший отклик среди казаков. Однако этнический статус не подтверждался наличием собственного полноценного языка (на донском диалекте не издавались даже казачьи издания). Указания на наличие у казаков своего языка (диалекта, говора) все же имеются. К прямым указаниям относятся периодические упоминания о языковых отличиях. К косвенным – использование либо диалектных слов и выражений, либо же общеупотребительных, но имеющих коннотацию, связанную с казачеством. Примеры таких слов – это «станица», «круг», «атаман». Они практически не заменяются синонимами.

Существовал подход к проблеме определения казачества, согласно которому казаками авторы называли лишь тех, кому симпатизировали. Но он не декларируется прямо. Не-казачье общество сформировало несколько способов восприятия казаков. Была точка зрения на них как на сугубо фольклорное движение. Были и опасения, что казаки введут в обществе жесткую сословную иерархию. Наконец, на казачество надеялись как на политический «актив» населения.

Среди знаменитых уроженцев области особенно был важен в этот период М.А. Шолохов. Прямо утверждалось, что именно он создал донскую идентичность, а Донскую землю, если нужно назвать ее иначе, принципиально определяли как «Шолоховскую». Писателя в печати обычно изображали в качестве свободолюбивого, не покорного власти человека, в ущерб ряду фактов его биографии. Попытки пересмотреть вопрос об авторстве «Тихого Дона» встречали решительное сопротивление со стороны консервативной части общества. При этом говорилось о роли романа не столько для самосознания казаков, сколько для популяризации казачьей культуры среди широкой публики. Другим важным для области деятелем был М.И. Платов. На постаменте памятника ему в Новочеркасске в советское время был установлен памятник В.И. Ленину. В 1985–1993 гг. существовал особый дискурс о восстановлении первоначального мемориала, и этому способствовала выжидательная тактика властей. Отсутствие памятника атаману внесло едва ли не больший вклад в консолидацию казачества, чем могло бы внести его наличие. Аудитория печатных медиа, особенно казачьих, была восприимчива к религиозным мотивам. Их регулярно использовали для практических коммуникативных целей, пренебрегая при этом конфессиональными различиями.

Общество Ростовской области было ближе к «горячим» по классификации К. Леви-Стросса: оно использовало свою историю в качестве движущей силы развития [*Ассман Я.* Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности; пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 72]. Однако заметно неравномерное представление событий в масс-медиа. Хорошо представлен и актив-

но используется в практических целях период прошлого примерно с 1910-х и до 1960-х гг. Для этого времени оставались в живых если не свидетели событий, то, по крайней мере, те, кто лично с ними общался. История до этого периода мало отражается в источниках (личность М.И. Платова важна скорее как символ, а не как субъект истории, особенно в результате ситуации с памятником). Однако очень широко освещается Азовское сидение. Мы полагаем, что, в соответствии с концепцией Яна Вансина, внимание было уделено легендарному происхождению [Там же. С. 50-51] казаков, и именно с Азовским сидением, с первыми организованными действиями в интересах Российского государства, они связывали свое появление в истории. Это соотносится с тем, что казачество стремилось к автономии, но никак не к независимости, и связь с центром была крайне важна.

Из событий XX века традиционно большое внимание уделялось Великой Отечественной войне. Здесь выделяются три нарратива: связанный с подвигами, связанный со страданиями, либо же память о войне представляется в качестве бремени, мешающего заниматься насущными проблемами. Тема коллаборационизма оставалась табуированной, о ней не упоминали даже при обсуждении связанных с ней вопросов. В нарративе о Гражданской войне превалировала тема раскола общества и важности примирения. Однако существовали и радикальные позиции. Проводились прямые аналогии с современностью. Большим открытием в условиях гласности стала тема казачьей эмиграции.

А.А. Щелчков
(Институт всеобщей истории РАН, Москва)

Индеанизм в поиске формулы национальной идентичности Боливии

1. Индеанизм возник в начале XX века как литературно-философское течение в странах, где проживали значительные этнические меньшинства (порой большинство населения), различные индейские народы, являясь реакцией на провал политики ассимиляции и формирования единой национальной идентичности. Возникновение индеанизма как идеологии и как политического движения было ответом общественной мысли на кризис либерализма и позитивизма в первой трети XX века. Основателями литературного и историографического индеанизма были боливийские писатели, историки, мыслители Альсидес Аргедас, Франц Тамайо, У. Пальса, К. Мединаселли, а также индейские просветители, такие как Эли-

сардо Перес, основатель школы-айлью в Варисате. В этот первый период формирования индеанизма как самостоятельного идеологического и политического течения креольская интеллектуальная элита рассматривала индейца как сильную, основополагающую часть метисной нации, что предполагало пересмотр ассимиляционных планов правящих кругов, опираясь на концепцию крови и силы земли (телуризма). В первой половине XX века не только в Боливии, но и, как отмечает А. Ассман, в большинстве стран мира присутствовал дискурс, «наделявший нации и культуры индивидуальной душой и субъектностью», и соответственно коллективной памятью [*Ассман А.* Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 26]. Индеанизм обращался к особенной духовной сущности Андских народов, противостоящей рационализму и материализму европейской, креольской культуры. Индеанизм призывал включить в коллективную память боливийцев до-испанское прошлое, сделать частью национальной идентичности ценности индейских культур, прежде всего Инкской, основанной на коллективизме и уравнительности. Эти идеи нашли отражение в исторических работах (А. Познански и его последователей), где предлагалось пересмотреть доминирующий нарратив, включив в него до-испанские цивилизации, прежде всего Тиауануко. Вместе с тем индеанизм в те годы продолжал быть частью ассимиляционного проекта, где теперь индейцу отводилась более почетная символическая роль.

2. В середине века индеанизм был включен в идеологию боливийского национализма, ставшую доминирующей в Боливии после Национальной революции 1952 г., сформировавшую новый исторический нарратив и образ «национальной идентичности», основанной на метисации индейского и креольского культурного и этнического элементов. Несмотря на то, что в 60-е годы индеанизм стал составной частью официальной идеологии военных режимов, так называемой боливианидад или боливийской сущности, несмотря на проведение радикальных политических и социальных реформ, в том числе аграрной, индейцы оставались исключенным из политической и культурной системы страны элементом, что привело к повороту индеанизма от ассимиляционного тренда к утверждению расовой и культурной исключительности и самобытности индейских народов, противостоящих креольско-метисному большинству, что привело к появлению нового индеанизма.

3. Новый радикальный индеанизм, представленный Ф. Рейнагой, Л. Тапией и другими политиками, публицистами, историками, исходил из невозможности ассимиляции и создания общей с другими группами идентичности. Городские индейцы, точнее

их интеллектуальные представители, в осознании своего положения «парий» в креольском обществе искали выход в обособлении, в радикальном отказе от идеи инкорпорации в общество, сориентированное на ценности западной цивилизации. В 1990-е гг. доминирующим течением в индеанизме становится экологический и этноисторический миф о крестьянских народах Америки, пачамамизм. (Стоит отметить схожесть рассуждений Х. Арендт в отношении европейского еврейства, не сумевшего на путях ассимиляции избавиться от положения «пария», но искавшего выход в богеме, культуре, уходящего в область «всеобъемлющей области природы» [*Арендт Х.* Скрытая традиция. М.: Текст, 2008. С. 81]. Именно в область культуры и экологического радикализма уводили индеанизм новые идеологи пачамамизма, поддержанные многочисленными западными НПО). Отказ от принципов ассимиляции вел к формулированию особых черт индейской идентичности как крестьянских народов, тесно связанных с экологией, природным окружением, противостоящих в этом отношении другим этническим группам. Общинность, антиконсюмеризм и экологический экстремизм («Человек для нас находится на самом последнем месте. На первом же – птицы, бабочки, муравьи, горы, реки, звезды на небе, – все, среди чего человек лишь малая часть мира. Мы ищем гармоничную жизнь человека в природе», – Давид Чокеуанка) [*Svampa M., Stefanoni P., Fornillo B.* Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización. Buenos Aires: Taurus, 2010. P. 266-267] создавали идеи исключительности коренных (индейских) народов, противостоящих в своей истории и идентичности другим расовым и этническим группам страны. Важным элементом идейной борьбы конца XX – начала XXI века была битва за историю между индеанистами и креольской культурой, а также поиск новой национальной идентичности боливийцев. В 2001 г. во время переписи населения 62% боливийцев на вопрос о своих корнях заявили, что являются потомками одного из туземных народов страны.

4. Преобладающей идеей стал мультикультурализм, отсутствие единой идентичности, «богатство в разнообразии», а в оценке национальной истории предлагалось сосуществование различных исторических нарративов для различных сообществ. Объяснялось это, как формулировал вице-президент страны А. Гарсия Линера, необходимостью преодолеть «символическое насилие» со стороны старых господствующих классов и идей. Деколонизация истории со стороны индеанизма привела к пересмотру большинства национальных исторических мифов, формировавших национальную идентичность. Проводимая властями политика внутренней деколонизации, в том числе в отношении исторической памяти, вызвала слож-

ные чувства у многих социальных групп и сообществ в отношении существования и истории той страны, которую они всегда считали своей. Креольско-метисное меньшинство опасалось разрушения всех основ идентичности и нарастания конфликта по линии подлинных боливийцев и «колонизаторов и их союзников». Индеанизация общественно-политической жизни страны вызвала неоднозначную реакцию со стороны большинства боливийцев. Если при переписи 2001 г. большинство жителей причисляло себя к потомкам индейских народов, то в 2012 г. неожиданно их число снизилось с 62% до 42%.

В данном докладе предполагается показать влияние индеанизма на различных этапах его собственного развития – от литературно-философского, элитарного до массового народного течения – на политическую и идейную жизнь страны, на формирование исторической памяти и национальной идентичности боливийцев.

В.В. Яковлев
(Тюменский государственный университет)

Базовые аспекты освещения религиозно-философских идей Т. Гоббса, Дж. Локка и Д. Юма в советских научно-популярных монографиях из серии «Мыслители прошлого»

Советскими историками философии было создано не так много научных монографий о философских воззрениях Т. Гоббса, Дж. Локка и Д. Юма – значительных представителей английского и западноевропейского в целом свободомыслия. Достаточно скромным было и число материалов по этой тематике, опубликованных в ведущих советских специализированных журналах. Поэтому выпущенные в 1970–1980-е гг. в СССР в серии «Мыслители прошлого» издательства «Мысль» научно-популярные монографии о Т. Гоббсе, Дж. Локке и Д. Юме стали важным звеном в истории изучения их воззрений советскими историками философии [*Мееровский Б.В.* Гоббс. М.: Мысль, 1975; *Заиченко Г.А.* Джон Локк. М.: Мысль, 1973; *Заиченко Г.А.* Джон Локк / 2-е изд., дораб. М.: Мысль, 1988; *Нарский И.С.* Давид Юм. М.: Мысль, 1973]. Значительный интерес представляет освещение в этих монографиях религиозно-философских идей указанных философов.

Тезисы посвящены проблемам сбережения и усвоения опыта советских историков философии в изучении религиозно-философских идей Гоббса, Локка и Юма. Цель тезисов состоит в выявлении базовых аспектов освещения в вышеназванных советских научно-популярных монографиях религиозно-философских

идей этих мыслителей. Задача состоит в проведении анализа соответствующих материалов этих монографий. Анализ материалов в тезисах выстроен в хронологической последовательности, обусловленной датами опубликования рассматриваемых монографий.

В 1973 г. была опубликована монография Г.А. Заиченко «Джон Локк». Освещение религиозно-философских идей Локка произведено в виде отдельного фрагмента [*Заиченко Г.А.* Джон Локк. 1973. С. 171-172] внутри Главы VIII – «Учение Локка об обществе и государстве» [Там же. С. 156-173]. На основе анализа материалов главы можно выделить следующую проблематику освещения Заиченко религиозно-философских идей Локка: идеи невмешательства церкви и государства в дела друг друга; идеи веротерпимости; идеи, направленные против атеистов; идеи, связанные с уступкой теологии; идеи, выдержанные в духе социнианской ереси [Там же. С. 171-172]; характеристика отношений Локка с социнианами и англиканской церковью; общая характеристика религиозно-философских воззрений Локка [Там же. С. 172].

В 1988 г. вышло второе, доработанное издание монографии Заиченко «Джон Локк». Освещение религиозно-философских идей Локка здесь было заметно расширено и также произведено в виде отдельного фрагмента [*Заиченко Г.А.* Джон Локк. 1988. С. 169-174] внутри Главы VIII – «Учение об обществе и государстве» [Там же. С. 153-175]. На основе анализа материалов главы можно выделить следующую проблематику освещения Заиченко религиозно-философских идей Локка: идеи, близкие к идеям социниан и истолкование причин осторожности Локка при решении религиозно-философских проблем [Там же. С. 169-170]; о материалистической направленности мировоззренческо-методологической программы Локка [Там же. С. 170-171]; высказывания по проблемам веротерпимости и атеизма [Там же. С. 171-174]; о противоречивости и неоднозначности религиозно-философских взглядов Локка [Там же. С. 174].

В 1973 г. была опубликована монография И.С. Нарского «Давид Юм». Религиозно-философские идеи Юма освещены Нарским в разбитой на две части Главе IV – «Человек и религия» [*Нарский И.С.* Давид Юм. С. 83-100]. Частям главы предшествует вводный фрагмент [Там же. С. 83-87], где Нарский кратко осветил основные аспекты критических размышлений Юма о понятии «Я», личности, которые были тесно связанны с его религиозно-философскими идеями. Первая часть главы называется «Происхождение религии» [Там же. С. 88-94]. На основе анализа материалов первой части можно выделить следующую проблематику освещения Нарским соответствующих религиозно-философских идей Юма: о причине религиозных чувств [Там

же. С. 88-91]; о вреде религии [Там же. С. 91-93]; о противоречивости религиозно-философских идей Юма [Там же. С. 93-94].

Вторая часть главы называется «Вопрос об истинности религиозной веры» [Там же. С. 94-100]. На основе анализа материалов второй части можно выделить следующую проблематику освещения Нарским соответствующих религиозно-философских идей Юма: высказывания по вопросу о существовании Бога [Там же. С. 94-95]; идеи о естественной религии [Там же. С .95-96]; о неоднозначности религиозно-философских идей Юма и об их роли в истории религиозно-философской мысли [Там же. С. 96-100].

В 1975 г. была опубликована монография Б.В. Мееровского «Гоббс». Религиозно-философские идеи Гоббса освещены Мееровским в Главе X – «Учение о религии» [*Мееровский Б.В.* Гоббс. С. 171-191]. На основе анализа материалов главы можно выделить следующую проблематику освещения Мееровским религиозно-философских идей Гоббса: о происхождении религии [Там же. С. 171-173]; вопрос о существовании Бога [Там же. С. 173-178]; о природе Бога [Там же. С. 178-182]; идеи, связанные с отрицанием сверхъестественного [Там же. С. 182-183]; о месте религии в социально-политических процессах и о социальных функциях религии [Там же. С. 183-187]; оценки отношения Гоббса к вере в Бога [Там же. С. 187-188]; оценки антиклерикализма Гоббса, критики схоластической философии, произведенной Гоббсом [Там же. С. 188-191].

Таким образом, проведенный анализ соответствующих материалов указанных советских научно-популярных монографий из серии «Мыслители прошлого» позволяет выявить базовые аспекты освещения в них религиозно-философских идей Гоббса, Локка и Юма. Во-первых, исследователи сосредотачивались на освещении критики религии, произведенной Гоббсом, Локком и Юмом. Во-вторых – на освещении значительного вклада Гоббса, Локка и Юма в развитие английского и западноевропейского в целом свободомыслия. В-третьих – на освещении противоречивости и неоднозначности религиозно-философских идей Гоббса, Локка и Юма.

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ДОКЛАДОВ

Агирре Рохас К.А. (Aguirre Rojas Carlos Antonio)
(Национальный автономный университет Мехико, Мексика)
Память, контр-память и забвение: борьба за память в Мексике 2016 года 3

Адоньева И.Г. (Новосибирский государственный технический университет)
Эволюция историко-правового дискурса русской журнальной прессы во второй половине XIX – начале XX века 6

Алаев Л.Б. (Институт востоковедения РАН, Москва)
Народ без времени: индусское отношение к исторической памяти 9

Алеврас Н.Н., Гришина Н.В. (Челябинский государственный университет)
Национальные интенции в диссертациях российских историков XIX – начала XX века: предварительные наблюдения 13

Алексеева Е.В. (Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)
Европеизация России в произведениях Н.А. Некрасова 17

Алентьева Т.В. (Курский государственный университет)
Репрезентация прошлого в культурном пространстве США на примере национальных исторических парков 14

Андреева В.А. (Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь)
Славистика и советология в ФРГ (1949–1990 гг.): пересечение проблемных полей 20

Аникина А.Б. (Новосибирский государственный университет)
Память как матрица истории (концепция Поля Рикёра) 27

Арнаутова Ю.Е. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
О формировании нового «образа Средневековья» 30

Баженова Ж.М. (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток)
Роль исторической памяти в формировании идентичности окинавцев 33

Бакус Г.В. (Негосударственный научно-исследовательский центр социально-трудовых и гуманитарных проблем «Тверьком», Тверь)
Искушение традицией: самоидентификация авторов ранних демонологических трактатов 36

Баранов Н.Н. (Уральский федеральный университет, Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)
Братья Гримм в исторической памяти немцев 39

Беседина Е.А., Буркова Т.В (Санкт-Петербургский государственный университет)
Локальная и региональная история в знаках коммеморации (на примере мемориальных досок) 42

Бессчетнова Е.В. (Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва)
Философия истории Вл.С. Соловьёва и К.Н. Леонтьева 46

Булатый П. (Республиканский институт высшей школы, Минск, Республика Беларусь)
Сохранение и формирование образов прошлого в семейном окружении белорусской шляхты 49

Булыгина Т.А. (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь)
История страны в системе формирования государственной идентичности 51

Бухараев В.М., Мягков Г.П. (Казанский федеральный университет)
Конструирование современного «нарратива идентичности» в национальном регионе России 55

Быкова С.И. (Уральский федеральный университет, им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
Феномен вновь открываемого прошлого: познавательное и аксиологическое значение проектной деятельности студентов ... 58

Бытко С.С. (Нижневартовский государственный университет)
Старообрядческий компонент в творчестве А.П. Чехова: особенности восприятия 61

Ванина Е.Ю. (Институт востоковедения РАН, Москва)
Прошлое по заказу: «поп-история» в современной Индии 64

Васильев А.Г. (Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Институт Центральной и Восточной Европы, Люблин, Польша)
Формирование дискурса памяти в польской культуре как ответ на травму разделов..... 68

Ведешкин М.А. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Гессий Панополитанский в трудах Шенуте Атрипского: образ врага и формирование идентичности в позднеримском Египте..... 70

Волошина В.Ю. (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
«Татьянин день» в традициях дореволюционной «профессорской культуры»: по воспоминаниям А.А. Кизеветтера» 73

Воробьева О.В. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Концепт пространства в конструировании и осмыслении региональной идентичности 76

Воронцова Е.А. (Государственный литературный музей, Москва)
Историческая наука между Сциллой информационного потопа и Харибдой информационной энтропии..... 80

Высокова В.В. (Уральский федеральный университет им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
«История» в словарной традиции эпохи Просвещения 84

Гавристова Т.М. (Ярославский государственный университет)
Литературно-художественные мемуары Нигерии: время, люди, судьбы..... 87

Гарбузов Д.В. (Волжский гуманитарный институт, филиал Волгоградского государственного университета)
Человеческий монокосм в пространстве и времени истории..... 89

Гатауллина И.А. (Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева)
Гиперборейский миф: проблема «исторического истока», его коннотации и интерпретаций в свете современной науки ... 93

Гатина-Шафикова Д.Ф. (Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань), ***Шафиков И.Ф.*** (Казанский федеральный университет)
Концептуальные и формальные представления о мусульманской идентичности в конце XIX-XX века (по визуальным и нарративным источникам) 97

Головашина О.В. (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина)
Прошлое как ресурс: идентификационные риски 99

Голубкина С.Е. (Нижегородский государственный университет)
Взгляд победителей: восстание махдистов в Судане и образ Африки по киноленте «Четыре пера» З. Корды 101

Гордон А.В. (Института научной информации по общественным наукам РАН)
Политика памяти в современной Франции 105

Городилин С.В.(Институт российской истории РАН, Москва)
Реконструкция неизвестного: создание образа мери в историографии Российской империи 107

Григорьева С.В.(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)
История Эфиопии в российской литературе путешествий рубежа XIX–XX веков: проблемы интерпретации 109

Гуайта Джованни (Иоанн, иеромонах) (Москва)
Civitas Dei и *civitas terrena* как определяющие понятия самоидентичности нарождающейся итальянской литературы (на примере Канцоньере Петрарки) 112

Гусев К.А. (Государственный исторический музей, Москва)
«Сохранить в истории отношение печати»: отечественная пресса об Антропологической выставке 1879 года в Москве 115

Девятайкина Н.И. (Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина)
Способы освоения времени и пространства гуманистом Петраркой (по трактату «О средствах против превратностей судьбы») 118

Джеймс Петра (James Petra) (Свободный университет Брюсселя)
Coming to Terms with the Legacy of the Communist Dictatorship: Contemporary Central European Literatures as Places of Memory, Amnesia and Mourning 121

Дмитриев М.В. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; НИУ «Высшая школа экономики», Москва)
О парадоксах протонациональной идентичности в культуре Московской Руси: представлений о «русских» как Израиле 123

Доронин А.В. (Германский исторический институт в Москве)
Язык как средство модерной национальной самоидентификации 126

Доронин Б.Г. (Санкт-Петербургский государственный университет)
Судьба Клио в Китае: к характеристике китайского историописания 129

Дудкин С.М. (Корпоративный музей ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», Нижний Новгород)
Саров: пласты исторической памяти 132

Емельянов Е.П. (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
Эволюция оценок башкирских восстаний XVII века в творчестве Н.В. Устюгова 135

Емельянова А.В. (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
Мемуары о частном обучении в России XVIII в.: опыт структурного контент-анализа 138

Жердева Ю.А. (Самарский государственный экономический университет)
Музеи Великой войны в России: формирование мемориальной культуры 141

Жидченко А.В. (Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Сибирский филиал, Омск)
Пространство исторической памяти постсоветского города: по материалам созданного в 1950-е гг. города Салават 145

Журба О.И. (Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепр, Украина)
Украинский историографический нарратив и перспективы его модернизации 148

Заболотная Л.П. (Национальный музей истории Молдовы Академии наук Молдовы, Кишинёв, Молдавия)
The history of the private life of Maria (Lupu) Radziwiłł reflected in the images of the epoch 151

Заиченко О.В. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Арминий-Герман и Александр Невский.
Трансформации национальных мифов о «Герое»: сравнительно-исторический анализ 153

Иванов А.Г. (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Липецкий филиал)
Этико-аксиологическое измерение мифогенности истории: социальная мифология 156

Иванова Т.Н., Дмитриева О.О. (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова)
Столетний юбилей Отечественной войны и складывание исторической памяти о событиях 1812 года в российском обществе 159

Игнатова С.Н., Божков О.Б. (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург)
Почему «непредсказуемо» наше прошлое? 163

Ионов И.Н. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Циклы исторического сознания, историческая память и самоидентификация 166

Казаков Р.Б. (Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва)
Историческое знание в ранних переводах Н.М. Карамзина 170

Канинская Г.Н. (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)
Проблемы Пятой республики во Франции в оценках французских историков 173

Каркозашвили Н.Ш. (Ярославский ГУ им. П.Г. Демидова)
Американцы в представлении британских путешественников первой половины XIX века 177

Карначук Н.В. (Томский государственный университет)
Тексты-однодневки и историческая память: английские площадные баллады конца XVI – первой половины XVII века и их читатели 180

Карпенко Е.В. (Сибирский федеральный университет, Красноярск)
Образ китайского торговца в трансграничном регионе Сибирь – Монголия во второй половине XIX века 184

Кашинская О.А. (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Конструирование образа императора Павла I в учебных исторических нарративах XIX – начала XX века 188

Кириллова Е.Н. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Новые социальные категории раннего Нового времени: «мастера, работающие на других» 190

Клычников Ю.Ю. (Пятигорский государственный лингвистический университет)
Память о Кавказской войне в современной политической практике 193

Козлова С.Ю. (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)
Союз итальянских женщин как проводник идей новой идентичности в свете послевоенной трансформации итальянского общества (1940–1960-е гг.) 196

Кознова И.Е. (Институт философии РАН, Москва)
Образы прошлого в журнале «Огонёк» (1923–1991 гг.) 199

Колесникова М.Е. (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь)
Региональное и локальное в исторических исследованиях: поиск исследовательских практик 202

Коновалова И.Г. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Эвристическая функция разграничения в арабских географических описаниях IX–X веков..... 205

Корзун В.П. (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
Н.М. Карамзин в советских учебниках по историографии: формирование корпоративной памяти 209

Короткова М.В. (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)
Курляндское герцогство – владелец колоний в Африке и Вест-Индии: память в режиме «долгого времени» 213

Корчинский А.В. (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Память нации как история болезни («Бесы» Ф.М. Достоевского)..... 217

Косых Т.А. (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
Образ британской провинции в сочинении С. Джонсона «Путешествие по Западным островам Шотландии» (1775 г.) 220

Кукушкина И.А. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Историческая память украинского народа о Первой мировой войне..... 223

Кутявин В.В. (Самарский научно-исследовательский университет им. академика С.П. Королева)
Гетерогенные этнические стереотипы как саморепрезентация.... 225

Лазарян С.С. (Пятигорский государственный лингвистический университет)
Российская имперская идентичность и условия северокавказских реалий первой половины XIX века 226

Лаптева М.П. (Пермский государственный национальный исследовательский университет)
Методологические рефлексии Поля Рикёра 230

Левина Ж.Е. (Омский государственный педагогический университет)
Постмодернистские основы конструирования исторической памяти в советской культуре 234

Леонтьева О.Б. (Самарский научно-исследовательский университет им. академика С.П. Королева)
Историческая память современного российского общества как исследовательская проблема 237

Линченко А.А. (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал)
Этноцентризм и конфликтогенные версии прошлого в историческом сознании современной молодежи: опыт отечественных и зарубежных исследований 240

Листкова А.С (Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава РФ), ***Минц С.С.*** (Кубанский государственный университет, Краснодар)
Социально ориентированное историческое знание как средство индивидуальной и коллективной психологической адаптации 243

Лозе Тилльман (Lohse Tillmann) (Берлинский университет имени Гумбольдта, Германия)
The Identity of Secular Canons. Before, during and after the Reformation 246

Лушников А.А. (Пензенский государственный университет)
Образы прошлого на страницах дидактической антиязыческой литературы Древней Руси 247

Мазур Л.Н. (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
Событие в исторической памяти: механизмы формирования, сохранения и трансформации 251

Маловичко С.И. (Московский государственный областной гуманитарный институт)
Формирование национально-государственного нарратива и контр-нарратив в исторической культуре России первой половины XIX века 255

Марей Е.С. (Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва)
Осмысление образов последних готских королей в латинской и кастильской хронистике: к вопросу о конструировании исторической памяти и идентичности 258

Матецкая А.В. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
Новые практики конструирования коллективной памяти в информационном обществе 260

Мейер Хольт (Meyer Holt) (Эрфуртский университет, Германия)
«Здесь жил поэт»: The Russian National Product Placement of the Staged Post-Shoah Pushkin (1949) 264

Мегилл А. (Megill Allan) (Университет Вирджинии, США)
An Unresolving Dialectic: History as a Science of the Non-Synthesis of Opposites 266

Мининкова Л.В. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
Князь Василий Шемячич в исторической памяти русской знати.... 270

Мининков Н.А. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
Иван Грозный в исторической памяти донских казаков 273

Мокрушина З.В. (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)
Категория «свой-чужой-другой» в современной нигерийской англоязычной литературе 276

Муртузалиев С.И. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Кавказ-Крым-Балканы: метаморфозы инонациональных стереотипов Нового и Новейшего времени в «дуге нестабильности» 278

Мухина Г.А. (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
Культурно-национальная идентификация Ф.А. Степуна 281

Назаров В.Д. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Историческая память и политические практики в России (конец XVI – начало XVII века.) 285

Назарова Е.Л (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Единая память для подданных Российской империи: история «Смутного времени» в педагогических практиках для латышей в XIX – начале XX века. 288

Нисковская М.И. (Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН)
Идентичность И.П. Елагина в историческом познании 291

Обидина Ю.С. (Марийский государственный университет, Йошкар-Ола)
Феномен эллинства: от идентификационных практик к осознанию идентичности 294

Оболонкова М.А. (Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет)
Визуальные коды в британской культурной памяти о Первой мировой войне 298

Овчинников А.В. (Институт социальных и гуманитарных знаний, Казань)
Реципрокные аспекты этногенетического мифа 301

Окунева О.В. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Время события и память о событии в режиме «долгого времени»: первая французская колония в Бразилии (1555–1560) и история нескольких анахронизмов 304

Опарина Т.А. (Российская академия живописи, ваяния и зодчества, Москва)
Варианты самоидентификации иммигрантов из Османской империи и ее вассальных государств (конец XVI – первая половина XVII века) 308

Орлов П.А. (Научно-исследовательский университет «Южно-Уральский государственный университет», Челябинск)
Поприще «горной» эмеритуры в некрологах ее деятелей (по «Горному журналу» за вторую половину XIX – начало XX века) 311

Петрова М.С. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Элементы естественнонаучных концепций Аристотеля в изложении Гильома из Конша 313

Поршнева О.С. (Уральский государственный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Сквозь призму «английского взгляда»: русский народ в революции 1917 г. в восприятии военного атташе Альфреда Нокса 316

Посохов С.И. (Харьковский государственный университет, Украина)
Коммеморативные практики и проблемы актуализации исторического наследия (на материалах Харьковщины 1990-х – начала 2000-х гг.) 319

Прокофьев А.В (Московский государственный институт путей сообщения)
Самосознание русского приходского духовенства 3-й четверти XIX века 323

Райкова В.А. (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)
Меморизация холодной войны в современном американском обществе..... 325

Репина Л.П. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Историческое событие и историческая наука XIX – начала XXI века 328

Ростиславлева Н.В. (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Отто фон Бисмарк: трансформация культуры памяти..... 332

Румянцева М.Ф. (Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики, Москва)
Репрезентация истории в неоклассической модели науки: источниковедческий подход 334

Руцинская И.И. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
Туристское пространство русской провинции как форма репрезентации исторической памяти (вторая половина XIX – начало XX века)..... 338

Савина А.В.(Вологодский государственный университет)
Репрезентация образов М. Лютера и Ж. Кальвина в трилогии «Реформаторы» Д.С. Мережковского..... 341

Сафронова А.М. (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)
О перспективах изучения культурных связей Урала и стран Западной Европы в первой половине XVIII в. 344

Сашанов В.В. (Челябинский государственный университет)
Забытый эпизод забытого историка: к вопросу о диссертационной истории Б.Т. Горянова..... 347

Селунская Н.А. (Институт всеобщей истории РАН)
Событие, которое не кончилось никогда:
Римские юбилеи, городская идентичность и историческая
память 351

Селунская Н.Б. (Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова)
Память как основа регидности и подвижности идентичности
национальных диаспор 354

Скворцов А.М., Мировщикова А.А. (Челябинский
государственный университет)
Борьба с космополитизмом в советском антиковедении:
дело С.Я. Лурье (опыт использования методов
формализованного анализа документов) 357

Смирнова О.А. (Оренбургский государственный институт
искусств им. Л. и М. Ростроповичей)
Родовая память как основа
родословных и семейных родовых хроник 361

Созинова К.А.(Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
Дворянское поместье как пространство частной жизни
в романах и переписке Дж. Остен 365

Сокина И.Л. (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского)
Историко-антропологический подход
в историческом познании в контексте разработок
отечественных мыслителей рубежа XIX–XX веков
и в условиях современной глобализации 368

Соколов А.Б. (Ярославский государственный
педагогический университет)
Методология истории и практика исторического
образования 372

Стогова А.В. (Институт всеобщей истории РАН,
Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, ***Капрон Л.*** (Университет Париж Декарт)
Публикация наследия в пространстве сети Интернет:
между частной инициативой и профессиональным знанием
(на примере проекта “*La correspondance française de Guy
Patin*”) 375

Сукина Л.Б. (Институт программных систем «Университет города Переславля им. А.К. Айламазяна», Переславль-Залесский)
Мемориальные практики допетровской Руси как исследовательская проблема 378

Султанов К.К. (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
Дискурс идентичности и национальный нарратив: коммуникативный аспект 382

Сыров В.Н. (Томский государственный университет)
Тождественны ли нарративная и историческая идентичность?..... 385

Тогоева О.И. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Долгое торжество: праздник 8 мая в Орлеане (XV–XXI вв.)..... 388

Токмянина С.В. (Институт философии и права Уральского отделения РАН, Екатеринбург)
Школа как институт социально-исторической памяти..... 391

Топал Н.М (Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева)
Полиэкранное воздействие как средство сохранения исторической городской среды: постановка проблемы..... 394

Торстендаль Р. (Torstendahl Rolf) (Уппсальский университет, Швеция)
Evidencing in history-writing..... 398

Трофимова В.С. (независимый исследователь, Санкт-Петербург)
Образы англичанок-драматургов в «Театре английских женщин» из «Дамского Парнаса» Луи Эдма Бийардона де Совиньи (1773) 399

Усачев А.С. (Московский государственный институт международных отношений)
О возможных путях и перспективах изучения «массового сознания» в России XVI века. 402

Фадеева Л.А. (Пермский государственный национальный исследовательский университет)
О критике идентитарного подхода 405

Филимонова М.А. (Курская академия государственной и муниципальной службы)
Историческая мифология перед Войной за независимость США (на примере представлений об Английской революции середины XVII века) 409

Филиппов С. (Будапештский университет им. Лоранда Этвёша, Венгрия)
Венгерская политика памяти и образ России (2010−2015) 412

Филюшкин А.И. (Санкт-Петербургский государственный университет)
«Мобилизация тирана»:образ Ивана Грозного в «войнах памяти» на постсоветском пространстве 413

Хаванова О.В. (Институт славяноведения РАН, Москва)
Принять нельзя отвергнуть: национальная традиция и рецепция зарубежных теорий Просвещения в венгерской историографии XX века. 416

Херльт Йенс (Herlth Jens) (Фрибургский университет, Швейцария)
Хронотоп катастрофы и роман воспитания 420

Хохолькова Н.Е. (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)
Мемориально-историческая стратегия афроцентризма: от травматической памяти побежденных к «славной истории» победителей 423

Хут Л.Р. (Адыгейский государственный университет, Майкоп)
Образы Кавказской войны в практиках коммеморации цифровой эпохи: сетевой контент 426

Чеканцева З.А. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Историческая память и национальная идентичность во Франции 429

Шадже А.Ю. (Адыгейский государственный университет, Майкоп)
Историческая память в условиях межэтнической напряженности на Северном Кавказе 433

Шепелева В.Б. (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
История и память в русской историософской мысли и вызов времени XX – начала XXI века. 436

Шипицына Ю.С. (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)
Утрата чувства истории 440

Шпирт А.М. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
Еврейские погромы 1648–1649 гг. между религиозным, национальным и транснациональным .. 444

Щегольков М.А. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва)
Роль масс-медиа в формировании региональной идентичности Ростовской области в 1985–1993 гг. 448

Щелчков А.А. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Индеанизм в поиске формулы национальной идентичности
Роль масс-медиа в формировании региональной идентичности Ростовской области в 1985–1993 гг. 451

Яковлев В.В. (Тюменский государственный университет)
Базовые аспекты освещения религиозно-философских идей Т. Гоббса, Дж. Локка и Д. Юма в советских научно-популярных монографиях из серии «Мыслители прошлого» 454

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ

•

Под редакцией
О.В. Воробьевой, О.Б. Леонтьевой,
С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцевой

Утверждено к печати
Институтом всеобщей истории РАН

Подписано к печати 14.09.2016
формат 60x90/16

_____

Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная
Усл. печ. л. 35. Тираж 500 экз.

Издательство «Аквилон»
Тел.: +7 (968) 924 97 30
e-mail: aquilopress@gmail.com

Отпечатано с оригинал-макета в типографии
Onebook-ru ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»
Москва, 109316, Волгоградский пр., дом 42, Технополис МОСКВА
Тел. +7 495 545–37–10
Электронная почта: info@onebook.ru
Сайт: www.onebook.ru

ISBN 978-5-906578-13-6